

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

11

НОВЫЙ МИР

1995

11



1995

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 11(847)

Ноябрь, 1995 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — <i>Love-стория</i> , повесть	3
НИКОЛАЙ КОНОНОВ — <i>Через алые Альпы</i> , стихи	38
ЛЮДМИЛА АБАЕВА — <i>Нютокуда в никуда</i> , стихи	41
ОЛЬГА ГРЕЧКО — <i>Белая пристань</i> , стихи	43
РОМАН СОЛНЦЕВ — <i>Вторые люди</i> , рассказ	46
МОИСЕЙ ЦЕТЛИН — <i>Из пламени рука</i> , стихи. Публикация Т. Соколовой. <i>Михаил Синельников</i> . Об ушедшем поэте	65
ЯАН КРОСС — <i>Аллилуйя</i> , рассказ. Перевела с эстонского В. Рубер	73
СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ, или НА РАЗВАЛАХ ИМПЕРИИ — <i>Гулрухсор</i> . В каменном саду. Перевела с таджикского Татьяна Бек. <i>Шир-али</i> . Не было — было. Перевел с туркменского автор. <i>Бозор Собир</i> . К семействам редких птиц и рыб. Перевел с таджикского Михаил Синельников. Вступительное слово Татьяны Бек	86

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ — <i>Четыре рассказа</i> . Предисловие, публикация и подготовка текста Марины Голубковой. <i>Алла Марченко</i> . Статья острвом среди океана	93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ТОРНТОН УАЙЛДЕР — <i>Каббала</i> , роман. Перевел с английского А. Гобузов. Предисловие Алексея Зверева	121
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

Архимандрит АВГУСТИН (НИКИТИН) — <i>Репортаж из 37-го года...</i>	156
МАРК КОСТРОВ — <i>Глубинка</i> . Отчет об одной командировке	167

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ — <i>Бог и тюрьма</i>	172
----------------------------------------	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — <i>Первый и последний</i> . Старец Феодор Козьмич и царь Александр I: роман испытания	183
СЕРГЕЙ БОЧАРОВ — <i>Событие бытия</i> . О Михаиле Михайловиче Бахтине	211

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ПО ХОДУ ДЕЛА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ — Почем нынче Шишкин? 222

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 224

Сергей Костырко. Беллетрист против писателя.

Олег Мраморнов. Осужденный на смыслы.

В. Долинский. Приглашение к диалогу с К. Г. Юнгом.

Юрий Кублановский. Неосуществившаяся возможность.

Игорь Кузнецов. Время эполетов.

КОРОТКО О КНИГАХ:

Анатолий Кузнецов. — I. Леонид Гаккель. Величие исполнительства: М. В. Юдина и В. В. Софроницкий; Леонид Гаккель. Я не боюсь, я музыкант. II. И. В. Нестьев. Дягилев и музыкальный театр XX века. III. Я. Гиршман. В-А-С-Н. Очерк музыкальных посвящений И. С. Баху с его символической звуковой монограммой

242

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 246

КНИЖНАЯ ПОЛКА 249

ПЕРИОДИКА 251

SUMMARY 256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

В розничную продажу «Новый мир» не поступает, наложенным платежом не высылается.

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «New Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА

*

LOVE-СТОРИЯ

Повесть

I

...**В**эркере — как на носу корабля, но без качки. В этом его безусловное преимущество. Из открытой форточки — легкий сквознячок с запахом свежей травы: вчера подстригали газон. Триста лет подстригали изо дня в день. На этом заикливаться не надо — собьешься с толку... Начнешь думать, как и чем это делали в семнадцатом веке, а оно тебе нужно? Нужен тебе семнадцатый век? То-то... Тут ведь главное другое — фантомное чувство, чувство от несуществующего! О! На него такое можно взгромоздить, что бедному газону и не снилось.

Громожу...

Через него — газон, — на котором стоит белое ажурное кресло, идет высокий по пояс голый мужчина с махровым полотенцем через плечо. (Это надо читать и писать быстро, быстро, как скороговорку.) Он шатен, в темных очках. У него глубокие выемки ключиц. Это у сутуловатых непременно. Горб — ямка, ямка — горб.

И вот он идет через газон, я засыпаю. Что и есть наиважнейшая цель. Поэтому ходит ли сутулый до дома с эркером, я не знаю.

Тут интересно и наблюдение со стороны. Как бы с лавочки у подъезда. Если тебе нужен для засыпания мужик (гипотетический, фантомный), так пусть же он будет стройным! На фига тебе эти чертовы выемки?

Чужая точка зрения — это далекая граница. Новая Зеландия, к примеру. На ее новозеландское мнение — тьфу. Прислали масло «Анкор» — и спасибо. И идите себе и дальше вниз головами. Кроме масла — неинтересны.

Возвращаемся в эркер.

Если не удастся уснуть, я перемещаю себя на дорожку к дому. То есть я как бы сама иду к нему. Тогда уже сутуловатый мужчина стоит в эркере, но меня занимает не он — стоит себе и стоит, — меня занимает дом, даже почти замок с заостренной крышей, от которой у меня заходится сердце, и почему-то именно поэтому мне хочется расплющить шпили и башенки.

В результате я выравниваю остряки-крыши до азиатской плоскости, и тут уж наверняка... засыпаю, победив красавицу готику.

Комплекс Тараса Бульбы: раз породила, то убью. Конечно, после такого не спать бы, а в ноги Богу кинуться за прощением, но где ж вы такое видели, чтоб мы после мысленных убийств кидались в ноги? Мы и после других кушаем с аппетитом. Поэтому порушить воображаемую готику все равно как муху шмякнуть свернутой газетой «Правда». И хватит про это.

Бессонница...

Есть еще третий способ — встреча с Королевой. Все равно с какой. Дело в том, что в войну один немец-художник написал мой портрет. Русская девочка с собакой и шоколадом. Который он же и дал. Собака была моя. Такая картина действительно была завершена до Сталинградской битвы, и я даже поставила внизу свое имя, на что немец сказал мне: «Данк шон, Анна! Молётец...» Так вот в моем воображении: эту картину как бы увидела одна из Королев, подсчитала на пальцах, что мы могли быть с ней ровесницами, и велела пригласить меня на обед. В ошеломлении от возможной встречи я ищу целые колготки и, естественно, засыпаю счастливой и утомленной. Надо сказать, что сама картина немца по имени Вальтер (кажется) занимает меня больше, чем Королева. Я так хорошо себя помню на ней: худое, испуганно-любопытное, глазастое существо с двумя неровными косичками. Холст. Масло, между прочим. Не халам-балам.

Поэтому третий способ засыпания под названием «Встреча с Королевой» популярностью у меня не пользуется. Хотя благодаря картине это самая реалистическая история. А вот эркер, газон — чистая выдумка, их не было сроду. С сутулым мужчиной было неясно. Он был — и его как бы не было.

Так с мужчинами бывает сплошь и рядом. Вот уж фантомы так фантомы. Являются в костях, мясе и крови, цвете, вкусе и запахе, а исчезают как дым.

Но это чутьок подвираю. Это проклятущая впадина ключиц... И еще запах... Запах мужчины, сидящего на полу и завязывающего шнурки.

Идите вы к черту, современники победительных дезодорантов. Вы ничего не понимаете. Ни-че-го.

Долго и надежно срабатывали способы засыпания! Ровно до того момента, как срабатывать перестали.

Однажды это ушло раз и навсегда. Все было как вчера — подушка, ночь, фонарь, аптека, но в подушке были комки, ночь была серо-белесой, фонарь тускл, а в аптеке не горело «т». И все это — комковатая подушка и безбуквенная аптека — стояло насмерть, как у нас принято стоять, но и в эркер и к Королеве — билеты кончились. Навсегда.

Я давно знаю: что бы там ни говорили материалисты, мир вещей и звуков зависит только от меня. И если, не дай Бог, на небе не взойдет луна или приподнятся, значит, заело что-то во мне. Ваше дело считать иначе. Ваше дело подозревать, что мир фурычит не от меня, а от вас. Или что он объективен и сам по себе. Ерунда. Мои — небо, солнце, луна и аптека. Исключительно мои подданные. Это я выбила свет у буквы «т». Просто я не люблю эту букву: тоска, трусость, тяжесть, труп, тлен.

Поэтому... Поэтому, когда рухнул эркер и Королева каких-то там земель съехала от меня навсегда, я поняла, что во мне случилась Большая Поломка.

Пришла подруга Валя и задала вопрос в лоб:

— Когда к тебе последний раз приставали на улице мужики?

— Вчера, — сказала я.

— Врешь! — закричала она. — Врешь! К нам не пристают! — И заплакала. — Зачем ты врешь?

Самое главное, я не врала: был какой-то эпизод, бездарный, неинтересный, но с этого момента — момента слез Вали, очень энергичной и деловой дамы, — я начала вести свой отсчет. И очень скоро обнаружила нечто. Как это бывает? Идешь по улице, и незнакомый, совсем не твой мужчина цепляет тебя взглядом. Молчаливое, даже некасательное дело, но дивный миг пребывания в чужом глазу — как молодильное яблоко. Целый день ощущение уверенности, силы, все ладится, горит в руках, а всего-то — тебя зацепили глазом и чуть-чуть поносили в нем.

Моя Валя, которая раньше меня обнаружила эту утрату, кинулась на жизнь как голодный хищник. Она разбивала себе лицо о Париж и Лондон, приступом брала Рим, с головой окуналась в Мертвое море, что было совершеннейшей дурью, ибо щипало глаза. Но таким образом она торила обратную тропу.

Легко сказать — торить тропу туда, откуда весь вышел. Хотя и сказать нелегко...

А Рим что? Он каменный, ему ничего не делается. Он вечный. Но я скажу другое. Счастье, что мы не вечны и пересыхаем. Потому что нет другого способа понять цену жизни, как увидеть ее конец.

А эркер? Что такое был эркер? Это была тайная грешная молитва на ночь, это была тайная мечта о любви.

Но, увы, и воображаемые эркеры трухлявы и тленны. Конечно, можно конец сделать началом. Началом рассказа о любви. О пребывании в глазу чужого мужчины. И Бог с ним — с Римом! Roma locuta, causa finita. Гуд-бай вечный.

Я о другом. О любви девочки, поедающей дармовой немецкий шоколад, рассказанной самой девочкой, когда она уже совсем выросла и стала мечтать о доме с эркером и новым мужчине, а потом поняла, что ей это на дух не надо.

— Ты сошла с ума! — закричала подруга Валя. — Как ты смеешь выбивать у нас табуретку из-под ног?

— Дура! — сказала я ей. — Я не выбиваю табуретку. Я, наоборот, снимаю тебя с эшафота.

Но она хлопнула дверью и нашла какого-то ботаника, не востребовавшего историей и женщинами. Она отмыла его в шампуне и купила ему костюм в дорогом магазине. Ботаник вскинулся душой и телом и решил — идиот, — что он создание нерукотворное, что он таким чистопахнущим и родился. Он посмотрел на мою подругу сквозь модные очки и разочаровался. Так и ушел от нее с дарованными бебихами, а подругу пришлось срочно отправлять в Иерусалим на моление. Она утыкала Стену плача просьбами о любви, как млекопитающий броненосец, прошла по дороге Христа и вернулась иссушенной, как фасольный стручок.

— Бога нет, — сказала она. — Я не видела. Надеюсь, ты не пишешь свое идиотское сочинение о нашем возрасте? Это будет оскорбление нам всем. Американки после пятидесяти только разговляются... Поздние сады — самое то! А библейские дамы? Сколько им было? Мы против них-девчонки!

Наверняка я буду подвергнута...

Я подозреваю, нет, знаю точно: любовь по сути своей бесполо. Я помню свою первую детскую любовь — она была к девочке. Я ведь не знала, что моя улица дурна и грязна, что двухэтажный барак, выстроенный для шахтеров напротив наших прикрытых сиренью хаток, — уродлив, что облепившие барак сараи некрасивы. Не знала, потому что не видела еще ничего другого. Провидение высадило меня на эту территорию и сказало: «Живи». Сам процесс жизни оказался весьма интересным.

Поэтому я и не умерла, хотя за мной то и дело приходили *оттуда*, и мама и бабушка отбивали меня от смерти как могли. Выходя из очередной болезни, я опять и снова ликовала, что ножки и ручки дрыгаются, глазки смотрят, некрасивость окружающей меня действительности ну никак не задевала мое существо.

Пока я не увидела красоту.

Девочку-ровесницу, волею партийных передвижений ее папы оказавшуюся на соседней улице, отгороженной нашими домами от черного по сути и по цвету барака. Девочка в матроске с красивыми белокурыми волосами шла за катившимся мячиком и встретила меня, босую, худую, в

цыпках и в одних ситцевых трусах, потому что носить что-то над трусами нужды не было. И долго, между прочим.

— Меня зовут Мая, — сказала она. — А тебя?

До сих пор сжимается сердце, когда я вспоминаю пронзившее меня обожание. Была бы у меня сила, я носила бы Маю на руках, потому что земля была явно недостаточно хороша для ее туфелек. Я водила ее за ручку по нашим колдобинам и выбоинам, хотя, как выяснилось, она была старше меня на год. Я убирала с ее дороги камни и ногой отбрасывала собачье дерьмо. Я подымала над ней ветки сирени и усаживала на пенек, покрыв его чистым полотенцем, тайком от домашних похищенном из комода. Засыпала я с мыслью, как отталкиваю ее в тот страшный миг, когда она оказывается рядом с глубокой ямой градирни. Уже сейчас думаю: почему никто из взрослых не пытался ее прикрыть или огородить?

— Осторожно, градирня! — кричали родители, выпуская нас на улицу. Вот и вся техника безопасности.

То было раннею весной... Перед войной то было.

Поклонение мое длилось... Подоспела война, а с ней и эвакуация, которая случилась уже в июле или даже июне. Начальство бежит скоро. Это нехитрое наблюдение у меня с младых ногтей. Маина мама передавала шоферу чемоданы прямо в распахнутые окна, сама же Маечка стояла на крылечке с огромной куклой с закрывающимися глазами. Такой куклы не было ни у кого из нас, и остающийся у немцев детский народ замерев смотрел на красавицу как бы в последний раз. Мы тщательно запечатляли ее в сердце и были в этот момент тихие и сосредоточенные. Я же смотрела на Маину руку, согнутую в локте, на оспинки на плече... Да плевала я на куклу! Я хотела одного — чтоб Маина мама взяла меня с собой. Я готова была стать чемоданом, баулом, обшитой вафельным полотенцем корзиной... Чем угодно... Могла ли я знать, что мое худенькое тело выбрасывает в космос такую энергию, что не считается с ней просто уже нельзя? Ток сработал, и я на всю жизнь оказалась приваренной к Мае. Бог, смилостивившись, даровал мне неотделимость от обожаемой подружки, дав от щедрот своих одну на двоих любовь к мужчине.

Назовешь ли это даром небес?

Не сработало ли ведомство-антипод?

Мне бы тогда уйти с прощального крылечка, мне бы впасть в очередную смертельную болезнь... Но несчастное дитя было, к несчастью, здорово. Оно страстно желало и таки вымолило свою судьбу.

Что было потом? Вспоминала ли я Маю? Не знаю, забыла. То ли война оказалась достаточным отвлекающим фактором, а может, я болела с горя, но в памяти совсем другие воспоминания. Например, первая правильная любовь — к мальчику, который мимо нас носил воду. Каждый раз, когда он передыхал с полными ведрами у нашего забора, бабушка говорила ему: «Ты бы, Витя, брал коромысло». Но Витя, чуть приседая, хватался за дужки ведер и упрямо качал головой. На коромыслах воду носили женщины, и только бабушкиной ядовитостью можно было объяснить такое предложение мальчику. Естественно, я полюбила его за муки и за мужскую гордость.

Приход и уход немцев, возвращение людей из эвакуации, конец войны, уроки «военного дела» в школе — тем не менее! — встать — лечь, встать — лечь, школьный хор, где я тоненько выводила: «Ура-а-а-л голубой, золо-о-о-тою судьбой тебя-я-я наградила Росс-и-и-ия»... Потом оказалось: навела себе судьбу, занесло меня на голубой Урал, в самое что ни на есть время: кыштымский взрыв. Но это другая история.

А однажды... Однажды летом перед самым десятым классом по нашей улице прошла Мая. Помню себя в гамаке под яблоней — мое любимое место, — из которого совсем не видны окончательно зачерневший барак и

спаренная с соседской уборная. Я примостила гамак одним концом к яблоне, другим к летней кухне и из этой западни видела только приятный глазу кусок улицы. Ветки жухлой в августе сирени были тут кстати.

Итак, я в гамаке. Плачу. У меня на груди «Домби и сын». Их всего три в природе книги, над которыми я плакала, как говорили раньше, горячими слезами. Это «Домби» Диккенса, «Метель» Пушкина и «Обрыв» Гончарова.

И надо же тому случиться, что моя Мая появилась именно в плакучий момент. Хотя прошло больше десяти лет, я узнала ее сразу по не нашему фасону платья и по белым локонам, которые носить в нашей школе не полагалось. Правда, я как-то сразу сообразила, что она на год меня старше, а значит — *уже не ученица*.

Мне бы вылететь из гамака, мне бы кинуться к ней, но, видно, десять лет и в юности могут в момент отяжелить и ноги и сердце. Меня затапливают счастье и нежность, я замираю, закрыв глаза, и слышу насмешливый бабушкин голос:

— Ну где ты там, изба-читальня? Тут Мая приехала. Что до войны тут жила...

Как будто мне надо было объяснять, *кто она есть!* Я поднялась, остро ощущая все несовершенство собственной природы. Костистые пальцы ног, худые длинноватые руки, тонкая шея, которую я все время подозревала в наличии кадыка, сеченые прямые волосы, заплетенные в две невыразительные косички, смуглость кожи, никогда не освещенной румянцем, которую мама раз и навсегда определила как «плохой цвет лица». И на этом неказистом теле еще более неказистый сарафанчик из старого маминного платья, рухнувшего в районе груди и рукавов. Такие ношенные платья легко трансформировались в летние сарафанчики для подрастающих дочерей. Дольше всего служили подолы, превращаясь в юбочки для младших сестер, потом в кухонные занавески, потом в ножные полотенца, мешочки для крупы и, наконец, в тряпочки для пыли. Пребывание в роли тряпочек длится почти бесконечно. Приезжая через много-много лет, я обязательно находила *на другой службе* материю своей жизни. Наволочка на «думочке» из выпускного платья. Абажурчик на подгоревшем торшере из блузочки на первую зарплату.

...Как далеко может увести подол старого сарафана... Если над ним замереть.

На негнущихся ногах я пошла навстречу Мае. Мне страшно, мне радостно, мир сдвинулся...

— О, какая ты! — сказала она с плохо скрытым женским удовлетворением.

— Ни черта не ест! — прокомментировала бабушка. — Одни семечки. А ты как была хорошенькая, так и осталась.

Бабушка посмотрела на меня, как бы пытаюсь сравнить, и я видела, что ей стало обидно за невыгодное сравнение.

Но я и тогда уже знала: так просто бабушка меня не сдаст.

— Есть красота ранняя, а есть поздняя. У нашей другая порода. Блондинки вянут быстро, ты это, Мая, помни...

И бабушка ушла, погладив легонько меня по лицу, до сих пор помню этот ее легкий ворожбливый жест. Помню, что я рассмеялась и сказала радостно и естественно:

— Маечка! Я так тебе рада.

Она улыбнулась, как улыбалась в детстве, все во мне перевернулось, хотелось снова и снова водить ее за ручку и поднимать перед нею ветви.

— А знаешь, — сказала Мая, — я уже замужем. Полтора месяца...

Оказывается, бабушка подслушивала. Потому что она тут же выскочила из летней кухни и, размахивая полотенцем, закричала:

— Нюра! — (Это имя плохого ко мне отношения. Анюта — это когда я в ее любви, Анеля — когда бабушка в гневе, Нюся я — только по хозяйственной нужде. Нюра — это конец света. Это когда я и дура, и неряха, и хамка, и меня не то что любить нельзя, на меня смотреть противно.) — Нюра! Тебе сказано полы мыть или?..

Мне не было сказано. Мытье полов — дело тяжелое и громоздкое, оно обговаривается заранее, и про такое в нашем доме не забудешь.

Бабушкин выпад был прозрачен, как капля росы: нечего водиться с замужними. Дело в том, что к десятому классу уже случилась парочка историй, закончившихся брачеванием. Уму непостижимо, но в моей семье это вызывало шок на неделю или месяц. Выскочить «раньше времени» было в табеле грехов самым страшным. Похоронить в детстве лучше. Мама и бабушка тут же проводили демаркационную линию, дабы я никогда и ни за что не могла пересечься с этими «распутными дурами», с этими «живущими передком», с этими «так называемыми женами».

Между прочим, и не пересекалась. Сейчас я думаю: как же так? Крохотный городок, всего ничего улиц и магазинов, куда же они прятались, эти «так называемые»? Сей почти мистический аспект имел простое житейское объяснение: мы не совпадали во времени. Пока я сидела в школе, «живущие передком» шли в магазины и на базар, стирали и вывешивали белье, мели двор, носили воду, а когда мы — нормальные девочки — возвращались из школы, они старались не выходить на улицу, потому что *сознавали* греховность своего раннего замужества. Таким был устой.

Поэтому истошные крики бабушки в день второго явления Майи были мне понятны, хотя и стыдны. Одно ей оправдание — она сбилась со счета. Она не знала, что Майя старше на год и уже *имеет право* на другой образ жизни.

У Майи до сих пор удивительное чутье на плохое к ней отношение. Она его ухитряется уловить заранее, чтоб тут же вмешаться и превратить плохое в хорошее, сохранить вокруг себя баланс благожелательности и благорасположенности.

— Я уже студентка, — говорит Майя моей бабушке. — У меня серебряная медаль, поэтому я без экзаменов поступила сразу.

— Вот видишь, — сказала мне сбитая с главной мысли бабушка. — Надо стремиться к медали.

Она еще постояла немного на крыльце, раздумывая, как быть, если правила соблюдены, а порядка как бы и нет и опасность соблазна осталась. Бабушка боится не просто так, она знает, знает, чем такое кончается. И я тоже знаю. В нашей семье было тайное преступление, совершенное бабушкой. Ее самая младшая и самая умная (такова легенда) дочь умерла после неудачного аборта, на который бабушка ее отвела собственной рукой. Сонечка только-только поступила в институт, пройдя откатку на шахте и рабфак, чтоб изменить позорную графу «служащая» на «рабочая», и на первом же месяце учебы выскочила замуж и забеременела. Я не помню всего этого, я тогда только родилась, но мне рассказали, что мое *уже существование* в Сонечкиной истории было фактором отягощающим. Боливар-дедушка двоих-четверых дочек-внучек вынести не мог, не тот у него был оклад-жалованье. И поэтому все силы были брошены на образование хотя бы одной дочери, чтоб уж она «не погрязла».

Сонечка умерла. Образ беременности некстати стал в семье кошмаром посильнее, чем даже случившаяся потом война. В войну мы остались живы, а беременность-смерть сломала семью позвоночник: дедушка согнулся в три погибели, а бабушка расцвела экземой. Поэтому отношение к ранним бракам было у нас непримиримым, жестоким, как говорила мама — *вплоть до*. Свою дочь я выдала замуж в семнадцать лет, и это был мой ответ Чемберлену. Но это потом, до этого еще жить и жить... А пока мне самой столько, сколько через много лет будет моей дочери, и я стою

с обожаемой в младенчестве подругой и чувствую, что обожание никуда не делось — оно жило во мне и ждало своего часа.

— Мы в старой нашей квартире, — сказала Мая.

Все стало на свои места. Так вот отчего стук и грох на соседней улице! Дело в том, что еще в начале войны, вскоре после отъезда в эвакуацию, Маину квартиру заняла некая многодетная семья; у бабушки — экстремистки в определениях — она схлопотала короткое и брезгливое слово — тля. «Такая тля». Бабушка раз и навсегда сделала тле окорот: мимо нашего забора воду не носить, траву козе в наших пределах не щипать, детей своих оглашенных на нашу улицу не пускать. Тля, по имени Клавка, бабушкины правила, как ни странно, приняла, но это бабушкино сердце не смягчилось. Но когда мы узнали, что Клавку срочно выселяют в барак за балкой, место со всех точек зрения нехорошее, бабушка нелогично прокомментировала:

— Она, конечно, тля, но так нельзя. Вон — и все... Хотя можно подумать, что я ждала *от них* другого.

Они — это власть. В нашей семье ее ненавидели и боялись. Это как бы огонь и вода. Огонь-ненависть тут же гасилась водой-страхом. Запах гари оставался и свидетельствовал... Вода всегда была в запасе, и, если быть до конца честной, ее было гораздо больше, чем огнищ. Но это к слову. Это бантик не в цвет на коробочке с историей о совсем другом.

Итак, мы узнали, что Маечкин папа приехал к нам начальствовать, и ему — стук-грох — перестраивали бывшую, хорошо поношенную Клавкиной оравой, квартиру. В дом вели водопровод, меняли рамы и двери, а когда чистили сажу, то у ближайшей к дому соседки выстиранное белье погибло напрочь. «Теперь даже сажу не умеют чистить», — удовлетворенно сказала бабушка.

Я хотела пригласить Маю к нам, но это было бы чересчур смело. Я не была уверена, что Мая поведет *правильный* разговор. Ведь наличие бабушки поблизости с ее бдительностью и страхом за все мои возможные глупые поступки — вещь сокрушительная, поэтому я и увела Маю от греха подальше.

Мы гуляли по переулку, вдоль черного барака, туда-сюда, и если я точно соответствовала месту действия — смуглая в черноту, в обносках, «с голодными и жадными глазами», часть, плоть этой унылой и пыльной улицы, где без воды жухнет акация и сирень, а сморщенные их листочки забиты шахтной пылью, как забиты и наши поры, то Мая... Мая здесь выглядела так же, как выглядела бы английская королева, случись в ее «роллс-ройсе» поломка в районе Савеловского вокзала, и ей бы, венценосной, шагнуть из машины в жижу снега и грязи, а мы бы шли мимо, потому что — что нам королева? Тоже мне событие... Вот также молчал и смотрел мимо барак.

Мая рассказала, что муж ее — студент-железнодорожник — ищет сейчас им квартиру в Ростове, где они будут учиться, что он у нее необыкновенный («Увидишь!»), что они сюда вернулись из-за близости к Ростову («Можно доехать за три часа на машине»), что, конечно, она не собиралась замуж так рано («Были грандиозные планы»), но такие люди, как Володя («Увидишь!»), встречаются раз на сто тысяч, а может, и на миллион. Он, оказывается, приезжал в Среднюю Азию в гости к своей тете на зимние каникулы («Она у нас преподавала историю, совсем молоденькая»), мы познакомились, ну и... («Ты понимаешь...»).

— А что за учительница истории?

Вот объясните мне, Христа ради, на что мне эта учительница? Почему из всех возможных, сидящих на кончике языка вопросов я задала именно этот? Почему потянула из клубка именно эту ниточку?

Ответа нет. Хотя — наверное — именно так, неожиданным секундным озарением, приходит к нам остережение из тех пределов, где все уже известно. Но человек глуп и самоуверен. Ему бы затормозить на зна-

ке, а он, видите ли, знает, куда ему надо. И он пришпоривает коня, время, судьбу, а то и всех сразу...

А ведь было остережение, было!

Это был день счастья — встреча с Маей. Стало безусловным: получил медаль, я тоже поеду учиться в Ростов.

Мне не читалось, что было фактом удивительным, я лежала в своей полудетской кровати (к детским спинкам дедушка приладил сетку от взрослой кровати), лежала тихо и умиротворенно, такое состояние потом переживается после родов — освобождение, любовь и счастье.

Теперь надо рассказать о *Встрече*. Я несла в кошелке хлеб к обеду, а они шли прямо на меня — Мая и Он. Высокий, белокурый, в очках. Ну что там говорить? Не считались у нас очки атрибутом красоты и мужественности. Как-то не годилось их носить парням, принижали их очки в авторитете.

Тут я сделала остановку и полезла в ящик со старыми фотографиями — ни одного парня в очках. Потом один старый приятель рассказал, как он случайно, уже студентом, надел очки своей сокурсницы и обалдел от удивленного: он, оказывается, не знал мира, хотя, как говорит, всюю в нем участвовал. «Я украл эти очки, — говорил он. — Такие корявые, старушечьи, с металлическими дужками... У меня развился комплекс вины за свое раннее «слепое» поведение. Дело даже не в том, что я не видел грязи на себе и вокруг, что само по себе стыдно. Я был ослепленно, самодовольно глуп. Это я понял мгновенно, разглядев собственные жирные угри на коже».

Когда приятель мне это рассказывал, я уже вышла из пещеры и мужчины в очках не казались мне физическими уродами.

Но тогда, с кошелкой с хлебом, я еще несу в себе эстетику барака... Все мое детство он, черный и грязный, торчал перед глазами, хотя беленькие занавесочки на наших окнах в его сторону всегда были задернуты. Бабушка презирала барак, но, что делать, он был сильнее...

Мая познакомила нас. Конечно, я оробела и смутилась. Это был первый «чужой муж» в моей жизни. У него была твердая сухая ладонь, и он довольно крепко сжал мои пальцы. Я нервно подумала, достаточно ли они у меня чисты и не пахнут ли чем-нибудь не тем. Я хотела быстренько рассмотреть себя со стороны, но поняла, что опоздала. Серые глаза за очками очень внимательно, с непонятным мне удивлением ощупывали меня тщательно и бесстыдно. Рядом с Маей подвергнуться такому обследованию равно уничтожению. Но у меня ни гнева, ни протеста, а одно мучительное моление: «За что?»

Они идут меня провожать. Я не знаю, как ставить ноги. Я чувствую западающую между колен юбку. Она простая, ситцевая, но как скребет по телу! При чем тут юбка? Это друг о дружку царапаются мои ноги, неуклюжие, худые, в стареньких маминых босоножках.

А тут еще дряхлая кошелка. Плетеная, с двумя ручками... Их уже не носят даже у нас. Через сорок лет вернется на них мода как на русскую экзотику. Но ту, с буханкой хлеба, обтрюханную в послевоенных очередях, я прокляла на «всю свою оставшуюся жизнь».

Необходимые уточнения.

Я была вполне бойкая девица.

Была остроязыка, конечно, но при условии, что близко нет мамы и бабушки, и могла уболтать любой народ. Я, как теперь говорят, все просекала быстро и умно, и мне за мою прозорливость даже попадало: наши поселковые хитрости не были для меня тайной — я читала их с листа.

У меня было два обожателя — из школы и ФЗУ, и я подло играла с ними попеременно, считая это дело святым и правым.

Исходя из последнего можно предположить, что не столь уж никомушными были мои заплетающиеся ноги и прочая география тела, бабушка с удовлетворением говорила, что у меня не то что красивое (нет, нет!), а редкое лицо, на котором «написан ум».

Я к чему? К тому, что не было причины так уж робеть и теряться перед новым знакомым. Но случился удар судьбы, и мы трое на крохотном пятчке пространства жизни были выслежены и расстреляны каким-то переростком с крыльями, эдаким омоновцем неба, который обрадовался, что одной стрелой попал сразу в троих. Возможно, ему грозили неприятности за то, что опустошил колчан не по делу, играя с собратями по крыльям — утками. Такие дурахи! А ведь стрелы кладовщик выдавал по счету и теперь мог спросить, куда, дескать, дел, купидон-переросток. А тут такой фарт: трое на солнцепеке, трое в рядочек, так и нанизались, малахольные, на одну стрелу, как на шампур. Удобно для засовывания в огонь. Просто рационализатор этот амур-омоновец: один выстрел — и получай отгул. Можно будет похамить не только с утками. Лебеди давно нарываються.

Но мы тогда еще не знали, что обречены. Мы плелись по улице. Мая изящно дула в сарафанчиковый вырез («Такая жара, люди!»), Володя снял очки, белый незагорелый след от дужек полоснул как бритва, я схватилась за шею: она была чужая и вздрагивала.

Кто-то гнусно хихикнул в мареве жары.

А потом кончилось лето.

И снова был отъезд с Маиного двора, на этот раз счастливый, в маленький автобус укладывается широкий матрац, подушки, овальное зеркало, коробки с посудой. «Кондоминиум», — говорит Маина мама.

Я — на подхвате. Что-то ношу, что-то увязываю, что-то утрамбовываю. Во дворе еще остро пахнет краской после ремонта, она еще и вовсю мажется, во всяком случае, у меня, порывистой, все руки выгвазданы. Я отхожу в сторонку и пытаюсь оттереть пятно выше локтя.

— Давай я, — говорит Володя, — тебе неудобно.

Он ведет меня в глубину двора, где торчит новенький водопроводный кран специально для хозяйственного полива. Володя снимает с крана шланг и начинает мыть мне руку.

Я пропадаю во времени и пространстве. Я понимаю: то, что между нами происходит, не имеет никакого отношения к «оттиранию пятна краски». Плечо, рука, вода совершают нечто такое, что самый крутой современный секс может быть дисквалифицирован. Свершилось все, хотя, в сущности, не случилось ничего. Я слышу его сбивающееся дыхание, его пальцы, которые то гладят, то терзают мою несчастную обезумевшую руку. Какими-то еще выжившими органами самосохранения я чувствую: своей спиной он закрывает меня от ока окон, прячет *наш очевидный Богу грех*, и я благодарна ему, даже улыбаюсь ему за это и вижу в распахнутом воротае рубашки глубокие впадины ключиц. Я погибаю от желания тронуть их, и, кажется, я это даже делаю другой, еще пока безгрешной рукой.

— Где ты взялась на мою голову? — говорит он мне. А может, не говорит. Может, это говорю я. Или мы вместе? Или мне все это снится.

— Володя! — слышу я сквозь миры голос Маи. — Где ты там?

Значит, она знает, что мы *там*. Она умная, моя любимая подруга. Она поняла сразу.

Он сжимает мне напоследок руку, плещет себе в лицо холодную воду, убегает.

— Иду! — кричит он. — Я снимал шланг с крана. Анька испачкалась в краске.

Мне кажется, я не уйду отсюда никуда. Я не заметила, что весь подол у меня забрызган, ноги мокрые абсолютно и мне холодно от ледяной воды.

Прибегает Мая, видит меня, смеется:

— Мокрая курица! Пойдем, папа налил на посошок. Пойдем!

Так я и вступила мокрыми ногами в свое предательство — и не разверзлось. Мы стояли кучкой в столовой, держа за тоненькие ножки рюмки с вишневой наливкой. Папа говорил речь, мама шмыгала носом, Мая хихикала, мне же безумно хотелось лизнуть мое грешное неоттертое пятно. Меня было как бы две. Одна — мокрая девочка, хорошая подруга и другая — жадная, падкая на наслаждения, спятившая особь, о существовании которой я до сих пор даже не подозревала. С ней надо было что-то делать. Вязать там или заталкивать в погреб — она была опасна для окружающих. Спущенная с цепи, она готова сожрать свою (свою!) стыдливую половину.

Хорошо, что всем не до меня. Хорошо, что Володя, выпив наливку, вышел из комнаты, мне даже стало легче, и я смогла себя — другую — лягнуть.

Потом все пошли к машине. Стали целоваться, Володя первым вошел в автобус и уже оттуда посмотрел на меня. И я поняла, что его тоже два. Иначе зачем так радостно взвизгивать моей порочной половине?

То, что он устраивает среди подушек место своей молодой жене, а моей любимой подруге, значения не имело.

На следующий день на моей руке проступили синяки.

— Кто это тебя так? — подозрительно спросила бабушка.

— Сама, — сказала я. — Оттирала пятно.

Вралось как пелось.

В школе было скучно и противно, и если бы не необходимость получить медаль, даже не знаю, что бы я делала. Необходимость же усаживала учить уроки и окорачивала ту, другую, меня, что расположилась во мне широко и надолго. Из того крошечного пятиминутного фильма с рукой и пятном в главной роли другая «я» намастырила многосерийный эротический фильм, который крутила беспрерывно. Что я себе только не воображала! Мама с удивлением отметила, что за это лето я похорошела. Но я-то все про себя знала. Все!

Мне даже не интересно было слушать комплименты, так как в моей тайной жизни я слышала *еще и не такое*.

Думала ли я о Мае?

Она писала мне письма, сообщала, что учиться ей скучно, что она не знает, зачем ей этот романо-германский факультет. Нет у нее тяги ни к языкам, ни к их народам. Надо было идти в медицинский, но там химия... Она писала, что ждет меня не дождется, что они с Володей найдут для меня угол, может, даже у их соседки. Больше всего ей в Ростове нравятся пончики с кремом, которые продают возле гастронома, и солянка в кафе «Дружба». Володя мне как бы посылал привет.

Я продолжала нежно любить Маю. В моем чувствовании они оба были разъединены до конца, до упора и нигде, никак не пересекались. Меня бил колотун, когда я думала о Володе и о том, что между нами случилось возле водопроводной колонки. Однажды после школьного вечера меня поцеловал очень хороший мальчик, который был влюблен нежно и отстраненно.

Я сама протянула ему лицо, губы и была потрясена абсолютным бесчувствием своего тела. Оно не вздрогнуло, не заискрило, равнодушный орех мозга бесстрастно отметил запах зубной пасты, закисшую лунку глаза, вспухающий прыщ на переносице и враз повлажневшие его ладони, которые он украдкой вытер о собственные штаны.

Пришлось быстренько рвать когти.

Несмотря на все это, на весь мой немислимый мысленный грех, я любила Маю, а главное — никаких угрызений, никаких... Грешная любовь и верная дружба так нежно соседствовали в сердце, так досыта напивались из одного колодца, что, возможно, это и было то самое слово, которое говорилось в нашем доме в ситуациях экстремальной безнравственности: разврат. Произнося его, мама и бабушка делались выше ростом и как бы каменней. Столь же непримиримо тонкогубыми они становились, когда речь шла «о порядках». То же гневное побледнение, поднятый вверх топориком подбородок и железная прямота спины.

В маленькой во мне это вызывало ужас.

...Нет! Сейчас во мне не было ужаса. Я не была развратной, я не была предательницей... Истинность моей любви определялась самым главным — отсутствием ненависти, невозможностью ее пребывания во мне.

Но долго так жить нельзя. Бог милостив, он вовремя дарует нам спасительную нелюбовь. Просто в биологических целях — для выживания. Но это — сегодняшнее знание.

На октябрьские праздники Маин отец послал за ними в Ростов машину.

В нашей семье этот праздник отмечался — см. выше — твердой спиной. Бабушка утром говорила маме: «Поставь графин на стол. Для блезиру».

Брат бабушки был расстрелян, а сын сидел в тюрьме. Брат дедушки расстрелян тоже. Отец бабушки раскулачен и сослан. Ее мачеха спилась и приходила просить на пол-литра.

Таким был пейзаж эпохи. И я уже успела побывать с бабушкой в Бутырке и поговорить с дядькой через решетку.

В моей жизни было два не подлежащих классификации и нумерации факта.

Во время оккупации немцы открыли церковь в здании старого храма со снесенной колокольней. Естественно, в нем был склад. Вот в этой церкви-складе, похожей на пацана-новобранца с круглой бритой головой — ощущение бритой головы тогдашнее, все мальчишки были бритые наголо, — так вот, там возродилось моление. Народу набивалось битком, и бабушка, взяв меня на руки (пропустите с ребенком! пропустите с ребенком!), донесла меня до главной иконы — не знаю какой — и сказала: «Думаю про хорошее и поцелуй ее».

Я поцеловала без мысли. Не смогла сформулировать хорошее, чтоб его хватило на поцелуй. Сколько лет прошло, но я осталась — как теперь говорят — человеком невоцерковленным.

Моя Вера и мой Бог теряются в церкви, они в ней — Господи, прости — глупеют. Я ничего не могу с этим поделать. Мои долгие и трудные разговоры с Богом, которые я веду вне храма, в церкви мельчают и дробятся до ничтожности, и я ужоу, чтоб не сказать — убегаю. На какой-нибудь тихой лавочке Бог возвращается ко мне и каждый раз говорит мне одно и то же: «Дура!» — «Прости меня, — говорю я Ему. — Я не умею вести себя в храме». — «Ты много чего не умеешь», — смеется Бог. «Ну, извини, тупые в жизни тоже нужны. Ты сам их зачем-то придумал». — «Да ладно тебе... Верующий имеет свидетельства в себе самом». — «Это кто сказал?» — «Ну ты совсем... Это Я тебе говорю!» — «Я должна на кого-нибудь сослаться... Иначе нельзя. Что значит Ты? А озвучил кто? Иов? Екклезиаст? Иезекииль?» — «Нет на тебе креста!» — «Есть! Вот! Не золотой — простой... Ты на самом деле считаешь, что верующий имеет свидетельство в себе самом?»...

Разговорчики, скажу я вам. Но я препираюсь с Ним уже давно. Временами мы очень не устраиваем друг друга. А все началось с разбежавшихся во все стороны мыслей в церкви Голобритого Новобранца.

...Такие Голые, Бритые и Стриженные церкви попадались мне сплошь и рядом в первый приезд в Москву на свидание в Бутырку. Тоже факт без нумерации. Сам по себе.

Бабушка сказала:

— Тебе там, может, захочется плакать. Так не надо. Думай о хорошем. Дядя Леня обязательно выйдет и покажет, как надо играть Листа. У него такая техника, такие пальцы...

У дядьки были расплющенные ногти, раздутые суставы, и я смотрела только на них...

А Листа он мне сыграл, вернувшись в пятьдесят шестом. Это был спотыкающийся на каждом шагу, старый, астматический Лист.

Он давно впал в маразм, воображая, что остался музыкантом. Он забыл ноты, путая белые и черные, не подозревал об этом, но это было прекрасно. Дядька вернулся.

У поздней дочери дядьки великолепные руки пианистки. Она играет Листа и думает, сколько купонов у нее осталось до зарплаты. Своими дивными пальцами она шьет детям все, даже зимние пальто. На исколотых подушечках Лист вздрагивает и синкопирует. Этаким Лист-портняга. Почему-то тут я плачу.

— Ты выросла! — прокричал мне дядька. — Стала похожа на Ксению.

— Ксения умерла, — прокричала в ответ бабушка. — Скоротечная чашотка.

Ксения — сестра отца, с которым мама развелась. В доме не говорят о «той семье». Но что взять с заключенного? Он не в курсе, он вторгается словами, не соображая, о чем можно говорить, а о чем нельзя. И я постигаю одно из заурядных свойств тюрьмы: отставание от быстротекущей жизни.

Так вот, октябрьские праздники в нашей семье праздники, так сказать, условные, и графинчик у нас — для блезиру.

Но я жду Маю. Жду Володю. Они-то гости на самом деле! Маина мама рассказала моей, что обязательно шьет к этому празднику вещь. В этот раз у нее шерстяной костюм с бархатной лиловой вставкой.

Мама смеется над дамами-начальницами. «У этих шмар — у всех — будут платья с одинаковыми вставками».

Я старательно мою полы без предварительного напоминания. Тру посыпанные содой доски веником, залезаю в углы. Встряхиваю «дорожки» с комода и трюмо, выдуваю пыль из бумажных выцветших роз. Содой же полощу и «графин для блезиру». Во всякой бы другой семье могла получить поощрение за тцание. В нашей же, прямоспинной, отмывание липкого от наливки графинчика всколыхнуло совсем другое.

— Лучше бы решала задачки по математике. Тоже мне нашла дело для девушки — мыть этот графин. Это ж куда тебя ведет?

Бабушка проговорила. Она назвала меня девушкой, чего не было сроду. Я в семье девочка, девчонка, еще ребенок... Мой рост задерживают намеренно, с целью... Такова стратегия *правильного* воспитания.

Бабушкина оговорка — подкоп под дидактические редуты.

В семье не слышно для меня прозвучал сигнал тревоги.

Мая и Володя едут долго. Шофер по дороге разживается вяленой рыбой, сухим вином, яблоками. В «газике», в котором они едут, вкусно пахнет. В этом запахе они и приедут — завтра вечером.

Я узнала о моменте их приезда сразу. У меня из рук выпала книга и остановилось сердце. Пришлось закашляться, чтобы его запустить снова. Было десять вечера, тогда у нас еще не было телевизора, и спать мы ложились рано. Дедушка ходил, проверял замки и запоры, закрывал ставни, деревянным брусом задвигал калитку. Все по очереди, обстоятельно, отправлялись в уборную, бабушка последней задерживалась на крыльце и тихонько молилась на Большую Медведицу, она по вечерам располагалась как раз напротив — для удобства молящихся.

Я не ёрничаю, я слышала эту молитву. Вообще-то бабушка молилась молча, взбрасывая для креста руку нечасто и по-быстрому. Но иногда, иногда... Шевеление губ выдавало тайный вскрик, и тогда возникали имена: дедушкино, дядькино, мамино... Мое...

С тех самых пор с Медведицей у меня отношения личные, свойские. Я знаю место Ее на Небе, она знает мое на земле. Это укрепляет мой шаг, а Алькор и Мицар мне подмигивают. Мальчишки!

Мне позволялось читать долго, а значит, и выходить позже других. Бабушка, уже лежа в кровати, полусонно кричала мне вдогонку:

— Ключ поверни на два поворота! На два!

Так вот, в десять часов из моих рук выпала книга и остановилось сердце. «Выпей от кашля пертуссин, — сказала бабушка, — и сходи на ведро. Бегаешь как полоумная, с голыми ногами».

— Мама, тише! — сказала моя мама своей маме из другой комнаты. — Что за манера кричать среди ночи!

Я дождалась семейной тишины и, стараясь не шуметь, вышла на крыльцо. Ноябрь стоял теплый, но вечерами уже покалывало севером. Пахло холодным углем, который кучами стыл во всех дворах. Именно вечерами говорилось, что пора пересыпать его в сарай, а то чуть-чуть — и мороз схватит. Долби его потом кайлом.

Я прошла по краю скрипучей кучи, набрав полные туфли штыба. Потом подошла к забору. Я знала эту доску и отодвинула ее легко: она давно болталась на одном гвозде. В узком проулке было темно, сюда выходили, почти касаясь друг друга, спины сараев.

Оказывается, мы оба шли с вытянутыми вперед в темноте руками. Так и сомкнулись. Помню ощущение его рубашки на щеке, запах пота и «газика», ухающее сердце, замок рук на спине и что-то странное в моем подребере, пока сообразила: это я колочусь в ответ своим сердцем, инстинктивно ища лад и ритм. Я откуда-то знаю, что это очень важно — лад и ритм.

По-моему, мы не сказали друг другу ни слова.

А утром они пришли вместе. Мая сияла и подарила мне брошку: скарабея, беременного корявым рубином. Было жалко жука, которого жестоко оттягивал вниз красно-красавый камень. Жук крючился и, казалось, стонал от ноши.

Бабушка сказала мне в коридоре и тихо:

— Выбрось сейчас же. Не держи в руках. Мая — хорошая девочка, но без понятия. Кто ж такое дарит!

Володя вежливо, как бы в первый раз, пожал мне руку. Это был неговорящий сердцу знак — знак дня и белого света.

Мы пошли гулять. Мая рассказывала про преподавателя латыни, который доказывает, что у древних не было звука «ц» и потому Цицерона надлежит считать Кикероном. Но что есть и другой латинист, который с этим не согласен, хотя какая это все чепуха — ворошить мертвое и еще об нем спорить. Подумать только, чем занимаются люди.

Дался ей этот латинист! Она кружила вокруг него, кружила, как шахтный конь, ослепший от работы и старости и знающий один путь — по кругу... По кругу. Образы латинистов-антиподов отчеканились в моем мозгу намертво. Я никогда их не видела, я вижу их до сих пор. Квадратнопле-

чий, короткошей Кикерон и сгорбленный, вглядывающийся в то, что под носками ботинок, его враг. Вскрикивающий фальцетом первый и шепчущий басом второй. Вижу нахально выставившую вперед коленку «К» и смущенность спущенного чулка «Ц».

— Кикерона зовут Модест. Редкое имя, — продолжает Мая. — А у Цицерона простое имя. Иван.

Мая чуяла. Или уже знала?

Они с Володей с пристрастием допрашивали меня, куда все-таки я буду поступать. Я лопотала что-то про химический факультет (придумала на ходу), потому что бедная моя голова ничем, кроме того, что я тоже поеду в Ростов, занята не была. Через много, много лет дочь скажет мне: «Ты всегда начинаешь не с главного. У тебя партизанская манера идти к цели задами». Но даже через столетие умная дочь не сможет объяснить мне меня самое. Был ком чувств. И он, как и полагается кому, давил. И я плющилась под ним.

Вечером я опять была в проулке. Снова набрала полные туфли угля и снова шла с вытянутыми вперед руками. Накрапывал дождь, и мы передвинулись под стреху какой-то крыши, и это полусознательное движение в сторону, в прикрытие вдруг пронзительно осветило мне ситуацию. Как обнявшись, мы прижимаемся к грязным доскам сарая, как прокалывает мне плечо торчащий гвоздь. Одновременность боли и наслаждения... Все в ослепительном фокусе и — немо. И я через восторг понимаю про себя: сволочь.

С этой минуты — слово воистину было вначале — я начинаю поступать согласно определению. Я делаюсь ловка, изобретательна в своем желании ощущать его, касаться его даже тогда, когда рядом посторонние, а главное, когда рядом Мая. Теперь я веду его в этой грешной игре. Я расстраиваюсь, расцветеряюсь так, что мое плечо, колено, локоть всегда рядом с ним. Осень, холодно, в ход идут платки, шали. Бог поселил нас в крошечных заставленных квартирах, и это, оказывается, счастье. Эти протискивания между столом и диваном, эта теснота ног под бахромой тогдашних скатертей.

Моя любовь к Мае незаметно перешла в жалость к слабому, к калеке. Между мной и Володей никогда ни слова не было сказано о ней и о том, что будет потом... Это было не важно, важно было другое: Маю *нам* послала судьба. Мая наша сводница. Самой по себе ее как бы и нет.

Мы дружили, и ее шепотная речь про то, «как это бывает. Ты узнаешь! Узнаешь!», меня просто смешила. Я не ревновала, потому что знала: она не способна была найти его в крошечной темноте, а я находила. Мы вылезали из угретых постелей среди ночи, шли с вытянутыми руками и встречались всегда *на одном и том же месте*.

Через много лет я пролезла через дырку в заборе и при белом свете посмотрела на место моей любви и моего греха.

Кошмар, должна вам сказать. Мало того, что весь переулочек был ощерен консервными банками, что стены сараев были утыканы ржавыми шляпками расшатанных гвоздей. В переулке плохо пахло. В нем воняло! В сущности, это была помойка. Можно только удивляться, как долго доверял человек самой бездарнейшей из философий, будто материя первична. Она даже не вторична. Она почти ничто. Нет, человек не заблудшая особь. Он хитрован, лжец и притворщик. И небеса взирают на него не без интереса — какой еще спектакль он отчебучит, *все зная и отрицая вслух свое знание*.

Пройдясь по помоечному проулку своей первой любви, я накрутила в голове приличный фарш. А надо сказать, что мои мысли всегда расширяют трещину и никогда не скрепляют ее.

Прошли октябрьские праздники. Опять была машина, в которую набивались продукты и зимние вещи. Прощались до студенческих каникул. Машина тронулась, но тут же затормозила, выскочил Володя и со словами: «Я забыл документы!» — ринулся в дом, по дороге задев меня грубо и властно. Я поняла, что должна за ним идти. Маина мама пошла к машине (как мог он знать, что она не пойдет за ним искать то, что не пропало, что спокойно лежало себе в кармане), но все было, как было.

Мы оба вошли в дом, скрылись от глаз, и здесь, под вешалкой, он впервые сказал: «Господи! Когда кончится твоя школа! Я сойду с ума». Я отметила про себя, хотя когда там было отмечать и сколько времени на это было отпущено, что напрасно он тянет на школу. Школа тут ни при чем. *Я могу ее не кончать.* Но когда там говорить? Надо было выбираться из вороха пальто и плащей и ему бежать назад, потрясая портмоне, а мне идти следом и смеяться над раззявой, который — оказывается! — сунул бумажник под хлебницу.

— Странно, — сказала Маина мама и посмотрела на меня пронзительно и зло.

Машина уехала.

Мы остались у ворот.

— Анна! — сказала Маина мама. — Володя — женатый человек, а Мая — твоя лучшая подруга. Не так ли?

— Конечно, — ответила я и посмотрела на нее чистыми глазами.

Был ли мой взгляд наглым? Или только лживым? Или я сумела изобразить на лице недоумение? Хорошо бы спросить у нее! Я же думала совсем о другом: два месяца я не смогу его видеть. Я — идиотка, что не посеяла мысль о моем возможном приезде в Ростов на школьные каникулы. Как же я могла прошляпить такой ход?

— ...нехорошо, нескромно. Просто, что называется, на глазах. — Это, оказывается, говорила Маина мама. Сколько подобных слов в другой исторической эпохе говорила я своей дочери при сходных обстоятельствах. Но это потом, а тогда... Голосом самой искренности *я убеждаю* Маину маму, что ей *кажется что-то не то...*

— Поклянись! — говорит женщина.

— Клянусь! — отвечаю я, не колеблясь ни минуты. Но в клятвах, видимо, полагается колебаться, видимо, длина паузы столь же важна, а может, и важнее самих слов. Логос-то он логос, да только и ему нужен воздух вокруг, а может, даже вакуум, чтоб слова могли туда-сюда поплавать, осознать себя и укрепнуть не в толчее — на свободе. Я же выпалила, не оставив зазоров: «Клянусь!»

— Фу! — гневно ответила Маина мама. — Бессовестная девка. Я расскажу все твоей матери.

Это было опасно. Это могло стать катастрофой. Я поняла сразу: убедить собственную маму будет труднее, чем Маину. Значит, надо бороться с *этой*. Хорошо бы заплакать, обидеться, тут же и прощения попросить, то есть свалить в кучу все оружие, поднять руки и сдать на условиях победителя, но тут вступали в отношения другие силы и чувства...

— Вы хотите нас поссорить с Маей?

Еще секунду назад я не подозревала себя в такой подлой и лукавой хитрости.

— Невелика потеря, — ответила она, но я почувствовала, как она внутренне метнулась. Бедная женщина тоже не все о себе знала.

— Спросите об этом у Май. — Я гордо пошла от ворот, но стыд уже настиг меня.

И пришло очевидное: как бы что ни шло, у истории этой нет хорошего конца. Я могу сейчас сколько угодно удивляться не только способности и готовности быть плохой, но и прозорливости моего неопытного сознания. Вспыхнувший же стыд осветил длинный коридор всей последующей жизни и нас троих, бредущих по нему неразрывно, кучно, несвобожденно... Ах, рвануть бы мне тогда в сторону! Геть из коридора,

геть! Но я уже вцепилась, вцепилась в собственное ярмо. Уже понимая, что это ярмо, уже кляня его и одновременно ликуя: «Мое!»

А через неделю пришло письмо от Маи и Володи, где черным по белому были написаны мои мысли. Приезжай на школьные каникулы, посмотри университет. Хозяйка квартиры пустит тебя на недельку за шкаф, где спит ее дочь. Которая, в свою очередь, едет на каникулы в Москву. Посмотреть тамошний университет. Так все замечательно складывается. Рокировка!

Я поделилась буйной мечтой — пожить за шкафом — с мамой и получила окорот:

— Где ж у нас деньги на такие экскурсии? Что ты себе думаешь?

Но потом случилось непредвиденное: моя же мама спросила Маину, не поедут ли они на машине после Нового года в Ростов. И не прихватили бы они Аньку — меня — посмотреть университет.

— Пришло письмо от Володи и Маи, — сказала моя, — они ее приглашают.

Я сто раз переспросила маму, кого назвала первым. И мама сказала: Володю. Она сочла, что он — главный в семье и так будет убедительней.

Маина мама ответила, что они в Ростов не едут. Но даже если бы... Даже если бы...

— Вы что, не заметили, что ваша Анна совершенно неприлично вешается на нашего Володю?

Мама сказала: нет и не будет на свете мужчины, на которого ее Анна стала бы вешаться, тем более на *их* Володю, который *не подходит нам ни с какой стороны*.

— У нас культурная семья, — ядовито сказала мама, — и грамотная речь. Мы правильно ставим ударения, а Володя ваш — просто тихий ужас. Что ни слово... И вообще он не начитан. Он понятия не имеет, кто такой Шеллер-Михайлов...

О этот Шеллер-Михайлов! Мама извлекала его из-за величественных спин классиков и, встряхивая, ставила впереди всех. Посмел бы кто пикнуть! Наверное, великие были смущены этим не по росту первым, которым распоряжается женщина из страшного времени. Дерзость беспредельная, но мама поступала *так!* Я думаю, не имела значения истинная ценность Александра Константиновича, скорее всего, мама подозревала, что он не Толстой или Чехов, но она ценила в себе личное знание предмета. Знание частности, редкости. У нас висела милая женская головка в ярком расписном платке. Она действительно освещала наш унылый и тесный быт, а мама говорила: «Смотри, от лица — солнце. Никто не знает этого художника, никто, а ему цены нет».

Мама цепляла нам на шею странные банты, усаживала за пианино, мы разрывали слова в поисках корня (что люблю делать до сих пор) — и все это единого смысла ради: извлечь нас из колонны, шеренги. Обозначить. И выделить. И отделить.

Вот для чего нужен был Шеллер-Михайлов.

Конечно, с этой точки зрения мой избранник интереса представлять не мог. В нем не было *отдельности*. Он был как все. Как все говорил. Как все держался. Не знал, не ведал скромных писателей прошлого века. (Когда это мама успела выяснить?)

Поэтому отпор Маиной маме был дан в полную меру, как будто моя — давно ждала, что придется давать отпор, и подготовилась заранее.

Не то было, когда она вернулась домой. Она замахнулась на меня козым батогом, который висел на гвозде у крыльца. С тех самых пор, когда, в войну, держали коз.

Я не тронулась с места. Чего мама ждала, стоя с поднятой рукой? Крика? Испуга? Не дождалась. «Рягуйте!» — закричала бабушка и встала между нами.

Тут хорошо бы поговорить о самом слове, которое играло в этой ситуации роль Шеллера-Михайлова. Забытое, не употребляемое, в сущности не нужное, ан было достано и поставлено впереди. (У нашей семьи филологическая экзема, которая передается по женской линии.)

Мама передала бабушке «этот кошмарный разговор». И, как я поняла, ничуть ее не удивила. Бабушка спала у самой двери, значит, знала, когда я выхожу и когда возвращаюсь.

На мамин вопль и крик бабушка только засмеялась.

— Не с того боку, — сказала она, — не с того боку эта придурочная Маниониха — (у Маи фамилия Манионова, нигде никогда такую больше не встречала. Не от маниоки же вспухло в Рязани семечко? Маин отец — кургузый мужчина, вечно жметс в собственном теле, как в чужом, а лицо плоское, с долбленным русским глазом. Где маниока, а где такой глаз?) — цепляется. Это ее зять в нашу дуру влюбился без памяти. Какие к нам претензии? Мы интересные люди, а Манионовы хамье.

Здесь все было не так, все. По тем временам (да и по этим тоже, что там говорить?) Мая была куда красивее, эффектней, нарядней. И мать ее была не «Дунькой с мыльного завода», а учительницей и, как потом выяснилось, еще и поповской дочкой. Конечно, дело портил глуповатый и чванный Маниока, пан из хамов, но ведь и на нашем курятнике герба не висело.

Мама как-то жалко всхлипнула, видимо, таким образом выходил из нее нарастаченный гнев, но сказала сквозь всхлип твердо:

— Чтоб твоей ноги у них не было. А о поездке в Ростов забудь! Забудь навсегда.

Собственно, на этом и кончается первая и главная часть этой истории, хотя обстоятельства еще случались, и достаточно экзотические по тем временам. Меня, например, вызывали в райком комсомола. Ее звали Руфь, она ведала школами и носила странные одежды — крепдешиновные кофточк, перетянутые как бы портупей. Руфь сказала, что я могу «вылететь за аморальное поведение». Она смотрела мне в глаза, и я видела мертвую глубину зрачка, ведущую в странные нежилые пространства. Руфи бы не смотреть в глаза, тогда бы сила слова была помогутней, зрачок же обессиливал слова, недееспособность союза шелка и портупей становилась слишком очевидна. Даже мне. Даже тогда. Почему-то вспоминалось, как она пришла с фронта и ее подбрасывали вверх, открывая для обозрения синие рейтузы, как гордо ходила она вначале и как потом стала предметом издевательств, как получил кое-кто за это по рукам — наш сосед, между прочим, который сказал, что на войне Руфь была «медхен фюр алле», а теперь «дырочку закоротило». Соседу пришлось срочно уезжать, на что дедушка сказал: «Это его счастье». Одним словом, мне было Руфь жалко. Даже когда она пугала меня, я была спокойна: это все слова. Она выполняет поручение Манионовых-старших. Правда, мои родные отнесли к вызову Руфи гораздо серьезней. И дедушка, надев выходной пиджак, сходил в инстанцию повыше. Уже в райком партии, к своей старой знакомой. И пока он ходил, бабушка трещала суставами пальцев, бормоча какие-то странные слова, а потом села на ляду, а на ляду — крышку подпола — женщины не садятся. Оттуда дуют ветры подземелья и хватают женские органы одномоментно. Одна дура посидела, и все — болезни пошли одна за другой. Ляда — это ляда. Но бабушка села и сказала: «Может, не иметь значения. Я же не знаю, вернется он или нет». (Имелся в виду дедушка.) У них уже набрякало однажды до степени развода...

Бабушкину разлучницу, как и Руфь, знали все. Она была огненно-рыжей, и бюст у нее начинался сразу от подбородка. Ее боялись здоровенные начальники шахт и секретари парткомов. Собственный муж боялся ее так, что его даже вынимали из петли. Он преподавал у нас историю, которую не знал совсем. Когда мы уличали его в незнании, он терялся, краснел, говорил «извините» и выходил из класса. Мы его любили за это «извините». Дедушка, возможно, был единственным человеком, который

не боялся Симы Францевны. Не боялся — и все. Он знал почему, и достаточно. Так что картина «бабушка на ляде» имела глубокие психофизиологические корни.

Кстати, дедушка благополучно вернулся.

Но я повторяю: если с точки зрения количества событий было как бы и много, то с точки зрения существа история кончилась значительно раньше последовавших за ней драматических встреч. Я и Руфь, Сима Францевна и дедушка, бабушка и ляда.

Когда Мая и Володя приехали на зимние каникулы, неведомая сила уже не подымала меня и не вела в проулок. Кончики моих пальцев ничего не искали, руки спокойно лежали поверх одеяла, и я говорила себе: «Смотри, вот лежат руки... Они ничего не хотят...»

Мая не приходила ни разу. Володя, правда, поджидал меня у школы, но там все и кончилось — так я тогда думала. Я увидела его раньше, чем он увидел меня. Было делом двух шагов свернуть в другую улицу, обойти собственный дом с тыла, а потом уже из окна, из-за занавески, наблюдать, как он меня, дурак, подкарауливает... Говорили, что они с Маей уехали до конца каникул.

А весной я как бы влюбилась. Были некоторые поверхностные признаки. Перенос на руках через весенние грязи, приглашение пообедать (была Пасха, но делали вид, что празднично обедали в честь обязательно в ту пору воскресника), было стояние под луной и взгляд на Медведицу. Нет, царственное созвездие не подмигивало. Ну что ж, сказала я себе. Так гораздо лучше. Я свободна, и меня это не плющит.

Мая летом родила девочку. Тихими вечерами было слышно, как у Маниониных плачет младенец. Я готовилась к вступительным экзаменам в Московский университет под надсадный детский плач. Однажды в дверях выросла бабушка в длинной бумазеевой рубашке.

— Это ж кто так надрывается? — спросила она.

— Полагаю, Маина дочка.

Бабушка зачем-то вышла на крыльцо и посмотрела в сторону манионинского дома.

Мне показалось? Или на самом деле возле расхлябанной доски в заборе мелькнула белая тенниска? Тогда плач ли слышала моя бдительная бабушка, или она услышала то, что предназначалось услышать мне, но у меня было уже другое время и место. Напрасно трепетала в межзаборье мужская рубашка: я ее не видела, я ее не слышала, я ее не знала.

Девочку назвали Вавой. Викторией.

II

...Оглянуться не успели... А двадцати лет как не бывало. И я уже не я, а мать двоих детей, жена двух мужей — последовательно, конечно. Здание, где я работаю, выходит окнами на эстакаду. Дом, в котором я живу, смотрит на нее же. На работу мне рукой подать. Это везение. Моя сослуживица говорит, что транспорт — место накопления онкологических клеток. Она ездит на электричке и потом два часа приходит в себя: рисует глаза («Вытекли, сволочи, вытекли!»), отрезает заусеницы, тупирует волосы, пьет кофе из прочерневшей керамической чашки и говорит, говорит, говорит...

— ...И пусть он будет горбатый, пусть! А сказал бы — вот тебе дом, деньги, я и никакой электрички... Ненавижу! Ненавижу! Тебя ненавижу, что близко живешь! — Она поворачивает ко мне лицо с одним обрисованным глазом. Зря она сказала, что они у нее вытекли. Теперь я только это и вижу — серый влажный провал в черно-зеленой раме. Когда она оформит и другой провал, она пойдет по коридору, скликая охочих для перекура мужиков, и уж с ними наконец утешится, утишится, потешится... Вернется ласковая, добрая, спокойная.

- Онанистка, — скажу я ей.
- Это безвредно, — ответит она. — Словоблудие и рукосуйство.
- Рукоблудие и словосуйство, — бормочу я.
- Один хрен, — соглашается она.

И все-таки успокаивается она в крутом мужском дыму и духе. Тему «надо бы любовника» мы давно обсудили. Ей — надо, мне — нет. Я пережила развод, измену, скандалы, слава Богу, прибилась к берегу, но начинать опять и снова?! К тому же «берег, к которому я прибилась», работает этажом ниже. Я делаю вид, что «всегда под контролем». На самом же деле все не так. Мой второй муж — замечательный, но любовь с ревностью, подозрением — это для него перебор. Лишнее он просто выносит за скобки и не ревнует, не подозревает, не бледнеет лицом, когда меня обнимают дольше положенного.

Иногда я от этого бешусь, иногда думаю высокопарно: «Я не смогу обмануть такую веру».

На самом же деле, на самом... Я еще не знаю, что на самом. У меня поступил в институт сын, моему ликованию не было предела — так я боялась и ненавидела саму мысль об армии. Мне очень хочется написать эссе «Я и армия». Это не шутка — на самом деле. В моей искони, издревле штатской со всех сторон семье было одно странное, не подчеркиваемое, чаще даже скрываемое свойство — мы все плохо относились к военным. И к воинству как таковому. В нашей семье мужчины служили строго по необходимости (на войне, например), а женщинам в голову бы не пришло бросать в воздух при виде военного коменданта «чепчики». Более того, сколько себя помню, я всегда боялась военных, а если еще с оружием — то бежала с таким ужасом, какой бывает только во сне.

Поэтому я так нервничала в год поступления сына в институт, хотя ни про какую дедовщину тогда еще и слыхом не слыхивали.

Крепкий настой застоя. Максимальная концентрация. Божественная пофигень.

Я постукиваю лодочкой под столом, я сочувствую едущим в троллейбусе и электричке. На своих легких ногах я перехожу эстакаду, мне открывает дверь моя курносенькая и глазастая дочь, я шлепну ее по спине, чтоб не сутулилась, дура, мы вместе выгребем сумки, радуясь докторской колбасе и бело-розовому зефиру, мы раскромсаем колбасу на толстые куски и будем радостно чавкать под катушечное шипенье магнитофона.

— Письмо от бабули, — скажет дочка.

В письме была потрясающая новость. Мая и Володя, оказывается, тоже живут в Москве. К ним переехала и Маниониха. В этом месте буквы слегка запрыгали и разбежались, что показывало мамину обиду: получается, что Манионику дочь любила больше, чем я ее, хотя та так и не удосужилась прочитать Шеллера-Михайлова...

Надо сказать, что все связи были порваны, и, казалось, навсегда. Манионины давно уехали из нашего города. Кто-то сообщил, что сам Манионин уже умер, прямо на партконференции, на которую неожиданно заявился человек из обкома. Сердце его раздулось и — лопнуло. От радости ли, от страха, от удивления... Любая версия хороша для реконструкции, и любая никуда не годится... Ибо нет ничего на свете подлежащего единственному толкованию, даже Бог наш всемогущий имеет столько адептов, что, пожалуй, и лишку, хотя стали ли мы от этого ближе к Нему?

Я знала, что Мая и ее семья долго жили в Средней Азии, потом переехали куда-то на европейские юга, не то в Краснодар, не то в Ставрополь. Мая — говорят — расходилась с Володей на несколько лет и выходила замуж за очень богатого узбека, но узбек то ли собирался, то ли даже посягнул на красавицу падчерицу Ваву. Мая была потрясена до глубины души. Неконструктивное состояние повело ее на телеграф, и она телеграммой вызвала откуда-то отца Вавы. Тот примчался и решительно забрал дочь, бывшую жену и маленького узбечонка, который уже появился

на белый свет. Володя — говорят — повел себя выше уровня моря, у него к тому времени тоже лопнула, как мыльный пузырь, семья и остался ребенок, так что мальчик в тубетейке был, можно сказать, справедливой компенсацией. Им тогда — Мае, Володе, Ваве и узбечонку — пришлось помыкаться, но был еще жив Маниока, и он хорошо помог — и с квартирой, и с работой, и мебель достал красивую по малой цене, и телевизор, холодильник и все остальное — как чувствовал приближение своей последней партконференции.

А теперь, оказывается, мы жили в одном городе. И хотя Москва — такое место, что можно никогда не встретиться, но ведь можно и встретиться?

— Что с тобой, мама? — спросила дочь.

— Оказывается, — засмеялась я, — в Москве живет моя старая-старая любовь...

Я не сказала: живет подруга. Я сказала — любовь. Хотя мама писала о Мае, о Манионихе... И ни слова о Володе.

Меня заинтересовал и слегка возбудил мой собственный поворот темы.

— Но ты же не бросишь папу? — Совсем недавно, в год поступления сына в институт, дочь узнала, что ее отец — не отец ее обожаемого брата. Какая с ней была истерика! Как она кричала на меня за то, что я *лишила ребенка отца*.

— Чем тебе не угодил папа? — возмущалась тогда я.

— Он ему не настоящий! — рыдала дочь. — Не настоящий.

Ладно, мы это проехали.

И вот тебе вопрос: не бросишь ли ты папу? Тринадцатилетняя дура.

— Ты переела колбасы! — сказала я ей.

— Поклянись...

Кажется, я уже рассказывала об одной клятве в своей жизни. Я вспомнила об этом тут же, вспомнила *быстроту той лжи*.

И вот сейчас она смотрит на меня, дочь, за благополучие которой я отдам все... Как ей, испуганной дурочке, объяснить, что я ненавижу клятвы и что — бывало! — я в них вру?

Но я стираю, как мел с доски, это свое прошлое... Не имеет значения! Другое время и совсем же другие обстоятельства.

И я могу поклясться. Могу поклясться над зефиром и колбасой. Я клянусь в том, во что верю: того, чего боится моя дочь, не может случиться никогда! Это все равно что клясться, что я не взойду на Эверест, не запишусь на гладиаторский бой, не стану королем Испании. «Правда, доченька, глупо?» Но она моя дочь, у нее на чужие потайные мысли чуть-ё.

Я ведь грешно подумала о Володе, грешно. Кончики моих пальцев вспомнили те старые нервные токи, которые вели меня к нему. В них покалывало, а руки стыдно тряслись. Дочка сказала: «Ты не смотришь мне в глаза».

— Есть такой драматург, — закричала я. — Его фамилия Ионеско. Он пишет абсурд. Люди у него превращаются в носорогов. Такая эпидемия. Ты, как он, заставляешь меня играть сумасшедшую пьесу. Все! Пошутили, и хватит.

— Я буду за тобой следить! — сказала дочь.

Вот это было уже смешно. Как будто я не знала, как можно улизнуть и ускользнуть, как будто я не знала звуков тончайшего, не слышимого никем клича, как будто я не помнила силы этого зова...

Следить и удержать? Бедная моя девочка...

И пошла, пошла разматываться ниточка.

Красная ниточка с кровью. Я разучилась пользоваться ножом и все пальцы носила в порезах. Я думала о себе — *той*.

...У нас новая историчка. Тетя Володи. Та самая тетя, к которой он ездил в Среднюю Азию и где набрел на Маю. Она молодая, хорошенькая и живет у Маниоков. Случается, мы встречаемся по дороге в школу, и на мое «здрассте» она шевелит в ответ белыми тоненькими пальчиками. Та-кая у нее манера.

Маниока ястребиным глазом оглядывает окрестности — он ищет, кого бы куда переселить, чтоб дать комнату Маргуле. Историчку звали Маргарита Ульяновна. Все об этом знают. Все заискивают перед Маниокой. Все его боятся.

В «домике из сарая» жили эвакуированные. Это звучит не страшно — из сарая. Сарай из довоины дорогого стоил. Этот был такой. Вот на его комнатушку особенно и поглядывал Маниока. Теплый сарай. Вода во дворе. И они — сродники — рядом.

Я не люблю Маргулю. Ненавижу ее пальцы.

На самом же деле ревную. К Мае Володю не ревную, а к этой...

У меня никаких оснований. Никаких.

Это ревность из каких-то моих собственных начал. Но какая раз-ница?

И я борюсь с ней. Не с ревностью. С Маргулей. Она смотрит на меня непонимающе. Тем лучше.

Когда в сарае-доме освобождается комната — умирает старуха, которую бросила на время дочь, возвращаясь в Ленинград, а потом так и забыла за ней вернуться, — мы классом переносим вещи Маргули. Я несу фотогра-фию в красивой рамке — она и Володя головка к головке. «Як и Цыпа».

Любовь вышла из меня сильным носовым кровотечением. Пришлось даже вызывать врача. Я лежу бледная, ослабевшая, пью гематоген, а ба-бушка рядом штопает носки одним ей известным способом перекидыва-ния ниток. Густая получается дырочка, несносимая. Носок — в хлам, а дырочка как новенькая. Стоит сама по себе ни на чем. Такая непобеди-мо заткнутая брешь...

Так вот... Бабушка!

— Хуже нет начинать жизнь на чужом горе. Знаешь, как оно плачет за спиной? К нему ж возвращаться приходится не раз и не два. Чужое, но тобой сотворенное горе, оно как дитя малое, которое не вырастает. Ста-рится, а не вырастает. Свое изжить можно, чужое-твое — никогда.

У нас в городе жил лилипут. У меня богатое воображение. Я предста-вила, что он всю жизнь идет за мной следом. Лилипут-горе.

Как это называется в медицине? Регенерация и субституция. Восста-новление себя. Устранение повреждения. Изгнание лилипута.

Я не хочу и не буду начинать жизнь с чужого горя, которое плачет за спиной.

Искусство наложения. Портрета на портрет. Сегодняшние щеки по-кроют с лихвой анемичные впадины той девочки.

Поэтому не поручусь, что все было именно так. Носок с бессмертной дыркой, кровь из носа до захлеба — это да. Было...

Но отчего? Отчего ушла та любовь? Может, все просто, Маргуля по-шевелила пальчиками и сказала: «Маечка ждет ребенка»?

В ее глазах — страдание. Я злорадствую. Мне хорошо, что ей плохо.

Я сообщаю новость дома.

— Слава Богу! — говорит бабушка и крестится широко, размахис-то. — Воистину слава Тебе!

В глазах ее я вижу радость.

Я же понимаю, что продление Маниок в вечности к ее радости не имеет никакого отношения.

Ты рано обрадовалась, бабушка... Так оказалось, что рано... Какой это срок — двадцать лет?

— Мама! — возмутилась дочь. — Ты что? — Она заметила, как я перед зеркалом подсмыкнула вверх юбку. — Тебе это противопоказано. Ты низкорослая.

Порода женщин. Низкорослая. Сильная. Выносливая в работе. Хорошо носит тяжести. Незаменима в быту. Неприхотлива в одежде и в питании. Такой я была вчера. Сегодня я укоротила юбку. Я чувствовала себя молодой, длинноногой, весьма прихотливой и неуловимой для соглядатаев.

Я его увидела сразу. Он охаживал песочницу возле моего подъезда. Спасибо дереву: я за него ухватилась. «Тебе не семнадцать, и он тебе никто».

Такими примитивными словами я хотела себя остановить. Но, видимо, не очень хотела. Потому что...

Потому что ничто не прошло. Не «не проходит бесследно», как поется в какой-то песне, а *не проходит вообще*. И семнадцать лет живут и здравствуют в впавшей в маразм старухе, а может, еще лучше здравствуют. Спросите старух, спросите! И в этом доказательство первичности духа, его всемогущественной производительности. Что там труха-материя! Дряблеющее тело, седина и шелкающий присос. Человеку всегда одномоментно и семнадцать, и сорок, и шестьдесят девять... Если в тридцать восемь не умирает семнадцатилетний восторг, то куда он денется потом?

Итак, я держусь за дерево, мне тридцатьвосемьсемнадцать, и я его разглядываю.

Он пополнел, моя мама сказала бы «возмужал». На нем плащ, который я мечтала купить мужу, но именно на мужнин плащ почему-то всегда не хватало денег. Раньше Володя носил длинные волосы, и они у него разваливались на две неровные половинки, оставляя кривоватый просвет. Он злился на волосы и зачесывал их назад, прилагая к этому слишком много характера. Он конфликтовал с волосами. Теперь он был коротко, до щетинки пострижен, и это ему шло — молодило. И вообще он был хорош собой... Впрочем, это значения не имело. Он мог быть каким угодно. Я это поняла и отпустила ветку дерева.

Мы сидели на вокзале, окруженные стронутым с места миром.

Он рассказывал, что его перевели в министерство, квартиру поменял, с хорошей доплатой, на большую: надо было забирать овдовевшую тещу. Теперь они живут огромным колхозом. Вавочка вышла замуж (чего ты вскрикиваешь, дура, ведь прошло двадцать лет!), привела мужа, мальчик хороший, из провинции, их дом — единственное пристанище молодых. Саид, сын, уже в третьем классе. «Это не мой сын, но, поверь, я их не разделяю. Хотя в глаза бросается — он черненький и глаз у него восточный. Ты знаешь нашу историю? У меня тоже ведь есть сын... Живет со своей матерью в Болшево. По воскресеньям я его забираю в наш кагал. Хороший ребенок, но моя бывшая его перекармливает. Доведет, кретинка, до диабета. Мая работает в отделе технических переводов. Так что, видишь, все при деле. О тебе знаю... Знаю, кажется, все...»

— Перестань, — смеюсь я, — все я и сама про себя не знаю.

Во мне растут и развиваются два совершенно противоположных чувства. Одно славенское, родственное: вот встретились земляки, соседи, можно сказать, и есть о чем поговорить в круговерти вокзала, которая не просто оказалась рядом. Она — круговерть — как бы матка всей жизни... Из нее движение поездов и товаров, но из нее же браки и разводы, узбекские черноглазые мальчики и русские пастозные, склонные к диабету дети... И технические переводы из нее, и сумасшедшие клятвы над розовой колбасой... Сейчас я возьму Володю за руку и скажу ему: «Зачем я завела тебя на вокзал? Идем ко мне... Скоро придет муж, поужинаем... Выпьем по рюмочке, а в воскресенье вы приедете с Маей, я испеку пироги с капустой и яблоками... Ну?»

Конечно, я ничего этого не говорю. Потому что клубится во мне и не-что совсем другое. Оно идет не из матки-круговерти, оно из кончиков моих пальцев, порезанных, поколотых, хозяйственных пальцев, на которых маникюр не держится, и я принципиально ношу свои ногти без лака, с заросшими лунками. И если не рядить пальцы в перстни, которых у меня нет, это выглядит вполне пристойно.

Так вот... Мои мастеровые сейчас пульсируют, они криком кричат, что не для того мы встретились, чтоб жевать пирог с капустой, что то, что мы сидим на вокзале, — одна кажимость. Нас тут нет... Мы не принадлежим шевелящейся человеческой массе...

Володя берет меня за руку, и мы встаем. Мы переходим с ним от одного отъезжающего поезда к другому, от одного к другому. Чего-чего, а поездов на вокзале навалом, и так удобно здесь целоваться, и плакать, и смеяться, и говорить глупости, не боясь быть услышанным.

Тут возникает как бы противоречие с предыдущим. Ибо, мысленно отторгнув от себя мир вокзалов, людей и сутолоки как чуждый нашим тонким и тайным чувствам, мы ныряем все-таки в него же, что говорит о неразрывности сущего, а больше ни о чем.

Позвонила моя дальняя родственница. Попросила меня попросить моего сына пожить в ее квартире, пока она съездит на похороны сестры. У нее кот — в нем вся загвоздка. Кормить, убирать и прочее. Я сказала: конечно, конечно, и она привезла мне ключи.

Позвонил Володя, сказал, что у него ключ от номера в гостинице и на меня заказан пропуск.

Два ключа в один день — это уже судьба, сказала я. Гостиница мне показалась чересчур, и мы поехали кормить кота.

Причудливое смешение правды и лжи. Дома я сказала, что у меня ключи и я буду ездить кормить кота, хотя «тетя Катя попросила пожить у нее тебя, сынок!». «Еще чего!» — ответил сын. «Я так и думала», — ответила я.

Я «вернула» тетю Катю раньше срока, потому что через три дня сын расчул преимущества владения отдельной квартирой. «Где ты был раньше! — сказала ему я. — Она уже вернулась».

В эти же дни позвонила Мая.

Она застала меня поздним вечером — я долго «кормила кота».

Я ей обрадовалась. Нет, все-таки мир существует не только в общей свалке. Если хочет, он может быть и параллельным. Мая захлебывалась словами, передавала мне привет от мамы и от Володи: «Вот он, только что вошел. — В сторону: — Мама, накорми Володю!»

Мы с ним час тому назад съели курицу-гриль, запивая ее «Алазанской долиной». Мои руки еще пахли курицей, а небо держало сладковато-пряный вкус вина.

— Передавай ему привет! — кричу я.

Мы договариваемся встретиться. Спорим у кого. «Чтобы ты увидела маму, лучше у нас!» Зачем мне старая Маниониха? Я ведь все помню, и я боюсь ее глаз, которые посмотрят и увидят. Но в конце концов я смирюсь, подчиняюсь Мае. Мы назначаем день.

Как рассказать об этом единственном и последнем общем застолье? С чего начать?

Со сборов. Казалось бы, зачем уж так, если он меня видел. Оказывается, одеваясь, я имею в виду старуху Маниониху. Мне надо что-то ей доказать... Что? Глупо... Бездарно...

Я напряглась как могла... Я выстирала мужа. Мы купили бутылку коньяка и букет цветов. На бутылке был белый аист, на аистов вниз головой были похожи белые каллы.

Дверь открыла Мая, и я поняла тщету всех своих ухищрений. Конечно, она была лучше меня! Ей все шло. Полнота, которая казалась легкой, летящей, старомодная прическа «бабетта», уже чуть-чуть оплавленный подбородок, вставной зуб слева, обнажившийся в сияющей улылке. Даже вены на ногах, голубоватые, ветвистые на белоснежной теплой коже, вызывали не сочувствие, а восхищение природой, которая и недостатки свои может так лихо подать, что ахнешь. Я и ахнула, испытав чувства того самого ребенка, которому еще неведомо деление полов и причудливые притяжения именно знаков отличия. Я, дважды рожавшая женщина, любила другую дважды рожавшую женщину, и это не имело никакого отношения к дружбе, потому что мне хотелось поцеловать синеватый завиток вены под ее коленной чашечкой. Мы целуемся горячо, страстно, от Май пахнет свинными хрящиками домашнего холодильника.

Двое неизвестных мне мужчин разговаривают рядом. Я врубаюсь с трудом: на одном из них галстук моего мужа, у другого короткая щетинка волос на голове. Они почему-то смотрят на меня оба. И я почти готова им представиться как незнакомка.

Но тут из недр квартиры выплывает Маниониха. Зачем она мне была нужна — не нужна? Что я о ней думала? Не помню, не знаю...

Мы с ней тоже целуемся. От нее пахнет только что выпитой валерьянкой. Бедная старуха! Может, она тоже думала обо мне и забыла что?

Объявился черноглазый мальчик, похожий на Мамлакат. Вава была точная копия своего имени. Ва-ва. Ленивая, тягуче-медлительная, мягкая. Интересно, а если бы с детства ее звали Викою? Витой? Что получилось бы? Муж ее был робок и вытирал рот через каждые пять минут. Кто его так закомплексовал? Родители или белуга Вава? Мая подкладывала ему лучшие кусочки, через шесть лет я буду точно так же поступать со своим зятем, а раньше с невесткой, которая потом припомнит мне все мои заискивания.

Но это когда еще будет, а пока мы под пристальным оком Манионихи, которая, изучив лицо, костюм, галстук моего мужа, вернулась к главному объекту исследования — ко мне.

...Он ищет мою ногу под столом именно в тот момент, когда Мая сбрасывает шерстяную кофточку — «такая духота!» — и остается в легкой майке, я вижу ее красивые голые руки, оспины, повлажневшие подмышки. Мне кажется, что я слышу, как они пахнут.

И тут эта прижимающая меня нога. Кажется, именно в этот момент я подумала о спорадическом свойстве нашего романа. *На этот раз он уже кончился*, как когда-то кончился на замахе на меня козым батогом.

Я еще не знала всех толковых проявлений этой странной любви, но ногу я отодвинула категорически. И еще я не дала поймать, зацепить меня взглядом, я сказала себе: «Хватит. Мая значит для меня гораздо больше. Даже Маниониха значит больше».

Мне настолько ясен был конец истории (на тот момент), что я испытала некоторое отвращение от попыток вернуть меня туда, откуда я ушла навсегда (так казалось).

На следующий день по телефону я скажу ему резко и прямо, а при встрече отпрыгну в сторону и вообще ляпну хамство: «Мне что, с милицейским свистом теперь ходить?»

Все попытки Володи вернуть меня в его стойло, а их много, только раззадоривали меня. Это же надо! И это с ним я целовалась на всех платформах и бегала голая на глазах весьма удивленного кота, который однажды даже ткнул меня с противным таким мяукающим отвращением. Я еще тогда сказала Володе, что наше счастье — неумение кота говорить. Он засмеялся. «Кастрат просто умирает от зависти». — «Почему кастрат?» — «Иначе он бы тебя попытался отбить...»

Мы перезванивались с Маей, однажды вместе ходили к спекулянтке блузками и косметикой из Польши. Как-то пунктирно, осторожно рассказали мы друг другу о своих *других* мужьях. Обе сказали про себя: дуры.

Мая хвалила Володю: все ей простил и мальчика любит.

— А ты?

— Что я?

— Простила?

— За что? За тебя?

Я остолбенела. Она что — знает?!

— Он ведь тоже был женат, — сказала я то, что, собственно, и имела в виду.

— А! Но ведь это у него случилось после моей истории... Вот тогда — помнишь? — в наш первый год... Когда ты... Если бы я не забеременела, я бы от него ушла точно... Он тогда вел себя недостойно. Я виню его. Он был старше, а ты была дурочка с переулочка, и у тебя ведь никого сроду не было... Так ведь? Но ты не думай! Это все забыто навсегда, а тебя я люблю. Ты ушла от нас, а я ходила и нюхала твой запах. Ты мне родная, Анька! Как Вавка... Странно, если подумать, но это правда.

— Это правда, — ответила я. — У меня тоже...

Мы даже повсхлипывали чуток.

Потом дома я вернулась к этому разговору. Значит, она *тогда* знала. Знала сразу? Или ей правду в ухо вдула Маниониха? Или Володя покаялся? Не знаю... Все может быть, все. Не буду же я спрашивать? Да и не это главное. Главное, это наша с Маей любовь-дружба или как там ее называть.

Обнюхивающие друг друга подружки...

Она позвонила и сказала, что они уезжают в Челябинск. Новость была непонятной. С какой стати? И кто это в наше время уезжает из Москвы? Не в какое-нибудь Рамбуе Парижской губернии, а в провинцию, которая к тому же уже и Азия.

Выяснилось. Володя получает в хозяйство целое областное управление. С чиновницей точки зрения большой прорыв. Им дают роскошную хату, но прописку в Москве оставляют. Здесь остаются Маниониха, Вава и ее муж. Никакого с собой скарба не берут. Квартира там уже обставлена, как положено по чину и званию.

— Я рада, — сказала Майя. — У меня с Москвой отношения не получаются. Мне в ней неудобно, неуютно. Такие все злые, завидующие. Как только ты приспособилась?

Я провожала их на вокзале. Барахла все равно оказалось много. Володя с зятем носили чемоданы, баулы, а мы с Маей охраняли их на перроне. Саид и Вава сторожили скарб в купе.

Володя не смотрел в мою сторону. Один раз, когда я отпрыгнула, чтоб дать ему дорогу, я поймала его взгляд — злой, непрощающий, несчастный. И как бы окончательный...

— Извини, — сказала я.

— Ты как раз на дороге, отойди. — Мая отвела меня в сторону.

Почему-то мне показалось, что она сказала это не просто так. Я ведь действительно — *стою на дороге*. «Если бы я не забеременела...» — тогда. «Если бы нас не послали в Челябинск» — сейчас. Ведь только я знаю, что некий странный, дикий, неуправляемый источник, бьющий во мне, пересыхает раньше внешних обстоятельств, что начало и конец во мне самой, хотя даже от меня зависят весьма условно.

Но я покорно отхожу в сторону, как будто мы на самом деле играем пьесу и жизнь на этой платформно-пространственной площадке. Пусть будет так, пусть...

Мне до слез жалко, что уезжает Мая. Никаких *других* чувств у меня нет. И мне даже странно представить, что они были.

Мая в платочке в горошек, завязанном под подбородком. Треугольник бледного лица. Возле губ подсыхающая заеда. Глаза кажутся почему-

то больше, ну да, от того, что платочек унял щеки. Светлая челка на высоком лбу. И две глубокие продольные морщины.

— У меня точно такие, — говорю я ей, открывая свой лоб.

Она смотрит без всякого интереса.

— Вавка беременная, — говорит она вдруг. — Просила тебе не говорить.

— Господи, почему? — обижаюсь я. — Я же могу помочь, если что...

— Товарищ не понимает, — насмешливо говорит Мая. — Товарищ тупой.

— Это по молодости, — говорю я. — Стесняется еще, молоденькая.

Мая смеется, и я вижу ее вставные зубы.

— Все! — кричит Володя из тамбура. — Майка, заходи в вагон. Тебя не зову, — говорит он мне, — там ни сесть ни встать. Пока! — машет он рукой.

Я поворачиваюсь к Мае, она уже не смеется, она смотрит на меня как-то странным, жалеющим взглядом.

— Не надо, — говорю я ей, — не навсегда же расстанемся. В Москве у вас заложники. Вернетесь.

— Куда денемся? — вздыхает она.

Мы обнимаемся. Я ее выше. Мое объятие покровительственнее.

— Не проговорись Вавке, что я тебе сказала про нее, — просит Мая. — Мужу привет, ребятам. Не болей!

Из вагона выскочила Вава.

— Мама! — кричит она. — Саид плачет, боится, что ты отстанешь.

Мая кидается к вагону, потом спохватывается, быстро целует Ваву, хлопает по спине робкого зятя, который норовит никому не попасть на глаза.

Из окна на меня смотрит Володя. Мне стыдно, что я его не люблю. Совсем не люблю. Зачем это все было? Хорошо, что все так быстро и без потерь кончилось.

Поезд уплывает, я машу вслед, у меня вполне светлая грусть, но тут я вдруг вижу, как стремительно уходит с перрона Вава, властно взяв за руку мужа. Она уходит, как бы не зная меня, — я понимаю это по ее спине, по напряженным икрам... Большая гривастая голова без «прощай» скрывается в переходе. На тебе!

Значит, она в курсе... И Мая тоже. И это ко мне было обращено ее насмешливое: «Товарищ не понимает». А я молола всякую чушь... Тогда вполне можно допустить, что и отъезд их не просто важная номенклатурная игра, а элементарный побег. Что называется, от греха подальше... От греха... От меня...

Я постарела на этом перроне на десять лет. Я просто чувствовала, как иссыхает моя плоть, как морщится в безвлажье, как засаливаются суставы, как твердеют и костенеют ноги. Жизнь — мягкость и влажность, смерть — твердость и сухость. Тонким, нежным, слабым вибрациям пришли на смену тяжелые, грубые. Меня, не сходя с места, перенесло в совсем другое тело, а износившееся расплылось лужицей и тут же высохло.

Примеряю новое тело, как протез.

Вот тогда в первый раз я поднималась по лестнице с хрустом в коленках.

III

Нет уж дней тех светлых...

Потемнело чисто поле...

Как зима катит в глаза.

Оглянуться не успели...

Внук тычется мне в грудь сморщенным носиком. Лапочка ты моя... Хотя, читала, в каком-то диком племени именно бабушки выкармливают

внуков. Именно в этом состоит их предназначение, и соски их, закрытые смолоду, расцветают, влажнеют и растворяются. Ничего себе, да?

Мы, женщины северной страны, уловили сигнал этого племени — по своей дикости, что ли? — но не поняли его. Наши бабушки дают внукам закурить и выпить. Они чувствуют — что-то надо дать. Но не знают что...

Нет, это не благо — работать на расстоянии вытянутой руки, если рука вытянута через эстакаду из трех уровней. Каждый день я умираю на этих проклятых лестницах. На них навсегда затвердел звук моих щелкающих суставов. По его формуле меня восстановят инженеры и техники Страшного суда. Надо же будет нас откуда-то соскрести, меня соскребут с московской эстакады.

Да, все так. Как миг, пролетели пятнадцать лет. Что было за это время? Все. Женильба сына, хирургическое вмешательство, замужество дочери, смерть мамы, взбрык мужа, ошеломленного возникшими мужскими проблемами, и поиск выхода в «открытом космосе». Комета, с которой он столкнулся, была молода и слюнява, что было видно только со стороны. Вблизи эти слюни были ему медовыми устами. Я не оказалась на высоте, а растерялась, рассыпалась на составные. Спрашивается — с чего? Что, я не знала, как это бывает? Не знала, что в любовном деле нет правил, нет логики, нет закона и порядка? Не я ли сама проходила в жизни через спорадическое самотрясение, когдаглохнут и слепнут все системы самосохранения и жизнеобеспечения, когда ты не то что разрушаешься стихией, а ты сама — стихия. И черт тебе брат, друг и товарищ.

Как нам хватило ума и терпения пережить эту детскую мужскую болезнь, сама не знаю. Что-то нас удержало на грани, а скорей всего, у «медовых уст» не было терпения ждать под часами времени поношенного кавалера. Девушке хотелось всего сразу (нормально!): и постельку, и венец, частями ей не годилось. На самом пике этой истории я совершила глупость: ляпнула про Володю. Дескать, и он и я на семье не посягали. Было полное ощущение говорения правды. Три дня я верила себе, как бы я была Сталиным. «Мы так вам верили, товарищ Сталин...» Меня спасло это сравнение, филологический корень семьи вовремя пустил росток, и цитаточка пелену с глаз и смахнула. Семья, разбомбив, как оккупант, собственный дом, сама и занялась его восстановлением. На процессе подноса кирпичей и раствора склеилась. Была даже радость второго захода, второго обретения. Уже через год почти забылась девочка, хотевшая все и сразу. У нее было нелепое имя — Капа.

Мая и Володя продолжали жить в Челябинске. Маниониха умерла. Последние годы она жила у них. Вава родила двойню, выпихнула робкого десятка мужа и завела нового — палец в рот не клади, — тренера по теннису. Тогда еще теннис не был игрой политически модной, в голове такого не держали, но кто что знает? Может, тяжелое белое Вавино тело улавливало пульсации будущего?

В Москву приехал учиться Саид. Он стал таким писанным красавцем, что к нему приставали на улице как женщины и девчонки, так и мужчины и режиссеры фильмов. Странно, но он был хорошим, скромным мальчиком и оглушительности своей красоты стеснялся.

Мая приезжала в Москву часто, всегда звонила, иногда приходила в гости. Каждый раз я жадно ее разглядывала. Вот она снимает пальто, блузка смялась, сдвинулась, Мая ладонью заталкивает ее в юбку, выпрямляет. Она полнеет, моя подруга, животик тяготит тело, Мая достает из рукава большой и легкий пуховый платок и бросает на плечи. Платок скрывает помятости блузки, и животик ныряет в концы платка. Мая не пользуется косметикой: какая есть, такая есть, поэтому она не кажется моложе, но и старше не кажется. Я знаю: потом она выиграет. Нам, пленницам мазей и красок, помочь будет все трудней, мы попадем в глухую зависимость от

румян и помады, от частого щелканья косметичкой у некоторых из нас, особо впечатлительных и эмоциональных, начнется пальцевый тремор, от чего брови могут в рисунке оказаться несимметричными, а губы выйти за пределы... Всего этого конфуза у Майи не будет. И я опять и снова преисполняюсь нежностью к ее какой-то подкожной предсудимости. Я думаю: какая умница. Но это мне самой как бы не впрок. Возможно, встречайся мы чаще, я бы в конце смогла сформулировать, что за странное чувство я к ней испытываю всю жизнь, а может, оно кануло бы при каждомдневном употреблении. С тонкими чувствами такое сплошь и рядом.

А так... Раз в год, в два меня окатывает нежность к подруге, и я думаю: туда, куда мы вернемся, когда окончательно износим кожу и кости, мы ведь вернемся без пола. И моя любовь-нежность к Мае не потребует объяснений. Я путаюсь в мыслях, обнимаю ее огузневшие плечи, вдыхая запах ее волос, какой-то странно-горяче-горький.

А тут она позвонила и сказала, что они вернулись в Москву совсем.

— Тесновато, — пожаловалась Мая. — Мы с Володей — люди избалованные. Последние годы каждый имел спальню. А сейчас всюду живут близнецы, нам досталась мамина комнатка, — помнишь ее? Угловушка... Володя нервничает... И Вавиногу мужа он так до сих пор и не воспринимает. Он не прав, абсолютно... У них такая с Вавкой страсть...

Я пытаюсь представить Ваву в страсти. Полную, рыхлую, тяжелую...

Как-то неуверенно договариваемся с Маей, что надо бы встретиться домами. Отметить возвращение.

— Обязательно! — говорит Мая.

— Да! Да! — говорю я.

Треп. Не больше. Стихийно, случайно, экспромтом — еще может быть. Но чтоб перетирать бокалы и чистить подносы, то нет. Как говорила моя покойная бабушка в подобных ситуациях: «Цёго не буде...»

Я не хочу и не буду видеть Володю.

Все *эти* чувства я износила. Я была наверху блаженства, но ведь и на краю бездны стояла тоже. Досыть, что значит хватит. Но у меня именно «досыть». До сытости. До тошноты от всех этих странностей любви.

И еще. Я боюсь...

Но вошь... Вошь таки заползла в голову.

И как ловко! Как мастерски она преодолела санитарные кордоны, выстроив на своем пути ко мне эркер с открытыми на лужайку окнами и поставив меня в нем. Ну, конечно, я все понимаю, я могу сама себя объяснить. Днем, на улице, я видела, как двое бежали друг другу навстречу. Видела ботики на согнутых ногах, когда он поднял ее выше себя и у нее засмеялись волосы. Они кружились вокруг ее головы, переливаясь всеми цветами радуги, и я слышала их смех. Такое оглушительное счастье волос и ботишков и его рук, которые ее подняли, и такой жар от них, что меня, проходящую мимо, просто-напросто подпалоило... «У тебя уже этого не будет, — громко сказала сидящая на мусорном баке ворона. — И нечего зариться климатерическим глазом». — «Ты не права, — ответила я ей. — Я смотрю без зависти. Я смотрю с пониманием». — «Старая женщина не может на это не смотреть без зависти». — «Может!» — «Не может!»

Именно после этого вошь-ворона выстроила мне на погибель эркер. Я там стою, а Он — влажный, с полотенцем через плечо, со смуглыми выемками над ключицами, идет мне навстречу.

Оно победило — это птиценасекомое.

Уже через малюсенькое, вполне помещающееся в оспинке поры время я поняла, чего хочу...

И пошло-поехало...

Можно ли назвать встречу случайной, если ты каждый день ее видишь? Уже была смакетирована, выстроена и заселена некая реальность. В ней существовали другие силы притяжения и другая речь. Там не было суставного ревматизма и волосы не секлись от химии. Там на мне была коротенькая шубка из песца, и между нею и сапогами из лучшей кожи были только ноги. Только! Там они у меня были длинные-длинные — до ушей. На полях рукописей я рисовала это — летящую себя.

Скажу так: я расчесала воспоминания. Сначала исподволь, по чуть-чуть... Потом все больше и больше...

Кликуша накликала...

Я шла и думала: сейчас он выйдет из-за угла.

И он вышел.

Конечно, не так. Все грубее и проще, насколько грубее и проще жизнь супротив умственных химер. А может, не в жизни дело? Может, стареем не только мы? Может, наши ангелы-амуры тоже начинают летать ниже по причине одышки и ревматизма?

На базаре. Мы встретились на базаре. Над свежее-мертвой петрушкой.

— Почему?

— Почему?

Наши руки столкнулись деньгами, и я их узнала — пальцы и ладонь. Я потом очень удивилась, когда он снял перчатки. Значит, пальцы его были одеты? Как же я их узнала? Значит, опять это сумасшедшее *ничто*, которое видит сквозь темноту и одежды? Но это ля второй октавы уже сопровождается тахикардией. Я просто вижу свое сердце, оно дергается и даже взлетает. Оно — курица, которой отрубили голову, но она еще не знает про это. Он же обхватил меня и куда-то тащит, болтаются сумки, в них давятся яички. «Это бездарно», — думает моя отрубленная голова.

Мы рухнули на какую-то скамейку возле трансформаторной будки. Почему-то он ошупывает мое лицо, и я не удивляюсь этому, как будто всю жизнь меня узнавали слепым методом, как будто в нашем случае он точнее и нет вернее пути вернуть к жизни ту силу, что вела нас к месту и времени, в переулке под свод переполненного и кренившегося жаром Ковша Медведицы. Когда его руки признали меня, мы начинаем говорить слова. Оказывается, он давно ходит на этот рынок: когда-то я сказала ему, что кормлюсь с него. «Я боялся встретить тебя с мужем». Странное ощущение при слове «муж». На секунду я выхожу из ситуации прочь, становлюсь сторонней, как если бы я смотрела кино, и думаю, что сидящая на скамейке немолодая женщина в сапоге с незакрытой до упора молнией выглядит глупо и неопрятно. Что всякие соприкосновения ее при белом свете с плешивым мужчиной срамны и надо что-то делать, что-то изменить, отодвинуть и поправить хотя бы направление отяжелевших ног, между которыми обвисла сумка с яичницей-болтушкой. В слове «муж» три буквы. Коротенькое слово не сумело вынуть меня из другой реальности. Брачные слова должны быть длинными, тяжелыми, как цепи на воротах иностранных посольств. Они должны уметь предотвращать или служить способом по вытягиванию из...

Я делаю над собой усилие... А может, это делает цепь...

— Неужели ты думаешь, — говорю я ему голосом, который не узнаю сама: какая-то сухая хрипотца и модуляции подлые, лживые, и я этим звуковым материалом вяжу слова совсем из других пределов. — Неужели ты думаешь...

— Я не думаю, — говорит он. — Я счастлив тебя видеть. Ты посела...

Неделю как мне надо было подкраситься... Это делает муж. Зубной щеткой он мазокет мне корни волос. Каждый раз, сидя посередине кухни со стареньким халатом на плечах, я думаю: а каково ему после этого

меня обнимать в постели? И что это я себе позволяю? Не дура же я? Но приходит момент — и я возникаю перед ним с зубной щеткой, и мы начинаем этот беззвучный разрушительный процесс. «Ничего, ничего, — утешаю я себя, — я ему срезаю мозоли».

Мозоли и щетки возвращают меня в место и время. Я говорю Володе, что рада его видеть, что хорошо, что они вернулись, спрашиваю, как у него с работой, как внуки. Одним словом — я гунявлю. И просто вижу его *превращение*. Он грузнеет, тяжелеет... Можно ли сказать, что глаза погасли с шипеньем? Или это будет чересчур? Но чересчур и не было... Предположим, я, вспомнив сексуально невозбудительный процесс покраски волос, впала в унылый речитатив. Вернуло ли его это к месту действия — базару — или в нем замкнулась собственная клемма и он из *еще и еще вполне* перешел сразу и без остатка в *уже и уже вполне*?

В общем, приволок меня на лавку один мужчина, а сидел совсем другой... Обмякший, огурузший, тухлый. И эта моментальность перехода меня, можно сказать, доконала.

— Все мои яички побились, — сказала я, вынимая пакет с болтушкой. Потом я встала и легкой походкой (старалась!) отнесла пропавший продукт в мусорный контейнер.

— Зачем же так? — закричал Володя. — Их можно использовать в тесте! Или омлете!..

А чего я ждала? Какого поворота?

Я шла от контейнера еще более легко, уже не прилагая особых усилий, я шла и думала: это у меня кончилось навсегда. Нашей страсти хватило на тактильную связь. Хорошо, что это обнаружилось по дороге, а не доведи бог до какой-нибудь квартиры с ключом.

Пути Господа неисповедимы. Хотя в данном случае наверняка его упоминаю все...

Но я вернулась к Володе после выбрасывания яичек прямо в объятия, и пошло-поехало...

— Меня ты так просто не выбросишь, — сказал он.

— Это я тебя накликала, — ответила я. — Я только не знала, с какой стороны ты явишься.

Наш пожилой грех был очень сладким и никогда таким горьким. В-первых, во-вторых и в-третьих — некуда было деваться. Была какая-то полуброшенная дача без воды и света, комната в коммуналке с часовой оплатой, мы бренчали случайными ключами, и это была мелодия поражения. Грех был похож на выброшенную на берег огромную медузу, которая плющилась, истекала, жалила, а на ее агонию пялились случайные люди, а дети тыкали в нее палкой.

Мы свято верили в соблюдение тайны, хотя...

Хотя был между нами разговор: а не объявиться ли всему миру и решить эту затянувшуюся проблему раз и навсегда?

— Сколько нам осталось! — говорил Володя, когда разговор этот возникал с его подачи.

С моей подачи возникали более экзотические мысли о всеобщей последующей дружбе, я покрывалась липким стыдом и уже не договаривала до конца.

Поиски выхода успехом увенчались: нам перестали попадаться ключи и сквознячные дачи. Одним словом — медуза на камнях высохла сама собой... Истекла...

За все эти два месяца и четыре встречи Мая из жизни как бы ушла на время. Не звонила, не звала к спекулянтке, я тоже не звонила, не предлагала новый детективчик.

У меня подросли волосы, и я с зубной щеткой в одной руке и драным халатом в другой встала перед мужем, как лист перед травой.

Деля волосы на пряди, муж с удовлетворением сказал:

— Ничто на земле не проходит бесследно. Ты стала седая бесповоротно.

Он оказался прав: на мою бедную голову не хватило краски. Это была хорошая работа для лукавого Тома Сойлера: при помощи воды и грубых мазков разгонять невыразимо каштановый цвет на всю возможную широту и долготу. Осторожное капание на голову воды из чайника — такой был дикий метод — и последующее ее стекание по лицу и шее было вполне подходящей пыткой. Зато и слезы, перемешавшись с водой и краской, достоянием широкой гласности не стали.

Муж же... Мазюкал и мурлыкал. Бда-да-да-да, да, бда-да-да...

Интересно, знала ли Мая? И на уровне каких хозяйственно-косметических дел объяснились они с Володей и было ли у них столь же подомашнему непринужденно?

Не знаю. Мы перестали звонить друг другу.

Ваву я увидела по телевизору. Это было в тот не к ночи будь помянутый день, когда мы все, утратив всякое представление о добре и зле, возможном и должном, смотрели по телевизору картину под названием «Явление Русской Идиотии народу мира». Я имею в виду расстрел Белого дома. Вавка стояла на мосту с двумя взрослыми близнецами, ела мороженое и криками подбадривала бомбардиров. Телекамеры взяли ее крупно и держали несколько секунд.

Я кинулась к телефону. Трубку сняла Мая.

— Их надо забрать оттуда! — кричала я. — Ты видела, где они стоят?

— Я не смотрю, — ответила Мая. — Это не для моих нервов. А чего ты так волнуешься? Ничего не будет. Это ведь все нарочно. Цирк... — У Маи действительно был абсолютно спокойный голос. Я бы, например, спятила, если б знала, что мои дети там. Во мне плеснулся гнев. Какая наивная дура!

Я просто задохнулась от гнева. Но, оказывается, между вдохом и выдохом огромное расстояние, в нем легко поместилось все наше общее с Маей время, не то, в котором финская, отечественная, врачи-космополиты, дыл, бур, убе, шур, целина, космос, сиськи-масиськи, жены президентов в элегантном красном, хождение толпой шириной в проспект, крики свободы из таких глубин потрохов, что собственная глубина кажется невероятной и в нее страшно провалиться, бдения августа и похороны трех красивых мальчиков, пустые прилавки и всюду старухи, старухи, старухи с сигаретами, сигаретами, сигаретами и крики, и стоны, и эти забытые туга ядра на распотеху миру... Ядра, ядра, ядра... Несть им числа у несчастной России.

...где в этом мире мы с Маей? Но именно сейчас, когда по дури плеснувший гнев, шипя, отполз, как побитая собака, я дохожу своим свороченным умом, что все вышеперечисленное гроша ломаного не стоит по сравнению с нами.

...двумя выросшими девочками, которых судьба зачем-то связала в узел. Чтоб мы поняли... Что?

А потом Мае отрезали грудь, и я приехала к ней на Каширку. Мая лежала плоско и улыбнулась мне, как в детстве. Доверчиво и радостно. Володя сидел рядом, и у него тряслись руки. Во всяком случае, налить Мае стакан сока он не сумел, махнул рукой, заплакал и вышел.

— Мужчины не умеют переживать горе, — сказала Мая. — Ты заметила, что они несчастья воспринимают как личную обиду?

— Потому что эгоисты, — ответила я. — Несут всю жизнь себя как подарок... Вот, мол, я, любите меня...

— Он так себя нес? — спросила Мая.

— Майка! — закричала я. — Ты о чем? Нашла время и место.

— А когда же еще? — тихо сказала она. — Сколько у меня времени, чтоб понять... Тебя. Его.

Я кинулась к ней на кровать. Как я рыдала и выла, надо было видеть, слышать. Володя стащил меня с Майи и дал мне по морде — правильно, между прочим, — и сказал, чтоб я уходила и чтоб ноги моей в больнице не было.

Видели бы вы его лицо. Ничего похожего на человека, с которым мы топали по хрусткому перелеску к нашей временной собачьей будке. Просто ничего. С ним ли я шла?

Я брела по скорбному коридору больницы и думала, как бы он себя вел, если бы на кровати плоско лежала я? Как бы вел себя мой муж? Тряслись бы у него руки, наливающие сок?

Гнусно ли это или нормально, но мне хотелось об этом думать. Я двигала нас туда-сюда, туда-сюда... Вот уже не Мая лежит — Володя. Это он, глядя на Маю, говорит:

— Женщины не умеют переживать горе. Впадают в истерику. Посмотри на Майку.

И я буду выводить Маю в коридор, давать ей сердечные капли, пролью их, мы завоняем валерьянкой. И этот запах неблагополучия объединит нас, и мы будем трястись в плаче, прощая друг друга.

Вот оно что! Вот... Больной Володя нас бы объединил, а больная Мая нас разъединила.

Тогда я подставляла в наш кривоватый четырехугольник самую незначущую в игре сторону — собственного мужа, и получалось совсем ужасное: в этом гипотетическом горе я была бы одна. Совсем...

Нет, мы были все-таки треугольником, и я даже вздохнула с облегчением, что муж, слава Богу, — тьфу! тьфу! тьфу! — здоров и не имеет к нам отношения. Спасибо тебе, дорогой мой, мне есть куда прийти с побитой мордой. Я виновата перед тобой, мне стыдно, а там мне не стыдно и я не виновата. Там я в другом вареве, и уже столько лет...

Мая позвонила сама, уже из дома, попросила принести детектив. Я выбрала три, самые-самые... Сделала свой фирменный «наполеон», купила «орхидею в домике». Я думала: что еще? Мне хотелось тратить на нее деньги, ублажать...

Она хорошо выглядела. Выпавшие после химии волосы подросли. Я вспомнила Анну Каренину, у нее тоже после тяжелых родов волосы вылезали черной щеткой. Так написал граф. Ему была неприятна Анна, грешнице полагалось умереть, а она выжила. И ошетичилась.

С какой стати это вспомнилось тут, у Майи? Майи-безгрешницы? Майи-страдалицы? Тут явно была путаница, и путаница не только в моей голове. В голове — безусловно, но была какая-то неправильность по большому счету. Щетинка так, намек, знак... Чего?

— Ты похожа на Анну Каренину, — сказала я Мае.

— Я похожа на свою послетифозную бабушку, — засмеялась она. — У нас есть фотография.

Мая стала рассказывать про Саида, которому давно пора жениться, а он ни в какую.

— В нем стало проявляться национальное, — сказала она. — Понимаешь?

— Ну и что? — ответила я. — Что в этом дурного?

— Ничего, — вяло ответила Мая. — Просто чудно будет, если он примет мусульманство.

Она стала мне рассказывать про мужа-узбека, какой он был «очень восточный».

— С этим, понимаешь, ничего нельзя было сделать. Ничего. Они внутри несут в себе это... Свое, главное... Свою истину... Веру... А мы — нет... У нас истины нет.

— Тогда не мешай Саиду, — сказала я.

— Это неправильно, — рассердилась она. — Я ведь его мать, и у меня тоже есть вера.

В какой-то из моих приходив Мая сказала, что знает, от кого *заразилась этой гадостью*.

— Помнишь Маргулю? Когда она умирала *от этого*, я была с ней.

— Но ведь... — бормочу я.

— Ну да! Не заразен! Брехня. Она три дня держала меня за руку. Нарочно. Мстила. Я не знаю, в курсе ли ты или нет. Но еще до меня, по самой-самой молодости у них с Володей было. Представляешь себе тетю! Я, когда мы с ним познакомились, смехом его поддела... Вы, говорю, не перепутали, что значит быть племянником и тетей? У вас, мол, не заскок? Но у него и так все уже шло на нет... К Маргуле... Тебе и в голову такое не могло прийти, правда?

Не правда, Мая, думаю я. Я все поняла еще до того, как увидела саму Маргулю, а потом несла портрет, на котором они головка к головке. Я все знала сразу.

— С ней справиться тогда было не штука, — говорит Мая. — Я даже не боялась, когда она переехала к моим поближе... А таки отомстила: держала руку три дня, а я без понятия.

Не знаю, как себя вести: опровергать Маю или соглашаться? Что лучше ей самой? Ведь Маргуле давно все равно. Старая дева умерла молодой — в сорок лет. Умерла в комнате дома-сарая, которую дал от щедрот тоже давно покойный Маниока.

Как живой Мае лучше, так я ей и скажу.

— Плюнь, — говорю. — Ничего у Маргули не вышло. У тебя все в порядке. Подумаешь, операция! Как ты — мильён.

Мы примеряем протез. Тяжелый, он как бы переливается в руках.

Мая даже зарозовела от обретения формы и стала совсем молодой и хорошенькой. Мне хотелось ее обнять, утешить. Но пришла Вава и широко, расплывчато села на диване. И разговор пошел ни про что... И уйти оказалось легко.

А во дворе я встретила Володю и увидела, как он *плохо* встрепенулся. *Ощетинился*.

— Мая хорошо выглядит, — сказала я.

Он переложил сумку из руки в руку. У меня даже возникло нелепое чувство, что он снова собирается дать мне по морде затекшей от тяжести ладонью. И я поймала себя на том, что у меня уже есть опыт такого рода, и я даже развернула лицо так, чтоб смягчить удар, чтоб ладонь точно при-шлась на мягкое, на щеку.

Можно пережить пощечину и не получив ее. Это был тот самый случай. Я шла домой, и у меня горело лицо. Только добравшись до родных железяк эстакады и уцепившись за них, я поняла главное: вина и грех возложены на меня. Вернее, не так. Вину и грех выбросили мне вслед, быстренько захлопнув дверь. Собирай, кукушечка, свои бебехи и отвали. У людей большие и красивые чувства — болезнь, смерть, мусульманство, — а ты просто мимо шла, побирушка... ну вот и иди дальше... Моя покойная бабушка кричала с крыльца нищенкам: «Нечего подать! Нечего!»

Благословенны трижды эстакадные кривые лестницы. Пока то да се... Пока вверх и вниз... Пока отщелкали коленки...

Я приняла свою вину. Ладно. Пусть. Справлюсь. Тупым ножом как по сырому и теплomu мясу я отрезала их всех... Отторгла и вышла из соб-

ственной крови. А они уплывали, уплывали... На легком фантомном острове — Володя, Мая, Вава, Саид, Маниониха, близнецы, Маргуля, дольше всех виделась Майна голова со щетинкой волос. Гуд-бай, Америка, тебя я не увижу больше никогда.

Мне хотелось заплакать, но не получилось. Все-таки я не плакса, это точно.

IV

...Я никогда не буду жить на чистой улице чистого города.

Я зациклилась на этом. Дались мне эти островерхие чужие крыши с начищенными ручками дверей. Да, эта немолодая леди с сумочкой для пудреницы — не я, и я не присяду за тонконогий столик, чтобы выпить чашечку кофе в этом не моем чистом городе.

Ну и что? Где я, а где леди? Не естественней ли было бы вообразить себя старшей теткой в гареме или просто правоверной мусульманкой в широких штанах, замечательно скрывающих уже слегка обносившуюся плоть?

Но факт остается фактом: я ищу себе места, а на своем собственном месте я места себе не нахожу. И ничего тут не поделаешь.

Ни смирения плоти. Ни смирения души...

Опять он объявился у дома, как когда-то давным-давно. Сидел на грязном, записанном собачками крае песочницы. Горько сидел, безнадежно. Я привела его домой.

— Мы живем вдвоем, — объяснила я ему. — Детям построили квартиры.

Почему-то он сразу пошел на кухню.

— Идем в комнату, — сказала я ему.

— Тут привычней, — ответил он.

Он занял *мою* табуретку, и это меня раздражило, я стала чувствовать себя неуютно и как бы не дома.

— Не надо ни чаю, ни кофе — ничего! — сказал он. — Просто сядь рядом.

Я села. Он уткнулся лицом в мои руки и как-то тихонечко не то всхлипывал, не то подхихикивал, не то скулил. Потом поднял лицо, оно было сдвинуто, стронуту с места, такое потерявшее прописку лицо. И эта сбежавшая из дома личность стала говорить мне все раннее неговоримые слова. Мое травмированное не своей табуреткой сознание выдало мне для потехи мысль: хорошо бы ему онеметь на этот трагический случай в кухне. За столько лет я научилась находить его руками, распознавать в темноте, я его *чуяла*. При чем же тут слова и вообще весь вербальный мир? В этом мире были мои мужья, дети, я и сама в нем существовала. Вплоть до сумасшедшего зова. Так бездарно это формулировать, а он пытается, пытается, скрипя на моей любимой табуретке.

— Заткнись! — кричу я ему. — Заткнись!

Тогда он хочет исправить ситуацию другим путем...

Мы сидим с ним как два пораженца на поле брани. И я не добра, и не великодушна, и не хочу и не могу его утешать и успокаивать на фоне руин. Он сам нарушил правила нашей любви и пусть теперь отвечает, пусть. Я слушаю жалкую речь про то и се и жду момента, когда предложение уйти будет для него не таким обидным.

Но я затянула время, я его передержала... Он начал про Маю. Про то, что она стала чувствовать себя хуже, это, видимо, даже не связано с операцией, просто возраст, но раздражительна, плаксива... Знаю ли я, что

Саид принял-таки мусульманство и живет теперь отдельно, потому что *наше питание*... «Мая ведь все делает из свинины».

Я не хочу их свинины, их исламского сына, не хочу ничего знать про Ваву, близнецов и преуспевающего тренера по теннису. Я не хочу и про Маю. Не хочу от него...

— Я не хочу, чтобы ты мне говорил про Маю.

— Но вы же подруги! — удивляется он.

— Подруги, подруги, — говорю. — Но ты лучше уходи.

— Когда мы встретимся еще? Я же должен реабилитироваться.

— Не должен, — отвечаю я. — Никто из нас никому не должен.

Он уходит нелепо. Не может в наклон завязать шнурки, приседает — от напряжения у него отрывается на штанах пуговица, куда-то закатывается, мы ползаем по прихожей, ищем. Глупо... Бездарно...

Когда он ушел, я открыла окна. Но он долго не уходил — его запах. Запах неуверенного в себе мужчины, запах нервного пота, запах приседаний, вдохов и выдохов над шнурками.

Я выстудила комнату. Занавески ходили туда-сюда, и у меня закружилась голова. Просто парус, корабль и качка! Разматывай эту идею, дура, разматывай. Вообрази еще, что ты плывешь в островерхий город с чистыми улицами и надраенными ручками дверей. Ты там живешь... Там у тебя эркер... Ты в нем стоишь, а он идет к тебе по газону, которому триста лет...

...Идет в последний раз...



НИКОЛАЙ КОНОНОВ

*

ЧЕРЕЗ АЛЫЕ АЛЬПЫ

* *
*

Глухо бухнулся, так вырубился птенчик, и на жуткие носилки
Положили, из плаща пернатого не вынимая, как и всех,
Боже, не дари мне в новой жизни хвостик наподобие птичьей вилки
И дешевый заячий от страха постоянно мокрый мех.

Этот киль у сердца рядом — ну зачем он? Скажешь тоже...
Дятел, тетерев и с ними сычик-однолюб!
Не дари, пожалуйста, переизданье трепета, подшивки крупной дрожи,
Пота мелкую пшеницу, заводи испарины, плотины губ.

Даже если ртуть взвьется по стволу стеклянному, как белка,
Неженкой и белоручкой, к тридцати восьми годам утихомирясь лишь
На полволоска от суицида, — ну, слабо тебе, пернатая, не мелко
Изводить закаты эти, сумерки, морочить чушь и тишь..

* *
*

Если выпить, закурить, матюгнуться и вообще все-все, как говорится,
похерить:
Ну там, спиться, эстетически скурвиться, фигурально вымараться в чем
только можно
И сердцу сказать: прощай, катерок, отправляйся целовать в губы фьорды
и шхеры,
И, несносный жар сердечный, туда же лети и следом отправляйся,
холодок подкожный.

Ну исчезни, сгинь, смойся. Вот всему самому дорогому даю сальные
клички,
Вот ножиком перед мордой машу, валю, топчу, отбиваю память и заодно
почки
И без намека на слезы проплываю твои новостройки в психически
здоровой электричке
И под хлипкой лампочкой чишу свои перышки и подбрываю височки.

И думаю: какого фасона заказать себе в ближайшем ателье брюки
С хамской стрелкой такой и о другом рожне в таком же роде,
И уж если отваливают признаки томленья, как переполнявшие меня звуки,
То все сплошное буримс теперь, дебильное *во саду ли, в огороде*.

И это, в сущности, так по-нашему все, что случилось, так, извини,
 по-русски.
 Что на самом дне души, Бог мой? Навоз парнокопытных, помет
 пернатых,
 Сердце, само на себя оставленное, папиросой киснет в закуске,
 А вот и стада, оравы, гурты, стаи особей, во всем уличенных
 и виноватых.

И еще философский жар, гитара, балда, прикорнувшая баллада.
 Не люблю Тебя вовсе, и так мне, Господи, хочу сказать, стало
 привольно,
 Но только вымолвлю это, как понимаю, что нет мне с собою слада
 И тяжело и муторно мне без Тебя, невыносимо и больно.

* *
 *

Как и этого зализанного залива ссадина, сохнувшая лужица,
 Как и укоренившиеся над ним облака, Божие беженцы,
 Как и советы сосен, к которым стоило бы в сумерки прислушиваться,
 Ну хотя бы с восьми вечера придерживаться.

Как и комариная нежность, холмы зуда, солнцем освещаемые,
 Вся-вся-вся природа, с которой-то и делать мне нечего,
 Так как все жуки-казнокрады, бабочки-паскудницы с вещами
 Норуют утопиться в сумеречной стопочке вечера.

Вот два шмеля из питейного заведения мальвы выходят собутыльниками,
 Да и мы все друзьями вольнолюбивыми, вольнонаемными
 Стали б давно, да не поменяться нам пиджаками или пыльниками,
 И поэтому я приветствую другие мысли, до поры до времени затаенные.

Ты, мой дружок воробей, и ты, моя подруга пташечка,
 И ты, белая куриная косточка, ревматической стрункой
 постреливающая,
 Разве вы синонимы тоски, которая в полуметре тащится,
 Не то что она, даже признаки ее не надоели еще.

Как и морги, где каждого Марсием освежевывают, в полчаса
 Проигравшим в пух и прах пьянящее соревнование,
 Когда жизнь через алые Альпы переваливает, как ласточек полчища,
 Выдергивая из флейты ниточку придыхания.

* *
 *

Эти раздражительные женщины — перечницы, горчицницы, солонки,
 Жилицы полочек — баночки-кривляки, какие-то мензурки,
 Рыбоньки, в плечо креветкой уязвленные так тонко,
 Что и оспинка нам мнится досадным повреждением шкурки.

«Божьим лобзиком выпиленные пылкие куда как грубы
 Стрекозиные крылышки, — цедит под вечер ломака, —
 По сравненью с моими нервами». И этому вторят табака трубы,
 Духотой наваливающиеся из пышного мрака.

Эти твои вечерние загибоны, фанаберии, инфантильные пристрастья,
 Еще пыл этот, жар, пекло, зной, марево, истома,
 Ничего не объясняющие наречия сквозняков, да и деепричастья
 Умопомраченья, звездами не выделяемые, как идиома.

* *
 *

Это злость, ярость, ненависть во мне — на язык попавший волос волчий,
 Побежавший по аорте колкий непереносимый быстрый уголек,
 Разлетевшийся на искры, и не счесть уж этих полчищ,
 Слонов Ганнибаловых, осадных машин, воинов, две недели
 не прилегших в тенек.

Ах, Боже мой, а ведь почти что так же, если приглядеться, нежность
 Вдруг по губам проводит слабоумным темным волоском,
 И примерно в таком же темпе все отзывается на этот зов неизбежно:
 Скачут охотники румяные, утренние дымы пробираются ползком.

Никаких дорожных жалоб теперь, занудства; эти дорогие, дорогие
 Края, окрестности. В пожарной прееет шапочке веселой набекрень
 Молодой шиповник. Как будто кто-то на струны подул другие —
 И они откликнулись, заколосились, понесли сухую дребедень.

Вот если бы я писал тебе бредовые письма, то на барашки морские
 Соскользнул ко второй фразе после *тебя по-прежнему люблю*.
 И ты смотрела б на курчавую чушь, как на гурты овец Лия...
 Как Хлоя на хамоватых козлят, равнодушная к парнокопытному
 словарю.

И вот именно от этого медленное, но все же разгорающееся счастье
 Заполонит все, станет перетекать с равнины на холм
 Лесопосадками, ноющими еще, но в одночасье
 Могущими загудеть кронами, задудеть кронами Давидов псалом.



ЛЮДМИЛА АБАЕВА

*

НИОТКУДА В НИКУДА

* *

*

Кто небо усеял звездами
И землю засеял людьми,
Тот в вечном долгу перед нами
За наши короткие дни.

Он пестует души и бремя
Трудов этих тяжких несет,
Пока быстротечное время
Житейские сети плетет...

Всего и успеешь — родиться,
Влюбиться и сердце разбить,
Как властная чья-то десница
Уже начинает манить.

Куда? Ты не знаешь ответа...
Но чувствуешь — скоро идти.
Край моря, край неба, край света
В едином сольются пути.

* *

*

О, эти поля-нелюдимы
с российской кручиной всерьез,
по небу бредут пилигримы
с котомками, полными слез.

Безбрежная слезная жатва,
бескрайняя нищая рожь —
все примешь в себя безвозвратно
и душу вконец изведешь.

Казалось, к чему бы тащиться
в такую тягучую глушь,

чтоб долгой печалью упиться
из невысыхающих луж,

чтоб в эту слепую равнину
попасться, как в сети Ловца,
и жизни своей паутину
легко отвести от лица.

...Пока у погоды погоды
старухи угрюмые ждут,
недвижные движутся годы
в холодный и вечный приют.

Ночью

Не пойму я, что творится, —
то ли долгим клювом птица
за полночь стучит в стекло,
то ли небо протекло
и теперь на крышу плещет,
то ли ветер веткой хлещет
в темное мое окно...

Взглянешь — мёртво, тени длинные,
за озябшею осиною
светит тихая звезда
ниоткуда в никуда.

* *
*

Из глубины взыскующих ночей
все слышу зов мучительный ничей,
он словно изнутри меня тревожит —
так сон кошмарный мучит наяву,
так ветер бередит в садах листву,
и я шепчу невольное: «О Боже...»

Ни зги вокруг, в дыму плывет луна,
и кажется, я навсегда одна,
лишь плачет вдалеке ночная птица,
и вдруг в чужой пугливой тишине
я ощутила ясно — Бог во мне,
а я Его пленила, как темница.

Я жизнь живу как будто на краю
и потому гнезда себе не вью,
что время злое все нещадно рушит,
удел земного — пепел и зола,
и я себя от мира берегла,
нетленную вынянчивая душу.

Но мне сейчас открылось — Боже мой,
Ты жив во мне, как я жива Тобой,
но встрече нашей никогда не сбыться,
ведь пуще холод мой любого зла,
и окровавил Ты свои крыла,
стремясь вовне, как из неволи птица.

Не оттого ль и церковь на крови,
что любим мы, не ведая любви,
и сей обман от века не нарушим?

...И среди звезд, теряясь и скорбя,
Зовущего я позвала Тебя
и отворила замкнутую душу.



ОЛЬГА ГРЕЧКО



БЕЛАЯ ПРИСТАНЬ



Ходила пристань ходуном:
купались — раскачали.
Лежала лодка кверху дном.
Сидели и молчали.
Ах, не испортъ, не повреди,
кто ж бабочку — иголкой?!
Любовь лишь то, что впереди —
там, за Окой, за Волгой,
за днями, за летами, за
тайнинкой на портрете.
Любовь лишь то, чего нельзя
на этом белом свете.
Желтеет, крошится канва.
Отложим вышиванье...
Но —
 глаз такая синева,
что не до выживанья!

Одна и та же река

Твоя река — давно болото:
шесть соток рая, а во рту
не яблочка, а корнеплода
вкус,
 и уж лучше бы в аду...

Но есть проточная, живая.
На бережку ее крутом,
свой сарафан перешивая,
сизу в терпении святом.

Так чисто, что немного зябко,
Не знаю, чей она приток.
Уж сарафан почти что тряпка,
и выцвел в розочках платок.

Но я крою и шью упрямо,
порю и заново крою,
не рая в шалаше, а храма
взыскуя в том пустом раю.

Не поддаюсь ожесточенью
и на прощанье всех прошу
и — по теченью,
 по теченью
две лодки синие пушу.

* *
*

На задворках белокаменного храма
огородный воробейчатый уют.
Здесь лучи полуденные не в глаза, не прямо
бьют,

а, как воробушки,

крошки клюют.

Посижу подумаю: а мало ль дадено?
Любовь-то безответная теплится века...
Вон сытые воробушки, только я, жадина,
не пойму, в чем смысл Божьего пайка.
Посижу подумаю: куда девается
сине-зеленое из влюбленных глаз?
И какая на развалинах стройка затевается,
и какой толщины кирпичики меж нас...
Ах, синее, зеленое никуда не денется! —
забежит за тучку, за муромский лесок...
Привстает на цыпочки мое растение —
в соломенных ресничках глазок-колосок.
За глухую крепостную зубастую стену,
за свою матерчатую, кукольную плоть
загляну, как нитку в иголку вдену:
так светло, что не больно пальчик уколоть!
Посижу подумаю: мое ты солнышко!
Солнышко-ведрышко, завтрашний денек.
...наклоняли ведрышко, не видали донышка.
...как завтрашний денек

по усам потек.

Музей в Грешневе

Памяти М. Дудина.

Грешнево, ты ли греховно?
Кто только не наплетет...
Пряжу небесного овна
солнечный дождик прядет.
Где-то за липами, в школе,
птичьи журчат голоса.
Льна синеокое поле —
или уже небеса?
Все окоемы и травы —
в шелк, в непрерывную нить.
Предков, в чем были не правы,
будет кому обвинить.
Прялка устала от пряжи.
Пряха, лучину зажги!
С каждой пушинкою краше
волн травяных гребешки.
Хочешь — гуляй по полянам,
хочешь — на прялку глазей.
Пахнет грибами, чуланом
провинциальный музей.
И ничего так не жалко,
как —

в уголке у окна
скалится мертвая прялка
в космах линиялого льна.
Сядет в гнездо аистиха.

Едет с княгинею князь.
 Рвется не пряжа, а тихо
 рвется всемирная связь.
 Впав в беспробудную спячку,
 врозь по углам заживем,
 мертвую пряжу, как жвачку,
 прялкиным ртом зажуем...

1993 — 1994.
 Ярославль.

Кленовые листья

Первородным снежком пятипалый кленовый огонь серебра,
 убывают в еще одно оное лето деньки октября.
 Вся Москва до отказа набита, надышана черным, чумным
 колдовством, —
 вся продута насквозь побелевшим в те дни и в те ночи сиротством,
 вдовством.

А из листьев распятых, распластанных, легких, как свет,
 Богородицы теплым Покровом наш глубокий дворик одет.
 Я в окно погляжу — не на дно, где помойка и нищие делят пирог.
 Я в окно погляжу — на лазури жемчужный, живой от дыхания парок.
 Дышит Мать нам в лицо и теплом и светлом впереди.
 Засыпает, качаясь, больное дитя у Нея на груди.
 Бледный месяц-рожок, первых звездочек сонный, слепой порошок...
 «Выпись, детка, во сне полетай — подрастешь на вершок.
 Покружись над двором, где бумажный летал в нашей юности змей.
 Хватит, дитячко, зреть свысока на войну — правда, свыше видней?
 Хоть на миг Там, крыло о крыло, тебя с ангелами бы свело:
 не от листьев кленовых, не от первого снега светло!»
 Со святыми с балкона кричу: голубков упокой!
 И машу им, машу так похожей на крылья то правой, то левой рукой...

Октябрь — ноябрь 1994 года.

* *
 *

Детский запах сена.
 Стеклышки стрекозы.
 В ромашках по колению,
 всю жизнь проходим азы.
 Любовь точь-в-точь как в детстве.
 Душистый сеновал.
 В своем небесном девстве
 закат горяч и ал.
 Эх, ночку бы потемнее!
 А ночки всё светлей.
 Не узы гименея,
 а слив янтарный клей.
 То в яблоках, то в звездах
 август на Оке.
 И незаметен воздух,
 как церковка вдалеке.
 Должно быть, ракурс узкий
 нам с оспою привит.
 Но пропади — и русский
 осиротеет вид...

РОМАН СОЛНЦЕВ



ВТОРЫЕ ЛЮДИ

Рассказ

Так уж устроено непутевое наше государство, что время, когда принимаются важнейшие решения, чаще всего совпадает с коварным и прекрасным праздником — Новым годом. Если кто-нибудь из вас летал в конце декабря в Белокаменную, тот, несомненно, сживал в аэропорту, обмирая от безвыходности и тоски. Утверждают: на взлетке туман, а то и пурга по трассе, но чаще всего выясняется голимая правда — нет керосина, конец года, все, что было в цистернах, сожгли... И вот тысячи и тысячи людей с чемоданами и рюкзаками, с детьми и портфелями лежат вповалку на скамейках и креслах, если посчастливилось занять место, а если нет — на расстеленных газетах, на бетоне, попивая водку, растерянно злобясь, или уже без копейки, голодные, вскакивают, ходят взад-вперед, потирая грязными руками щетину и вглядываясь красными от недосыпа глазами в огромное электронное табло, где между разумными словами и цифрами выскочили загадочные куски слов и отдельных букв: «КРЯ... ЖЖ... Э... — ' /...»

В Москву я ездил обычно один, но в случае, когда моему начальнику Ивану Ивановичу (назовем его так) хотелось навестить своих коллег на завоеванных совместно этажах власти, он брал с собой и меня — кто-то же должен попутно делать само дело (эпоха капитализма, время — деньги)... Мы представляли в Москве акционерное общество, держащее под колпаком несколько заводиков и шахт... Нынешний наш прилет в столицу был особенно важен — по слухам, что-то опять менялось в Москве, и не дай Бог, если снова всех будут национализировать... В недавнем прошлом мой шеф был членом горкома КПСС, но теперь он ходил в беспартийных (так, видимо, нужно). Я, естественно, тоже не состоял ни в какой партии, тем более что и раньше сторонился «железных рядов». Нас объединяли помимо работы баня и боксинг (я, к удивлению И. И., неплохо держал удар, хотя видел плохо, а сам И. И. был почти профессиональный боксер при грозном весе девяносто два килограмма). Для совместных визитов к сильным мира сего (которые посильнее нас не только кулаками, и прежде всего не кулаками!) у нас были заранее распределены роли: Иван соглашался с любым мнением вышестоящего (или вышележащего — в бане — чиновника), а я (интересы-то сибиряков надо отстаивать!) перечил.

— Да... знаете, вы где-то правы, — кивал с видимым огорчением мой шеф, утирая шею платком (или полотенцем).

А я сразу рубил:

— Не, не-е! Не согласен!.. Потому-то и потому-то...

Высшее начальство обычно выслушивало меня, хотя бы и с кислой миной, но до конца, ибо не без основания полагало, что я высказываю мысли Ивана Ивановича, которому субординация не позволяет возражать. И,

как малому дитю, небрежно, но четко, в трех словах, разъясняло глупость и вредность моих (его) претензий. Справедливости ради, однако, отмечу: в последние год-два количество руководителей, интересующихся, почему это я не согласен, резко возросло. Общество наконец умнеет. Высшее руководство боится проморгать опасность. И не столько ради истины внимательно всматривается в наивное пухлое мое лицо (да еще в очках!), а чтобы точно оценить, не стоит ли за моими (моими ли только?) словами новейшая тенденция, которая вдруг да и отколет Сибирь от Москвы??? И если уж мы там задумали что-то грандиозное (присоединение к Аляске, особые отношения с Китаем...), чтобы он-то, наш московский благодетель, не остался на бобах, в стороне...

Но про политические интриги новейшего времени попозже. А сейчас о происшествии, которое ожидало нас в аэропорту Домодедово. Когда, отстояв очередь, легкомысленно поулыбавшись полужнакомым попутчикам и попутчицам (домой, домой!..), мы зарегистрировали свои авиабилеты, как гром с ясного неба прозвучало по радио объявление: рейс в Златоярск откладывается на два часа «поздним прибытием самолета».

— Черт!.. — пробурчал И. И., и только сейчас мы обратили внимание: здание аэропорта было запружено народом, как подсолнух семечками... И душно, и темновато — над Россией потеплело, катятся тучи, которые несут снег с дождем. О, это двадцать седьмое декабря! Мы-то думали, если до тридцатого, то обойдется. Ах, почему начальство любит вытаскивать провинциалов на ковер именно перед Новым годом? Наверно, для того, чтобы в ночь возле сияющей елки, поднимая мутный от холода бокал с шампанским, оно могло быть уверенным: и этот наступающий год будет ласков к нему, толстомясому и красноречивому... Я, конечно, человек новый в чуланах власти, но Иван-то Иваныч всех этих московских министров и завоёв знает еще по эпохе КПСС — они всего лишь переместились... и переместились только вверх, вытеснив кое-кого, кто слишком долго «светился» на плакатах. И для них мы с И. И. — их опора, их мать — сыра земля. И в этот наш приезд мы особо ощутили их благорасположение к нам и торопились домой, чтобы с порога рассказать удивленным женам, а завтра и товарищам на работе: что-то меняется, меняется в угрюмой, позолоченной Москве. И вот надо же, неожиданная запинка! Черт!.. Черт!.. Так испортить поездку!..

— Ну нет, — возразил я на «черта», — аггелы, аггелы подарили нам эти два-три часа. Сейчас пивка тяпнем... отвлечемся... А то ведь и в самолете опять начнется: ты за красных или за белых?

И. И. потрепал меня, как сына, по голове (хотя ровесник или даже моложе на год), и я (Андрей Николаевич — назовем меня так), купив ему и себе баночного австрийского пива, побрел искать место, где И. И. мог бы сесть. Увы! будто в фильме «Чапаев», передо мною было сонное царство, разве что молодецкую песню не тянул тихонько опереточный казак с саблей.

Я развел перед шефом руками (нету!), и мы вышли на улицу. Хлестал черный мокрый ветер. Машины подъезжали к аэропорту, разбрызгивая грязь. И слышалось:

- Уже третьи сутки, бля, в этой сраной Москве...
- Ельцина бы сюда, на бетонный пол...
- Денег ни х... не осталось.

И впервые меня достало пренеприятное чувство — а не встретим ли мы в аэропорту Новый год? Говорят, норильчане пятый день сидят, уже на взлетку выбегали с транспарантами и детьми на руках... нету горячего! Бензин весь, по слухам, вывезли то ли на Кубу, то ли на Украину. До сих пор — дружба! О, Фидель, о, Кучма!.. Братцы наши. Братаны. Братики.

— Андрюха!.. — вдруг окликнул меня знакомый голос. — Андрюха, морковь тебе в ухо!.. — Я обернулся: передо мной радостно топтался толстячок в пухлой кожаной куртке с молниями вкривь и вкось, в молодежной, с козырьком, кепчонке, но весь уже сивый, почти нежно-голубой, в кудрях, в щетине, с губами как у негра, едва узнанный мною Лева Махаев из Кемерово — когда-то мы вместе учились в московской аспирантуре, жили в одной комнате. Вечный балагур Лева, хохмач, наглец, правдоискатель, искренний человек. Я ахнул от неожиданности, мы обнялись. Возле него стоял, пьяно отшатнувшись и едва не падая, болезненно кривясь, с сигаретой в вывернутой манерно руке, высоченный, с острым кадыком мужчина в очках, в распахнутой старой дубленке, в пышной, как атомный взрыв, песцовой шапке.

— Бизнесмен, — представился высокий. — Александр Васильич Злобин. Русский. Убежденный антисемит.

Еврей Лева счастливо засмеялся, давая понять, что товарищ шутит, и ткнул меня ладонью в живот.

— Тоже вдвоем кукуете? Твой друг? Да, брат, да!.. — Он привычно оглядывался, как бы призывая в свидетели всех женщин, которые должны его знать (наверно, в Кемерове и знают!), улыбаясь своей трагической улыбкой — оттягивая уголки рта вниз, как пац Канио в знаменитой опере. — Мы, например, вторые сутки... увяли, как незабудки... На всякий случай держим номер в гостинице. Если бы Гоголь дожил, он бы кроме Держиморды придумал фамилию: Держиномер. Правда, отдает Израилем... — И подмигнул. — Походим-походим, идем туда и снова что-нибудь употребляю... извините, ем.

Слушая Леву, склоняясь к нему, как Горький к Сталину, громко стонал от восторга Злобин, он выпрямился и снова пригнулся, едва не ткнув мне сигаретой в лицо.

— Только башли кончились, — буркнул он, шмыгая носом и утирая лицо рукавом дубленки. — Ну, еще на день хватит... и надо брать ларек.

— Он шутит, — пояснил Лева печально. Постоял секунду с гримасой беззвучного смеха и, нарочито картавя, добавил: — Он же из либегально-демократической пагтии!

Злобин сломался от смеху.

Уловив напряженно-тоскующий взгляд Ивана Ивановича, я обнял его за плечи и представил Махаеву и Злобину:

— Хороший человек. Хоть и мой шеф.

— Ценит тебя? — сделав стальные глаза и вывернув губы, как Брежнев в последние годы, его же гундосым голосом спросил Лева. — Как ценит? На стакан, на литр?

Иван Иванович умел улыбаться простовато, как пахарь, застигнутый за работой царем. Заморгал, закивал, зачёлкал («Чё уж там, усе мы люди, усе мы человеки!») и только успел вынуть из кармана портмоне размером с седло и заглянул туда, как к нашей компании подбежал и обнял Злобина молодой, с красным лицом мужчина в пятнистой «афганке», с рюкзаком за спиной. На нем из зимнего был всего лишь меховой жилет, а непокрытая голова стрижена под бобрик.

— Сибирь, привет!..

— Киря!.. — закатился от смеху Злобин. — А ты что тут делаешь? — И представил нам размашистыми жестами Кирилла, снова чуть не ткнув сигаретой в глаз, на этот раз Лева. — Охранник одного нашего... банкира. Или ты ушел?

— Отошел на метр, — туманно ответил Киря. Лицо у него было мокрое, в пятнах — облупилось от южного солнца или где-то на ветру обморозил? Он и минуты не стоял на месте: постоит — и шагнет в сторону, постоит — и перейдет на другое место. Как пьяный маятник. Я решил, что парень взвинчен задержкой рейса. — Соображаете на выпивон?

— Кстати, слово «банкир» можно расшифровать так... — хмыкнул Лева. — На блатном жаргоне «бан»... это аэропорт, вокзал. «Кир» — пьянка. Предлагаю помянуть банкира.

— Давайте, — кивнул Кирилл, плохо, впрочем, слушая болтовню Левы. Судя по всему, тот ему не очень нравился. — Я — пас. Мне нельзя. — Что так? — удивился Злобин. — Закодировался?

— Можете считать, что я уже в стране теней... — И Кирилл, словно танцуя, снова переместился.

И вдруг я понял, что от этого человека исходит запах опасности. Может быть, смерти...

— Идемте внутрь, — поежившись, предложил я.

— Сэр, вы таки хотите вовнутрь? И леди согласилась, — продолжил фразу балабол Лева. Вернувшись в душное здание аэровокзала, мы поднялись на второй этаж, где располагался ресторан.

Зал был пуст. За стеклом непривычно застывшие темные громады самолетов. Кирилл быстро, оценивающе очертил пространство острым исподлобным взглядом и кивнул на угловой столик, у дальней стены.

Мы сели. Молчали, ожидая официанта.

— А этот не наш! — вдруг кивнул афганец на Ивана Ивановича. — Одет не так. При шляпе. И моргает... Адвокат? Безопасность?

— Да ну брось!.. — защитил Лева моего директора. — Просто одежда такая. — И пропел: — «Оде-ежда... мой компас земной...»

— Одежда? Ну, смотри, — как-то странно отвечал Кирия и буркнул Злобину: — Мне борщ, хлеб. Дома рассчитаюсь.

— Он хороший мужик, — почему-то принялся я говорить про своего начальника, но получилось неловко. Всегда неловко защищать власть. Словно раболепствуешь. — Неплохой. Есть хуже.

Афганец молчал. Злобин спросил:

— А ты чё в Москве?

— Здесь не простреливается, — пробормотал краснолицый парень и, оглянувшись, переспросил: — Чё я в Москве?.. — Налил из графина себе воды, отпил. — Сына ищу.

— Сына?!

— Плохо слышишь? Да, сына приезжал искать.

— У тебя есть сын?

— А от Верки. Хоть и не дождалась, дура... Теперь дылда восемнадцатилетний... в ментовке поработал, взрывпакетом чуть не разорвало, контузия... два ножевых ранения... Подарил врачихе коробку конфет — та ему и начирикала: годен!

— В Чечню поехал?

— А куда же? На папу хочет походить, на папу... Но вроде там не хронили. Все каналы обошел. А в московском госпитале Минобороны нет. Неужто в плен залетел?..

Нам принесли водку, закуски, и Лева предложил тост:

— Чтоб все у всех обошлось.

— А не обойдется, — глухо отозвался Кирилл, опустив голову над тарелкой и быстро хлебая холодный, судя по всему, борщ. — Ни у кого не обойдется. Ни у кого. Покатились колеса по лугам и весям. — И, закончив трапезу, вскинул ясные, почти белые глаза: — А вот скажите, господа хорошие, где ваши-то детки? Ваши, ваши!

Злобин, поперхнувшись водкой, держа стакан у щеки, медленно процедил:

— Ну, у меня, ты знаешь, — в бегах...

— В бегах. Ясно. У тебя? — Афганец, как прокурор, уставился на Леву. — У тебя, конечно, дочь?

— Да, дочь. А что? Я же не виноват.

— Как посмотреть. Если бы любил отечество... У тебя? — Кирилл не повернул головы, но вопрос относился, видимо, ко мне — я сидел по кругу следующим.

— У меня сын. Ему пятнадцать.

— Да?.. — Афганец скрежетнул зубами. — А у него? Тоже пятнадцать?

Теперь вопрос явно касался Ивана Ивановича. Иван Иванович, человек с брюшком, с золотыми запонками, которому ничего не стоит под честное слово взять в любом банке Сибири полумиллиардный кредит, потупился перед незнакомым, бедно и холодно одетым человеком. Дело в том, что сын его, Даниил, увалень весом в центнер, вняв слезам матери (да и по своей трусости, конечно), «свалил» от армии и ныне гонял по городу на красном «вольво» — развозил бумаги отца, а чаще катал полуголых жующих девиц. Ивану, конечно, и самому не хотелось отпускать сына в Чечню, и он бы пристроил его где-нибудь в другом краю России, но вот такое откровенное бегство от воинского долга угнетало известного в городе человека. Я хотел было выручить его, сказать, что у него дочь или что сын, но болен... Однако Иван Иванович наморщил толстую кожу на лбу, посучил ногами под столом и честно признался:

— Не пошел мой Даня. Но весной пойдет...

— Когда?! — прошептал, радостно накаляясь, афганец. — Когда все горы там сровняют вакуумными булками? Я так и знал! — И обратил прокурорские глаза на Леву: — А ты всю жизнь живешь как бы потише... как мышь под брезентом... почему у тебя и девки рождаются...

— Я еврей, — печально объяснил Лева Махаев и выпятил губы. — Ты бы пожил моей жизнью. — Он налил себе полстакана водки и один выпил. Это было на него не похоже. Видимо, пятнистый Кирилл крепко задел его своими небрежными словами.

— А ты... — Кирилл поворотился к Злобину, тот осоловело глядел на белую скатерть, как гусь в корыто: то ли всерьез задумался, то ли притворялся пьяным, чтобы не трогали. — Видишь ли, у него сын в бегах. Захотел бы найти, за пару «лимонов» мы бы тебе его доставили. Что, бедный?! Не-ет. Хитрый. Это не он еврей, а ты еврей!..

Злобин сопел и молчал. Лева заступился за земляка:

— Васька сбежал из дома еще весной... когда никакой Чечни не было... одна дедовщина, пьянь и наркота. И не трогай его — Саша страдает. Верно, Саша?

Злобин кивнул. И еще раз кивнул, то ли подтверждая предыдущий кивок, то ли забыв, кивал ли.

— А когда найдется парень, Саша держать его дома не будет. Потому что патриот. — И трудно было понять, насмешничает Лева Махаев или говорит серьезно. — Верно, Саня?

— А вот это зря. Я же не для того, чтобы гнать наших сыновей в огонь. Я о том, открыта наша душа или на гладкой заслонке, как у БТР. Я бы на твоём месте, Александр Васильевич, разыскал его, выпорол, женил и на цепь посадил, как щенка! Пусть внуков производит! Хватит!.. — Кирилл оскалился и перешел на шепот, хотя в зале никого, кроме нас, по-прежнему не было: — Хватит наших позоров!.. Моего парня, я думаю, на куски изрезали, шакалам скормили. Там по холмам дикие собаки бегают, я видел. Сейчас вот прилечу в Сибирь, найду эту врачиху, спрошу в упор: ты, с-сука, понимала же, что у него контузия и два ножевых следа?.. Почему за конфеты справку дала?! Ба-лядь! Чтобы дети русских там сгинули?.. — Зыркнув белыми глазами исподлобья на Леву, он замолчал. Взял с тарелки засохший кусок хлеба и стал с хрустом жевать. — Все. Мне идти надо. Тут много раненых летит, надо со всеми... Но если застрянем, я с вами! И еще побеседуем! — Афганец усмехнулся и, вскочив, сутоло выскользнул из ресторана.

Помолчали. Лева поморщился, как от язвенной боли (раньше она, помню, мучила его), хотел что-то сказать (может быть, оправдаться), но где-то под потолком включилось радио, и женский невнятный голос начал перечислять авиарейсы, те, что «отложены до полуночи, до нуля часов московского времени поздним прибытием самолетов». Среди отложенных были и наши — и мы не удивились, приняли это обреченно и тихо.

— Вот те раз, — только и сказал Злобин. — В комнату пойдём?

— Там воняет, — вспомнил Лева. — Попозже. Никто ж не гонит.

— Я заплачу, — тихо напомнил Иван Иванович. — Может, еще выпьем?

— Давай! — махнул пухлой веснушчатой рукой Лева. — Русские мы или таки нет?.. — И когда официант принес нам вторую бутылочку, Махаев продолжил, уставясь в стеклянную стену ресторана, за которой шел снег с дождем. — А вообще Киря прав. Двое детей у меня, и обе — девочки. И я сам всю жизнь ждал, как девица на выданье... разрешат мне туда пойти, разрешат сюда пойти... А я ведь очень талантливый! Вот хотите, сейчас в аэропорт приедет танк?.. Ну, не танк, бронированный генеральский «мерседес»?.. и увезет нас в баню?

Злобин скорбно процедил:

— Ты бредишь... ночью ко мне приставал с танком... — И пояснил: — У нас в комнате был из Омска парень, так он поездом укатил, не выдержал. «Танки, танки...» Мне тоже надо было. А я малодушный. Души не мало, души много, но — жидкая.

Махаев, кивая и оттягивая концы рта вниз, как бы рыдая или смеясь трагической улыбкой паяца, забормотал, не слушая земляка:

— В Москве замминистра МВД — Женька, мой друг... А замминистром его сделал кто?.. Я, Левка Махаев. Чес-слово. Он был еще юный офицер... у нас, в Кемерове... Как-то выступаю в День милиции перед нашим РОВД, хохмы травлю, стишки всякие... ну, Хармса, Олейникова, свои... а он переспрашивает, записывает... Я, естест-нно, забыл о встрече, а он однажды является с бутылкой коньяка в редакцию... — И Лева сделал отступление для меня как для старого знакомого, знавшего Леву еще научным работником: — Из института я ушел, кому нужны биофизики, экологи?.. сидел на письмах, выслушивал целыми днями сумасшедших старух... И вот-с — приходит. Выпили. Он и говорит: «Выручьте, Лев Моисеевич. У моего капитана послезавтра день рождения... какой-нибудь стишок бы зарифмовать... я попробовал — не получается... Не можете? Я вам нож хороший принесу, у хулиганов отобрали... спиртом лично промюю...» — «Сделаю», — сказал я. «Вам суток хватит?» — «А я прямо вот сейчас!.. Ему для охвициального вечера или для узкого дружеского круга?..» Мой офицерик зарделся: «Ох, если бы и для официального, и для неофициального!» Я взял лист бумаги — и через пару минут вручаю. Два куплета. Естест-нно, сейчас не помню, что я там сочинил, но приблизительно... — Лева возвел коровьи свои сизые очи горе и, сглотив пару раз горловую слизь, ощерился и произнес:

Что пожелать мне в день рожденья капитану?
Я ничего ему желать не стану,
Поскольку сам Господь, я знаю, пожелал,
Чтобы он стал через три года генерал!

Это охвициальное. А неохициальное:

Капитан-капитан,
ты отрежь себе карман,
чтоб совали ручки девушки
и нащупывали денежки...

Ну и так далее. Конечно, белиберда. Но мой знакомый из милиции аж побелел от восторга. А через три дня принес грандиозный кинжал с

ножнами... И говорит: капитан обещает его подвинуть по службе... Но тому капитану в субботу в гости идти к майору... И очень нужны стихи! Пишу. Майор, естественно, в восторге, но просит Женьку (все же думают, что это он сочиняет!) сочинить пару куплетов для полковника... А тому нужны стихи для генерала... Да и самому Женьке по мере «творческого» роста срочно нужны стихи, обращенные то к майору, то к полковнику... Он к этому времени стал уже начальником РОВД, потом замначальника УВД области, потом в Москву взяли, в начотделы, а там и в МВД... Во как я его! Короче, лет десять я писал для этого Женьки вирши... причем, Андрюха, я думаю, твоему любимому поэту-тезке Вознесенскому не снилась бумага, на какой печатали куплеты Левы Махаева! Мои послания ко дням рождения и к именинам вытравляли на стекле, покрывая затем серебром... вырезали на золотых пластинах... Сейчас ни строки не вспомню, но, поверь, это было неплохо, очень неплохо.

Женька бегом нес мне коньяки, ножи, а позже и пистолет притащил, отобранный у бандита... Нам с женой посчастливилось пару раз отдыхать в санаториях МВД... Я теперь мог по пьянке храбро выскочить на проезжую часть, воспользоваться патрульной машиной — Женька документик с печатью выдал... — Лева Махаев замолчал и медленно закрыл рот. И с минуту молчал, выстраивая значительную паузу. — И что вы таки думаете? Он переехал в Москву, обещал и меня сюда переташить — я ведь и для нового его начальства кропал стишки... даже в честь генерала армии Грачева сочинил — кто-то из Женькиных корешей собирался в гости... Но вот где я сижу?... не в данный момент, а вообще? А сижу я в Сибири. И не видать мне никакой Москвы. А почему? А потому что Женька испугался: вдруг вскроется, что это я — автор. Но я же порядочный человек, Андрюха! Я бы молчал, как тайга. А он боится... И что сейчас выясняется? Я для самого себя ничего не добился своими талантами. А ведь мог бы, как дополнительный вариант, рифмовать разным партийным, а потом и беспартийным начальникам... И кто знает, может, был бы уже руководителем какого-нибудь журнала в Москве? Или института? Но я верил Женьке... старался для него... Я даже поэму в самиздат от его имени запустил, «Дунька с наганом» называется... радиостанция «Свобода» передавала... Я же очень талантливый, ты знаешь! В итоге Махаев — у разбитого корыта. Всю жизнь второй... Мы — вторые люди!.. — Лева нервно оглянулся и возвысил голос: — Вот опять кому-то мешаю. Но я не хочу идти в гостиницу, там грязно, а тут салфетки!

Только тут я заметил, что в ресторанном зале появились люди в ватных фуфайках, открыли обе створки входной двери и стали протаскивать длинную елку. Запахло хвоей и бензином. Официант подошел и, нагло улыбаясь, достал карманный калькулятор:

— Санитарный час.

Если бы мы взяли еще одну бутылку, он бы, возможно, нас не погнал... Иван Иванович, угрюмо и непреклонно отодвинув наши жалкие купюры, в одиночку расплатился за обед, и мы вышли на ледяной ветер сумрачной привокзальной площади. Здесь растерянно кружили пассажиры с чемоданами и авоськами, набитыми апельсинами, топтались у переполненных автобусов, садились, обезумев, в такси, чтобы вернуться в Москву, а из подкативших огромных «Икарусов» тем временем выходили еще и еще люди, которым только предстояло узнать, что самолеты мертво сидят на земле...

— Спать, — промычал Злобин. — В гостиницу!

В толпе мелькнул афганец. Что он искал, кого хотел увидеть в толчее? Нас, конечно, он мигом узрел, но небрежно кивнул и отвернулся — иди-те, дескать, своей дорогой.

Но легко сказать — идите... В гостинице нас ждал от ворот поворот: номер, в котором ночевали Злобин с Махаевым и заплатили на сутки впе-

ред, был занят — в узкой угрюмой комнатке с четырьмя провисшими кроватями сидели в синем табачном дыму человек семь-восемь военных, пили и, хлопая друг друга по спине, горланили:

Артиллеристы, Сталин дал приказ...

— Что такое?! — Злобин, как «журавль» над колодцем, навис над дежурной, румяной плотной женщиной в шубейке и валенках. — Мы же как договорились?!

Дежурная зашептала, вскидывая голову, улыбаясь и отталкивая его ладонями:

— Тихо-тихо-тихо!.. Вы же, мой золотой, не сказали, что точно вернетесь...

— Но мы же заплатили!

— Вы сказали: если не улетим...

— Но вы же слышите — все рейсы отменили?! — распаялся Злобин.

— У нас радио не работает, — весело врала дежурная. — Да и скоро уйдут они!.. Вот покоют и... Сказали, к полуночи на вокзал уедут. Вы ж спать-то еще не собираетесь? Молодые! Ну, погуляйте пока... А деньги я могу и вернуть...

Было ясно, что военные ей тоже заплатили, и, наверное, побольше, чем кемеровчане. Перспектива же получить обратно свои деньги, а стало быть, и утратить права на комнату напугала моих знакомых, и Лева Махаев, осклабившись, заговорил как иностранец, плохо знающий русский язык:

— Зайчем ми ругаться?.. Йес? Мир-трушба, йес?..

— Йес, йес... — закивала дежурная, постукивая валенками. В гостинице плохо топили. — В полночь ваша комната будет вас ждать. Я даже подмету!

Несолоно хлебавши мы выбрали на улицу. Постояли среди мокрого снежного бурана: что делать?.. и снова поплелись в духоту и гомон аэровокзала. До полуночи было еще далеко, часов шесть, и мы, чтобы оглушить мозги и ускорить время, купили баночного пива. Стоя, посмотрели на экране телевизора кусок бессмысленного фильма с убийствами и откровенно скабрёзными рекламными вставками про «палочки хрустящего шоколада „Твикс“». Решили спуститься в туалет и уткнулись в очередь. Входной билет, как выяснилось, ныне стоил немалые деньги. Инвалид в расстегнутом пальто, с орденами-медалями на ветхом пиджаке, опершись на костыль, ругался сквозь стальные зубы:

— Я бы вас, сволота подземная, в наши окопы спустил пос... за стакан крови для наших ранетых!

Вялая белолицая женщина, сидевшая на входе в подземное вонючее царство, негромко оправдывалась, но бесплатно старика не пускала — за ее спиной высилась, как газетная тумба, тяжело дыша, толстая золотозубая хозяйка сортира. Стальнозубый сплюнул под ноги золотозубой и ушел на ветер, чтобы облегчиться где-нибудь за углом...

Лева Махаев продолжал еще сыпать остротами по привычке, но вдруг, опустив голову подбородком на грудь, обмяк. Мы все же стояли в счастливом месте — прислонившись к мраморной колонне, в то время как многие пассажиры переминались на ногах где попало. Злобин купил мороженое, чтобы немного протрезветь, коли спать не получилось, и грыз его, оскалив от холода зубы. Иван Иванович тоскливо разглядывал часики на руке: прошло всего полтора часа... До двенадцати ночи еще терпеть и терпеть. Про самолеты больше не говорили — на табло, как на библейском камне, светились огненные буквы: все рейсы отложены до утра... в Златоярск — до восьми двадцати, у кемеровчан — до семи тридцати... Наше с И. И. подавленное состояние обострялось еще и тем, что прошлой ночью мы с

Иваном Ивановичем толком не спали — были допоздна в гостях у клерков Минцветмета и много пили. А ночь позавчерашняя оказалась и вовсе бессонной — московский дружок Ивана (из аппарата Думы) водил нас в Хаммеровский центр, где всё за доллары... Кутили с какими-то девчонками на коленях. Бросались розами. Нам пели цыгане. И если сегодня, собравшись лететь домой, мы были с утра бодры, как гусары, то это была предтотьезная бодрость — так вспыхивает лампочка, перед тем как перегореть. Ведь нас, как мы надеялись, всего через несколько часов ждала домашняя чистая постель, здоровая еда, ждали наши ласковые жены... И мы, услышав в аэропорту о задержке рейса, еще не осознали в полной мере, какую тяжелую полосу времени предстоит пережить. Ночь. А может, и две и три. Только теперь до нас доходил ужас положения...

Понятно, и кемеровчанам было не сладко — со вчерашнего полдня они мыкались на аэровокзале, лишь под утро пьяной ночи получив тот самый номер в гостинице. И скажите: кто обвинит усталого человека в том, что он раздражается по любому поводу? А если таких людей собралось много, очень много, то вирус раздражения усиливается стократ, и горе тому, на чью голову выльется эта усталость. Мы слышали рыдания перед дверями начальника аэропорта и дежурного по смене, толпа клокотала в комнате почты, возле междугородных автоматов, половина из которых, конечно, не работала... Люди кричали на ни в чем не повинных таможенников. Кто-то, говорят, взрезал себе от отчаяния вену бритвой — увезли в больницу... Но нас, трудно сказать почему, не увлекла эта типично русская стихия митинга, ненависти к вечно бедному «Аэрофлоту», с сочинением телеграмм Президенту, в ООН и т. д. С легкой руки Левы Махаева нас вдруг поразила мысль о «вторых людях», каждый в его смешной истории со стихиками неожиданно узнал себя. Впрочем, сам Левка как задремал, так и продолжал стоя дремать, сопя мясистым носом, выпятив толстые губы, а вот мы с Александром Васильевичем Злобиным воспалились давними обидами. Говорил мрачный Злобин, производя руками размашистые жесты:

— Ну ладно, у него, скажем прямо, «первый» — случайный человек... А я всю жизнь на кого пахал? Можно сказать, как брата любил... Сколько ему денег передавал займы... Спросишь: зачем??? А посмотри — кто я? Только очки нацепить... и вот она — очковая змея, над которой все смеются. А он — обаяшка... плечи... зубы... голубые глаза... прямо с комсомольских плакатов... И я, конечно, «второй»! Он запивает — я бегу к его жене врать, что Юра в командировке. А чтобы в гастрономе с ней не встретился, опять же я за водкой. Ну, это раньше... А как начался капитализм, говорит: давай деньги, скупим на Севере чеки... ну, по которым государство в свое время обязалось «Жигули» продать... когда они были в дефиците... у многих северян чеки, но не все надумали на материк возвращаться... а за полярным кругом куда на машине?... да и самолетом завезешь — в пять раз больше заплатишь... И вот летит мой дружок в Норильск, потом в Якутск... Приехал — целая пачка в кармане... Хвастается: по дешевке скупил, за полцены, если иметь в виду нынешнюю коммерческую цену на «Жигули». Едем в магазин АвтоВАЗа, а там говорят: за коммерческую цену — пожалуйста, без всяких чеков, а по чекам — когда государство специальное постановление примет... Ждем. Проходит полгода, год... Цены выросли в десять раз, и никакого постановления. А недавно узнаем, что эти бумажки говна не стоят! Выходит, государство и северян обмануло... Я говорю: ну что, мудаки?! Жадность фраера сгубила?! Лучше бы на эти деньги долларов накупили... сейчас бы ходили — кум королю. Юрка опустил глаза... А потом они опять у него засияли: слышь, у меня другая идея! На этот раз верняк!.. Мы купим золотой рудник... в газете прочел: семь месторождений продают на аукционе... а где аукцион, там можно договориться... сунем в лапу и... — Да где мы денег возьмем? —

Зайдем! У брата своего попрошу... уговорю жену кольца продать... и ты тоже — поищи... Года через три мы — миллионеры! Вы, Андрей, вижу, улыбаетесь... Конечно! Естественно, как выражался один носатый тип. Мы собираем в семье все, что у нас было, продаем пустой гараж... еще троих знакомых посвятил Юрка в свои планы... несем деньги. Он их с таинственной улыбкой — в портфель и — к каким-то чиновникам, к юристам... И что думаете, мы получили рудник? На аукционе заломили такие цены — мы вылетели через минуту... Причем взятки, которые Юрка парням из биржи сунул, которые нам вернуть обещали, когда мы, так сказать, победим... чтобы потом им отстегивать по полпроцента с добычи... нам хрен вернули! Хотя мы проиграли с их сучьей помощью!.. Дураки! Стоим на улице. Стоит он, синеглазый, весь в синей джинсе — и рыдает... И вдруг: я вот что придумал!.. Срочно соберем миллиона полтора-два... я знаю, какие акции купить... и клянусь: я верну тебе все твои пропавшие деньги!.. Ха-ха-ха. И я снова ему верю! Чтобы вернуть потерянное, приходится давать еще... Жена выпросила у матери в деревне... та как раз телку продала... Юра и сам занял у дружков по комсомолу, организовал фирму... я — заместителем по хозвопросам... И что-то вроде начало наконец у нас получаться... и вдруг... ха-ха-ха! Он исчезает! — Злобин жалобно шмыгнул носом и утер лицо блестящим рукавом дубленки. — Нету человека! Нету!..

В эту секунду к нам подлетел, зло сверкая белыми глазами, афганец, встал сначала с одной стороны, потом с другой. Злобин покосился и продолжал, вскинув правую руку, словно выводя в небесах донос Богу:

— Пропал! Растворился, шмакодявка! Я про моего шефа Юрку. Милиция — розыск... выясняется — вместе с ним исчезло что-то вроде семисот миллионов рублями... И нас всех — на допросы. А что мы знаем?! Его жена в истерике бьется... дети рыдают... А может, договорились? Кто знает?.. А тут слух прошел: его видели в Москве — будто бы разъезжает на «мерседесе», веселенький, в зеркальных очках... Будто бы раза три уже видели... Думаю, поеду — найду... может, случайно выведет кривая... В гостиницах — нет... нигде не прописан... Да он, сучара, наверняка уж и фамилию сменил... А может, и пластическую операцию сделал — встретишь вот так и не узнаешь? А может, уже в Париже?.. в собственном доме?..

— Если заплатишь — отыщу и пристрелю, падлу, — шепнул, оглядываясь и почти не разжимая зубов, афганец.

— Да нет, мне бы долг вернуть... если он разбогател, как же так может? Или вылез только на обмане?.. Обирая других?.. А может, и в прежние разы присвоил — только говорил, что проиграл? А если и проиграл?.. Сейчас вот вспоминаю его аферы... с акциями там, рудниками... я ведь помнее буду... у меня бы получилось... Но верил ему... привык, что я — «второй»... что он знает что-то такое, чего я не знаю... — Злобин достал дрожащими пальцами сигарету из портсигара, смял. — Вот опять с одним парнем решил скооперироваться — возить тряпки из Турции... но решает по ценам он, а не я... Хотя и сам уже достаточно хорошо изучил законы, у меня знакомые и в налоговой, и в банках... Почему??? Да вот, наверно, потому, что человек «второго сорта»... — И Злобин закивал в сторону дремлющего Левы. — Прав иудей, прав. И не знаю, сможем ли когда мы стать другими. Уже возраст... Так и будут ездить на нас, доить, как коров!.. — И Злобин угрюмо ухмыльнулся Ивану Ивановичу. — Вас, конечно, йето не касается...

Смущенный недобрый вниманием, Иван Иванович не знал, что и ответить. И подошедший афганец его пугал. Сейчас определенно тоже что-то скажет в адрес И. И. Мой краснощекий начальник втянул голову в плечи, ссутулился и, неловко повернувшись ко мне всем корпусом, пробормотал:

— Схожу-ка через летное поле... в комнату официальных делегаций... Может, пустят за деньги? Если что — вернусь за вами... — (Он обратился

ко мне на «вы» или имел в виду всю компанию?) И пояснил: — В прошлом году я там неплохо просидел сутки. — И ушел.

Наверно, теперь мы его до утра не увидим. Афганец перескочил на место, где только что стоял Иван Иванович:

— Как ты с ним дружишь? Он же... резиновый шар!.. ни морщинки! За него думаешь? Вокруг него на цирлах бегаешь?

Кирилл, с рюкзаком за спиной, в пятнистой «афганке», был весь как бы пятнами мокрый, а может, так казалось?.. Дрожал, словно где-то все же хватил водки или накурился травки. А может, у него температура? Не дожидаясь моего ответа, он лихорадочно продолжал:

— Я вам, ребята, тоже мог бы порассказать про первых-вторых... и не тут, на кислых щах, на гражданке, а там... Но к чему?! Только одно скажу: везде!.. Есть трудяги, и есть, которые на халяву... Я в Афгане воевал, потом в Сербии... Чтобы замолить грехи... Думал, хоть война за славян — благородная война... Но это отдельный разговор... Надо в горы к душманам — лез пластом по камню, на горбу миномет... Надо головой в огонь — пер головой в огонь. И ведь что интересно? Мне медаль — моему командиру орден. Как у нас говорят: «Мне орден — ему звезду, мне бублик — ему п...». И опять же сам себя спросишь: почему не взбунтовался? А они умеют так повернуть, что ты всегда замаран. Вот под Кабулом... мне командир говорит: после твоих гранат три девочки маленькие погибли... он в бинокль углядел... И этими девочками меня за горло держал пару лет, пока в Москву не улетел... Но и тот, кто на его место встал, нашел, нашел гнилинку в Кирилле Сереброве... Я — Серебров. Серебров моя фамилия. А как твоя?

— Игнатъев, — ответил я.

— Вроде наш. — Афганец оглянулся, перешагнул на новое место и улыбнулся мне быстрой улыбкой. — А про гнилинку что рассказывать?.. Нет безгрешных на земле. Я и про наших генералов много чего знаю. Пушай живут. И чем дольше жить будут, тем больше будут мучиться. Ибо их грехи в сравнении с нашими — как гиря в сравнении с яйцом попугая! — Кирилл Серебров уже не улыбался, он дергался, будто стоял на электрических проводах, и я впервые подумал: не падучая ли у него? Парень мне нравился, но страшновато было глядеть в его белесые глаза. — Никогда не прошу! Ничего им не прошу!.. Выпьем, братья славяне, я чтой-то мерзну...

Злобин ласково погладил Кирилла по непокрытой шишкастой голове:

— Простудился, наверно... Сейчас куплю... у меня есть значка... Это я от Юрки научился... значивать... В прежние годы трояка хватало на опохмелку, а нынче... — Он вытащил из внутреннего кармана дубленки пачку денег и медленно, каланча каланчой, побрел к киоску.

И вдруг Кирилл повалился на меня — я еле успел подхватить человека. Думал — шутит, но нет — он был без сознания.

— Саша!.. Злобин!.. — испуганно окликнул я кемеровчанина. От моего голоса очнулся Лева Махаев. Мы подняли под руки афганца и поволокли на улицу. Злобин догнал и напялил ему на голову свою мохнатую шапку.

Средь мокрого бурана Кирилл Серебров пришел в себя, зарыдал, вырываясь из наших рук:

— Предали!.. Нас предали!..

— Тихо, тихо... — дудел ему в лицо, склонившись, Злобин.

— Продали!.. Сначала державу... восточным баям раздали... сейчас Россию — акулам Запада... Ты... принес водки?!

— Не успел.

— Что стоишь?! Дубина! Мы все умрем! Где ваша хаза?..

Петляя между залеplенными снегом машинами, продолжая поддерживать под мышки афганца, мы пересекли площадь. Во всех окнах аэропор-

товской гостиницы горел свет. В крохотном холле на первом этаже, бросив на пол возле батареи отопления вещи, сидели цыганки — видно, их не пустили наверх.

— Ну, если комната опять занята, — бормотал Злобин, — я им!..

Улыбчивая дежурная в валенках, увидев нас, выскочила из-за настольной лампы, затанцевала вокруг:

— Не ругайтесь, красавцы!.. Ну, спят они. «Соловьи, соловьи...» Ну, пусть поспят. — От женщины пахло вином. Наверно, с военными и пила. — Я вас пока в служебку пушу... А в двенадцать за ними машина придет. Как я и обещала. А чё это с ним?!

Кирилл Серебров молча вырывался из наших рук, на губах у него белела пена.

— Ничего, ничего, — прошипел я. — Чаю дайте!..

— Сию минуту... включу... Ах, родненькие, устали...

В маленькой клетушке с черно-белым телевизором имелось всего два стула — на один мы усадили Кирилла и придавили за плечи. Злобин, огорченно крутя головой, побегал за водкой. Кирилл всхлипывал и что-то шептал. И вдруг обмяк — снова как бы отключился. Мы слевой замерли рядом, а когда поняли: Серебров спит, стали, как истинные интеллигенты, каждый едва держась на ногах, предлагать другому свободный стул. Наконец сели кое-как оба, спиной к спине.

— Я все слышал, — прогудел не оборачиваясь Махаев. — Я про первых-вторых... в колонне эпохи... Судьба собрала очень похожих людей. Но вам легче, вы — русские.

— Нет, нам труднее, Лёва. Может, как раз потому, что русские, — ответил я.

Махаев пожал плечами, но возражать не стал. По лестничному пролету снизу вверх протопали ботинки — это на редкость быстро вернулся Злобин с бутылкой водки. Дежурная (ее звали Люся) принесла стаканы, мы тихо налили себе и дежурной и выпили, опасливо поглядывая на смолкшего афганца.

— Ему сначала чаю, — напомнил я шепотом. И протянул женщине тысячную бумажку.

Когда через несколько минут Люся поставила на стол стакан с чаем, тихонько звякнув стаканом о тарелочку, Кирилл Серебров вскочил как бешеный:

— Что?! Где?! — Он задел боком стол и повалился, рухнул на пол, едва не разбив телевизор, — тот отъехал вместе с тумбочкой к стене. — Полундра!.. Ни хера не вижу!.. Почему?! — Привычно вскочив, он уже стоял на полусогнутых, как боксер на изготовке, и орал: — Чего?! Кто такие?!

— Киря, — испуганно бормотал Злобин, пытаясь улыбаться. — Это же я, Саша Злобин!.. И это все наши, сибиряки!..

— А!.. — Афганец несколько секунд пребывал как бы в забытьи, потом, увидев в дверях перепуганную Люсю, осклабился, как волк, всеми зубами: — Хочу в постель. Отдам нательный крест. С-серебряный!.. Хочешь?

Дежурная закрыла за собой дверь.

Помолчав еще с минуту, Кирилл поежился и жалобно оглядел нас:

— Еще не принесли?

Я кивнул на чай.

Он ухватил стакан, хотел махом выпить и — отшвырнул в угол, облившись кипятком. Стакан разбился вдребезги.

— Вы что?! Я водки, водки просил!..

«Может, не надо ему?..» — вертелось, наверно, не у меня одного в уме, но, отступая перед круглыми глазами Сереброва, Злобин налил полстакана. Афганец вылил водку в рот, как воду.

— Простудился, — с укором повторил Злобин. — Пижонишься... Что, у тебя полушубка нет?

Серебров протянул стакан, показывая взглядом: еще.

Злобин слил ему остатки.

Серебров, допив, глубоко вздохнул. И медленно, как сомнамбула, шаря руками, поставил свалившийся набок стул на место и едва не сел мимо.

— Спать.

Мы глянули на часы — до двенадцати оставался час.

— Потерпи еще немного, — сказал Злобин, нахлобучивая на голову приувавшую шапку. — Потерпи. — И, поскольку Серебров ничего не ответил, Александр Васильевич, немного успокоенный, обратился к вислоносому Махаеву, видимо желая перевести разговор на что-нибудь безобидное. — Рассказал бы анекдот!.. Ты же их помнишь до херища.

— Анекдот, — машинально повторил Лева. — Анькин дот. Дот — долговременная огневая точка...

Помолчали.

— Завел ты мне душу своим дурацким рассказом. А что же кореш твой молчит? Он-то кто?

— Хороший человек, — великодушно похвалил меня Махаев. — Директор института на его материалах докторскую сделал... Не колбасу, конечно. — Махаев судорожно, как бегемот, зевнул. — Простяга!.. Последнюю рубашку отдаст... Даже смирительную... — Лева уже пытался острить, хотя глаза у него были розовыми от усталости. Он сел на свободный стул и, оттянув углы рта вниз, захрипел песенку:

Все будет хорошо...
И в дамки выйдут пешки...
И будет шум и гам...
И будут сны к деньгам...
И до-ожидки пойдут по четвергам...

Мы со Злобиным стояли друг против друга. Злобин как-то по-мальчишески, требовательно уставился на меня сверху, ожидая если не исповеди, то хотя бы забавного разговорца (надо же время укоротить):

— Ну?.. Твой Иван Иваныч по-братски с тобой делится или тоже... крохи с барского стола?.. Сейчас небось в депутатском зале... — угадал Злобин, хоть и не слышал прощальных слов Ивана Ивановича. — Спит без задних ног... завтра вскочит как огурчик... с их-то деньгами... а главное, с наглой мордой!

Я не знал, что ответить. Никогда я не любил рассказывать о себе. Даже своей жене — разве что про детство, про рыбалку... это — пожалуйста... всю жизнь восторг помню, как удил на озерах. Стоишь на зыбких стеблях камыша, будто на корзинке... тишина... туман... вот он над зеркально-серой водой медленно отгибается, словно уголок страницы, и под страницей нет-нет да блеснет золотая денежка — на секунду всплывшая красноперка... а то и более крупная рыба... Но что моему случайному собеседнику в аэропорту Домодедово воспоминания о рыбалке? Мы все ныне — больные люди. Мы только о политике можем говорить. Только о России. Только о погубленной жизни. Только о виновниках...

— Ну?..

— Что — ну?.. У нас нормальные отношения. Работаем. Он директор, я — зам. Формально — да, он первый, я второй... Но я привык. Может сутками мотаться по шахтам, заводам, конторам. Бывало, за рулем засыпал, чуть насмерть не разбился. («Правда, это было лишь первый год... — подумал я. — Сейчас сидит на телефонах и рации, раздался, как помидор».)

— Вот так и весь народ наш привык к ярму, — сразу же заключил Злобин. — Уже не замечаем хомута. А ведь наверняка обманывает? Пьет из тебя кровь? На тебе счастье свое строит?

Конечно, случались за эти годы у нас с Иваном Ивановичем неприятные размолвки. Он, будучи пьяным, мог оскорбить. Однажды, придя ко мне домой (мы собирались в командировку), с легкомысленной улыбкой наставил на меня палец, как пистолет, и с громким звуком испортил воздух. Я, сплюнув, открыл все форточки и, хотя давно не курил, закурил. И. И. покраснел от неловкости, хохотал: «Ну, извини. Искуплю поездкой в Грецию». Да, мы съездили в Грецию на десять дней, с женами, неплохо отдохнули. Только Иван, конечно, жил со своей Светой в белом дворце, который весь в цветах, а нам с Таней, согласно более дешевой путевке, досталась комната в халупе, со ржавым душем. Руководитель, так сказать, сэкономил на компаньоне. Но обедали за одним столом... Впрочем, меня не очень задевали неизбежные мелкие шероховатости бытия. Душу терзал более грозный вопрос: зачем живу?

Между тем я слышал свой голос — оказывается, все же что-то рассказывал Злобину:

— Наш институт распался... академики улетели жить в Канаду, в США... Некоторые мои коллеги, кто хлореллами был занят, замкнутым циклом БИОС, получили господоговора... что ни говори, для космоса... А я с моими железобактериями и прочими бяками кому нужен? Он меня и подобрал. Купил для жены недостроенный корпус, я ей наладил производство дрожжей.. Это была его еще первая жена.. кстати, не дура.

— Развелся? Откупился этим самым заводом? Фиг бы она от него ушла! Наверно, сейчас миллионерша. А ты с гулькин нос от них получил?..

— Нет, — заплатили. Тысячи две или три.

— До гайдаровского обвала? — Я молчал. — По нынешним меркам... если даже три «лимона» — облапошили, как эвенка! Дальше?..

Но в эту минуту дверь с треском отворилась — на пороге стояла остролицая, в расстегнутой «обливной» блестящей дубленке молодая женщина в белых высоких сапожках, в пальцах — дымящаяся сигаретка.

— Это ещё что такое?! Кто такие, кто пустил?

— Люся пустила, — отвечал доброжелательно Злобин, обоняя запах духов.

— А ну пошли отсюда!.. А то расселись!

Махаев молча первым встал — он привык к унижениям. Я боялся за афганца — что тот, грубо разбуженный, начнет метаться по комнате и орать. Но Кирилл Серебров также весьма смиренно приподнялся и, толком не разогнувшись, вышел за нами в коридор.

— Но послушайте, мы же заплатили за номер, — обиделся Злобин, найдя наконец квитанцию.

— Так и идите туда! — огрызнулась новая дежурная.

В нашей комнате стоял дым коромыслом, на стульях и на кроватях вповалку храпели военные. У меня в глазах поплыло от тоски и гнева. Что делать? Злобин и я принялись будить румяных, потных, чугунных мужиков.

— Позвольте... Вы же обещали к двенадцати уехать? А сейчас половина первого.

Бесполезно. Все они были пьяны и лениво, как львы, огрызались. Я ожидал, что Серебров хотя бы сейчас разъярится и выгонит незваных гостей пинками, но он стоял покачиваясь, тупо глядя на происходящее, почти спал. Махаев нерешительно изобразил отважную улыбку массовика-затейника:

— А ну-ка, раз-два-три!.. под говорок барабана!.. Умойся, глаза протри... Строиться возле фонтана! — Помедлил. — Не слышат. Может, пугнуть? — Нашел в одном из многочисленных карманов куртки милицкий свисток, напыжился — раздался пугающий дробный свист!

Рядом за стеной кто-то ойкнул, что-то упало. Не дай бог прибежит дежурная. Но военные, не реагируя, молодецки пели носами и глотками, как соловьи-басы в райском саду мироздания. Только один, постарше, открыл глаза и, болезненно морщась, смотрел на нас, явно не понимая, чего мы хотим.

Когда Злобин раза три повторил, оснащая речь витиеватой матерщиной, что это — наша, что платили, капитан (это был капитан, на погоне четыре маленьких звездочки, гуцульские усы) медленно сел на кровати:

— Сколько время? — И, посмотрев на свои часы, выругался и запыргал меж кроватями, тормоша друзей. — Парни, песец!.. Бензин зря жжем!.. Парни... — И зарычал на нас: — Помогайте, что варежку разинули?!

Когда мы наконец вытолкали в коридор всех семерых и они, зевая, щелкая челюстями, поцокали подковами сапог вниз, на улицу, где их должен был ждать транспорт, часы уже показывали два ночи.

— Падаем!.. Вдруг вернутся?.. — сообразил Злобин.

Он запер дверь, выключил свет, и мы легли не раздеваясь. Я с трудом дышал — у меня аллергия. Медленно втягивал сквозь зубы воздух, привывая к нему: до омерзения пахло погашенными окурками, открытыми рыбными консервами, недопитым вином. Встать бы, проветрить комнату, но я видел — окно намертво оклеено бумажными лентами. Выдавить форточку — от холода окочуримся, топят плохо. Дверь оставить открытой — явятся вроде нас... Я только начал задремывать, как затряслась сама стена — к нам из коридора колотились ногами так и не уехавшие вояки:

— Откр-ойте?.. Они не дождались!

Мы лежали молча.

— Откройте, парни!.. Выломаем на хрен!..

Не было сил пререкаться.

На наше счастье, за дверью послышался женский голос, он увещевал. В ответ сорванный баритон старшего грозил танковой атакой. Женщина насмешливо захихикала, потом осердилась и пошла звонить, как мы сообразили, в комендатуру. Военные парни быстро скатились вниз, и, если честно, я их искренне пожалел... Но они все-таки поспали на наших местах. Дайте отдохнуть и нам.

Но только я полетел в сладкую бездну сна, как в дверь снова постучали. На этот раз тихо, деликатно. Я почему-то сразу догадался: Иван Иванович.

— Андрей?.. — позвал он гнусаво из коридора (когда он обижался, всегда говорил гнусавым голосом). — Пустите... я просто посижу где-нибудь...

Не откликаясь, чтобы не разбудить кемеровчан, я поднялся, но Злобин — он тоже не спал, слышал — ядовито шепнул возле самого уха:

— На свое место положишь? Шестерка!..

Я нерешительно замер.

— Андрей... — буркнул еще раз из-за двери Иван. И замолчал. То ли ушел, то ли остался стоять прислонясь к двери.

— Ну иди, зови! Но я тебя уважать не буду, если так пресмыкаешься перед ним...

Я сидел в темноте вонючей комнаты и вдруг вспомнил, как мы выпивали однажды в ресторане: Иван, я, некая девица и белобрысый парень. Иван знакомил нас: крашенная Алена с белыми, как у березы, губами — будто бы журналистка, белобрысый Эдвард — тоже, как и я, ученый, из Москвы, судя по внешности — прибалт. Они спрашивали меня о бедных рудах в наших краях (я кандидатскую защитил по бактериям, с по-

мощью которых государство будет когда-нибудь обогащать руды), о заброшенных месторождениях золота и серебра, сегодня их еще можно вполне недорого купить... На следующий день Иван передал мне почтовый конверт с двумя розовыми бумажками — сто тысяч рублей — и пояснил:

— От Эдварда... за консультацию... Парень из Вильнюса в восторге. Но тут одна неприятность, выяснилось — подружка-то его из ГБ... Так что Эдварду не звони... хоть он и откроет у нас представительство...

— Да на что он мне нужен?.. — хмурился я. Не нравилась мне эта история. — И деньги заberi!..

— А вот это ни к чему! — сказал Иван. — Бизнес есть бизнес... Зря ты им целый час лекцию читал?..

Надо было вернуть проклятую сотенку — не вернул. За квартиру, что ли, срочно требовалось заплатить? А их я позже не раз видел вместе — Ивана и Эдварда. И сейчас, в дрянной аэрофлотовской гостинице, подумал: а не пугнул ли он меня тогда гэбухой, чтобы я с этим Эдвардом больше не встречался... наверняка не сто тысяч стоила моя «лекция»... директор, элементарно, поживился за счет своего заместителя с ученой степенью... Он мог это запросто сделать, как делал не единожды нечто подобное с другими нашими компаньонами, подмигивая мне... И застарелые обиды зажались во мне, как камни в печенке.

Тем временем за дверью снова кто-то задвигался, задышал, заскребся:

— Андрей?.. Андрей Николаич?..

Он не ушел! А спросить прямо сейчас, не открывая: «Это правда, что ты, как мне передавали, имеешь личный — вне нашей общей фирмы — счет, куда тебе переводят таинственные огромные суммы?..» И еще вспомнилось, как он пригласил меня с Таней в театр (И. И. купил костюм от «Ле Монти» и стал выезжать с молодой женой-переводчицей — знает английский и немецкий — на концерты, на спектакли). Так он умудрился и здесь заказать билеты «разного уровня уважения» — сам сел в нулевом ряду партера, а нам с Таней выдал билеты на балкон. Он не мог не знать, где партер, где балкон. Сверху ничего толком не видно и не слышно. Может, боялся, что я, посмеиваясь над актерами, что-нибудь рассказывая из их жизни (я когда-то сам играл в самодеятельности), понравлюсь его Светлане?.. А так — на меня сразу ложилась тень оскорбительной насмешки. Согласитесь, если даже гений попал в дерьмо, вы обойдете его — не захотите мараться... Мы сидели под потолком, кивая Ивану со Светой, натянуто улыбаясь, а они, глядя вверх, тоже, конечно, кивали, а потом, отвернувшись, хихикали... Груб Иван, но психолог отменный.

— Андрей!.. я устал! Я только посижу.

— Да пусть ляжет на полу... я ему одеяло дам, — прохрипел я гневно Злобину (и самому себе) и открыл дверь.

На меня дохнуло водочным перегаром. Иван, тяжело опьяневший, топтался в темноте коридора — здесь свет был тоже погашен.

— На полу ляжешь? — в лоб спросил я.

Он молча сопел. То ли раздумывал, то ли не слышал. Нет, видимо, раздумывал, потому что вдруг пробормотал:

— Пойдем где-нибудь поговорим?..

— Что?.. — я удивился. — Я устал. Я тебе одеяло постелю... ляжешь.

— В этом пальто?

— Ну снимешь!.. — зазвенел из комнаты голос Злобина. — Не растаешь, не сахар... Где-то же ты ходил... чего вернулся?

— Я там в толпе стоял. И специально не шел сюда, чтобы вы хорошо поспали. А сейчас не выдержал.

Я не знал, что сказать. Злобин с грохотом перевернулся на койке.

— Иван, разговаривать нет сил. Не хочешь — не надо.

Может быть, он действительно ждал, что я уступлю ему кровать? По пьяной фанаберии испытывал? Этого не будет. В конце концов, он даже

на год моложе меня. А скорее всего, он понимал, что я не уступлю. Тем более при свидетелях. Но ложиться на заплыванный пол — ниже его достоинства. Вот и тянул резину.

— Ну, немного... — нудел он, щекастый, с утиным носом — при свете уличного фонаря я уже различал его лицо. — Я как раз о нашем общем деле думал...

— А он уходит от тебя! — радостно засмеялся из глубины комнаты Злобин, пытаюсь, видимо, хоть как-то задеть толстую кожу Ивана Ивановича.

— Что? — пробормотал мой директор. Кажется, испугался.

— То.

— Как это, Андрей Николаевич?..

По отчеству! Уже дважды. Нет, зря тут мешается Злобин...

— Добавишь ему полмиллиона в месяц?.. — снова резанул тишину неугомонный Александр Васильевич, ноги которого, упираясь из короткой кровати в стену, ползли, как ноги паука.

— Я ему миллион добавлю, — тихо отвечал Иван Иванович. — Зачем вы меня так ненавидите? Два миллиона добавлю.

— Через год, когда инфляция съест деньги, как моль, — тихо пробурчал, чмокая губами, Махаев. — Ну, я сплю, сплю.

Серебров храпел в дальнем углу комнаты, содрогаясь всем телом, словно стрелял из тяжелого пулемета.

— Хорошо, — вздохнул я. — Хорошо. — И вышел в коридор. В голове словно пламя крутилось. Я, наверно, сейчас упаду. Я прикрыл за собой дверь.

Иван обнял меня и захныкал.

— Ты... ты что?! Зачем напился?.. — Я с трудом оттолкнул его.

— Хочешь?.. У меня полбутылки виски.

— Больше не могу.

— А я пью!.. — вдруг с какой-то горькой торжественностью заявил Иван Иванович. — Пил и буду пить, пока не вернемся. Тебе надо денег? Любую сумму. Ах, Андрей, я же понимаю, о чем вы... Но я тоже, тоже...

— Что?

— Я тоже... Я тоже — второй. Не ржи, как свинья во ржи. Никакой не хозяин. Мои хозяева — здесь, в Москве. Ты многого не знаешь, Андрюха. При всем твоим умом...

— Так ты же не говоришь!

— А где говорить? Когда? — Он перешел на шепот: — Везде уши...

Мы стояли возле черного ящика, висевшего на стене, — наверно, здесь свернутый шланг или ведра на случай пожара. В конце коридора, в торцовом окне, сиял аэропорт. Было невероятно тихо. Такого никогда раньше в аэропортах я не наблюдал. И на душе вдруг сделалось тревожно.

А тут еще Иван — с лицом, мокрым от слез, и эти его путанные фразы:

— Они наши истинные хозяева... я тебе не могу назвать фамилий... но это большие, большие люди... ты их по газетам знаешь... я в сравнении с ними так, муха... Они во все советы директоров вошли... им принадлежит промышленность, нефть, уран... все месторождения... местные власти для них — камуфляж... захотят — завтра подчинят нас всех напрямую — Москве... Ну, найдут какую-нибудь народность, подскажут объявить республику — и вместе с республикой — как субъект федерации — в прямое подчинение... А это большие, большие деньги, Андрей!.. — Он взрыднул и снова хотел обнять меня, но откачнулся и стукнул себя в лоб кулаком. — Извини. Извини. Я знаю, ты знаешь... я тебя обижал, обманывал...

— Идем, ложись.

— Но ты не знаешь, на каком крючке меня самого держали!.. — Он жарко задышал мне в щеку: — Открыли счет!.. В Цю... Цюрихе. Веришь? А потом показывают пленку — все там записано камерой... ну, как передали мне номер счета, ключик... То есть, пока не рыпаюсь, деньги вроде у

меня есть... а если что — все это как лопнувший гандон... — Он коснулся мокрыми губами моего уха: — Хочешь, я и тебе сделаю валютный?.. Тут мало ли что... Начнут опять эксп... экспроприировать... Только не оставляй меня одного, Андрюха. Я глуп как баран. Они помыкают мной. Я Светкой своей уже жертвовал, веришь?.. Ну, надо было узнать кое-что... и показать, что я их с потрохами... А Светка нам на Западе пригодится... все языки знает... Бл-ляха!.. — Он вынул из внутреннего кармана пальто бутылку. — Выпьешь из горла на брудершафт?! Я тоже — второй. Мы оба — вторые. Я хочу жить. Один я погибну. Хочешь — ты командуй!.. Идем, я лягу в твоих ногах!..

— Дело же не в этом!.. — застонал я. Умеет он простягой притвориться и до дна достать. — Я к тому, что неизвестно — полетим завтра или нет... нам обоим надо выспаться!

— Нет, еще постоим!.. — Он медлил. — Мне плохо, Андрей. — Он отхлебнул из горлышка и покачнулся. Может быть, изобразил сильное опьянение, чтобы наконец пойти и упасть на пол — как бы уже без сознания...

Злобин, конечно, не спал. Я ввел под руку Ивана в наш номер, временно усадил на кровать. Постелил на пол одеяло, сложив его пополам.

— Ложись.

Без слов Иван Иванович опустился на колени и, не снимая пальто, лег лицом вниз.

— Молоток, — шепнул мне Злобин и, зевнув (интересное для него кино кончилось), тут же уснул.

А я не мог заснуть. Я вдруг услышал, как булькает, выливается на пол из пальто Ивана, из незаткнутой бутылки иностранная жидкость. Что делать? И. И. к утру провоняет, как пивной ларек. Попытаться вытащить граненый сосуд? А если разбужу?..

Мне приснилась моя дипломная работа — как мы воздействовали музыкой на рост цветов. Моцарт, Бах, Вивальди ускоряли рост цветов. Дисгармоничная, с быстрым ритмом-лязгом музыка губила цветы. Со мной работала моя однокурсница Инка Петрова. Белозубая, светлая, тоненькая, она вслух удивлялась: «Надо же... правда?» Я отвечал: «Правда», имея в виду свои смятенные чувства. Но наше поколение было робким... во всяком случае, я был и остался вторым. Сейчас Инночка вместе с мужем, академиком А., живет в Лондоне.

Нас разбудил визгливый голос включенного во всей гостинице радио, громкий топот по лестничным пролетам, дальний, но различимый гром самолетных двигателей.

Ивана в комнате уже не оказалось — я его увидел, только когда пошел на посадку. Он был в новой зеленой куртке с капюшоном. Пальто, видимо, выбросил или сдал в багаж. С черным лицом, но абсолютно спокойный, важный, Иван кивнул мне. В самолете мы снова оказались в разных салонах — он в первом, я во втором. Да, несмотря на все ночные слезы и разговоры, каждый из нас возвращался в свою жизнь, на то место, которое он заработал, к которому привык.

Впрочем, когда мы с Левкой Махаевым прощались (Злобин, хмуро кивнув, повел невменяемого Сереброва в самолет — тот, видимо, всерьез заболелся, его корежила неведомая мне болезнь), Левка, щедерив большой рот, оттянув углы его книзу, как паяц из оперы, сказал мне:

— А вообще, Андрюха, есть выход из замкнутого круга. Только надо убедить себя, что ты веришь в себя.

— Что?! — Я уже не хотел этих разговоров. — Как можно убедить, если все уже привыкли, что ты такой, какой ты есть?

— Ты меня не понял. Пусть привыкли. Даже хорошо. И однажды ты говоришь: а я нарочно!.. А на самом деле я вас всех насквозь вижу... по-

скольку я — ясновидец! Только нагло, нагло! От отчаяния нагло должно получиться.

— Ну и что? — хмыкнул я.

— Как что?! — Голос Левы стал железным. Еврей заговорил, чеканя слова, как ефрейтор-украинец: — А вот що. «Я знаю, що буде з вами через полхода!.. — Это ты им говоришь. — Я знаю, что тебе, тебя ждет. Я знаю, чем ты болен». И так далее. Люди боятся, когда им вот так говорят. Даже если подумают: а не шарлатан ли?.. — все равно пугает мысль: а вдруг??? Сейчас как раз время ясновидцев. Ибо грядет конец века. И ты, наряду со всеми этими самозванцами, которые в золоте купаются, жопой его едят, сразу же переходишь в разряд людей... даже нет!.. не первого сорта... Выше! Эти, которые первые, они же понимают, что ты всегда превосходил их умом... они тут же смиряются.

Мне надо было идти на посадку.

— погоди!.. Когда еще увидимся?.. — горестно опустил воловьи глаза Левка. — А может, брат, и первых-то нет, которых первыми мы считаем? Ибо они тоже чьи-то вторые. А те — вторые для еще более могущественных... и даже... и даже... — Он шаловливо ухмыльнулся, не договарив. — Подумай в самолете.

Но я в самолете спал... Я видел озеро и туман, который отгибается, как уголок страницы... и под ним блеснуло красное золото огромной рыбины, которую я уже никогда не поймаю, но я знаю, где она есть... И еще я знал, что в эти годы черной вольницы меня уравнивает с хозяевами жизни только смерть... Правда, как я недавно подсчитал на компьютере, их шанс умереть раньше меня равен десяти — двенадцати процентам. Так стоит ли жрать черную икру чашками и спать на красных девицах, хватая за большие деньги любую из них с улицы, чтобы сгореть в коттедже или рухнуть средь бела дня на улице с пулей в башке? Но, с другой стороны, что есть яркая жизнь? Долгая умная жизнь или жизнь, полная риска? Это я так, в порядке сонного бреда, пока самолет, проваливаясь, идет, кажется, на посадку... А может быть, и падает?

И скажу напоследок, исчезая, как звездочка, из ваших глаз, — американцу этого рассказа не понять.

Апрель — май 1995 года.



МОИСЕЙ ЦЕТЛИН



ИЗ ПЛАМЕНИ РУКА

Великая волчица Клио

О фильме «Покаяние» услышав,
О порожденье немощи и страха,
Оцепенел: поганые кацо!
Вновь о Великом Волке вопль несется,
Вновь о Хароне, о стигийском кормчем,
Невольнике Волчицы, мир влекущей
Чрез гибель мертвых форм и поколений
К пределам новым жизни. Все о нем.
Великий Волк, вобравший, Бич Господень,
В себя всю кровь, всю ярость гекатомб,
Сам, бабка повивальная столетий,
Достоин вознесения, как жертва,
На небеса высокие Тайгета
Моей Эллады, не глумленья, нет,
От страха извивающейся твари,
Узревшей в «Покаянии» венец.
Прикованный к продавленному ложу,
Как к лежбищу, годами и недугом,
Живу как бы в галактике чужой.
Тьмы световых годов нас разделяют.

Создать подобие Сен-Сирской школы,
Где в целомудрии по Фенелону
Девиц дворянских Старого порядка
Воспитывала мудро Ментенон,
Задумала Екатерина, поручив
Растрелли гениальному воздвигнуть
В Санкт-Петербурге Смольный монастырь.

Позднее же для юных дочерей
Российских благороднейших фамилий
Построил здесь Кваренги знаменитый
Поблизости и Смольный институт.
Они в нем годы жили. На груди
Цвели затейливые шифры. Их портреты
Писал Левицкий. Брали и наложниц
Цари отсюда же: Нелидову, других.
Здесь Тютчева училась, дочь поэта,
Что фрейлиною стала при дворе.
Денисьева воспитывалась. Тютчев
Ей посвятил великие стихи.

Все смыло время после Октября.
 Сначала штаб мятежников здесь был,
 Потомков якобинских, а затем
 И в зале актовом, и в классах институтских
 Фигуры в кожанках мелькали день и ночь.
 В тридцатых же годах к шагам привык народ
 Секретаря партийного обкома.

Двум куликам-царям не жить в одном болоте.
 Один погибнуть должен иль уйти.
 Убрать его! Позволено все князю!
 Правителей наставник Макьявелли
 Так завещал. Для блага государства
 Единство власти — ой необходимо!
 А иначе — развал в земле, хаос.
 Пусть говорят: безумный честолюбец.
 Пусть ненавидят, только бы боялись.
 Мне адвокат и дьявола не страшен,
 Как адвокат Творца. Свободен я.
 Да, я убью его, как сотни тысяч
 Распятых мною! Бич Господень или Волк —
 Мне безразлично, кажет путь мне Клио.
 Поэзия, она — судьба иль непреложный
 Закон богов, мне дела нет. Вперед!

Я рассчитал его уничтоженье,
 Как должно принцепсу. Не стал бы здесь
 Я выбирать ничтожную мишень.
 Не много бы дало убийство пешки.
 Мое возмездье мнимое таким же
 Ничтожным было бы. Такого же, как этот,
 Свалив, я развязал бы руки
 Для истребления всех врагов своих
 Действительных, всех до конца, навечно.
 Великий итальянец мне велит
 Быть беспощадным. Я избрал свой путь.
 Бегите всех, кто вам творит добро.
 Нет мстительней кристалльных душ на свете.
 Пред ними вы всегда, как червь, в ответе.
 Ищите зла. Оно, как мир, старо.
 Миф подло лгал. Возмездия не будет.
 Идите в мир. Дышите полной грудью.

Есть высокое что-то в оправдании зла —
 Свет слепящий кивота, чудодейная мгла.
 И чуть видные в Тверди берега божества —
 Позывные ли смерти, чувство ль с Небом родства?
 От конца до начала ваша правда бедна,
 Как цианистый калий, как цикута до дна.
 И когда я увижу, демиург, твой чертог,
 Я себя не унижу, пав у благостных ног.
 Я приникну к подножью — мне не очень везло, —
 Помоги мне, о Боже, всем проклятьям назло!
 Помоги мне, мой черный, мой затюканный бес,
 Чтобы путь мой стал торным от земли до небес!

Все позволено князю! — не так ли сказал
 Флорентиец божественный Макиавелли?
 Как подкошенный, наземь сраженный упал.
 Кровь хлестала, рвалась, как факел, из раны.
 И, седые от страха, Эринии пели
 Не возмездье тирану и месть, а Осанну!

1987.

Глушь

Блажен, кто среди разбитых урн,
 На невозделанной куртине,
 Прославит твой полет, Сатурн,
 Сквозь многозвездные пустыни.

Владислав Ходасевич. 1912.

Прошлым годом
 Меня судьба
 Случайно занесла
 В Олонецкую глушь.
 Я шел по улице
 Рочдельских пионеров.
 За ней тянулась
 Улица Лассалья.
 На площадь выйдя
 Розы Люксембург,
 Увидел бюст ее
 На городском бульваре,
 Перед артелью
 Швейной.
 Потрескавшийся весь
 И потемневший
 За полстолетия.
 Горбинка на носу,
 Открытый взор
 Напомнили забытый
 Образ Розы.
 Я вспомнил мрамор
 Чопорных вельмож,
 Безносых и безглазых,
 В опустевших
 Дворянских парках,
 В золоте листвы
 Иль под дождем осенним.
 Вспомнил юность —
 Наивную восторженность
 И план
 Монументальной пропаганды.
 Подумал о Фурье
 И Кампанелле
 И о Сатурне тоже.
 Мне стало тяжело дышать.
 Вихляющей походкой
 Юнец ко мне
 Какой-то подошел,
 С копной слежавшихся
 Волос до плеч,

С тупым и наглым взором
 Рыжих глаз.
 Мне захотелось
 Пнуть его ногой.
 Я повернул
 К разбитому ларьку,
 Понурых двух
 Увидев инвалидов.
 Мы молчаливым
 Обменялись взглядом.
 Бутылку взяли на троих.
 Я долго, пьяный,
 Плакал перед Розой,
 Прося простить меня,
 За что — и сам не знаю.
 Какая-то швея
 Меня к себе
 С бульвара увела.
 Очнувшись на скамье
 Подгнившей вновь
 Холодную зарей,
 Не смея глаз поднять,
 Побрел, сутулясь,
 К станции глухой.

1974.

* *
*

Наши деды поклонялись грекам.
 Мраморам разбитым Парфенона.
 Риму и волчице. И Катуллу.
 Но потом раздвинулись пределы.
 Византии разнеслись напевы.
 Призрак Нотр-Дам возник над Сеной.
 Храм на Нерли виден стал. И фрески.
 И наскальные ловитв изображенья
 Все заметили. Фаюмские портреты.
 Инков изваяния немые.
 И богов эбеновых из Конго.
 Зачитались Дафнисом и Хлоей.
 И Евстафием-Плакидою. Однако
 Невозможно нам в лицо Медузы
 Дивное смотреть не каменья.
 Тверди нет. Одно бессмертье в мире.
 Холод вечности ненужной. И познания
 Плод проклятый, сорванный в Едеме.

1975.

Бёсы

Все позволено девственным душам.
 Больше нет впереди Пиренеев.
 Что нам Татры, когда Гиндукуша
 Ледники перед нами синеют.

Над любезным Измайловом стужа.
И заря над Москвою пожаром.
Мы дороги Пенджаба уютим.
Танки черные над Пешаваром.

Слушай, Корсика, Сена и Лондон, —
Мы на гребне стоим Индостана.
Пред тобою — каменья Голконды.
Позади нас — столетья Ирана.

И не боги уже по Гомеру —
Здесь над джунглями Киплинг витает.
Входят танки в роскошную эру.
Гумилева их тень осеняет.

Платов вел казаков до Арала.
Гибли люди, в степях замерзая.
Императора в замке кончалась
Злая участь, лампадой мерцая.

1980.

Лесной пожар

Сирена ночью взвыла
и замолкла.
Поселок весь проснулся.
Темнота
багряной стала.
Люди цепенели,
следуя, как пламя
по лесу бежало,
как вспыхивали нимбы
великомучениц,
как сосны погибали
по приговору
Божьего суда,

1975.

дрожа всей статью,
заживо горя.
Огня языческая
колдовская сила
великолепием
их ужас одарила.
Рыдали женщины,
укрыв собой детей.
Спасая жалкий скарб,
толпа металась.
И горня
из пламени рука
то появлялась,
то опять скрывалась.

Не лепо ли...

Могиланская школа и Лира.
Брат невзрачный. Не воин. Чернец.
Марка Туллия он и Омира
Знает лучше, чем горний Отец.

Берег Лавры. С высокого вала —
Словно пыль полонецких коней.
В сердце Повести зреет Начало,
Что всех эпосов древних сильней.

Всем прозреньем и силой поэта
Оживи заднепровскую даль
И глаголом Бояна аэда
Воскреси нам былую печаль.

1983.

Золото средневековья

Моей готической любви
 На витраже излом забытый.
 К тебе одной, хоть путь извит,
 Иду по пажити изрытой.

С волнением погляжу, как твой
 Под власяницей бьется мускул,
 Округлый вспомнив золотой
 Каллиграфический минускул.

1980.

«Книга юбилеев»

Апокриф. Огнь тысячелетий.
 Амхары львиный с твердью спор.
 В нем слышится твое наречье,
 Потомок эфиопских гор.

В нем коптов древнее Начало,
 Зовущее, как чистый лист,
 И Иппокрена, что венчала
 Тебя Лаурой, лицеист.

1987.

Кто смеет?!

Ныне отпускаеши.

Лук. II: 29.

Геронтология!
 Кого сей цирк не взбесит?!
 Не много ль лженаук?!
 Что даст тебе она?
 Зачем вторгаться в жизни равновесье?
 Жить до ста?!
 Нет!
 Избавь, Господь, меня!
 Я был вчера в приюте престарелых.
 В глаза ты посмотрел бы тех людей,
 От дней и от ночей оцепенелых
 И ждущих, как Даная:
 Из дверей
 Свет золотой затопит всю палату
 И избавленье Бог им принесет
 От немощей и болей
 И убьет
 Их память до конца о днях проклятых
 Земных жизни.
 Кто пред верой
 Таких
 Осмелится захлопнуть вход,
 Кто смеет смерти
 Все ослепляющий остановить восход?!

1972.

Баптистерий (1260)

Кафедра в крестильнице пизанской —
 шестигранник на шести колоннах.
 Три на львах стоят. Седьмая
 посредине поднялась из группы
 трех фигур и пса, и льва, и грифа.
 Тускло светит мрамор. Сплошь покрыты
 грани барельефами. Никколо
 изваял скульптуры по Писанью.
 Мало византийского в античном
 лике Богоматери, в движеньях
 к ней людей, искусством оживленных.
 Возрождения заря близка.
 Лет чрез пять родится Алигьери.
 Кто же в баптистерии окрестит
 нас с тобой? Не видишь разве, Отче, —
 на ущербе мы, как этот бледный
 серп Селены в небесах осенних!
 Злая ночь кругом. Деревьев голых
 на дорогах тени и распятыя,
 и уста, закрытые печатью,
 безглагольны, Господи, от века!

1980.

Лики ангельские

Серафимы, Херувимы и Престолы.
 И Господства. Силы все и Власти.
 И Архангелы. И Ангелы. Их сонмы.
 Лики их в пылании небесном,
 Что являлися в грозе и буре
 Апокалиптической когда-то.
 В серафическом мелькнут сиянье
 Мириады духов, звезд, видений,
 Поведет меня когда Вергилий
 По полям конца Тысячелетья,
 Распахнет, как горизонты Мира,
 Мне керуб с мечом у врат Едемских.

1975.

ОБ УШЕДШЕМ ПОЭТЕ

Не забыть бесчисленных рукописей скончавшегося нынешней весной Моисея Наумовича Цетлина (1905 — 1995). Странички в половину машинописного листа, на которых стихотворные строчки теснились, да еще оставялось место для сносок... Может быть, в этом своеобразно избранном формате была тоска по очертаниям книжки, которой Цетлин добивался долго. Но «совписовский» сборник «Линии ливня», вышедший еще в опасливое «застойное» время, не дает представления о даровании автора, не содержит лучших вещей. Полноценной книги Цетлин не дождался, только к концу жизни у него было несколько заметных публикаций. А он был автором тысяч стихотворений, самые ранние из которых датированы годами гражданской войны. Не менее сотни кажутся мне выдающимися, и это — много. Сноски, пестрящие на рукописях... Он привык к тому, что читатели опять будут малосведущими, редакторы — малограмотными, имеющими смутное представление о Гомере и Евангелии, им надо будет объяснять, кто такие Платон и Мария Стюарт. А уж Розамунда, мадам де Ментенон, Кольридж, Теодорих...

Цетлин был человеком обширных твердых знаний в разных областях. Преподавал латынь в московских вузах, последние два десятилетия — в МГУ. Переводил поздних латинских авторов, например «последнего римлянина» Бозция. Знал древние литературы в подлиннике.

До конца жил он скромно и тяжело, как большинство наших пенсионеров. В блочном доме на пятом этаже без лифта. Бывал не только любезен, снисходителен, хлебосолен — был добр, сострадателен. В жизни его, вероятно, много таинственного: знакомства, круг общения... Стороной (по университетскому преданию) знаю, что в годы террора неприметному Цетлину удалось невозможное — вытянуть с Лубянки нескольких оклеветанных преподавателей. Был глубоко верующим (это ясно по стихам), любил русских «блаженных», дружил с видными православными священниками. И по сути дела — вслед за Эразмом — считал, что на земле существует только одна религия. Иудаизм, христианство, ислам — единая «религия откровения». Проявление того же небесного начала Цетлин ощущал и в языческих божествах, принимал и Будду, и Зороастра, пылко поклонялся Афродите Книдской. Любил плоть культуры, духовную плоть: иконы, тисненую кожу переплетов, шрифт эльзевиров, тесаный камень руин Афрасиаба, полотна мастеров... Но основой основ было Писание.

Такой человек не мог быть либералом. Цетлин, раздраженный никчемностью «шестидесятников» всех веков, упрямо эстетизировал волевых «демиургов», деятелей, бестрепетно творивших историю, «земли притяжение насильем осилив». Пожалуй, в этой эстетике была доля фрондерства, стремления пойти наперекор пустоголовой толпе. Но ценил он не только Леонтьева, но и Герцена. С гордостью назвал себя в одном стихотворении «потомком декабриста». Имелся в виду декабрист Григорий Перетц, родом из крещеных евреев (его прямым потомком была известная исследовательница древнерусской литературы В. П. Адрианова-Перетц). В родстве был Моисей Наумович и с поэтом Амари, с семьей Цетлиных, известных меценатов русской эмиграции.

Он высказывал противоречивые, взаимоисключающие взгляды, и одно его стихотворение как бы направлено против другого. Так спорили сами с собой авторы средневековых теологических диалогов.

В Цетлине жила нескрываемая ненависть к «термидору», торгашеству. Ему были омерзительны пляски безмозглых циников на гробах. Свойственно презрение ко всему, что не страсть и не рождено страстью. В его стихах явлен не только ум, одновременно глубокий и молниеносный, — в них ощутима сила воли, воодушевления, которую трудно было бы предположить в этом больном, одутловатом, с годами все более дряхлевшем старике.

Несовершенство некоторых его текстов — от презрения к ухищрениям формы, украшательству, излишествам. Только — чистый дух, только — порыв. Только предел, Апокалипсис... Здесь, на мой взгляд, ему случалось ошибаться. Приблизительные рифмы «проходили» в этом веке, наверно, только у ранней Ахматовой с ее безошибочной гениальностью... С годами Цетлин стал строже, его стихотворения самых последних лет совершеннее. А белые его стихи всегда благородны по тону, в них — мощь звука и тончайшее чувство меры. В лучших произведениях Моисея Цетлина — редкое умение населять свежей поэзией простые слова, извлекать ее даже из однообразного перечня имен и предметов.

В старину на Руси именовали пророков и песнопевцев «Государями Псалтыри». Так назвал Сковороду в своих стихах Арсений Тарковский.

Жил еще недавно Моисей Цетлин, русский поэт, который смел воскликнуть:

...Я твой, праматерь и гроза.
Синай мне снится.
Закрой мне черепком глаза,
Прах — плащаницей.

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ.

ЯАН КРОСС

*

АЛЛИЛУЙЯ

Рассказ

В это время года, в середине декабря, лампочка Ильича под потолком сушилки для валенок горела день напролет: шестьдесят шестой градус северной широты властно заявил о себе тьмой. Мороз до такого градуса не опускался, но уже не раз на исходе ночи обледенелый термометр показывал ниже сорока. Чтобы к шести утра, как заговоренный, подняться до тридцати восьми, разом перечеркивая надежду общих бригад на морозные каникулы. Подземных бригад температура воздуха, естественно, не касалась, и огонь в печи сушилки должен был пылать в любом случае.

Сушилка эта — помещение размером в семь метров на три с половиной — располагалась за тамбуром барака, меж двух барачных секций. На двухэтажных нарах каждой секции ютилось по пятьдесят человек — совокупно точно одна центурия, — три четверти из них политические, четверть — блатные. Печь для просушки валенок представляла собой побеленный прямоугольник кирпичной кладки, четыре раза по полтора метра, высотой с обеденный стол и с топкой с чугунной дверцей посредине. А в воздухе, над ребристой поверхностью печи, величиной с эту поверхность, висели две деревянные решетки, на которых раскладывалось то, что требовалось просушить, — преимущественно валенки и портянки, но часто ватники и ватные брюки, поскольку в забое и они нередко промокали. Вещи посуше сохли на верхней, посуше — на нижней решетке. Сама же поверхность печи обычно пустовала, ибо то и дело раскалялась, и все, что туда клали или падало, начинало чертовски быстро тлеть и чадить.

Угля для отопления нам, конечно, вполне хватало бы, — как-никак лагерники работали на каменноугольной шахте. Формально и хватало. Истопнику при сушильной печи нужно было только подвезти его на санках в барак из большой кучи в северо-западном углу зоны. Однако, не ограничивая уголь в количестве, государство навело строгую социалистическую экономию в качестве: для лагерных печей добывали уголь четвертого сорта. А это значит — наполовину с каменной крошкой, и истопникам стоило титанических усилий разжигать и поддерживать огонь. Я держался на плаву только благодаря двум добровольным помощникам — Лаосу и Кынду, немногословным и немолодым эстонским хуторянам изпод Арду, что на границе уездов Харью и Ярва. Мобилизованные под самый конец немецкой власти в какой-то пограничный полк, а после побега оттуда скрывавшиеся в ожидании «белого парохода» в тамошних зарослях и лесах, теперь они мастеровитыми плотниками отрабатывали тут свою десятку. Строили бараки у западной кромки нашего лагеря, где готовили новое пристанище для ожидаемого пополнения. Древесины там было предостаточно, и в порядке кой-какого обмена — с моей стороны что-нибудь под зуб из моих посылок — плотники по вечерам, возвращаясь с работы, приносили мне перевязанную бечевкой вязанку сосновых стружек и щепы. Оттаяв и с неделю подсохнув, они пылали в сушильной печи с шумом и треском, постепенно начинал тлеть и перемешанный с камнем уголь. Особенно если на возгорающийся уголь плеснуть разок-

другой водой. По какому закону физики вода способствовала разгоранию пламени — не ясно мне и по сей день.

Вот и теперь печь у меня, как обычно, топилась, и при сорока градусах мороза за стенами барака в самой сушилке стояла тридцатиградусная жара. Так что, вопреки постылой работе, я не мог не признать, что чувствую себя довольно-таки уютно в этой сумеречной духоте — как-никак свой угол и сопутствующая этому крупница воображаемой независимости: не только нары, но и стол для тебя одного, как и табурет у стола, а на столе — несколько собственных книг и собственных тетрадей. Вот только личного времени для работы за этим личным столом почти никакого. И воздух от зловония сушившихся валенок и портянок такой, что я, хоть и притерпелся к нему, все еще старался не думать о язычке в гортани из опасения, что одна мысль о нем может спровоцировать рвоту.

В дверь постучали.

Нагнувшись, я выплеснул из жестяной кружки последнюю толику воды в очаг и оглянулся через плечо: кого это черт принес? Потому что хотя стучать тут и было принято, но только не в дверь. В дверь стучали разве что ночные вертухай, когда им приспичит проверить сушильни, дверь же от воров и бандитов изнутри на запоре. Да и стук этих ночных стражей назвать стуком можно было разве только условно. Поскольку обычно они барабанили кулаком, к тому же втрое громче необходимо-го — бумм-бумм-бумм, «Открой, твою мать!».

Я отозвался:

— Да-да-а!

Дверь отворилась. В сушилку с шипеньем ворвался морозный воздух, и из белого облака пара в освещенное электрической лампочкой марево вступил высокий мужчина в сером коверкотовом пальто. И аккуратно закрыл за собой дверь. Я поднялся.левой рукой незнакомец снял с головы — Боже мой! — серую шляпу от Хюккеля, сунул ее под мышку и принялся стягивать с правой руки тонкую серую перчатку. Справившись с этим, он протянул мне руку.

— Guten Abend. Doktor Ulrich!

У него была большая, осененная пепельным пушком голова и крупное костистое бледное лицо, посиневшее от холода. Вопреки абсурдности ситуации было оно совершенно серьезно.

Я пожал холодную как лед руку и что-то пробормотал. Он сказал «пардон» и раскрутил обматывавшую его подбородок и темя полоску ткани, к которой были пришиты овальные войлочные наушники.

— So. Jetzt höre ich Sie absolut normal².

После двухнедельного этапа в стальной вагоне он вчера прибыл из Москвы. Гость сел на предложенный табурет и отвечал на мои вопросы странно гулким, но приглушенным почти до шепота голосом. Да, он из Берлина. Доктор исторических наук. Ах, последнее место работы? Н-да, в этом-то и вся загвоздка. С 1934 года он состоял на службе в Министерстве иностранных дел Пруссии. Данное министерство формально продолжало существовать и во времена премьер-министра Геринга. И доктор Ульрих заведовал министерским архивом. Когда его начальники в конце концов один за другим бежали из Берлина, он остался на месте. Ибо он не нацист, а историк. И был в ответе за доверенные ему ценности. А ведь среди них имелись — шутка ли сказать! — хотя бы, к примеру, письма Бисмарка за тридцать лет. Так что доктор Ульрих счел своим безусловным долгом остаться среди развалин столицы. Остаться на месте и передать ключи своего архива — в дверях сохранившихся подвалов этого разрушенного бомбежками здания — победителям. Но победители не удовлетворились ключами, они прихватили с собой и его самого.

¹ Добрый вечер. Доктор Ульрих (нем.).

² Ну вот. Теперь я слышу вас абсолютно нормально (нем.)

В Бутырке — сейчас мне кажется, что именно там, — доктор провел, по-видимому, более двух лет. Пока ему в каком-то коридоре с клочка бумаги не зачитали его пятнадцать лет, после чего отвели обратно в камеру. В камеру, где помимо него содержались и другие немцы, признанные достаточно важными персонами. Среди прочих упоминавшийся и в нашей печати майор Линге. Об этом последнем доктор Ульрих — в третий или четвертый вечер, попивая чай у меня в сушилке, — рассказал, что был он сыном некоего баварского трактирщика, укрывавшего в своем доме Гитлера от полиции Веймарской республики. За что Гитлер поклялся сделать сына трактирщика — тогда, кажется, десятилетнего упитанного здоровяка — большим человеком. Позднее Гитлер и взял парня в свою свиту, но большой человек из него не получился. Доктор Ульрих уточнил: серого вещества оказалось маловато. Но звание майора и место камердинера фюрера ему было авансировано. В должности камердинера на протяжении многих лет Линге получал в свое распоряжение все одетое исподнее, а еще рубашки, носовые платки и носки фюрера. Все это фюрер обычно после одноразовой носки выбрасывал. От подвязок для носков он, вероятно, так быстро не отказывался, но и они время от времени среди прочего добра доставались Линге. Камердинер собирал хозяйские вещи и продавал их, и чем дольше длилась война, тем дороже, сам же носил только самые добротные.

Итак, спустя четверть часа доктор Ульрих вернулся в камеру со своими пятнадцатью годами, немного бледнее, чем всегда, и еще более углубленный в себя, чем обычно.

Немцы, пять или шесть человек или, как мы теперь снова сказали бы, господ, отреагировали на его пятнадцать лет по-разному. Некий директор «Фольксвагена» улыбнулся и произнес: «Нормально». Начальник рудников в Судетах, старый национал-социалист, приверженец Хенлейна, позлорадствовал: «Ну и какой прок в том, что вы двенадцать лет сторонились партии?!» Господин из Райхскунсткаммеры — Государственного художественного музея — сказал: «Ясно. В Нюрнберге труп Геринга весил уже всего девяносто кило. Явно слишком мало, чтобы испушить вину всех своих подчиненных». Ну и дальше в том же духе. Никто не высказал того, о чем большинство на самом деле подумало: а что еще можно ожидать от этих русских тварей? Кажется, майор Линге оказался самым деятельным из всех:

— Доктор, опыт показал, что после объявления приговора заключенного быстро увозят отсюда. Не следует ли вам учесть это?

Доктор пробормотал рассеянно и почти радостно:

— Ну что ж, увозят так увозят. Значит, потопаем...

Другие, которых это пока не касалось, были более практичны. У служащего Кунсткаммеры имелись валенки. А у директора «Фольксвагена» нож, заточенный из обрезка жести. Из отворотов каждого валенка, на месте подколенной впадины, они вырезали два овала величиной с ложку — для защиты докторских ушей.

— Да-да, доктор. Даже здесь, в Москве, уже десять градусов мороза. Ближе к Северу несомненно все двадцать.

Брючные ремни и подтяжки у всех отобрали еще при поступлении. И в тюрьме ни у кого из них живот не раздобрел, а, наоборот, усох. Так что и у доктора брюки держались на заменившем ремень запрещенном обрывке веревки. Отсутствие подвязок из-за ограниченности передвижения в камере их пока мало заботило. Теперь же Линге сказал:

— Доктор, не можете же вы отправиться в таком виде — из-за приличия, а также из-за холода, — чтобы носки обвисали на лодыжках. Подождите. У меня чудом уцелели подвязки. Возьмите их и подтяните носки.

Он сел в угол, который не просматривался в глазок, и снял коричневые шелковые подвязки.

— Берите! И носите их с честью...

Я, собственно, до сих пор не понимаю, почему он пожертвовал своими подвязками. Вряд ли из расположения к доктору. Скорее, пожалуй, понимая, что он, Линге, здесь в тюрьме рано или поздно лишится их, вполне вероятно, уже во время следующего шмона. Или из-за мелькнувшей мысли, что, жертвуя последней реликвией, он выторгует у судьбы какую-нибудь поблажку, а может, даже жизнь.

Доктор протянул руку и пробормотал:

— О-о... Я благодарю...

А Линге добавил:

— Ведь это подвязки самого фюрера!

Я словно вижу: на миг рука доктора Ульриха — на существенный миг — замерла в воздухе. Но затем он — рационалист, каким он все-таки был, — взял их. А поскольку он уже поблагодарил, пока подвязки были еще анонимными, у него не было необходимости что-либо добавить в ответ на дополнительную информацию.

В тот же вечер ему приказали: «На выход! С вещами!», то есть с серым парусиновым вещмешком, в котором лежала не очень чисто отстиранная в бане смена исподнего, и переправили в «черном вороне» через незнакомую Москву на какой-то неизвестный ему вокзал, а оттуда в еще большую неизвестность.

И вот теперь, сидя у меня в сушилке, он приподнял штанину из темно-серого тюремного полотна, подsunул палец под подвязку и, оттянув ее, щелкнул по светло-серым застиранным кальсонам:

— Вот они. Принадлежали лично фюреру.

Он взял со стола опорожненную кружку, приложил ее краем к нижней губе и — как бы это сказать — прошептал, провизжал, провопил, поддерживаемый гулким резонансом кружки: «Ich sage euch: wenn die Plutokraten und die Juden mich dazu zwinngn marrischierrn wirt um das deutsche Blut und den deutschen Boden zu schützen — bis ans Ende derr Welt...»³ — так подлинно, что, во всяком случае по моим давним радиовпечатлениям, можно было, зажмурив глаза — и, конечно же, зажав нос, — вообразить, что находишься в пресловутой мюнхенской пивнушке. Смеясь, я сказал:

— Не вам тужить, доктор. Когда-нибудь продадите свои подвязки за сто тысяч долларов. Не сомневаюсь, что найдутся чокнутые американцы, которые заплатят за них такие деньги.

Не прошло и двух недель, как подвязки у него украли. Он совсем не по-немецки хохотал над утратой ста тысяч долларов и рассказал мне еще одну историю.

Он жил в Берлине, ведь там находился его архив. У него была трехкомнатная холостяцкая квартира в пятидесяти метрах от северной окраины Тиргартена, три-четыре подружки, как я понял, в меру близких и в меру далеких, чтобы сохранить в отношениях с ними необходимую ему независимость. И несколько избранных друзей. Избранных, видимо, по обстоятельствам, которые в нацистской Германии предопределяли и ограничивали выбор друзей. А это означает прежде всего — по благонадежности и во вторую очередь — по общности интересов. Доктора интересовала история Германии, но еще больше, пожалуй, музыка. История Германии девятнадцатого и музыка восемнадцатого века. Особенно ранний период восемнадцатого. И совсем уж особенно — Гендель. Музыка Генделя и стала причиной его плодотворных контактов со шведом, с которым он познакомился за несколько месяцев до войны, выходя из Гарнизонной кирхи Потсдама после концерта музыки Генделя. Господин Пальмквист оказался новым атташе по культуре посольства Швеции.

Началось общение домами. Доктор Ульрих навещал господина Пальмквиста и его супругу в их квартире в доме шведского посольства. А атташе вместе с женой неоднократно бывали у доктора в Тиргартене. Для шведа и

³ Я заявляю вам: если плутократы и евреи принудят меня к этому, мы прромаршируем, чтобы защитить немецкую кровь и немецкую землю, — на самый край света... (нем.)

его супруги эти визиты не представляли никакой опасности. Доктору же приходилось считаться с тем, что для него они могли оказаться не столь безобидными. Потому что гестапо *могло* приглядывать за общением немцев с иностранцами, к тому же — с дипломатами, и тем более с дипломатами такой проанглийски настроенной страны, как Швеция. Конечно же, и приглядывало. Но, видимо, довольно одинокие люди, испытывая взаимную человеческую симпатию, пренебрегли подобной вероятностью, а может быть, даже несколько бравировали перед ее лицом. Пальмквистов я ведь не знал, что же касается доктора, то определенную браваду с его стороны я вполне допускал. На всякий случай я избегал разговора, который мог бы дать основание заподозрить меня в любопытстве: а не испытывал ли доктор Ульрих тайной симпатии к госпоже Пальмквист? Тем более что вскоре после начала войны и первых бомбежек Берлина атташе отправил свою жену обратно в безопасный Стокгольм. Но это несколько не повлияло на совместные посещения мужчинами концертов и на их музицирование — то за «Стенвеем» Пальмквиста, то за неожиданно мощным домашним органом доктора, а также на их восторженное отношение, например, к некоторым партиям трубы в сюите «Музыка на воде» Генделя.

Война продолжалась, и беды Германии усугублялись. Все учащались ночи, которые они просиживали в бомбоубежище, а соответственно учащались и дремотные, с резью в глазах, нервные дни. Увеличивалась и разница между тем, что ставилось на стол двух друзей. Если господин Пальмквист питался доставленными посольской спецпочтой деликатесами и все чаще таскал их в портфеле доктору, то у доктора, беспомощного в практических делах, обычной пищей все чаще были хлеб с опилками и мармелад на сахарине. А бомбежки становились все ожесточеннее, груды развалин росли, никаких концертов не было и в помине. И вот тогда, в марте сорок четвертого, подошел день пятидесятилетия господина Пальмквиста.

Это событие доктор хотел отметить достойно. Конечно же, не для того, чтобы продемонстрировать шведу все еще не исчерпанные возможности Великой Германии. Он с самого начала знакомства плевал на то впечатление, которое Великая Германия может произвести на иностранца. Возможно, не то чтобы в духе активного обличителя, но все же, как и положено честному гражданину, горестно и с волнением он с самого начала обратил внимание шведа на бесчеловечную суть фашизма. Так что в этом вопросе между ним и шведом царила полная ясность. По мнению обоих, эта страна с ее строем и руководителями являлась воплощением безумия и уже неотвратимо полыхала во всеунитожующем пламени Рагнарёка⁴. Что же касается дня рождения Пальмквиста, то, пользуясь поводом, доктор просто хотел выразить другу свое глубокое уважение, притом сделать это каким-либо более или менее оригинальным способом. Однако проявить оригинальность уже не было никакой возможности. Еще совсем недавно, имея знакомства, в подсобках или подвалах антикварных и букинистических магазинов можно было найти что-нибудь декадентское и запрещенное, то есть более-менее ценное. Но теперь уже нет. Потому что теперь магазины были эвакуированы или просто закрыты либо, того проще, превратились под бомбами в груды развалин. Хотя, по правде говоря, недавний товар этих магазинов даже в лучшем случае не соответствовал той оригинальности, к которой стремился доктор. Ибо он хотел подарить нечто совершенно личностное и уникальное.

И вот в пору постоянных недосыпаний из-за ночных бомбежек и вечной нервотрепки вследствие идиотских распоряжений («Эвакуировать архив в двадцать четыре часа! Остаться на месте! Ждать распоряжений! Заминировать и взорвать, как только... Ценой жизни сохранить каждую бу-

⁴ Рагнарёк — в скандинавской мифологии гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой богов и хтонических чудовищ.

мажку!») — в пору этих взаимоисключающих распоряжений и непрерывного страха в ожидании бомбежек доктор все же не утратил способности усмехаясь выживать из глубин своей фантазии оригинальные идеи, достойные дня рождения Пальмквиста. Пока ему не показалось, что вот *теперь* он додумался до лучшей из всех.

У господина Пальмквиста был автомобиль. Вероятно, где-то в потаенной глубине своей искренней, но суховатой и холодноватой природы был он немного снобом. А почему бы ему чуточку и не быть им в его все же деликатной манере? А может, минутами он только казался доктору таким на унылом фоне тогдашнего Берлина? Во всяком случае, автомобиль у Пальмквиста был новехонький — с двумя неудобными запасными сиденьями, но в общем-то двухместный ярко-красный спортивный «мерседес». Для Берлина 1944 года это было нечто ослепительно вызывающее. И с номерами дипломатического корпуса Пальмквист невозмутимо разъезжал на ней по загроможденным развалинами улицам столицы, игнорируя козыряющих полицейских.

Итак, у господина атташе был автомобиль. А у не очень состоятельного доктора унаследованное столовое серебро, переходившее из поколения в поколение. Несколько килограммов блюдец, ножей, вилок и ложек некогда почтенными, а теперь все более жалкими, достойными сожаления монограммами на солидных, но нелепых черенках... А кроме того, у доктора имелся престарелый господин Якоб Клемм.

Этот самый дядюшка Клемм — все более худеющий, как все, но всегда безупречно выбритый, а таких среди тех, кому за семьдесят, становилось все меньше, — доводился Ульрихам даже не знаю кем — то ли родственником, то ли просто знакомым. В любом случае принадлежал он, по-видимому, к предшествующему, ремесленному, поколению семейства Ульрихов или к его окружению: немного органной мастер, немного механик, немного изобретатель. Одним словом — Bastler. С немецкого это переводится как умелец, ремесленник-любитель, но всех оттенков слова перевод не отражает. До войны у Клемма была крохотная мастерская то ли с одним, то ли с двумя рабочими местами, которую он, уйдя на пенсию, ликвидировал. Но оборудование продать пожалел. Теперь оно, упакованное и, с немецкой любовью к порядку, сложенное в штабеля, лежало в подвале его квартиры. В то прошедшее в основном в подвалах время он мог использовать подвал для подобной цели только благодаря тому счастливому обстоятельству, что этот дом где-то в предместье Юнгфернхайде был всего-навсего двухэтажным и его потолочные перекрытия для бомбоубежища слишком непрочные. В этом подвале, во время массированных февральских бомбежек и в перерывах между ними, Ульрих и господин Клемм осуществили идею доктора. Вообще-то доктору принадлежала только идея. И конечно же, серебро. И довольно-таки условно набросанный эскиз, изображавший нечто, похожее на изящный кубок, но почему-то со скрученной в спираль ножкой.

Прежде чем Клемм в своем подвале стал нарезать полоски медной жести и искать провода, и придавать нужную форму каолину, и плавить серебро, доктор пригласил его в Тиргартен. И пока доктор вместе с господином Пальмквистом в салоне импровизировали на органе, а освещенный луной ярко-красный «мерседес» господина Пальмквиста стоял во дворе, — с одной стороны — еще не задетый бомбежками дом доктора, с другой — за оголенными деревьями парка ряд разрушенных фасадов, словно абсурдная темно-серая театральная декорация с лунно-синими глазницами, — в это время господин Клемм тщательно измерил на левой стороне приборной панели автомобиля все, что ему необходимо было измерить. И через неделю заказанная доктором диковина была готова. И даже опробована в подвале Юнгфернхайде.

Доктор отхлебнул чаю из большой жестяной кружки, из той самой, под резонанс которой ему нравилось издевательски имитировать речи Гитлера, и продолжал свой рассказ:

разнесся усиленный автоаккумулятором ликующий возглас рожка среди голых деревьев, лунных теней, развалин и стен еще уцелевших домов. Серебристо. Прозрачно. Победоносно. От изумления Пальмквист вытаращил глаза и принялся восхищенно трясти мою руку:

— Благодарю вас! Это фантастично! Именно этот такт... Именно этот...

Но для давно уже взвинченных ушей соседей звук рожка в столь редкой ночной тишине оказался слишком громким. Тут же распахнулось несколько окон:

— Was ist da los?!

— Donnerwetter, schon wieder Fliegeralarm?

— Wieder die verdammten Tommies?!

— Oder doch nicht?⁵

— Поехали! — сказал Пальмквист. Он включил двигатель, и мы рванули со двора.

— И помчались по улицам города. Я не очень-то помню детали этой поездки, — продолжал доктор. — Верх автомобиля из кожзаменителя в ту мартовскую ночь был, конечно, поднят — как-никак два-три градуса мороза. Это была такая то открытая, то закрытая машина. Но мы опустили стекла в дверцах. Чтобы ветер свистел в ушах. И чем сильнее он свистел, тем сильнее шампанское и коньяк ударяли нам в голову. Мне во всяком случае. Развалины, деревья, дома, смехотворно выровненные вдоль дороги обвалы домов, группки разбирающих завалы людей, полицейские — все это проносилось мимо. То один, то другой полицейский пытался нас остановить, но отскакивал, разглядев дипломатический номер. И через каждые сто метров Пальмквист сигналил:



И это доставляло нам дьявольскую радость. Понимаете, это было восхитительно и так по-хулигански — то, что этот такт... — Доктор поднес опорожненную кружку к губам и пропел «аллилуйя», и кружка откликнулась втрое громче, так что свисавшие с деревянных решеток портянки колыхнулись.



— ...что этот такт, — повторил доктор, — прославлял Господа, а ведь такой Бог был в Великой Германии персоной нон грата. Поскольку он был не признанным государственным триединым Всевышним Генделя. И главное: восхитительное хулиганство состояло в том, что *слово*, спрятанное в звучании рожка, — восхвалим Иегову, не так ли, — было неуловимо на иврите. Короче, мы подложили *им* свинью...

Доктор продолжал:

⁵ — Что там происходит?!

— Проклятие, опять воздушная тревога?

— Опять эти проклятые томми?!

— Или все-таки нет?.. (нем.)

— Я плохо помню, как я попал домой. Пальмквист помог мне подняться по лестнице, накрыл на диване пледом, поставил на проигрыватель пластинку с «Мессией», уменьшил звук и на цыпочках вышел из комнаты. Ну, я выпал — насколько это позволило ухо, прислушиваясь сквозь сон и сквозь «Аллилуйя» к сигналу воздушной тревоги. А Пальмквист с тех пор радостно разъезжал по Берлину с новым рожком. Настолько радостно, насколько это позволяли обстоятельства жизни. А это значит скорее неистово, чем радостно. Поскольку бомбежки становились все ожесточеннее, а террор все кошмарнее. Особенно после двадцатого июля, конечно. Но я забежал вперед. Я хотел сказать, что по продуктовым талонам нам выдавали все меньше маргарина, а в хлеб все больше подмешивали опилок. Пальмквиста это, естественно, не затрагивало. И во второй половине марта он снова навестил меня. Дом, где я проживал, все еще стоял, но последние бомбежки его сильно потрепали. Там, где Пальмквист обычно ставил машину, зияла воронка. Окна были забиты фанерой, а электрическую проводку еще не починили, и в комнатах временно горели свечи. Дня рождения на этот раз у него не было, поэтому он поднялся наверх с одним портфелем. Мне сразу бросилось в глаза, что портфель заметно, я почувствовал — зловеще, увесист. Оказалось, из-за двух бутылок мумма.

— Доктор, я пришел к вам проститься. Чертовски жаль, но увы. Меня переводят в наше посольство в Москву. Завтра я вылетаю в Стокгольм, а оттуда через неделю в Москву.

Доктор рассказывал:

— Ну, это был довольно-таки мрачный вечер. Шампанское на нас не действовало. А только опустели бутылки, началась воздушная тревога. И до часа ночи мы проторчали в бомбоубежище напротив моего дома и попрощались в людской сутолоке в дверях убежища, когда сирена отбоя еще завывала.

Доктор продолжал:

— С той ночи я его не видел. После его отъезда произошло все то, что произошло. Заслуженное нами удушение — физическое извне и моральное изнутри — длилось еще год. Пока русские пушки не дотянулись — бить по нашим развалинам. По тем самым, которые еженощно приумножали англо-американские бомбы. И пока русские танки не оказались в Берлине. И вместе с моими ключами не прихватили и меня. Но обо всем этом вы уже знаете. Вплоть до моей поездки на «черном вороне».

Так оно и было. Последующие маленькие приключения доктора до его прибытия в Инту были мне известны. За свое трехнедельное пребывание здесь он наведывался ко мне почти через вечер и за кружкой чая рассказывал о них. А я с тревогой наблюдал за тем, как быстро его подтачивает дистрофия. Он попал в наземную вспомогательную бригаду — она сгружала бревна с платформ, прибывающих из раскинувшихся южнее лесных массивов. Распиленные бревна шли на крепеж в шахтных забоях.

Работа эта была тяжелая, а порой и опасная. Если ее выполняли с обычной лагерной неряшливостью и спешкой, обусловленных нередко сорокаградусным морозом. Когда каждый стремился быстро-быстро-быстро вернуться с мороза в теплушку, потому что там, под защитой дощатых стен, в окутанной махорочным дымом мужской толкотне, можно было хотя бы укрыться от ветра, а возле железной временки даже немного отогреться. Особенно опасной эта работа могла оказаться для того, кто из-за своей педантичности постоянно путался у других под ногами, как это, по слухам, то и дело случалось с доктором Ульрихом. Ибо хоть доктор, что правда, то правда, принадлежал к богеме, но — к немецкой богеме. И даже в той диковинной для него работе его природный педантизм проявлялся самым досадным образом. Бревно, которое он тащил со своим напарником, он старался возможно точнее уложить параллельно другим. Он стремился, порой бесполоково суетясь и выбиваясь из сил, подогнать торцы скатываемых в штабеля шестиметровых бревен заподлицо. Ну и дальше в том же духе. Но нередко обледенелые бревна лежали на платформах

огромными спаянными глыбами, и тогда приходилось в скользких задубевших валенках взбираться наверх и ломом отсекал бревна одно от другого. Когда страховочные стойки — по две стойки с каждой стороны, — удерживавшие бревна в штабелях трехметровой высоты, вытаскивали из венцов, порой сотрясая наглухо примерзшие венцы ударами огромной кувалды, обледенелые бревна скатывались лавиной из-под ног взобравшихся на платформу чуть ли не на ноги стоявших внизу. Нужно было проворно, не сломав ног, соскочить сверху, а внизу — увернуться от сыплющихся бревен. И вот тут-то раза два напарникам пришлось хватать рассеянного доктора за руку или за шиворот и буквально выдергивать из-под накатывающихся бревен. Иначе ебаному фашисту неизбежно перебило бы ноги. Ебаным фашистом его звали блатные, составлявшие треть бригады.

Итак, доктор частенько путался у других под ногами и не только не помогал им выполнять их треклятую норму, а скорее даже мешал этому. А посему хлебрез швырял ему самые вязкие пайки хлеба, а бригадир постоянно оставлял без запеканки. Так что на том скудном пайке, на который он и так был посажен, через три недели он выглядел изжелта-серым, хотя благодаря своему внушительных размеров костяку на первый взгляд все еще казался плотным мужчиной. Во всяком случае, когда по вечерам он заходил ко мне и высоким голосом скопца, по слухам, голосом некоего Вальтера Ульбрихта, глумливо гундосил: «Habe die Ehre Genossen Pfilzstiefeltrockner 'nen guten Arbeitstagsabend zu wünschen!»⁶ — мне казалось, что от подступающей слабости у него дрожат колени. И в то же время было ощущение, что духовно он становится все сильнее. Его анекдоты казались все более отточенными. В историях, приключившихся с ним, появлялись все более разительные развязки. А их изложение — включая всевозможные цитаты — простиралось от все более углубляющейся гулкости до все более многозначительного сценического шепота. Кстати сказать, меня, как многих не сведущих в этой области людей, всегда интересовал вопрос: где проходит грань между нормальностью и ненормальностью? Какие отклонения от принятого поведения, ну, например, буйство фантазии, еще можно считать нормальными, а какие уже нет? И в какой мере и как зависит это от общего психического фона среды?.. Когда я штудировал юриспруденцию, я из четырех факультативных предметов — бухгалтерия и что там еще — без колебаний выбрал судебную психиатрию. Но из-за юношеского верхоглядства и в привольных условиях нормальной жизни я вокруг себя мог видеть только нормальных людей или настоящих сумасшедших. Какой-то небольшой процент был ведь и таких. И только в депрессивных камерах высокого давления тюрем и лагерей предо мной раскрылось поразительное многообразие промежуточной зоны между нормальностью и безумием. Но тем более усложнился вопрос о рубеже между ними. Вероятно, в моих мыслях я связывал с этой проблемой и доктора Ульриха. Из-за его рассеяннo-улыбчивого спокойствия. А еще из-за его интенсивных, почти театральных приступов говорливости, которые все чаще прорывались сквозь это спокойствие. Во всяком случае, мое внимание привлекла его странная фраза, точнее — ее странная интонация:

— Но все это вам уже известно. До моей поездки в «черном вороне»...

Так что я произнес, ничего не спрашивая напрямую:

— Пожалуй, это была для вас довольно необычная поездка...

— О да-а! — воскликнул с жаром доктор. — Прежде всего мне стало ясно, какая же у человека собачья натура. То есть насколько у меня самого собачья натура. Потому что, знаете ли, когда меня под конвоем вели через тюремный двор к «черному ворону» — вокруг четыре стены зарешеченных окон, вверху освещенное городским заревом небо, а впереди десять или пятнадцать тысяч километров — до Новой Земли, Караганды,

⁶ Имею честь пожелать товарищу Сушильщику валенок доброго вечера рабочего дня!
(нем.)

Магадана или как еще называются все эти места, — тогда я почувствовал: та самая душная камера, откуда меня вышвырнули, какой бы мерзкой она ни казалась, была все-таки защищенным местом. Обжитым убежищем. По сравнению с той полной неизвестностью, куда я ехал. Так что вполне собачье чувство. Ни капли жадности познания, ни капли Фаустового начала, как мне хотелось бы в себе ощущать. И еще — эта машина, в которой мне предстояло ехать: словно бы черный гроб. Деревянная будка, поставленная на джип или «виллис». Спереди, конечно, ветровое стекло и дверцы со стеклами. Но внутри разделена перегородкой, так что водитель и его сосед отделены от сидящих позади них. Изнутри кузов обшит жстью, и в ней — ни малейшей щели! И, как я сказал, внутри и снаружи машина черна, как ворон. Мои немцы рассказывали мне, что здесь заключенных возят — из одной точки лагеря в другой и в центр на допросы, да мало ли еще куда, — тоже в закрытом фургоне. Но все-таки в сером. И на серых боках белыми буквами выведено: «Хлеб». Надо бы — «Люди», а написано: «Хлеб». Пусть так, это ложь, но все-таки это информация. А там — никакой информации, даже лживой. Снаружи и изнутри — мрак. Так вот, когда я залез в кузов и дверь в заднем торце закрыли — громыхнул железный засов, — я окунулся в чернильную темноту. Из-за низкого потолка я стоял согнувшись и на всякий случай спросил: «Jemand da?»⁷ — а потом еще — хорошо или плохо, как умел: «Человек есть?», но никого не было. Пошарив вокруг, я нащупал у стены скамейку, сел и ухватился за нее и поэтому не упал, когда «ворон» рывком двинулся с места. И мы поехали. И я стал вслушиваться. Из-за полнейшей темноты я воспринимал все звуки особенно остро.

Обледенелый снег на булыжной мостовой. Тормоза. Топот кирзовых сапог. Крутят ручку — опускают дверное стекло. Постовой проверяет документы, они у человека, сидящего рядом с водителем. И все, конечно, молча, чтобы смертельный враг, которого они везут, не узнал того, чего ему не положено знать. Со скрежетом раскрываются железные ворота и с обеих сторон громыхают о каменную ограду. Снова хруст обледенелого снега под колесами машины. Еще раз тормоза. Кажется, еще раз какая-то проверка документов. Видимо, теперь уже на улице перед тюрьмой, под тарактенье мотора. И снова езда по булыжнику и снегу. А потом все гуще звуки города. Одни машины едут перед «вороном», другие позади него. Иные обгоняя, иные навстречу. «Ворон» то сбавляет газ, то прибавляет. А я думаю, наивно и глупо, словно мне не пятьдесят, а пятнадцать: если бы тяжелый грузовик на неосвещенной улице — а таких в Москве, вероятно, немало, — если бы тяжелый грузовик расплющил кабину нашей машины, врезался бы в нее сбоку так, чтобы водитель и его сосед — о, черт, скажем, не погибли бы, а потеряли сознание, и перегородка за их спиной развалилась бы, и жестяная обшивка моей конуры разодралась бы, и разрыв был бы достаточно велик, и у меня была бы минута времени — прежде чем сбегутся люди и милиционеры, — чтобы перешагнуть через двух потерявших сознание людей и выскользнуть через разбитое ветровое стекло или сорванную с петель дверцу, выбраться на улицу и — оказаться на свободе. И что бы я стал делать? И я понимаю — хотя в глубине своего подсознания я триумфально убегаю через незнакомые дворы и подворотни, — случись нечто подобное, случись такая авария, я должен оставаться около «черного ворона» и звать на помощь... и это было бы уж совсем по-собачьи, но это единственно верное решение.

Я стряхиваю с себя тягостное наваждение и освобождаюсь от него — если слово «освобождаюсь» вообще применимо в моем черном гробу, — и снова слышу, с дьявольской обостренностью слышу шумы города.

По-видимому, теперь мой гроб едет по широкой и относительно прямой улице. И тут мы тормозим, я, конечно, не знаю, перед светофором

⁷ Есть кто? (нем.)

и войдет. Но он не появлялся, и, встретив Качанаускаса снова в библиотеке, я спросил его, как идут дела у нашего кухонного подсобника. Качанаускас ответил:

— Позавчера я спросил шеф-повара о том же. И он сказал: «Я его вытурил». — «За что?!» — спросил я удивленно у Качанаускаса. Так же, как он спросил у повара. И повар пояснил:

— Я поставил его нарезать сыр для бригад. Эти двадцатиграммовые ошметки, которые выдаются тем, кто выполнил норму.

— Ну и?..

— И как-то в приотворенную дверь увидел, как он их нарезал...

— Слишком медленно?

— Мог бы и шустрее, это точно. Хотя его копотню я бы стерпел. Но я, знаете, подглядывал за ним с четверть часа. За это время он нарезал порций двести. Тогда я принес табурет, сел и стал наблюдать дальше. Целый час! Он настругал более тысячи кусочков, черт бы его побрал...

— Но что же все-таки произошло?

— Я говорю — больше тысячи! А в рот не сунул ни одного! Тогда я позвал его на кухню и сказал: «Давай свой фартук, и чтобы с завтрашнего дня духу твоего здесь не было!»

И шеф-повар уперся руками в бока — в белом колпаке, усатый и с двойным подбородком, из ресторана в Пятигорске или Махачкале, отбывавший свой срок, скорее всего, за какую-нибудь кражу, и сказал:

— Доктор, мы не можем позволить, чтобы хлебное место занимал этот ебан... — но взглянул на доктора Качанаускаса и в последний миг на всякий случай заменил слова и сдержанно продолжил: — ...этот идиот, когда желающих подкормиться — сотни. Чтобы не сказать — тысячи.

На следующее утро, прежде чем Качанаускас успел что-нибудь предпринять, доктора Ульриха отправили по этапу. И с тех пор я больше никогда и ничего не слышал ни о докторе Ульрихе, ни о Пальмквисте, ни об их машине, подававшей такой странный сигнал.

Хотя и пытался разузнать.

Перевела с эстонского В. Рубер.



СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ, ИЛИ НА РАЗВАЛАХ ИМПЕРИИ

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит, —

писала Ахматова, а я осмелюсь возразить ее высочайшему мнению. Звучит. Звучат и псалмы, и молитвы, и плачи, и заговоры, и песни, и просто стихи. Другое дело, что они — почти не слышны.

Когда рушится Империя, провисают и мучительно рвутся общие кровотокающие жилы. Исторически неизбежный (не мы ли, ныне смятенные, эти дни торопили и звали?) ход вещей отдельную творческую личность, а то и целую национальную культуру на своем жестком и неуклонном пути — сминяет.

На этом поле — пали: действительно мощные литературные взаимосвязи, современная сильная школа поэтического перевода, вообще словесность как многонациональная переключка. А все это — наряду с позорно-парадными «декадами» (см. об этом замечательный одноименный роман Семена Липкина) и «рейдами», с переводческими мистификациями-кормушками и мыльными пузырями, с псевдоакынами и лжеписьменниками — все это, н а с т о я щ е е, имело место. Была, была пастернаковская лирическая Грузия, самойловская Эстония, опять же липкинский Восток...

Увы.

Однако поэзия — материя мистически выносливая, загадочная, поразительная. Так, чудом не погибшие стихотворцы, скажем, Таджикистана ли, Туркмении из последних сил тянутся на свет русской речи. Гулрухсор Сафиева, начиная с восьмидесят девятого живущая здесь, у нас, в изгнанничестве, спасает свой страдальческий дух поэзией (а я ее перевожу — в никуда, просто чтобы фарсиязычная Муза не ощущала себя совсем одинокой в вынужденном переселенчестве). Но самое интересное, что Гуля, для себя же неожиданно, стала писать и по-русски (я это называю стихи с акцентом), роняя вдохновенные запинки, оговорки, неправильности, среди которых — именно! — встречаются поэтические открытия. «Я не беженка, я обиженка...» — т а к о е можно нащупать лишь в плодотворном языковом остранении.

Бозор Собир — тоже один из крупнейших лириков современного Таджикистана, глубоко связанный с иранской традицией, страстный, сильный, парадоксальный. Как сказал его переводчик, поэт М. Синельников: «Бозор, в сущности, не занимался политикой, пока она им не занялась».

Стихи Б. Собира, которые публикуются здесь, написаны в тюремной камере, где он в течение года ждал смертного приговора за «измену Родине» — это он-то, иступленно верный ей каждым словом и выдохом... Ныне Бозор — в отторженности, в Москве, в разлуке. И по-прежнему пишет стихи — преданный своей фарсиязычной и окровавленной родине.

Туркменский поэт Шир-али, объявленный преступником и выдворенный с родины за отважные и ядовитые стихотворные строки о тирании и тоже, как и Гулрухсор, не первый уже год живущий в Москве (дружественное, но трагическое изгнание), нашел свой экзистенциально-творческий выход в том, что переводит с туркменского на русский — сам себя. Как может. Также в стол. Также незнамо зачем.

Значит, надо. Их слово генетически и самоспасительно льнет к слову русско-му — не разлучить.

Хорошо, что кривые, странные, дивные деревья растут и из груди железных обломков, каменных развалин, мертвых глыб. Странная лирика постсоветской эпохи...

Татьяна Бек.

* *
*

Опять Мансура¹ виселица ждет,
Опять Маздака² жизнь кровоточит.
И над любовью мщение встает,
И снова зло, как океан, бурлит.

Опять свободный сделался рабом,
Носитель света почернел, как мрак.
Опять Кова³ — несчастием ведом —
В руке горячей сжал горящий стяг.

Красавица, до срока отцветя,
Ночами слышит старость и беду...
И снова радости моей дитя
От боли плачет в каменном саду.

Опять мудрец устал от темноты,
От зависти, невежества, тщеты...
Насытилась ли мертвыми земля?
Не надоела ль смерти жизнь моя?

Опять желает крови Гулрухсор
Чужак, безумец, враг и сатана...
Опять стихам — забвенью и разор!
Опять душа,
как родина,
больна.

Предположенье

Гляжу, гляжу в дверной проем,
И страха нарастает дрожь...
У черни в случае моем
Один привет: топор и нож.
А Рима прах и гнев Нерона
Еще живут, еще слышны,
Предупреждая непреклонно
О том, как неучи страшны!..

Перевела с таджикского Татьяна Бек.

ШИР-АЛИ

*

НЕ БЫЛО — БЫЛО

* *
*

У меня не было:
велосипеда — ни в детстве, ни позже;
партбилета (что позволяло мне чихать на строгий выговор);

¹ Мансур — поэт и суфий (XI век), завершивший жизнь на виселице.

² Маздак — легендарный национальный герой (III век).

³ Кова — герой поэтической эпопеи Фирдоуси «Шахнаме», чьи семнадцать сыновей стали добычей змея Заххона. Когда пришли за последним сыном, Кова поднял бунт против царя.

кабинета с приемной, где надменная секретарша признавала б людей не по лицам — по рукам; любимой, любившей моих любимых друзей; врага, который не прикидывался другом; соседа, который стучал не только в двери; и — возможности уйти за кордон.

У меня было:

все, что надевало намордник на гордость;
всеобщий страх,
что висел над всеми, как причиндалы голого короля;
язык, не приспособленный к лести;
спина, что не гнулась перед сатрапами;
и рок — неотвратимый и страшный,
как «КамАЗ» на встречной полосе.

У меня осталось:

отпечатки пальцев советской власти
на шее у моей непокорной Судьбы.

Ноябрь 1991.

Пенза.

Пока ходим...

Все мы ходим под луной,
Все мы ходим под пятой,
И на всех — один конвой.
Ждешь отлива — прет прибой.
Тут не смей и там не стой.
Власть живуча — крой не крой.
Все смешалось — трус, герой.
Горы трупов — пир горой.
Что горячка, что запой.
Не поется — хоть не ной.

...Все мы ходим под луной —
Под невидимой бедой,
Над отравленной водой.
Все мы ходим под сумой.
Все мы ходим под тюрьмой,
Под дубинкою родной.

Все мы ходим...

К черту рифмы!

Все мы ходим под подпиской о невыезде.

В чужой монастырь

За поворотом моей судьбы
Ты возникла внезапно —
Красивая, легкая и воздушная,
Как белая церковь на холме.
Мне бы рухнуть на колени,
Да негоже пачкать землю.
Мне бы перекреститься,
Да вера не та.

Я снял обувь у порога
 И в храм на цыпочках вошел,
 Как входят утром в детскую спальню.
 И встал к алтарю — нетерпеливо, —
 И стал молиться,
 Но:
 То ли в молитве слова перепутал,
 То ли перепутал вовсе молитвы,
 То ль на чужом языке молился, —
 Но ты еще выше поднялась,
 И провела мудрой рукой
 По беспутной моей голове,
 И сказала:
 «Сын мой,
 Не тому ты Богу молился».

Псам — мое мясо

Я у вас ничего не попрошу.
 Я у вас ничего никогда не попрошу:
 ни денег на стакан водки,
 ни куска хлеба на закуску.
 Никогда не постучу в двери ваших бункеров.
 Не испорчу вам ни настроения, ни аппетита,
 появившись на ваших жирных пирушках.
 Никогда не брошусь под ваши лимузины
 и не испачкаю их ни кровью, ни говном.
 Не уведу вашу дочь —
 ни добром, ни силком.
 Я вас никогда не огоршу,
 столкнувшись с вами на пороге вашей спальни.
 Я никогда у вас не выкраду чада.
 Не подложу вам ни бомбу, ни свинью.
 Никогда я не надену маску
 и вас у подъезда не стану поджидать.
 Я вам ничего не сделаю.
 Я вас ни о чем не попрошу.
 Разве что — об одном,
 только об одном:
 Снимите флажки!
 Зачехлите ружья!
 И продолжайте пир горой.
 Пир во время чумы.
 Пир на пепелище чужом.
 ...А стихи писать я буду до тех пор,
 пока кто-нибудь из вас не сделается бомжом.

Москва, ст. Перловская.
 25 декабря 1994 года.

О Москве

Раньше не верила чужим слезам.
 Теперь не верит своим глазам.

Перевел с туркменского автор.

БОЗОР СОБИР



К СЕМЕЙСТВАМ РЕДКИХ ПТИЦ И РЫБ

Дождь идет

Дождь на улице... Господи, дождь!
Дождь идет, дождь идет проливной!
 Ливнем скошена молодежь,
ливень пуль не прошел стороной.

Как осенние деревья,
я желтею, кружусь, как листва.
 Обливается сердце мое
жаркой кровью, горючей волной.

Вот в глазах — дождевая вода,
сердце — в ссадинах... Горе, беда!
 От обиды горю, от стыда
и своею измучен виной.

Хлещет дождь, заливая луга...
Нет врагов у меня, нет врага,
 Я и брат мой затеяли бой,
мы сражаемся сами с собой.

Лихорадка — на сохлых губах,
лихорадка — в груди, о Аллах!
 Боже, Боже... Отчаянье, страх!
Я — в жару, я — в бреду, я — больной.

Над горами, над зеленью рощ,
ты не плачь в одиночестве, дождь,
 Ты не плачь в одиночестве, дождь,
плачь со мной, плачь со мной,
 плачь со мной!

Легкий дождик течет ручейком,
дождь весенний течет молоком,
 Льется кровью, летит кувырком,
с кровью ливень идет пулевой.

Остался один

Был в юности как чистый снег,
как снега блеск, как снега свет,
 Сейчас я — каменистый снег,
слежавшийся за много лет.

Глаза под стеклами очков
теперь — как родники во льду,
 Все чаще в сердце — боль толчков,
и сердцем чувствую беду.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ



ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА

Перу моего отца Дмитрия Николаевича Голубкова (1930 — 1972) принадлежат шесть книг стихов и восемь сборников прозы. Среди его книг три романа: «Милёля» — о людях старой Москвы, «Недуг бытия» — о Е. А. Баратынском и «Восторги» — о художественной интеллигенции времен культа личности (последний опубликован в «Дружбе народов», 1993, № 3).

Большая часть его рассказов посвящена людям искусства («Искусство — мой бог», — признался он в дневнике еще мальчиком). Он также переводил стихи армянских, азербайджанских, грузинских, кабардинских и некоторых зарубежных поэтов.

После трагической гибели Дм. Голубкова его почти не издавали, за исключением романа о Баратынском, который увидел свет спустя год после смерти автора. Но в последние несколько лет наступил, кажется, долгожданный конец забвению. Журнал «Юность» (1993, № 10) напечатал фрагменты из дневников писателя, рассказывающие о встречах с А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернаком, С. Я. Маршаком. Журнал «Согласие» (№ 5 за тот же год) опубликовал большую подборку из неиздававшихся абрамцевских дневников Дм. Голубкова, а также стихи и воспоминания о нем его братьев по перу — Ю. Казакова, Вл. Леоновича и Евг. Шкловского. «Литературная газета» в декабре 1992 года также напечатала внушительную подборку дневниковых записей Дм. Голубкова.

Остальная проза отца, равно как стихи и московские дневники 1947 — 1972 годов, статьи и записные книжки, еще ждут своего опубликования.

Марина Голубкова

ТА ВЕСНА

Зеленые распуковки древнего тополя источали клейкий запах, бесстрашно борющийся с бензиновой вонью, с пылью и глухим дыханием накаленного асфальта. На улицах уже появились смуглоликие женщины с загадочно прячущими что-то, неведомое еще другим смертным, глазами — первые курортницы, вернувшиеся с невиданных мною южных морей... На заднем дворе, перед нашим окошком, на опрокинутых табуретах пышно, как подошедшее тесто, вздымались белые подушки, красовались полосатые, как арбузы, матрасы и зеленые одеяла модного китайского шелка, и какие-то старухи, незаметные зимой, яростно выколачивали плетеными выбивалками, похожими на теннисные ракетки, пыль из развешанных на веревке шуб и пиджаков. В распахнутое окно прямо в ноздри бил яркий, злопамятный дух нафталина. Казавшийся еще недавно свежим и зеленым, столетник глядел теперь пыльным и дряхлым уродцем, и быстротечная, смертная зелень очнувшихся лип, напичканных трещащими воробьями, наклонялась к форточке и дразнила столетник влажными язычками новорожденных листков.

Из окон нашего дома виден был Александровский сад, и я уже с апреля жадно вглядывался в путаницу обнаженных деревьев и кустов. Они постепенно менялись в цвете: сперва стояли серые, скучные, затем задымились таинственной лиловизной, попыштели, словно расправив раскованные суставы, и вот слабыми пятнами проступила на них незрелая зеленца и медленно поползла, распространяясь ввысь и вширь.

Я торчал дома, над учебником химии, с тоскою глядя на прозрачные листья липы, и думал о близком, неотвратимом экзамене...

В дверь постучались, и хриплый, прокуренный голос соседки торжественно позвал:

— Витя, письмо... С тебя причитается!

Все в квартире неизвестно откуда знали, как ждал я этого письма, как надеялся на него.

Она жила в старинном северном городе. Ей было восемнадцать лет, она была легкая, плавная и высокая, вся светлая-светлая — и кожей нежного лица, и мягкими негустыми волосами, и глазами с неожиданно вспыхивающим, как солнце в пепельном зимнем небе, зрачком. Только губы были яркие, темно-алые, словно спелая лесная малина.

Ее мать и маленькая сестренка и даже тетка, живущая в Москве, в разговоре окали округло и обаятельно — словно обнимая собеседника словами. Но она говорила по-московски, крепко нажимая на букву «а», и только едва заметная певучесть речи выдавала ее нездешность.

Она присылала мне виды своего города с белыми домами и церквями, спокойной ясной речкой и с нею самой. И улыбалась мне с карточки тихо и добро...

И ее город, в котором я никогда не был, представлялся мне белым, улыбочивым и тихим, как она.

Она писала редко — была очень занята. Ее мать давно и безнадежно болела, отец попивал, брат и сестренка учились в младших классах.

Она писала крупными круглыми буквами с красивым нажимом, с редкими запятыми и большими промежутками, разделяющими слова, — наверно, для того, чтобы письмо казалось побольше и чтобы я не обижался.

Она рассказывала о своей работе; о занятиях, о болезни матери: интересовалась моими делами, пересылала приветы общим знакомым и моим домочадцам... Я отвечал глупыми, символическими письмами, слал стихи «под Блока», ревновал ее заочно и обвинял в спокойствии и холодности... Она недоумевала — и опять писала простые, ясные и круглые слова.

Давно, с начала февраля, не было от нее весточки — и вот наконец это письмо...

«Здравствуй, Витя!

Я только что с дежурства, из операционной. Сейчас 2 часа ночи. В доме у нас тихо, и я совсем наедине с тобой. Ты, наверно, спишь и не чувствуешь, что я стою рядом и смотрю в твои закрытые глаза.

У нас были трудности с сахаром и маслом, но различных конфет все время много.

Восьмое марта праздновала весело: пила сладкое вино, папа принес. Напекла пирогов... Жаль, тебя не было! Я бы угостила тебя самыми румяными, самыми сладкими!

Мама все еще в больнице, очень хворает.

Пришли, пожалуйста, программу московских театров № 20 (к 175-летнему юбилею Большого театра). Мне очень нравится, что в этих программах дается содержание опер.

Смотрела картину «Тигр Акбар».

Говорят, что у вас всю зиму было мало снега и мокро — ни то ни се, ни зима, ни весна! А у нас! Наш дом стоял по окнам в снегу. Некому было расчищать.

Посылаю тебе четыре снимка. Их сделал наш сосед Сережа. Он студент, учится в Ленинграде. Он делал их с высокой колокольни нашего кремля. Я стрелочкой отметила наш дом.

Витенька, я подхожу к самому главному!

В субботу я иду на вокзал за билетом в Москву! Да, да, да!!!

Я прямо сама не своя. Не верится, пока не сяду в вагон! Очень хочется, чтобы ты встретил меня. Я решила не спускаться в метро, а ждать тебя у Северного вокзала. Буду сидеть на чемодане и смотреть на часы Казанского вокзала и высчитывать: вот ты проснулся, вот оделся, умылся... Вот ты едешь с «Маяковской», делаешь пересадку... И вот — ты и я вижу тебя!

Какая я счастливая — первый раз в жизни весной поеду в Москву!

На этом заканчиваю свое письмо и с горячим желанием жду твое.

Ц....!»

Я много раз подряд пробежал глазами этот аккуратно сложенный листок, радостно вспыхивая от слов «Витенька» и с «горячим желанием», от щедрых восклицательных знаков, так отчетливо передающих ее сыпкий и светлый, как дождик сквозь солнце, смех. Я любовался ровностью и четкостью букв, с нажимом выписанных лиловыми чернилами... Лишь раз я нахмурился — при упоминании о Сереже, ленинградском студенте, снимавшем с высокой колокольни ее (и значит — мой!) город.

Но последние три строчки этого долгожданного и небывало ласкового письма, и особенно буква «ц» с последующим многоточием, заставили меня задохнуться от счастья...

И теперь уж полностью поверилось, что пришла настоящая весна, весна не только для всех — но и для меня. И что она еще сулит, эта весна, заполненная восклицательными знаками расцветших деревьев и ликующими многоточиями женских глаз!..

И вспомнилось, как я ждал весны, какая трудная и смутная была в Москве зима, как тяжело было просыпаться утрами и видеть в окне серую грязную стену соседнего дома с ржавыми балконами и развешанным на них тряпьем, видеть стальное, словно откованное небо, холодное даже тогда, когда осторожное солнце касалось его и светящиеся ветви голого клена жалобно шевелились на ветру, словно озябшие птичьи лапки... Как не хотелось после занятий возвращаться одному в еще пустую комнату, и одному обедать, и смотреть на облезлую стенку, на гитару, висящую на ней, старую гитару с единственной струной. Впрочем, никто в нашей семье все равно не умел играть на гитаре.

Я пообедал и ложился спать, заткнув уши ватой, и сразу засыпал, крепко, но беспокойно, не дольше чем на час. И видел странные, иногда страшные сны.

Потом начался март, и сразу податливо осел снег, заноздрился лед, защелкали сосульки, грохаясь с карниза, и — кап-кап-кап — замелькали перед глазами солнечными вспышками размеренные капли. Небо стало влажно и сине — весна началась.

Но миновало несколько солнечных, будоражных деньков — и с небом начало твориться что-то непонятное. Темная кудлатая туча скрыла затрепетавшее солнце, подул жесткий ветер. Захолодало, и вечером повалил сухой морозный снег.

И опять — какое-то серое время, серая медленная река, размывающая берега дня и ночи, сливающая их в одно...

Но кончилось оцепенение первых мартовских дней, и вновь началась весна. На улицах и площадях запахло талым снегом и жареными пирожками, и в гигантских окнах ЦУМа голоногие молодые женщины синими и красными тряпками мыли и протирали стекла, и мы с Сашкой, проходя мимо Большого театра, задирали головы и, жмурясь от солнца, заглядывались на них.

Объявили подписку на Гюго, и чуть не весь наш десятый класс бегал, срываясь с уроков, на Кузнецкий. Мы часами торчали в глубоком, непроницаемо окруженном каменными стенами домов дворе книжного магазина... Стояло около восемнадцати тысяч под холодными дождями и мокрым снегом, под безалаберным мартовским солнцем, балагуря, чертыхаясь, потешаясь анекдотами и заводя знакомства. Два утра подряд продолжалась переключка. Первый человек каждой тысячи нес на груди рукодельный плакат: «1001-й», «2001-й», «3001-й»... Переключку делал косоглазый старик с вывороченными лиловыми губами, в засаленной фетровой шляпе. Сперва он кричал тонким мальчишеским дискантом в картонную трубку — ничего не было слышно. Тогда старик сбегал к себе на третий этаж, принес продавленную с боков медную граммофонную трубу и внезапным басом загудел на весь двор:

— Триста осьмнадцатый — Федоров! Триста двадцатый — Натансон!..

У входа в черное парадное женщина с большими обвязанными ушами, раздраженно переспрашивая и перевирая фамилии, вручала мятые картонные талоны-номера, и мы спускались в мрачный длинный подвал с каменным полом и низким белым потолком.

По стертым, желтым от старости ступенькам мы торжественно выносили на свет Божий пахучие и клейкие, как первые весенние листья, серо-зеленые томики...

Весна шла, но мертвые послеобеденные часы в пустой комнате были по-прежнему мертвы и одиноки, и жуткие жестяные закаты стучали в окно, в

глаза, будили желтым бредовым светом... И я слонялся из угла в угол, теребил пыльный столетник, барабанил по изувеченной гитаре, декламировал стихи, даже пытался петь — но не мог переждать заката и высказывал на улицу. Но всюду было одиноко — и дома, и на площадях, и в университете, и у самых задушевных друзей... И не было письма от нее, светлой-светлой, живущей в белом-белом городе...

Вечерами приходила мама, устало и бережно дула на кончики пальцев — они мучительно ныли от многолетнего тарахтения на пишущей машинке, — молчало и покорно разогревала на кухне монотонные обеды.

— Говорят, снижение цен ожидается! — хрипло оповещала соседка, кондукторша тетя Варя.

— Ну? Ох, дал бы Бог! — оживлялась мама.

Приходил отец. Долго молчал, ел суп, картошку, закуривал трубку и, оттаивая темными глазами, расспрашивал про занятия...

Иногда он принимался рассказывать о доке — деревообделочном комбинате, где был начальником столярного цеха. Док находился где-то далеко, на окраине Москвы, и работали там в основном заключенные. Отец был «вольнонаемным».

— Вчера приводят мальчонку — лет пятнадцать, не больше. «За что срок дали?» А он голодный был — у них там черт-те что в деревне творится. Шел с товарищами полем. Жрать, говорит, хочется вусмерть! И нарвали гороху в рубашонки. А тут сторож, объездчик — цап! Да суд, да расправа... Спасибо еще, к нам определили — а что, если б на Крайний Север куда?

— Ты бы поосторожней, Коля, — просила мать, плотней прикрывая дверь.

И почти каждый вечер он спрашивал:

— От Ирины — ничего?

— Нет, папа.

— А как, в диспансере был?

— Да.

— Зарубцовывается? Очажок-то зарубцовывается?

— Помаленьку, папа.

Он мрачно пыхтел трубкой и вновь замолкал.

Да, долго не было от нее ничего.

И вот — ее письмо... Я наклонился и понюхал его. Оно ничем не пахло — как вроде бы не пахнет ничем свежий, только что выпавший снег, родниковая вода и утреннее солнце... Но мне казалось, что оно пахнет и солнцем, и лесным ручьем, и светлым снегом.

А после обеда, к вечеру, мы с мамой поехали на док — смотреть игру отца. Он на старости лет увлекся актерством, сколотил драмкружок, и сегодня у них шла премьера — «Ревизор» Гоголя...

На пятом троллейбусе мы доехали, мягко покачиваясь, до Дзержинки, пересели на судорожно вздрагивающий старенький трамвай и потащились к Новой. От Новой шли пешком километра полтора куда-то в сторону, за шлабгаум и пыльные пакгаузы...

У мамы болели ноги — у нее было страшное расширение вен. Она обматывала ноги толстыми прорезиненными бинтами. День был теплый, почти жаркий, и ноги в бинтах болели, но мама шла и улыбалась и повторяла:

— Значит, скоро приедет? Может, даже на той неделе? Если б к твоему рождению поспела! Я б ее такими пирогами угостила...

Играли в мрачноватом дощатом зальчике с грубо заштукатуренными стенами. Играли смешно, но увлеченно. Отец нам очень понравился. Когда Хлестаков поцеловал дочку городничего, и городничий — мой отец, грузный, большой человек, — подпрыгнул так, что голубая майка выскочила из брюк, и крикнул восхищенно:

— Целуются! — весь зал грохнул в ладоши, и кто-то возбужденно гаркнул:

— Так, Митрич! Валяй, городничий!

После спектакля в красном уголке, украшенном парадным портретом Сталина, состоялся банкет. Пахло стружками и столярным клеем. На большом столе, покрытом красным сукном, стояли бутылки с водкой и портвейном, сыр в глубокой белой тарелке, докторская колбаса и ванильные сухари.

Отец сидел в возгавье стола, сиял большой седой головой и, картинно подбочась, улыбался. Он не скрывал детской радости. Он гордился своим дебютом и важно попыхивал вулканоподобной трубкой.

Я подошел к нему и шепнул на ухо:

— Папа, тебе от Иры привет!

— Написала? Приедет? — Веки его глаз покраснели. Он обнял меня за плечи, тихо укорил: — Что ж ты не сказал до? До спектакля? Я б лучше сыграл...

— И так здорово, папа! Честное слово, здорово!

К отцу подходили сослуживцы, прорабы, мастера — все поздравляли, и счетовод дока, изысканно-томная женщина, игравшая Анну Андреевну, подарила ему пахучий гиацинт с надломленным стеблем. Гиацинт поставили в стакан с водой, и на стеклянных стенках взволнованно засуетились мельчайшие прозрачные пузырьки... Отец смотрел на эти пузырьки бессмысленно и блаженно и, словно воду, глотал из большого граненого стакана водку...

— Коля, не надо... Ведь врач говорил... Не пей больше... — виновато озираясь, шепотом упрашивала мама, а забытая улыбка не сходила с ее тонких бледных губ. Но он всепил и не хмелел, и только чисто выбритые щеки розовели приятно и свежо и глаза черно поблескивали из-под суровых густых бровей.

В полтретьего мы вышли на крыльцо клуба. Бараки четко чернели на прозрачном небе, пахло тополями и влажной землей. С востока тянуло теплым мягким ветерком. Перед крыльцом стояла странная темная машина с крытым кузовом.

— Это что за машина? — спросил я.

— Это, молодой человек, «черный ворон». Не знакомы? И не дай Бог... — сухо усмехнулся режиссер драмкружка — худощавый пожилой инженер.

И мы — мама, я, отец и «актеры», живущие в районе центра, — влезли в кузов, я и мама уселись на скамейках для конвоиров около наружной двери, и машина легко, как бы вприпрыжку, понеслась мимо переезда с полосатым шлагбаумом, мимо пакгаузов и горбатых сараев, по тускло-светлой Таганке, по пустынной серой набережной, над черно-желтой неподвижной Москвой-рекою... Дверь поминутно отворялась, я придерживал ее ногой, и прямо под мной мчалась родная московская земля, туго стянутая темным асфальтом.

Я ехал в «черном вороне» и гладил белое письмо, нежно шуршащее в кармане. Мне слышался ее шепот, и я представлял себе ее спящую... Маленький рот приоткрыт сонной, доверчивой улыбкой, полукруглые чистые брови чуть приподняты, а под выпуклыми веками живут и смотрят сон светлые спокойные глаза... Она так близка — нас соединяет широкая лента прозрачного весеннего неба и этот мягкий, ласковый ветерок...

И все было счастьем. Счастьем были и только что оперившиеся, еще немело шелестящие деревья, и заметно порозовевшее небо, и сияющая сединой голова отца, и задумчивая улыбка матери. И огромная Москва, доверчиво спящая за бортом стремительной черной машины и сонно колышущая кое-где уже развешанными к празднику флагами, — они так ярко и свежо атели в сером предутреннем воздухе.

И мое сердце, вздрагивая при внезапных толчках машины, радовалось весне и тоже верило ей.

БАБИЙ ВЕК

«Сорок лет — бабий век». Но ведь захочется жить и после срока; и, наверно, до самого конца будешь мечтать о чем-то... о счастье? Любви? Интересно, найдется ли хоть одна баба, которая бы к слову «счастье» не припаяла бы эту самую любовь?... А в тридцать девять уже стыдно все-таки. Но иначе не получается: стыд, срамотища — но никак не получается! От себя-то не утаишь. С раннего времени, с самого далекого детства уже мечталось об этом. Лет шесть было, не больше; лето стояло; отец увязался с матерью и соседками в лес, по

грибы. Она осталась с братом Юркой. Проснулась, позвала мамку — ее нет. Конечно, реветь. И вдруг поняла: нынче воскресенье, выходной день — к бабке Марье привезут внука, Санечку. И сразу увиделось (в голове, в мечтании): Санечкина испанка из алого блестящего сатина, его важные десятилетние глаза, его светлые желтые полуботинки с кручеными шнурочками. Лежала в постели, как сейчас, и мечтала, соплюха, о Санечке... Он приехал, не напрасно ждала. И пришел к ним, к Юрке. Но без яркой своей испанки, увенчанной болтающейся золотой кисточкой, без желтых полуботинок. В чем же он был? В тапочках? В кедах? Нет, кед тогда не носили... Она ужасно расстроилась, что не было на нем ни нарядной героической шапочки, ни ярких башмачков. И когда Санечка с Юркой убежали на пруд, удить карасей, долго стояла у калитки, переступая босыми пятками на раскаленном песке, и приговаривала горестно: «Побежали. С удочкою. Побе-жа-ли...»

Потом начались книжки, школа, драмкружок — тут уж так размечталась! Особенно сильно, как это теперь ни странно, мечталось в войну. Каждую ночь бомбежки; отец на фронте, мать из последнего тянется, они с Юркой тоже тянутся — помогают, растут, спешат. И в поле, и на покосе, и в лесу — на дровах, Зорьку выпаси... И сколько читалось тогда! Как? Уму непостижимо, даже вспомнить — непонятно. И мечталось о любви — удивительной, необыкновенной, какой, может, никогда в их округе и не случалось. Мать влепила пощечину — зимой было; она уже сильно болела. Увидела у калитки с Олешкой — и влепила там же, при нем. Олешке шел шестнадцатый, через год его взяли на войну. С десяти лет мечтала о нем, с двенадцати — дружила, украдкой от матери. В кино бегали, в клуб в Дмитров ездили, прогуливали вместе... Мать прямо зашла в крике: «Шлэнда, скитала бездомовная!»

И влепила; щеку на морозе так и жигануло... Кинулась в избу, пустые ведра схватила — и на реку. Мать следом кричала: «Голову накрой! Мороз!» Не откликнулась. Примчалась к проруби, опустилась на колени, перекрестилась, как мать учила, кидая пальцами со лба на живот, с правого плеча на левое: «Отче наш, иже еси... иже еси... еси...» Дальше позабылось... Сейчас — головой вниз; Господи, помилуй — и все. Только воды набрать в ведра.

Вода темная, но не очень холодная, приятно свежит горящие пальцы. Пар над прорубью; нырнешь — как в облаке скроешься. Только вот ведра наверх втащить, на берег: матери тяжело будет, грыжа у ней... Завтра кто принесет?

Юрка из Дмитрова поздно приезжает. Нет, надо до воскресенья. И Олешка велел скорей «Войну и мир» прочесть...

И опять — о нем думы. Веселый, плечистый. Губастый — как она. Поцеловал в субботу, как из школы возвращались; потом целую неделю вспоминал, дразнил: «Давай еще! Мы по губам, как брат и сестра...» Узнала бы мама, что дочка на четырнадцатом году с парнями целуется! Ничего, скоро весна, весной победа, обязательно победа. Вот тогда счастье, тогда все легче станет.

Пришла весна, но победы еще не было. Олешку и его товарища взяли в специальное военное училище; брали добровольцами. Равовались ребята: «До фронта дойдем — постреляем!» И все. Как и не было Олешки. Ждала, мечтала, плакала. Когда узнала — с тоски извелась. Даже крестная удивлялась: «Четырнадцать лет, а такая неженная! Неуж заправдашная любовь?» Потом пришла похоронка на отца, и мать слегла, совсем уже. Юрка в Дмитрове, приезжал «раз в год по обещанию». Вся домашняя забота на нее упала: «семеро наваливай — один тащи». И тащила. И вытащила мамку — неизвестно как, а вытащила. И всем помочь старалась — и бабке Марье, обезножевшей старухе-соседке, и двоюродным, когда у них отца ранило на войне, а мамка померла... Наверно, если б на каждого человека приходилось только по одному, по собственному горю, — все бы погорбатились, почახли бы. Но всегда что-нибудь по соседству случается, что-то еще горшее, чем твое горе, мучит близкого или родного человека. Свое и облегчается, вроде бы забывается... Нет, не забывается; только углы обтачиваются, боль уже не режет, не колет, а лишь тяготит, грузно давит на дно души. Уходит твое страданье вглубь тебя, как обледенелое ведро в темную прорубь...

Надо по воду бежать. И печку затопить. А дрова-то? Опять как в прошлый год, время промотала, досиделась до холодов. Есть там горбыль какой-то; ножовкой напилить, дня на два хоть. А там... В понедельник не забыть в заводе дров выписать. Не забыть бы.

Она откинула стеганое, зеленого китайского шелку, одеяло, потянулась к зеркальцу. Взбила пышный начес русых, подлакированных волос, облизнула жадные пухлые губы. Глянула на часы — только девятый. Что это вступилась-то в такую рань? Что значит привычка — даже в воскресенье... А свету и не видать: занавеска еле белеется на окне. А за нею — что-то серое, хмурое, сиротское.

— Нет-нет! — с веселым испугом отмахнулась она от окошка. — Поваляюсь еще, подремлю.

И опять, зябко запахнув голубую пижамную кофточку, — под нарядное одеяло, даже в полумраке отблескивающее маслянистой зеленью шелкового верха.

...Нанялась на фабрику: мать работать не могла. Юрка женился. Учиться хотелось по-страшному! Чего только не хватала из книжек: и Тургенева, и академика Тарле — про Наполеона, и «Кавалера Золотой Звезды», и даже курс пчеловодства... Каждое воскресенье — в Москву, в Ленинку. И — надо же! — поступила в институт. Вся родня, все в их деревне смеялись, не верили: «Лелька? В институт? Хо!..» Только мать верила, наставляла: «Учись, дочка, коли есть сила — занимайся. У нас все способные были, да...» Способные, да — какие? Ленивые? Бедные? Трудно понять. Покойный дядя говорил: «Никто на человека не выучился». Ах, что за дядька был! Настоящий самородок. Он и по технике — паровое отопление полдеревне сделал, — он и мичуринец. «Подучись маленько, на курсы поезди — книжку напишешь, поможем!» — тянули его. Куда там. «Век живи, век учись — дураком подохнешь», — отвечал дядя, шутовски нахлобучивая дырчатую соломенную шляпу на лоб, выпуклый и гладкий, как у младенца или мудреца. И улыбилось из-под шляпы хитроглазое, беспечное лицо удачливого и недалекого бахвала.

И умер как-то нелепо — истинно по-дурачки.

Шли с шуряком из грибов; чего набрали — смех: марфутки, сыроежки червивые, волнушки. И уж, как закон, выпили крепко. Жары стояли в то лето несусветные. Они спустились в овраг, к Батракову колодцу. Дядя говорит: «Воды хочу — сил нет. И голову окунуть бы. Я влезу туда по пояс, упрусь в сруб; ты за ноги держи». Так и сделали. Дядька пил, бултыхался, дурака валял — и вдруг как дернет, головой в воду, все глубже, в тине увязает. Шуряк тащит за ноги, а сам боится: ноги-то наперелом торчат. Наконец изловчился, вытянул как-то. А уж тот пузырь еле выбулькивает. Лицо, волосы — все тинной облипло, как у водяного... Отмывали, отчищали — но так и остался он в памяти с искаженным, словно усмевающимся ртом и рогульками сохлого ила на висках...

Да, училась она. Ночами, как привинченная, сидела на табуретке, на кухне, — чтоб хворую мать не будить. Особенно трудно было весной, в мае. В окошко овраг виден — весь по краю цветущей черемухой оброс, будто пеною забрызган. По черному ельнику густо и часто брошено белым, серебряным. И пахнет — прямо сердце заходится. Девки мимо в кино бегут, на танцы; Сонька, двоюродная, поет, дразнит:

Усидишь ли дома
В девятнадцать лет?

А ей уж двадцать пятый зимою пошел, и еще тяжелей усидеть в такую пору дома над учебником химии. И о любви мечтается — уже томительно, по-бабьи, всем телом. И любит, любит — неизвестно кого, но вся душа, любяя клеточка круто слепленной плоти тянется в сладкую, мягкую майскую тьму, в путаницу тесно сплетающихся в овраге ольх и черемух, в черную, жутко поблескивающую звездами глубину взбухшей речки...

В ту пору ей любился Вовка, наладчик. Дай рассчитать: сорок девятый, пятьдесят первый... все правильно, она уже работала в Ляпуновке, сперва мотальщицей, потом в ткацкий перевелась. Станки стучат, гремят — орать надо, чтоб кто-нибудь услышал. А как орать-то, если о тайном надо сказать? Челнок шнырит, мечется, как испуганная белая мышь. Нитка рвется — только поворачивайся. Но Вовка тут как тут: сразу на помощь в случае чего. Он недавно демобилизовался из флота. Ходил в широченных клешах. Поджарый, смуглый;

из-под золотого чубчика глаз стреляет, карий, горячий. Одно слово — смерть девкам. Придешь, бывало, в самом жутком настроении — он враз снимет. Рассмешиг, развеет. Но нахальный. Даже, можно сказать, циничный...

Укусив пухлую губу, она вспомнила, как жестоко он подшутил, уже рассорившись с нею. Поспорил с Сонькой — она браковщицей работала и уже дружила с ним, — какого цвета на ее двоюродной комбинация. Подошел к станку, постоял минуту (она еще, как дура, обрадовалась, что он опять на нее внимание обращает!), заржал на весь цех. Кричит Соньке: «Розовая!» Оказывается, наблудил на башмак под клешиной зеркальце, подвел ногу к ее ногам — и разглядел... Выиграл бутылку. И дружил с Сонькой целый год. А она опять одна, сама по себе. И сейчас тоже одна. Надоело все до смерти.

Который час? Боже всемогущий, одиннадцать. Долежалась. Вчера те, из дома отдыха, как раз в одиннадцать приходили. Целый час у калитки торчали, трепались. Особенно чернявый, младший. Молоко из-за них убежало...

Молодые еще; младшему лет двадцать пять. Наверно, неженатый. Нет, вред ли: нынче все рано женятся. И замуж — тоже рано...

Привычно набирая скорость, она натянула серенький свитер-самовяз; топропливо застегнула юбку; шмыгая тапочками, побежала в сенцы, умылась; быстро мазнула рот помадой. И, уже разогнавшись вовсю, словно ей надо на фабрику, кинулась во двор — кормить хрипастого, злого кобеля, посаженного на короткую цепь возле крыльца, — одной спать боязно, только и охраны что пес.

— А вдруг... зайти захотят?

Она потеряла жаркую щеку — и, отвязав лижущегося пса, отвела к древней яблоне-кривуле.

Вылила из термоса остатки вечернего кофе, разжарила на керосинке вареные картофелины. Дожевала бутерброд с окаменелым за ночь маслом.

— Надо топить. Бр-р! Где у меня ножовка-то? Дядя Егор брал, когда крыльцо ремонтировал...

И снова погрузнела. Как просила дядю, единственного брата матери, помочь! Ну что ему стоило прийти поработать часок! Ведь сколько они для него старались с матерью — и в войну, и после. Допросилась наконец; явился, не запыхавшись. Поковырял немного топориком, пошуровал рубанком; намекнул, что голова болит, полечиться бы, мол, после вчерашнего... И, сложив инструмент на чердаке, завалился спать — прямо в грязной, пыльной гимнастерке и заляпанных глиной портках на шелковое ее одеяло. Проспал до вечера и ушел в поселок. А наутро прислал сына, женатого Валерку. «Где папкин инструмент?» — спросил красивый рослый Валерка, балованно ежась на несильном ветру и не заходя в дом. Она взмолилась, чтоб хоть он докончил. Валерка постругал, потяпал с час — она в этот срок слетала в магазин, как назло — закрыто. Дала три рубля: «Извини, Валер, если мало». — «Ладно уж. Раз ты бедная такая». Всегда подсмеивается: «Ты, дура, пятнадцать лет учебники зубрила, а без денег, получаешь всего ничего. У меня семь классов, а я каждый день ванну принимаю». Дом у них получше городского, все есть.

И так посмеиваются, шпильки разные подпускают; почти все, кто из родни остался, считают, что она важничает; обижаются, когда в гостях отказывается от водки. Но какая там водка, если сердечная дистония! Так иной раз защемит — ой-ой кричи...

Она разыскала ножовку и пошла на зады, где неопрятно серела на еще зеленой, нетоптаной траве гряда горбыля, сваленного из милости заводским шофером. Тоже чем-то расплачиваться придется...

— Салют труженицам села!

Пришли все-таки.

— Привет отдыхающим! — Она тряхнула пышно выгнутым русым коком, выбившимся из-под платка, и манерно потупилась.

Пес грозно забухал под яблоней. Младший, смуглый худощавый парень в высоком картузике-деголлерке и короткой куртке, засмеялся:

— У! Зверина! Ты скажи, зверь-зверина, как твое имя?

— Бобка его зовут! — тоже засмеялась она. И вдруг попросила: — Помогите, мальчики. Распилить надо.

— Конечно. Как не помочь, — согласился за обоих старший, плотный белолицый человек в дымчато-бурых очках.

— Я за двуручной сбегаю. Сейчас. — Она побежала к соседу, игриво вскидывая в стороны ноги в грязных резиновых сапожках.

Младший мигнул старшему товарищу:

— Ну? Ничего?

— Да ну... Ну, давай, это самое. Вон ту тесину...

— «Тесина». Интеллигенция! Какой же это тес? Горбыль, и то завалиющий. Дрянцо горбыль.

Пилили недолго — минут сорок. Она сама остановила:

— Хватит! Мне этого на целую неделю.

— Неужели? — удивился старший. — Вы такая экономная?

— Ага. То есть вовсе не экономная. Просто лень топить. Я только вечером топлю. А ночью сплю с уюгом. Оберну ватником — и сплю...

Младший уцепился за уют — и повел... Он был электриком по монтажу; старшему, лишь на днях познакомившемуся с ним, казалось, что новый его товарищ сам напичкан веселым, суховато потрескивающим электричеством. Особенно заметно виделось это, когда тот разговаривал с женщинами, чем-то нравящимися ему. Он весь как-то подбирался, глаза зажигались уверенным, колким огоньком; почти не глядя на случайную избранницу, он рассказывал, шутил, спрашивал, быстро и энергично вскидывая ладно обточенной, небольшой головой. И еще казалось, что он тонким накаленным прутником незаметно нащупывает в собеседнице какие-то тайные точки и точно, остро покалывает их, разжигая что-то стыдное — и приятное. «Любую давай, самую сонную, — в один миг развеселю! Главное — нюхать надо, нюхать», — хвастался он. И действительно — нюхал он умело. И развеселял тоже.

Старший с брезгливым и жалостным интересом наблюдал все эти дни за новым приятелем, как, бывало, подростком следил за отточенной и нагло-ошеломляющей работой карточного фокусника. И притягательно, и завидно. Сейчас лишь внимательней всмотришь — угадается главный секрет, раскусится главный фокус искусства. Уловишь, поймешь — и все изменится в твоей глупой жизни, — и такие богатства можно добыть — сердце обмирает, представив.

Сердце, как лист, слетающий с этой липы, обмирает и кружится. В-ва, с-собака...

— Ой! До крови? — Она обернулась и выронила охапку напиленных дров. — Сильно?

— Не тревожьтесь, ерунда. Перчатку только располосовал.

— Давайте я йодом. Идемте, скорее...

— Давай, да-вай! — быстро зашептал младший. — Я тут обожду, а ты там...

— Идите же! — крикнула она из сада. — Не бойтесь, я его держу за ошейник! Не вырвется!

— Ну-ну, жми...

— Не надо. Я неглубоко. Вот уже и не идет. Зализал.

— Правда не идет? — Она подбежала, наклонилась над порезанным пальцем, щекотнув его руку растрепавшимся коком. — Ага, прошло. У вас хорошая свертываемость крови. У меня тоже.

— А я об чем толкую, — осклабился младший, ловко ставя козырек дегол-левки чуть наискось. — Ну — айда, пострадавший! Адьо, синьора!

— Так вы... ага... — Она улыбнулась сконфуженно и нерешительно. — Спасибо, ребята!

— Спасибом не отделаетесь! — возразил младший. — Бутылка — на меньшее не согласны.

— Когда вручить? — схватывая на лету, засмеялась она. Сзади нее пушились еще густые кусты смородины, свежо белели крупные последние георгины — и ее лицо казалось молодым и беспечным. Да она и была такой вот, не запасла на зиму дров, хотела пилить сама, ребята как с неба свалились. И всегда, в общем-то, ей везет. В главном везет. И она знает, что выглядит сейчас хорошо. Чем серее погода, тем свежей она выглядит — такое уж у нее свойство.

— Вечерком, синьорита. — Младший простодушно взял ее за локоть. Проворно и машинально взбежал к ее плечу — и сам убрал пальцы, мгновенно и точно рассчитав что-то. — Не беспокойтесь, синьорита, — бутылочку принесем сами. Вечерком. Часиков в шесть.

Туман виснул над покатым полем, широкими медлительными полосами наматывался на темные деревья и серые, покорно истаивающие в воздухе строения. Мощная липа у пруда — какая она стала нищая, голая! Всего неделю назад, ясным, сине-золотым днем, как ярко пышнела сухим матовым жаром в беспечной прозрачности неба. Вся она была округло-спокойная, осанисстая. А сколько нервности, какое напряжение, почти отчаяние таилось, оказывается, под этой лиственной округлостью. Как остро, как ищуще ломаются и тянутся, топорщатся все ее ветки, сучочки, членики! Живое, страдающее, бесстыдно обнаженное стужей существо...

— Раз-меч-тался солдат мо-ло-дой! — насмешливо пропел в ухо младший. — «Кристаллину» не потерял?

— Здесь «Кристаллина», — бодрым и грубым голосом ответил старший. Но для проверки хлопнул по пузатому карману долгополого пальто — «поповским» окрестил это одеянье младший.

Пес хрипасто, но не так уже злобно, как давеча, забухал в кустах.

Она тотчас полоснула по туману оранжевой вертикалью света, выскочила на крыльцо — стройная, светлая со своим желтым коком, в новом своем бежевом жакете, в белых чулках.

Младший шел развязно и любовно ослабившись, приметливо стреляя по сторонам глазами. «Приличный домик». Цветочки, наличники с завитушками. Даже водосточная труба жестяным кружевцем украшена. Нижняя ступенька из кирпичей, вроде как лепестками...

— Кра-сиво живете!

— Папа любил. И мама тоже. Старались... — Она повернулась боком, пропуская гостей.

— Нет-нет! Я водку не могу. У меня дистония, — таинственно выкатывая и без того выпуклые глаза, отрекалась она.

— Ну какая там водка! — убеждал младший. — Она слабее нашей. «Кристаллина»! Как звучит, а? Всего под сорок градусов. Всего только под сорок... — Он нахально подмигнул. Она вспыхнула, опустила голову. — Ну, одну! Сим-во-ли-ческую!

— Ну ладно. Только символическую, — вздохнула она.

Она уже и без водки захмелела от непривычно жарко натопленной печки, от крепкого и прямого, разящего обоняние запаха «Шипра», от плавно кружащегося и кружащего табачного дыма. Фужеры (у нее были настоящие хрустальные фужеры, бережно таимые в тесном мраке модного серванта), вспыхивали замирающим звоном, переливались золотыми бликами лампы и красными блуждающими крапинами сигарет, и ярко-белым, резким, как отточенное лезвие, блеском колебалась в них ледяная и пьяная «Кристаллина». Ей нравилось, что водки мало, что ребята ведут себя весело и культурно. Ее радовало, что на столе стоят настоящие фужеры, скрашивающие убогость закуски и бедность обстановки. Правда, и сервант был хороший: они с матерью купили его в ту, реформенную, зиму — очень повезло: всего и сбережения было что на сервант да на кровать, а все-таки не пропало... Кровать тоже богатая: финская полуторка, просторная, с прочным, без износу, синтетическим матрасом. Опрятно убранная, она, как и должно, скрывалась в полумраке второй комнаты, за неплотно притворенной дверью.

Да разве в обстановке дело? Такие душевные ребята попались, все поймут. Удачный вечер, прямо праздник. А то сидишь одна. Осенью жутко одной: дом на отлете, первый от оврага. Юркина половина пустая: он теперь только летом наведывается, как дачник. Когда ляжешь — уже не так страшно, потому что за день измотаешься, быстро засыпаешь. Закутаешь утюг, в ноги положишь — и сразу сон валится на голову, как большая подушка. Во сне все легко. Даже умереть, наверно. Мама во сне. Соседки завидовали: «Хорошо, мне бы так...» Некоторые и жить стараются как во сне — легче. Выпивка, гуляба, развлеченья всякие. Тоже старалась, тоже развлекалась — но надоело. Устарела, наверно. Пора: под сорок уже. А сколько этим ребятам? Спросить неудобно. Младшему лет двадцать восемь все-таки. Когда шапочку снял, видно стало — со лба зальсинки начинают, темя редкое. Старшему тоже под сорок. Ровесник.

Она с веселой и смущенной ужимкой («Не обессудьте!») сыпанула в стаканы по шепотке заварки, налила кипятку из белого, с пятнами копоты, кофейника.

— Все никак чайник не соберусь. Одна: только поворачивайся...

— Чай чаем, а «Кристаллиночка» обижается, о-би-жается...

Младший точным движением доплеснул в ее едва пригубленный фужер.

— Не-не, — запротестовала она, прикрывая вспыхнувшее горлышко.

— Я тоже — пас. Себе, себе... — Старший большими растопыренными пальцами огородил бокал.

— Чего это? — насмешливо дрогнул писаной бровью младший. — Или в команду валидолистов записался? Инсульт-привет! Пей, моя девочка...

— Пейте, мальчики, кушайте. Варенье засахарилось, извините.

— Все прочла? — свойски спросил младший, кивнув на этажерку, забитую книгами.

— Конечно. Тут же мало. Сейчас очень интересную вещь читаю, полгода очереди ждала. Экзюпери, избранное.

— А-а, — многозначительно и безразлично протянул младший.

— Чудный писатель, — пробормотал очкастый его товарищ и погрузился в стакан желтой замусоренной чайнками жидкости.

Она хмелела все радостней и откровенней. Гости нравились все больше — оба сразу. Время от времени она прикрывала глаза, стараясь ошутить и понять их глубже, она как бы подпускала их к себе вплотную и, откидывая условности смутно ведаемого ею непростого, светского, что ли, обхождения, слушала и рассматривала их всем своим доверчивым, детским интересом, всей застарелой нежностью девичества... Младший был звенящий, колкий; он жег и кололся и быстрыми, ловкими пальцами, и острыми, накаленными глазами, и небрежно-находчивыми фразами. Искоса вскидывая взгляд, она почти испуганно касалась коротко стриженной головы с четким, узким затылком и аккуратными, по-мальчишески расплавающимися от печки и выпивки ушами. И почти резали взгляд его жесткие черные ресницы, особенно заметные, когда он поворачивался в профиль... Старший тихо плескался, осторожно накатывался широкой, мягкой и теплой волной... Идешь августовским, уже студеным вечером; в открытом поле прохладно, чуть сыровато — и вдруг в ложбинке обдаст доброй скопившейся за жаркий день теплыню... Нравилось его большое, плывущее лицо, нравился звук умного и неспешного, словно выбирающегося из овражной чаши, голоса... Младшего слушала с глупым замиранием сердца и спрашивать почему-то опасалась. Большого хотелось разговорить, узнать что-то, раскутать из толстого, теплого вороха... Наверно, очень добрый. И очень умный. И столько знает всего. Расспросить бы, расшевелить. Но неудобно, обстановка мешает, и этот — колется, подбирается, ищет — сейчас найдет, уже нашел, наверно, все видит, сидишь, как голая, и слабая, как маленькая... Может, тот, старший, придет еще. Один. Тогда легче будет, проще. Может... Ах, дурацкая эта привычка — всегда забегать вперед, мечтать о завтрашнем и послезавтрашнем! Сонька вчера с фабрики прибежала, вся толстая, как беременная, от намотанного на себя краденого суровья. В кои-то веки изрекла мудрость: «Живи, как я: день — наш, а завтра — будь что будет». Но нет — обязательно вперед закидываешь, мечтаешь о чем-то будущем. Сколько жизни прожито, и не заметишь, как вслед за мамочкой собираться, а все мечтаешь... Но этот, этот — так и сыплет! Анекдоты — прямо как семечки. Ну, парень! Смерть девкам...

— Вы извините, если что не так, — словно и не думая, приговаривала она, беспечно похотатывая и играя глазами и сверкающим коком. — Я простая; меня на фабрике фамильярной прозвали. Ага. Из-за дурачка одного — он шлифовщиком у нас. Взял моду: я прохожу по цеху (я инженер по НОТу, всюду должна ходить, изучать), а он, извините, хватает. Ага! Ой, что я говорю! — Она пухлой ручкой загородила рот и проворно замахала пальцами — как дети, делающие «до свиданья».

— Я его понимаю, — вставил младший, метнув улыбкой на ее губы, шею и плечи.

— Я ему — строго так, знаете: «Ты со мной не фамильярничай!» А он: «Чего-чего? Как?» Я: «Не фа-миль-ярничай!» Он стоит, ушами хлопает. Я

опять: «Ступай в библиотеку запишись, в словаре покопайся». Он слово-то зазубрил и теперь, как увидит, орет: «Эй, фамильярная!»

Старший рассмеялся, раскатывая мягкие, широкие волны, и она, поощренная этим смехом, так и залилась, прерывая себя кашлем и мелкими взмахами пальцев:

— Я... рассердилась... говорю: «До каких пор так будет продолжаться?» И грожусь его жене: «Я на твоего Валентина в суд подам. Он меня компрометирует». — «Чего-чего?» Испугалась! «Чего он с тобой делает, расшиваха эдакий?» Я ей: «Ком-про-метирует! Сходи в библиотеку, спроси словарь...»

— Приобщение масс к культуре. Пей, моя девочка.

— Не-не, ни за что!

— Ну, одну капочку?

— Разве что капочку. Сердце завтра весь день...

Она лихо одернула свитер, мотнула волосами. И вдруг вспомнила:

— Да, мальчики, у меня же музыка есть! Проигрыватель. Пластинки, правда, устарели... Вы любите Тито Скипу?

— Кого? Кто такая?

— Скипа. Итальянский певец, тенор, — подсказал старший.

— Я его ужасно как любила. Все его пластинки покупала... Сама сто лет не слушала, не знаю, получится ли, — болтала она, распутывая шнур и обдувая черный запылившийся диск. — Прямо бандура какая-то, а не проигрыватель, вы уж извините... Звук не того, да? Это — «Освещенное окно», старинная итальянская песня. У него умерла невеста, он видит ее освещенное окошко и вспоминает свою Нинеллу. Ну и плачет, конечно.

Она села, сгорбилась, опустила голову. Тенор пел грустно и красиво. Она молчала до конца пластинки; потом сказала тихо и медленно, как бы припоминая:

— Мама тоже любила эту вещь.

— А твоя мать... когда? — неловко повернулся вместе со стулом младший.

— В позапрошлом. В шестьдесят шестом.

— Моя в сорок шестом. — Он жестко усмехнулся: — У меня стаж на двадцать лет больше.

Закурил и отошел к занавеске, за которой узким клином чернела тьма.

Она поставила новую пластинку, повеселей. Диск медленно крутился, поблескивая узкой и светлой, как пробор в черных волосах, полоской. Иногда иголка попадала в выбоину, мелодия тупо топталась на месте; она вставала и переставляла адаптер.

Старший курил и незаметно, чтобы не мешать назойливостью взгляда, следил за ее лицом, за движениями, за душою, вздыхающей под этой грубовато-яркой, наивно предлагающей себя наружностью. Он затягивался дымом все глубже, слаще, томительней. «Какая она... Ладно, потом обсудю какая. Мне хорошо. Мне нравится здесь. Как трудно будет встать, попрощаться, уйти. Туман, осень. Но что — обо мне; она на меня даже не взглянула. А я опять влюбляюсь, и опять впусую. Не надо: только ее обижу. И ему помешаю». Он посмотрел на приятеля, уже смеявшегося, уже смешившего ее в углу, возле приоткрывшейся двери в темную комнатенку.

«Как мало мы знаем друг о друге. И ленимся узнавать. Обо всем за эту неделю перетрепались, только не о главном. И лишь сегодня, сейчас открылось: он — сирота, уже двадцать лет сирота. Совсем маленький был. Может, оттого в нем такая жадность до ласки, такая потребность в женском тепле? Какие чудесные все-таки эти итальянские песни. Вроде бы и примитив, и даже банальность — а как прямо метят в самое сердце. Раньше искусство было вообще проще, нелукавее — и прямодушнее, наверно. Хорошо, хорошо... И она молодчина. Одна; жизнь трудная, деревенский быт без удобств, фабрика, дом. И — одна, одна...»

— Мне все советуют: продавай дом, строй кооператив. Но не хочу. Понимаете, не могу. Ну как? Ну, сами посудите, как? В этой деревушке все наши жили Бог знает с какого времени. Этот дом дедушка рубил. Папа пристройку делал. Он чужак был: что ни сделает, ни построит — сразу дату ставит. Вот вы днем если пройдете — поинтересуйтесь: на терраске, на сарае, на крыльце — всюду белилами год проставлен. Начиная с девятьсот шестнадцатого. Еще молодой был, совсем молодой... Ну как продать? Каждая досочка... Опять же

природа. Все, кто ни придет: «Как у вас чудесно! Воздух, лес...» Не хочу продавать! — крикнула она почти сердито.

— Ну и сиди тут. Мерзни, с хозяйством возись, — грубо и досадливо оборвал младший. — А в городе жизнь. Культура...

— Ну и сажу! — Она вызывающе сверкнула глазами, одернула свитер. — И без вашей культуры обойдусь!

Опять понурилась, как только что — слушая пластинку. Тряхнула волосами, улыбнулась тихо и заботливо:

— Что ж вы, мальчики? Ничего не кушаете. И не пьете.

— А сама-то! — Младший развязно качнулся к ней, ласково и жестко пригнул ее голову к столу: — А ну — допивай, не то силой волью!

— Не могу, ребята, дистония... Мы даже когда в совхоз ездили, на картошку, все вина брали, потому что холод собачий, по рублю собрали, а я не могла, через плечо выливалась. Наши мужики потом дурачились, траву лизали: «Добро пропадает!» Смех!

Она отодвинула фужер, прислонила к горячим щекам холодные ладони. «Нет, хватит, хватит... Боже мой, совсем пьяная. Сколь время-то? Надо незаметно — увидят, что на часы смотрю, заторопятся, уйдут... А и пора: в сон клонит, завтра на работу к восьми. Уйдут — и одна. Пусто, страшно... Оставить обоих? В большой комнате...» Она поймала пытливым, неуклюже пущенный из-под дымчатых очков взгляд. Спросила ни к селу ни к городу:

— А вы где работаете? То есть — кем?

— Я тоже инженером, — ответил старший, колыхнувшись большим бестолковым телом, словно выходя из волны на берег. — В почтовом ящике...

— Письма жую, — подражая голосу и интонации товарища, заключил младший и подмигнул хозяйке. Она захохотала охотно и сочно. Младший прищурился, снова встал, подошел. Обнял за плечи, приподнял со стула. Она беспомощно поникла плечами, уронила ему на грудь упругий и податливый начес. Слабо пролепетала:

— Ребята, только чтоб ничего... Ладно?

— Ладно, ладно, — пообещал младший и вывел ее на середину комнаты.

Старший с неуклюжей догадливостью колыхнулся к проигрывателю. Поплилось что-то хрипло-звонящее, бойкое.

— Только... чтоб ничего, да, ребята? — шепотом повторила она. Просяще, неуверенно, угрюмо глянули из-под русого прикрытия ее глаза. Внезапно она остановилась и, мягко ударив партнера в грудь, широко шагнула к старшему.

— Нет... Пойдемте, я с вами хочу. Давайте танцевать.

— Ну-ну... — сказал младший насмешливо и раздраженно. — Ну-ну. Желаю.

Подхватил с дивана курточку, толкнул дверь в сени... Слышно было, как яростно хлопнула калитка, сипло, с опозданием брехнул пес.

— Чего ж ты?

— А... Ты здесь? Что ж ты... Замерз?

— Ну-ну, пожалел. — Младший цыкнул под ноги плевком. — Быстро управился. Ловкач. Тихой сапой. Прими поздравления от имени месткома.

— Молчи! — крикнул старший, останавливаясь и шумно дыша. — Ну-ну!..

Даже во мгле видно было, как зло заострились глаза младшего.

— Будешь орать тут — врежу. Интеллигенция...

Он быстро зашагал под уклон, шурша разбросанной картофельной ботвой.

— Ах ты... — Старший гневно шагнул следом. — А, черт с тобой... Куда же он, дурак? Прямо к оврагу. Эй, вернись! Заблудишься...

Но младший уже и сам возвращался, сухо почиркивая зажималкой.

— Ну и ночь, сволочь. Залезли, гад...

Идти было неблизко, километра полтора. Оба молчали.

— Знаешь, почему я психанул? — спросил вдруг младший.

Старший не ответил.

— Я чувствовал, что у тебя ни хрена не выйдет. И злость меня разобрала — жуткое дело!

Он резко встал; зашептал в лицо спутника жаром водки и сигаретной горечью:

— Баба вся твоя была. Вся-я... А ты — ни себе ни людям. Та-кой вечер пропал. Т-цы.

И опять цыкнул в тускло шевелящуюся под мостком воду.

— Не упали — сломано перило, — пробормотал старший.

— Я учил: ню-хать надо! Нюхать. Эх ты...

Досада его сменилась сожалением к этому стареющему лопуху. Он полюбил товарища.

— Так, брат, царствие небесное проспишь. Бабка моя говорила...

— Мать твоей мамы? — зачем-то поинтересовался старший.

— Да.

Они уже шли по территории дома отдыха, аллеей сильно траченного, но все еще лесистого парка.

— Стой... Смотрят. Гляди! — таинственно прошептал старший.

— Да бабы ж! — засмеялся приятель.

Конечно: просто каменные скифские бабы. Днем они такие смешные, неуклюжие. А впотьмах что-то живое, шевелящееся, даже хищное чудится в их смутных очертаниях. Проходишь мимо — и чувствуешь, как глядит на тебя бледное широкое лицо, чья-то фигура поворачивается, тянется сутулым наклонном торса, мягким и властным движением плеч...

— Давай постоим минутку, — предложил старший.

— Давай. Покурим кстати — в корпусе не дадут.

— Знаешь... — начал старший, медлительно и глубоко затягиваясь. — Ловлю себя иногда на странной мысли. Вернее, на ощущении.

— Ты про ощущения погоды. Ты скажи прямо: что произошло? Ты, знаешь, к ней. А она...

— Плакала она. Потом рассказывать начала. И опять расплакалась.

Здесь, на высоком склоне холма, туман был реже, и лицо старшего виделось спокойным большим пятном, чудно и чуть страшно продырявленным темными кружками очков. Он стоял облокотясь на темя каменной бабы, сам неподвижный и неуклюжий, как этот грубый, бледно светящийся камень. Он молчал, слушая шелест падающего с листьев тумана, вбирая тьму и мерцание ночи глубокими провалами глаз и полуоткрытого рта.

— Ты, это... извини — я перебил тебя. Что ты говорил-то? Про ощущения.

— Ах да. Чудно бывает; ты, наверно, замечал тоже. Вот — ночью, где-нибудь в поле, на пустой дороге. Или в Москве, в переулочке — знаешь, около Трубной или в Замоскворечье. А то — днем, в лесу. Особенно в лесу. Понимаешь, при деревьях, при звездах... А ты один...

— Ну?

— Иногда кажется, что за тобой кто-то следит. Даже шепчет тебе что-то. Река, кусты; звезды тоже. Вот — скифская баба, статуя. Старые картины. Особенно если совсем один. Редко вглядываемся, вслушиваемся...

— Ну тебя. — Младший поежился. — Холодно. Айда в корпус.

ОДНОНОГИЙ

Одноногий — рослый, статный богатырь — рассказывал:

— Подкараулил ее в проходном — знаешь, под аркой, там... догнал и говорю: «Обожди, два слова только...» Она замедлила шаг, косится глазом — круглый такой, пугливый, как у испуганной сороки. И пальтишко облипло мокрым снегом по бокам почему-то — прямо сорока, верткая, быстрая, легонькая... Говорю ей: «В тебе этакая лучезарная жестокость. Неужели не осталось у тебя хоть крупинки нежности ко мне?» Помолчала, воротничок наставила, сощелкнула с него снежинку. «Нет, — отвечает, — ни крупинки не осталось».

Он смолкает, проворно разгребая протезом заснеженную листву. Неуклюжие, разваливающиеся облака с черным и сизым поддоном угрожающе несутся над парком. Впереди мчит туча — белый, огромный ком крутящейся мглы.

Трава пятнисто забелена липкими хлопьями. Одноногий перекидывает из руки в руку громадную суковатую палку и продолжает. Низкий, чуть подвывающий голос жутковато звучит в пустынной рошце:

— Но если она так убежденно отрезала эти слова... Понимаешь, так твердо — и вместе с тем после паузы. После томленья какого-то... Может, все-таки есть в ней что-то? Ведь она целовала тогда, в скверике, весною! Как бежала ко мне после лекций! И на шею, средь бела дня, при всех! Завернули мы потом в кафе — погреться. Рядом какая-то пожилая парочка. Сидят умиляются на нас. Он ей шепчет: «Вот папа с дочкой. Наша-то с нами не пойдет — неинтересно. Только мальчишки на уме...» Меня зло забрало, а потом смех!

Одноногий гулко хохочет. Смех ухает и, размываемый густою холодной сыростью, одиноко поникает вдальке.

— Мне-то скоро сорок, я женат был. В Днепропетровске дочь растет. Весною аттестат зрелости получит...

На поляне возится с фотоаппаратом человек в темной шляпе и коричневом пальто. Присел, налаживает объектив, командует двум мальчишкам в синих шлемах. Мальчишки крепко держат на веревочках блеклые продолговатые шары и торчат, как полешки. Снимок, наверно, получится неинтересный, напряженный, но отец все равно будет радоваться и с гордостью показывать его своим знакомым.

— У нее тоже, как я заметил, довольно скоро предвидится... — задумчиво сощурилась, говорит одноногий. — Замуж летом вышла. Подурнела, пятна под глазами. Молоденькая совсем, рано ей. Муж-то, дурачок, не понимает. Да, этакая лучезарная жестокость... Ну да ладно, все равно так прекрасно все было, Господи... Чудные ее слова помню... Родители ее уехали, она меня к себе позвала. И вдруг скрылась. Сижую жду, минут десять. Нет как нет. Пошел по квартире — искать. Толкнул дверцу — ванная. И она — под лампой и под душем. Вся в ливне, понимаешь. Льющаяся сияние... Меня шатнуло, глаза сами собой зажмурились. Она кричит: «Выйди! Уходи скорей!»

Я выскочил, протезом зацепился, чуть не грохнулся... А она, когда вышла из ванной, и сказала эти самые чудные слова: «Знаешь, я всегда мечтала, чтоб у меня был любимый и чтобы он смотрел на меня сквозь блещущие струи...» Глупенькая такая, маленькая еще...

Он запрокидывает голову и провожает взглядом белую убегающую тучу. Холодное солнце жестоко бьет в глаза, но он не щурясь глядит на небо.

— Сижую дома, на втором этаже. Отрываюсь от книги — словно дернули сзади за волосы — и встречаюсь с нею. Глаза в глаза. Шла мимо и посмотрела. Значит, смотрит иногда. Окон-то много, и сразу попасть взглядом в мое вовсе не легко, ведь правда? Без тренировки, а?

Его широкое мужественное лицо дергается мучительной улыбкой.

— Я сразу вниз сбежал. И — на то место, где она только что проходила. Понимаешь, проверить, в свое окно посмотреть. Я длинный, мне просто. А ей без тренировки сразу не заглянуть. Значит...

Он хмурится.

— А может, и ничего не значит... Встретил ее недавно. С мужем была. Он маленький, профиль вытянутый, выгнутый — помнишь, как на автопортрете Пушкина? Но ничтожное лицо. Я так не из-за ревности, не подумай. Я его тебе покажу. Ничтожное личико, узенькое, мелкое. И ростом он чуть-чуть повыше ее. Она его держит под локоть. А когда мы с нею гуляли, — одноногий осанисто выпрямляется и опять перекидывает палку, — когда я с ней ходил, она головой мне до подмышки была, и я сверху обнимал ее, вот так, охватывая рукой ее плечо и спину. «Слава Богу, — подумал я, когда их увидел, — не дано им хоть ходить так, как мы с нею ходили».

Он смеется — громогласно, почти счастливо. И вдруг, как хулиганистый подросток, дико щерится и оглушительно свищет на весь лес. Большая ворона нехотя снимается с качнувшейся березки и раздраженно каркает. Одноногий приостанавливается и озабоченно говорит:

— Только боюсь. Как это все у нее получится? Маленькая она, болезненная. С почками у нее плохо, с сердцем. Муж-то, дурачок, поторопился. И она — молоденькая еще очень, глупенькая...

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Все мешало Анне Дмитриевне: и угрюмый необщительный характер, и возраст, и сердце.

— Что это вас влечет за рубежи? — ласково и утомленно отговаривал председатель месткома. — Конечно, мы поспособствуем, характеристику выпишем самую-самую... Но лучше бы куда-нибудь в Подмоскovie, в родные, так сказать, пенаты...

Но нет: ей хотелось именно за границу. Вдруг непреодолимо капризно за мечталось, потянуло. Все надоело: и добродушные шуточки молодой этой шустеры в коридорах министерства, и большая комната в коммунальной квартире, пустынная и до сих пор какая-то необжитая... А уж эти подмосковные дома отдыха — избави Бог! Скучища, и обязательно чья-нибудь знакомая физиономия, и опять разговоры, воспоминания...

И она добилась своего. Убедила и на работе, и в поликлинике, что сердце ее в полнейшем порядке, что она, как большинство людей ее поколения, семижильная... Покрасила волосы в каштановый цвет, купила высокую, ведерком, светлую шляпку и модную квадратную сумку.

— Ваша-то! — посмеивались из соседних отделов. — Фу-ты ну-ты!

— Пустите Дуньку за границу! — шуточно увещевал главбух, важно топыря тяжелые руки дачника-садовода.

И опять — хихиканье, шепоточки:

— Наша-то... ваша-то... Кутя — барыня на вате. Загрантуристка...

Ее недолюбливали, считая злючкой, гримзой.

И началась новая жизнь, ничем не напоминающая ее обыденное существование, такое скудное и медлительное. Упоительные три недели, полные пестрых картин, новых лиц и приключений, пусть маленьких, но всегда неожиданных и впечатляющих.

Вот город — столица яркой, улыбающейся, умиротворенной страны. Здесь тоже много строят, ремонтируют. Огромные здания, целые кварталы стоят в лесах. Но этажи завешаны соломенными циновками — для того, наверно, чтобы сор не сыпался на прохожих. Как это предусмотрительно, заботливо, чисто!

Вот театр, опера (Анна Дмитриевна настояла, чтоб их сводили непременно в оперу). Сколько лет она не была в театре, чудно даже... Театр громоздкий, пожалуй, мрачноватый, как бы закопченный. Но он прекрасен, и мостовая перед ним — не просто хорошо обтесанные булыжники, а священные камни Европы (она где-то вычитала это выражение, оно чрезвычайно нравилось ей). Узкие извилистые лестницы; помпезно разрисованный и вылепленный плафон, роскошные настенные росписи... Партер полого спускается вниз. В зале пусто, немного зябко. Но звонят — и он сразу наполняется обильно хлынувшей с двух сторон публикой. Люди пробираются по рядам не лицом к сидящим, как ее учили когда-то, а спиной: видимо, так теперь принято в Европе... Слушают внимательно, не кашляя, не скрипя стульями. В антракте все курят прямо в фойе и коридорах, непринужденно слоняются, бредут в буфет, где продаются любые напитки — от пива до коньяка и виски. Словно домашняя вечеринка... Анна Дмитриевна тоже пристроилась к очереди — и, воровато оглянувшись, купила на свою валюту рюмку страшно дорогого и крепкого коньяку. Она любила выпить — под настроение.

Вот она обедает, как и там, дома, в час дня. Но обедает не в диетстоловой, ютящейся в полуподвале, окрашенной краской «цвета морской волны», с натюрмортом, изображающим вовсе не диетические продукты, а дьявольски красные стручки перца, бокал с пенистым вином и свиной окорок. Нет, она ест в баре старинного ресторана «Эржебет». Стены здесь деревянные, темно-коричневые, тонные. Они украшены мозаикой: похождения гусара в голубом ментике, кудрявые чащи, где отважного всадника подстерегают огненноглазые звери и русокобые красавицы.

Все восседают за продолговатым столом, увенчанным красным клинышком флажка. Она горделиво прямит свои костлявые сутулые плечи и чувствует себя самой главной, самой достойной представительницей своей земли. И чинно безмолвствует, не участвуя в застольных шуточках и переговорах о

дальнейшей программе. Что обсуждать? Все будет в высшей степени интересно и ново.

А вечером прогулка по ближайшим окрестностям их отеля, по прямым улицам, полным празднично (даже в будень!) одетого народа.

— Анна Дмитриевна! — окликают ее соотечественницы. — Не отставайте от масс! Потеряетесь!

Но она норовит хоть чуточку задержаться, хоть на мгновение ощутить себя клочком инородной, иноязычной толпы. Витрины властвуют улицей, они ослепляют, примагничивают; они должны повергать в изумление, порождать зависть, тщеславие, даже героизм... Но люди спокойны, не суетливы. Кажется, всем хватает места и никто никуда не опаздывает. Старики крепкие, коренастые, со здоровым загаром молодежь лиц. И молодежь какая-то скромная, ничем не отделяющаяся.

Возвратившись в отель, она с наслаждением умывается тут же в номере и укладывается в прохладную, пахнущую снегом и травой постель. И сразу засыпает — без всяких лекарств. И не видит никаких снов.

А потом, через несколько дней странствий по очаровательным зеленым городкам и образцово поставленным сельским хозяйствам, их везут в курортный город на берегу грандиозного озера. Тут они будут отдыхать целых двенадцать дней. Это так много — и так мало, так мало...

Автобус бежит среди благоухающих лугов и полей, на которых неспешно, с очевидным удовольствием работают крестьяне в аккуратно заправленных рубашках и жилетках, в коричневых шляпах, низко надвинутых на лоб, и крестьянки, все румяные, в светлых и цветастых платках. В раскрытые оконца нежно веет розами, лавандой. Гид сидит рядом с шофером и то поет, то артистично высвистывает арии и дуэты из «Сильвы». Это деловито-жизнерадостный, смуглый крепыш, знающий на память всего Оффенбаха.

— «Э-тот маленький роман...» — выводит он. Поворачивает зубастое, в меру широкое лицо и предлагает: — Теперь, друзья, мы будем исполнять одну популярную народную песенку... — И напевает куплет милой незатейливой песни; рассказывает ее содержание, диктует непонятные слова. И командует: — Теперь все совместно.

Автобус дружно повторяет куплет, и Анна Дмитриевна мимовольно подхватывает вместе со всеми...

Они высаживаются немного размяться в придорожном леске. Сегодня воскресенье, вчера была суббота, уйма народу перегуляло в этой рощице. Но как чисто! Не то что у нас, где-нибудь в Кунцеве, даже в Архангельском: там каждый метр зелени запакошен бумажками, консервными банками, битым стеклом... Высоченные липы; прямые гладкие дубы; даже осины привлекают взгляд — стройные, рослые, развесистые... Вечереет, но кругом сухо, совсем нет росы. Пахнет изумительно — прямо парфюмерный магазин. Это акация — ее белейшие лепестки осыпают жирную, цвета густого какао, почву.

В городке, куда они приехали, тоже целое воинство цветов. Перед каждым домом, каждым сараем штамбовые розы, рослые, как яблони-пятилетки. По обочинам — маки, клены и огромные рябины с майонезно-желтоватыми нашлапками соцветий. Даже бузиновые кусты глядят важно, чуть чванливо, словно подражая пальмам. И опять — белая акация, коротко подстриженная, пышноющая тугими округлыми купами.

Анна Дмитриевна добрела до переезда с пыльным, облупленным шлагбаумом, свернула в узкий проулок. Было малоллюдно. Она остановилась, вынула из модной сумочки (здесь, впрочем, она казалась довольно допотопной) зеркальце, сунулась к нему лицом. Ничего, даже поправиться успела, освежела... Начался дождик. Она стала к стене, под широкий карниз крытого черепицей дома. Маленькие окна, забранные ребристыми жалюзи, темнели таинственно и глубоко. У зарешеченных ворот запряженная лошадь шеголевато перебирала тонкими ногами, словно пианистка виртуозными пальцами. Вымокший до ниточки пожилой красно-смуглый мужчина смеясь подбежал к витрине ателье и, нисколько не стесняясь стоящих рядом женщин, снял тенниску и зябко пошлепал себя по гладким, как дыни, плечам.

«Где же группа?» — спохватилась она, и сердце кольнуло московской тревогой, спешкою. Пожилой мужчина улыбнулся ей. Анна Дмитриевна ответила смущенной, торопливой улыбкой. Ей понравились его глаза: темно-карие, с четкими обводинами черных ресниц — как у артиста или шахтера. «Может, он и есть шахтер», — подумала она.

Старик цокнул языком и показал ей на что-то, находящееся наверху, за ее спиной. Анна Дмитриевна настороженно обернулась, не сразу поняв, что ее приглашают полюбоваться домом.

Дом был действительно незаурядный: кажущийся детски миниатюрным, хоть и в четыре этажа, легкий, изящный, весь в прядках и накрапах гераней и глициний в ярких глиняных горшочках, теснящихся на всех подоконниках.

И крыша чудно-изысканная, какая-то округло-треугольная, высокой оборчатой шапочкой.

— Ренессанс. — крикнул старик, недоверчиво и в то же время утвердительно покачав белой головой. Мол, сам не верю своим глазам, однако так — Ренессанс...

Анна Дмитриевна, как на грех, забыла значение этого изящного слова. Жгуче покраснев, пыталась вспомнить... Что-то из области искусства, литературы?.. Тут она рассмотрела наконец самое главное: каменный амур — запыленный улыбающийся мальчишка — прилепился к фасаду, как раз над блестящей витриной ателье. Очень хорошо сделанная фигурка. Но с дефектом, с браком: правая младенчески пухлая ручка отбита и локон над выпуклым лобиком тоже. И крыло растреснулось. Нет — оно пробито чем-то острым, злым...

— Вой... война, — улыбнулся старик и с горестным недоумением покачал головой. Она поняла и нахмурилась.

Дождь кончился, и сразу заметно повечерело. Кровли отчаянно сверкали морковной черепицей, верхушка разнеженной липы густо облипла оранжевым блеском. Прохожие побежали, заторопились все в одну сторону. Казалось, и деревья потянулись туда же, тормозимые теплым ветерком. Раненый амур укоризненно глядел вниз, поникнув давно не мытой головой уличного мальчишки.

Она решила идти в ту сторону, куда спешило большинство горожан, — и вскоре очутилась перед коренастой церквушкой о двух стрельчатых куполах. Люди по одному, и семьями, и целыми компаниями врывались в высокие каменные врата; тесно сплоченные плечи и обнаженные головы сверху, с пригорка, на котором остановилась Анна Дмитриевна, казались ее близоруким глазам похожими на мощенную светлым булыжником вдруг тронувшуюся улицу.

«Зайти, — подумала она. — Сколько лет в церкви-то не была...»

Осторожно оглянулась — и переступила порог прохладного притвора. У дверей стоял металлический чан, вошедший обмакивал в нем кончики пальцев и, словно в танце каком, плавно опускался на левое колено. Появился священник в ярком, с красным, одеянии. И вдруг грянул орган. Упругие звуки восходили ввысь, ширились, как лучи солнца, бьющие сквозь облако; ломаясь, сливались в ровный гул многих колоколов и, отпрянув от пола и стен, вытягивались наподобие колоссального светового столба. Тяжелая и крылатая машина звуков подавляла — и поднимала. Лица молящихся стихали, обволакиваемые прозрачностью, словно смотрели сквозь ясную воду... Раздалось негромкое, постепенно усиливающееся пение; ее как дернуло чем-то. И, не давая себе отчета, Анна Дмитриевна поклонилась, истово выпрямилась — и обмахнулась широким православным крестом. Тотчас спохватившись, зябко и сердито вскинула высокие сутулые плечи. «Хорошо, наших нет...»

Но присмотревшись, она заметила вблизи левого клироса и старосту группы, чинного, еще молодого толстяка в темных очках, прячущих мелкие глазки непонятого цвета, и двух девушек-хохотушек, которые всегда подсмеивались над ней. Теперь они, взявшись за руки, напряженно, словно в экран телевизора, вглядывались в блестящий кусок органа, видимый в проходе между скамьями. И еще находилась здесь нездорово розовая дама с редкими седыми кудерьками на круглой головке. Чем-то эта дама была знакома Анне Дмитриевне, но чем — убей Бог, не вспомнить... Да и стояло ли вспоминать? И Анна Дмитриевна снова погрузилась в сверкающее рокотание органа.

После службы она, как всегда, приотстала, чтоб идти одной. Но пожилая дама с кудерьками доверчиво дотронулась до ее жилистого локтя. Анна Дмитриевна вздрогнула и обратила к ней резкие сухие глаза.

— Извините, пожалуйста. — Дама улыбнулась с приятной откровенностью. — Они молодые, — она кивнула вслед оживленно жестикулирующему старосте и девушкам, цокающим по мостовой. — А мы с вами... Но какая месса, какая месса, не правда ли?

Анна Дмитриевна было нахмурилась, но напросившаяся спутница уже рассказывала что-то простое и легкое... И вдруг вспомнилось само собой, что давным-давно они служили по соседству и иногда даже здоровались, встречаясь на трамвайной остановке у Солянки.

Ольга Ивановна оказалась симпатичной и ненавязчивой, и, когда сама предложила поселиться в одном номере мотеля, Анна Дмитриевна согласилась почти с охотой. В тот же вечер они разменялись со своими временными сожительницами и соединились в чудном номере Ольги Ивановны — с окном, распахнутым прямо в куст штамбовых роз.

Все шло вроде бы превосходно: кормили великолепно, погода стояла отличная — Анна Дмитриевна даже рискнула искупаться, и радикулит ни-ни — даже не шевельнулся. И живет она теперь не с шумными этими и колючими пересмешницами, а с мягкой и покладистой Ольгой Ивановной. Но как ни странно, именно в Ольге Ивановне и таилась какая-то непостижимая загвоздка, мешающая Анне Дмитриевне существовать, как она существовала предыдущие дни своей новой, заграничной жизни.

Ложась в постель, она прикрывала глаза и наблюдала в светлых сумерках за соседкой. Ольга Ивановна торопливо — чтоб не перебить сон новой приятельницы — расчесывала седые кудерьки перед овальным зеркалом, врезанным в голубую линкрустовую стену.

«...Господи, почему она не покрасится? С ее свежим, почти без морщин лицом — и эта отвратительная седина...»

Ольга Ивановна снимала чулки и, бесшумно подбежав к стулу, аккуратно развешивала свое платье.

«...И ноги у нее гладкие, как у молоденькой, с округлыми крепкими коленками — вен и незаметно».

Анна Дмитриевна проводила ладонью по рыхлым вздутиям на своих икрах.

«...И это умение подойти к любому человеку, затеять непринужденную беседу... А если не захочет с тобой разговаривать? Что лезть-то в чужую душу с байками да улыбочками? Пережила бы, что я пережила. Побывала бы там, где я мыкалась», — хмуро думала она, слушая легкое, детское посапывание навязавшейся товарки.

Вскоре Анна Дмитриевна узнала, что судьба Ольги Ивановны сложилась не так уж завидно: неудачное замужество, непутевый сын, мотающийся по градам и весям огромной страны, застарелая болезнь — все успела поведать Ольга Ивановна поздними курортными вечерами, лежа в мягкой постели с пышной податливой подушкой.

Анна Дмитриевна по обыкновению помалкивала, слушая, впрочем, с полнейшим сочувствием. Дни прелестной жизни торопились, и мечталось, чтобы они не смешивались с давними, протекая как бы отдельно от всего прежнего, старательно забываемого.

Но непонятная тревога копилась в ее душе, и что-то мешало ей в Ольге Ивановне.

День выдался бледный, слабый, с неуверенным редким дождиком. Но после обеда разгулялось, и гид предложил экскурсию в настоящий рыбацкий кабачок. Все радостно согласились.

Шли ровной, постепенно повышающейся улочкой. По обеим сторонам дыбились толстые деревья, запорошенные желтоватым цветом, и от них пряно тянуло копченой колбасой салами.

На перекрестке остановились полюбоваться лежащим внизу озером. Оно напоминало правильно удлиненное блюдо, налитое зеленоватым студнем.

Свернули на главную улицу. Почти в каждом доме сверкали витрины магазинов и мастерских, нарядные, чистенькие, завлекающие.

— И ни бумажки, ни окурка! — восхищалась Ольга Ивановна.

— Да уж, — неопределенно буркнула Анна Дмитриевна.

Кабачок оказался глубоким подвалом, отгороженным от мира тяжелой, обитой железом дверью. Анна Дмитриевна, стараясь быстрее привыкнуть к сумеркам, опасливо ступала по скользковатым плитам.

«На что это похоже?» — размышляла Анна Дмитриевна, напряженно щуригла.

— Как бомбоубежище, да? — шепнула Ольга Ивановна.

И опять стало неприятно, и Анна Дмитриевна нервно дернула щекой, обращенной к спутнице.

В кабачке было почти пусто. В бронзовых шандалах, укрепленных по углам, под покатым потолком, колыхались желтые стебли свечного пламени, бледным сиреневым дрожанием озаряя стены и своды. Пахло набухшей бочкой и волглым табачным перегаром. Редкие гости сидели за грубо тесанными столами, наливали вино из больших свинцово поблескивающих сосудов затейливой формы.

— Сейчас настанет интересно, — пообещал гид. — Приходят цыгане.

И правда — из боковой коморы бесшумно и вроде бы робко один за другим возникли трое в снежно мерцающих рубахах.

Первым шел приземистый скрипач, курчавый и черный, как негр. Шрапнельный шрам разбрызгался по его лицу, образовав на месте правого глаза темную воронку. Но здоровое око играло весело, даже плутовато, а блестящие и тупые, как детские галоши, губы улыбались дерзко и добро. Высокий сутулый человек с беглым настороженным взглядом нес бережно, как большую бутылку, бокастую виолончель. Анна Дмитриевна внезапно подумала, что, доживи ее брат до этого возраста, он был бы вылитая копия виолончелиста... Гитарист, кривоногий парнишка с мощно выпуклой грудью, замыкал шествие. Он все искал кого-то, беспокойно ворочая круглой стриженной головой.

И сразу подвал наполнился людьми; гулко хлопала массивная дверь, хватая неестественно яркие клоки неба и уличного шума; тревожно мигнули свечи; сломанным тюльпаном качнулась красная юбка официантки, несущей три бокала бушующего пива. Гитарист широко ухмыльнулся девушке, взял у нее бокал и выпил залпом. Официантка села рядом и, пригорюнясь, оперла загоревшуюся щеку на кулачок. Она была уже не очень молодая, но ее наивно раздавленные губы ждали музыки по-детски нетерпеливо.

Плеснулся бахромчатый рукав скрипача — как скатерть, задетая ветром, — смычок слетел к струнам, они визгнули и, пронзив тишину, задрожали на высокой сияющей ноте... Но сразу вступила виолончель, и мелодия тоскливо пошла на снижение, заныв сокрушенно и угрожающе. И зазвенела частая, рвущаяся гитарная пересыпь...

Анна Дмитриевна крепко сжала губы. Гид улыбнулся ей и пододвинул полный бокал:

— Это вино имеет имя «Серый монах».

— Серый так серый... Спасибо, — тихо проворчала она и выпила до дна. И резко обернулась, почувствовав на себе чьи-то пристальные глаза.

В стороне, рядом с раскрасневшимся стариком в шортах защитного цвета, сидела седая, чопорно прямая женщина. Она строго и печально глядела на Анну Дмитриевну, дергая длинными пальцами старомодную митенку, зажатую в другой руке.

«Что смотрит-то? — сердито нахмурилась Анна Дмитриевна. — Улыбается. Ласковые, хоть до раны приложи...»

Одноглазый опустил скрипку, подмигнул ослабившемуся гиду (шрапнельный шрам лягушкой скакнул по шее) — и вдруг рванул смычком что-то отчаянно знакомое легкостью и охмеленностью. Анна Дмитриевна встала, выхватила из рукава платочек — и пошла в разудалой «барыне».

За столами хлопали, смеялись, выкрикивали какие-то слова. Она отвечала испуганной и строгой улыбкой, старательно и ловко выделявая выходы старого танца. Последний раз она плясала его в родном селе давным-давно, в канун великого поволжского голода.

Музыканты играли все лише, ярее — ни дать ни взять деревенская свадьба. К Анне Дмитриевне подскочил молодой русоголовый чех, выкручивающий ногами невообразимые штуки; раскрасневшийся немец в шортах встал и четко, весело застучал в потные ладони...

Она пошатнулась и, переводя дыханье, шагнула к своим. Навстречу поднялась обеспокоенная Ольга Ивановна:

— Душечка, что? Сердце, да?

— Пус...тяки, — выдавила Анна Дмитриевна, опускаясь на скамью.

Прямая старая немка приблизилась и положила на стол букет розовых тюльпанов. Анна Дмитриевна попыталась встать, поблагодарить. Но немка, грустно улыбнувшись и приложив длинные пальцы к накрашенным губам, сказала:

— Спасибо. На здо-ровье.

И ушла.

— Откуда она... по-нашему знает? — спросила Анна Дмитриевна.

— Ее муж был в плену у вас. В вашей стране, — объяснил гид. И любезно добавил: — А сейчас она пленная у вас.

Тяжелеющее небо нехотя переливалось в озеро. На далеком молу вспыхивал и гас маяк, словно зажигалка, — чудилось даже сухое щелканье кремня.

— А вы сувениры купили? — спросила Ольга Ивановна.

— Нет, — ответила Анна Дмитриевна. И вспомнила: надо привезти что-нибудь племяннику. Хоть и далеко, в Ленинграде, но авось приедет с матерью на каникулы. Первоклашка Николашка...

Она вошла в опрятный магазинчик, сверкающий от круглых улыбок и блеска бесчисленных кукол, зверей, ванночек и корабликов. Выбрала едва ли не самую дорогую игрушку: заводного поросенка в цилиндре и фраке, танцующего, кланяющегося, даже зажигающего сигару и пускающего дым. Молоденькая продавщица с уважением посмотрела на суровую покупательницу и вручила поросенка, уложенного вместе с ключиком и батареей в красивую разрисованную коробку.

Обеим не спалось.

— Совершенно не переносу алкоголя, — жаловалась Ольга Ивановна. — Ни капельки. А сегодня сколько пришлось попробовать! Но какие чудные у них вина! Особенно это... с таким забавным именем.

— «Под косички», — напомнила Анна Дмитриевна. И, коротко охнув, привстала на кровати.

— Сердце? Опять? — всполошилась Ольга Ивановна.

— Опять.

— У вас, по-видимому, порок?

— Декомпенсированный.

— Это очень каверзная штука! Как же вас отпустили?

— Так. Обманула. Попросила... — Анна Дмитриевна сильно побледнела, и еще резче, сердитей стемнели ее глаза.

— Вот горе какое.. Я позову...

Ольга Ивановна всхлипнула и выскочила в коридор.

Явилась целая делегация: гид, староста группы и хромоногий человек с продолговатой и смуглой, как желудь, головой. В дверях испуганно жались девушки-хохотушки.

— Ну вот. Я так и предполагал, — бормотал староста, бегая по комнате мелкими глазками. — Здесь, вдалеке от родины... Так опасно. И эта, извините, неуместная клоунада в кабачке... — Он наклонился к ее уху и зашептал, щекая горячим дыханием: — Зря вы там выпили. И вообще. Я еще в театре, в буфете заметил, что вы любите... Столько хлопот...

— Ничего, ничего, — приговаривал смуглый врач, суя какие-то таблетки и щупая пульс. — Все очэнь, очэнь... Но был один случай. В тот месяц. Один турист...

— Что? Тоже заболел? — почти обрадовался староста.

— Да, да, — энергично закивал доктор. — Совсэм, совсэм заболел. Умер. Очэнь, очэнь...

— Декомпенсированный порок, ох, это так скверно, — причитала Ольга Ивановна, проводив ночных визитеров. — Между прочим, у моего жениха тоже был декомпенсированный порок.

— И у моего, — глухо молвила Анна Дмитриевна.

— Да? — оживилась Ольга Ивановна, с новым интересом вглядываясь в некрасивое, истощенное лицо собеседницы. — У вас тоже... был? То есть у вашего...

— Да-да. Был жених, — сухо подтвердила Анна Дмитриевна. — И тоже этот самый порок. Он и умер от него.

— Представьте, и мой! — воскликнула Ольга Ивановна. — В тридцать четвертом году.

— Мой тоже в тридцать четвертом, — кивнула Анна Дмитриевна. И добавила как бы про себя: — Павлом Алексеевичем звали.

— Ну знаете, — растерялась Ольга Ивановна. — И мой тоже... Павел Алексеевич. Павел Алексеевич Туляков.

— Павел Алексеевич Туляков, — подтвердила Анна Дмитриевна. И, резко поднявшись на локте, посмотрела на соседку. Та глядела ей прямо в рот. — Значит, у нас был один жених, — сказала Анна Дмитриевна.

Обе замолчали.

«Как он мог... Такой умный, такой эстет, — обескураженно соображала Ольга Ивановна. — Но как совпало? Да-да, наверно, после того, как я отказала. После этой истории с машинисткой. И уехала. А он, значит...»

«Польстился, — думала Анна Дмитриевна. — Дурочка кудрявая. То-то он смеючись рассказывал о какой-то любви. Мне-то оглодки достались... А помер — ничего не осталось. И ей тоже ничего...» И сказала, отвернувшись к стенке:

— Я спать буду.

Но спать она не смогла. Дождавшись детского недоуменного посапывания соседки, встала с кровати и села у открытого окна. Растушеванная волокнистой мглой луна покачивалась в просвете шелестящих рябин. Стайкой влетели комары — особенные, совсем не жадные до людской крови и деликатные, как официанты в здешнем ресторане. Тихонько пожужжав, щекотнули ей лоб — и исчезли, растаяв в теплом влажном воздухе.

Ей стало скучно. Захотелось уйти отсюда, немедленно. Сейчас ночь, а легкой ночью ходится легко, незаметно... Пойти туда, за кабачок, где они давеча гуляли, потом за переезд, за шлагбаум. Там пыльно, доски сломанные валяются, ржавое ведро в канаве. Куры в песке роются. Похоже на полустапок, откуда она ушла по шпалам в тот голодный год. Шла, куда глаза глядели. Брела, покуда голова не загудела от солнца и голода. Упала. Тут, спасибо, подвода с красноармейцами. Подняли, подвезли... Всегда кто-нибудь остановится? Останешься здесь и никогда не вернешься... Потом был город, работа, работа... Потом Москва. Учеба — и снова работа. Молодость незаметно истратилась, совсем мало ее оставалось, когда встретился он. Веселый, шутник. Всегда в военном. Френч, галифе — еще с гражданской войны, а как новенькие. Добрый. Увидел — дохлая, зяблая. Ну, захотел утеплить, согреть. А она вся загорелась, как ждала. Он только жалел — потом-то поняла... В наркомате смеялись: из машинного бюро записочку подбросили: «Поглядитесь в зеркало, вы же сущая обезьяна! Неужели вас может полюбить царь зверей?» Он утешал, гладил по голове: «Не реви, не злись... Ты ведь только снаружи колочками обросла, как ежик. Это от трудной жизни. А нынче все налаживается, и отсохнут твои колочки! Не плачь, а то мое обкусанное сердце тоже ревака даст...»

Сердце и вправду оказалось обкусано. Начались всякие передраги — не выдержало. Декомпенсированный порок. В один месяц скрутило... А потом и с ней началось... Только оправилась — война. Единственный брат — в Ленинграде, в блокаду. Племянник-то — это уж так, не родной, это уж потом жена

брата, во втором браке, нажила... И никого, ничего не осталось. Только огромный город, полный воспоминаний.

Идти, идти — над этим гладким озером, за кабачок, не пропускающий в свое нутро ни луча, ни звука, за пыльный шлагбаум. И очутиться в поле. И — полем, полем... А поля все сообщаются друг с другом, в них растут похожие и родственные травы, одни и те же злаки. А там, далеко, лежит горбатенькое поле с обезрыбевшей речушкой, старое кладбище над ней. Сосны повырублены еще в войну, цел только ивняк да бузинник. Уже за полкилометра серебряно блещет в глаза пропеллер на могиле погибшего летчика. А рядом — его холмик, с крашеной лавочкой у загородки. И совсем поблизости рычит и ворочается большой аэродром, непрестанно выметывающий со своей великанской ладони нетерпеливо вздрагивающие аэропланы.

Пока помнит, пока, не ровен час, не остановилось сердце — туда. Идти, просить, торопиться.

Она оделась, взяла свою квадратную неуклюжую сумку. Ольга Ивановна спала, виновато улыбаясь, и коротенькие бровки пугливо вздергивались на ее розовом дряблом лице.

«Увидит, нет меня, перепугается. Трусиха. Подумает, случилось что», — усмехнулась Анна Дмитриевна. Согнала с распаренного лба спящей комара и, не раздеваясь легла дожидаться света.

Пообедали раньше обычного — и сразу, мягко ворча, в аллею вполз автобус, раскрашенный, как детская игрушка.

«Теперь скоро, скоро. Скорей бы...» — бубнило в виске Анны Дмитриевны.

Автобус пошел, все быстрее замелькали в оконце цветущие садики и палисады. Нежными волнами вкатывались, чередуясь и смешиваясь, запахи вянувшей липы, роз и лаванды, лаванды... И гид, развалился на кожаной табуреточке возле шофера, выводил хриловатым баритоном:

— «Э-тот маленький роман — продолженье...»

Она машинально подпевала притворно грустной опереточной мелодии. Подпершись, глядела в поле, забегая глазами далеко вперед. Жалко было расставаться со всей этой доброй, беспечной красотой — и что-то вроде раскаяния копошилось в нетерпеливо шумящем сердце: как могла оставить, забыть, захотеть забыть.

Автобус остановился у железнодорожного разъезда, делящего большой поселок на две части. Целая банда детворы облепила машину. Пассажиры смеясь совали в окна и дверцы советские сувениры: комплекты открыток с видами Кремля, значки, марки, коробочки конфет. Ребята восторженно лопотали, тут же, на остановке, затевали меню, настоящий базар. Довольны были все. Лишь один мальчуган, совсем маленький, подковылявший в сопровождении старшего братишки на трехколесном велосипеде, не успел получить ничего. Он стоял, сжимая в грязной руке резиновую соску, готовый разреветься.

— Что ему дать, бедненькому? — засуетилась Ольга Ивановна, копаясь в сумочке. — Ну ничего, решительно ничего... Все раздала.

Анна Дмитриевна резко поднялась, достала из багажной кучи свой облупленный саквояж и вытаскала нарядную коробку. Развязала ленточку и, спустясь на подножку, поманила обездоленного:

— Ну-ну, карапуз. Ты, ты.

Мальш замороженно любовался щеголеватым подарком, но не понимал, что с ним делать.

— Он же сломает, он ведь совсем крошечный, — удивленно улыбалась Ольга Ивановна. — Такая дорогая игрушка, он не разберется, не поймет...

— Разберется, — усмехнулась Анна Дмитриевна. — Мальчик! Ты, ты. Большой! На, возьми. Но это — его вещь, это — ему, — строго объяснила она. Худощавый рослый мальчик кивал головой и уже объяснял младшему устройство игрушки.

Они тронулись дальше. Ольга Ивановна дремала, ее розовое отечное лицо хранило выражение легкого недоумения, седые кудерки равномерно вздрагивали. Анна Дмитриевна прильнула к окну. Вот попятнулись назад, в слипающиеся сумерки, стандартные домики поселка. Вот вырос распятый Иисус на перекрестке, рядом с белеными столбиками и дорожными знаками. Руки его тяжело и угловато вскинуты в стороны, словно он силится удержать рушащееся, быстро темнеющее небо. А впереди и с боков — поля, зелено устилающие землю, сливающиеся одно с другим, продолжающие друг друга. И почти невозможно определить, где кончается одно, где начинается другое.

Публикация и подготовка текста М. Голубковой.

СТАТЬ ОСТРОВОМ СРЕДЬ ОКЕАНА

«Но почему, почему? — ищу и не нахожу ответа. Или в этой, такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя? Нет, не это, не это приводит к дулу ружья... Душа моя бродит в потемках...» (Ю. Казаков, «Во сне ты горько плакал»).

Почти четверть века минуло, а казаковское «почему?» не находит ответа, все так же бродит в потемках... Больше того, с годами к нему прицепилось-приклеилось и еще одно почему — помельче, но тоже — из неотвязных: ну почему, почему мы, и беспамятные, и ленивые, и равнодушные, так долго помним тот самострел? Ведь Дмитрий Голубков — не Есенин, не Маяковский; он и ведущим-то не был, и модным не слыл, и гонениям не подвергался. А не потому ли так долго, так крепко помним, что ВЫСТРЕЛ ВДРУГ — в конце, на излете долгой-долгой, золотой-золотой, внезапно срубленной ранней зимой осени семьдесят второго, поразительно точно, мистически, совпал с переломом времени, в том самом — тыняновском — смысле: «Время вдруг переломилось...»? Во всяком случае, абрамцевский «Дневник» Д. Голубкова, опубликованный в пятом за 1993 год номере «Согласия», это предположение не опровергает (в записи от 9 июня 1972-го: «Страшное время. Даже в детях — усталость и цинизм»). Похоже, что и его ДОМ в Абрамцеве, казавшийся вчуже и со стороны чуть ли не помещицкой усадьбой¹, хозяин которой, бонвиванствуя, демонстрировал мимоезжим гостям преимущества приватной жизни, был для него (сужу опять же лишь по проговоркам и легкочасательным намекам «Дневника») не столько обиталищем, сколько родом самообороны от натиска «страшного времени». Вначале — Голубковы поселились в своем «поместье» в 1961-м — загородный ДОМ, наверное, мыслился просто домом — жилищем, купленным по случаю и по дешевке: хрущевский домостроительный бум еще только набирал обороты, и чете Голубковых московское жилье пока не светило.

Время меж тем исподволь — тишком да тайком — портилось, и в один прекрасный летний день, а именно 23 июня 1962 (так!) года, удачливый владелец дачи в Абрамцеве, только что, кстати, принятый в СП СССР, сделал в своем «Дневнике», вообще-то достаточно осторожном, такую запись: «Ложь, словоблудье, выспренность. Все фальшиво, все скомпрометировано, все вынуждены врать. Скорей бы кончилось все это...».

Скорее? Кончилось? Как бы не так! «Все это» едва начиналось. Ведь это для нас, толстокожих, время больших ожиданий переломилось вдруг; Дмитрий же Голубков, не будучи ни мыслителем, ни политиком, ни ясновидцем, просто в силу особой, уникально тонкой и чуткой ко всем переменам душевной организации почувствовал недуг бытия намного раньше, лет за семь до окончательного перелома.

¹ «Чем-то стародавним, забытым дышал этот дом с огромным роялем в гостиной, с граммофоном на веранде, двери которой выходили прямо в лес, с картинами — акварель и масло — на стенах (его, Писателя, картинами, потому что он и это умел), с книгами в кабинете и с тяжелым, тоже старинным, письменным столом. Как будто все здесь было от века, и, может быть, даже не нынешнего, чудом сохранившегося, — не дача, дворянская усадьба» (Евг. Шкловский, «Недуг» — «Согласие», 1993, № 5).

Тогда-то, видимо, и начал тайно перестраивать ДОМ — сначала в обитель, то есть место, где можно было бы жить «чистой жизнью и настоящим трудом», а потом и в крепость — «крепостцу».

Внешне как будто мало что изменилось. Он по-прежнему служил в издательстве «Советский писатель» и, даже уволившись — по собственному желанию, в связи с переходом на творческую работу, — продолжал редакторствовать там же, по договорам; поехал, как и все активно-лояльные члены СП, на халяву, за лиффондовский счет, по ближним и дальним заграницам, переводил «для денег», успешно издавал и свое: в год по книге, а то и по две. И при этом ничуть не халтурил и, конечно же, не лгал, всего лишь никогда не брался за сюжеты, которые могли бы потребовать от него полной — непроходимой — правды. Спасало и то, что он, живописец по первой профессии, слишком уж любил на этом свете именно живописную поверхность — фактуру. Выручал-спасал от выспренности и лжи-фальши и восторг перед природой, не показной, громкий, а тихий или, как он сам его именует, не боясь показаться сентиментальным, — «умиленный». Да, конечно, многое в его якобы рассказах, а на деле в сработанных под рассказы зарисовках и этюдах с натуры скукожилось и померкло, как, впрочем, и вообще вся, за немногими исключениями, бывше-молодая проза шестидесятых годов. Попробуйте перечитать, допустим, «Звездный билет» Аксенова или первую прозаическую вещь Окуджавы «Будь здоров, школяр». Наверняка далее двух-трех страниц не продвинетесь. Но многое, например голубковские портреты в интерьерах, ничуть не потускнело. И даже вроде бы увеличило свою художественно-документальную ценность, ибо то, что в ту общественно озабоченную пору не только казалось недостатком дара, но и впрямь было недостатком, по крайней мере для прозаика, желающего шагать в ногу со своим временем, а именно: неумение идеологически обрабатывать и сюжетно напрягать списанное с натуры, взятое из действительного происшествие, — стало достоинством. Малая проза Дмитрия Голубкова, в том числе и те четыре этюда о любви, несостоявшейся или обманутой, которые мы публикуем в этом номере журнала, возвращают нам наше недавнее прошлое в естестве его лиц и в конкретной точности предметов быта и обихода. Но без идейно-политических и нравственно-идеологических нагрузок и перегрузок. Это-то и делает их живыми! Ведь нет ничего мертвее вчерашних, ныне разлюбленных, идей, тогда как хорошо отпортретированные лица не стареют, точнее, старея, переходят в иное качество — в качество единственно достоверных свидетельств о миновавшей жизни — «тот век прошел, и люди те прошли, сменили их другие»...

Я думаю, я предполагаю, я, кажется, почти уверена, что и те старинные вещи, что собирал в своем абрамцевском доме Голубков, благо тогда на них еще не было моды и посему стоили они сущие гроши («хрущобы» не выдерживали их тяжести и величины, и новоселы весело, спешно, по цене деревянного лома, свозили-сваливали устаревший хлам в соответствующие окраинные комиссионки), так и воспринимал: портретно, как вместо-местоимения, как удостоверения личности давно прошедших людей. А кроме того, они, вероятно, помогли ему пунктуально — ежеутренне и ежевечерне — выподнять упражнения для укрепления духа сопротивления нажиму режима: «как бы ездить в непроницаемом броневику по улицам и базарам большого города, смотреть в окна, открывать люк, слушать, иногда выходить наружу»; вариант: «стать вдруг островом среди океана».

Душеспасительный этот комплекс (род душевной «гантелизации») Голубков избрал лично для себя — едва понял, что атмосфера «странного времени», его грязный циничный воздух — смертельно опасны и что никакой крепостной вал — ни стены старинного дома, ни живая изгородь сросшегося с лесом сада — не помогут выжить, если не научиться, «живя в мире, уходить временами в себя» или и вовсе сбегать — в не-нынешний век.

Тогда и мучительная врожденная ненынешность («Я ощущаю себя совсем чужим, будто бы приезжим из другого столетья или затридевятьземельного государства» — «Дневник», 9 июня 1962 года) из проклятья оборачивалась даром судьбы, превращалась в знак Особого Благоволения, почти избранничества.

Островом среди океана мыслилась и затеянная большая работа — биографический роман о Евгении Баратынском. Обычно поспешающий, с Баратынским Голубков не торопился. Похоже, понимал, что второй такой НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ у него уже не будет и что Баратынский, с которым он так счастливо совпал — не по судьбе и не по музе, но по самоощущению себя в мире, — это его, Голубкова, единственный шанс написать настоящую прозу. Здесь, на Остро-

ве на двоих, он уже мог, умел, смел, даже дерзал не только заглядывать под поверхность, но и прорастать в глубину душой, мыслью, воображением. К тому же, зная себя, наверняка подозревал: как только роман будет окончен (собственно ручно перебелен, отредактирован, вычитан и уложен в издательскую папку с матерчатыми прочными тесемками), он не удержится от соблазна предъявить его миру и граду, не оставит, увы, как мечталось в начале работы, семь с лишним лет назад, в потаенном ящике тяжелого письменного стола — в надежде на «читателя в потомстве».

И вот что любопытно. В абрамцевском своем «Дневнике» Голубков, как правило, дотошно фиксирует мельчайшие подробности прохождения в печать всех своих книг, и прозаических, и стихотворных; придирчиво разбирает критические на них отклики. А вот о том, как движется работа над Баратынским, годами молчит; а ежели не молчит, то не говорит, а как бы проговаривается:

«Баратынский, одиночество».

«Работа. Нужно кончать Баратынского».

«Мелькают стихи в голове, обрывочные мысли — но все отдается роману».

И только раз вырвалось наружу сокровенное, затаенное:

«Как я боюсь за него. Он — одна из главных проб моей жизни, аттестат зрелости» (запись от 29 мая 1972 года; до ВЫСТРЕЛА: 5 месяцев и 5 дней).

10 июля 1972 года Дмитрий Голубков наконец-то окончил свой «труд многолетний» и, будучи отчасти педантом, отметил не только День окончания, но и Час: 15.30.

Погода как никогда соответствовала тайному празднику Большой Жатвы, и Голубков на скорую руку сделал с нее как бы акварельный набросок:

«Прекрасная, мягкая после ночного дождя зелень, первые ягоды радостно краснеют в мокрой траве, пищат и поют птицы, Марина поймала и отпустила красивую сиреневую бабочку».

Лица Марины (Були), дочери Голубкова, на этом пейзаже нет, но мы имеем возможность восполнить зияние детским ее портретом; его много лет спустя по памяти сделал, и, по-моему, удачно, один из приятелей ее брата — Евгений Шкловский:

«Обычно играла, вернее, наигрывала что-то его дочь — тоненькая, застенчивая, с большими темными глазами в пол-лица, заслонясь от зрителей густой копной волос, касавшихся клавиш».

Застенчивая девочка с глазами в пол-лица свою красивую сиреневую бабочку отпустила. А вот отец Були медлил, тянул — не решаясь отдать в люди, передать в чужие руки, выпустить «наружу» свой слишком красивый — не по грязному времени — роман: время множило свои отпечатки в три типографские грубые краски, а тут, в «Недуге бытия», серебро и сирень, сирень и серебро... (Константин Гердов, знакомец абрамцевского островитянина по Гаграм и начинающий литератор, навестив Голубкова (в разгар работы над Баратынским), преподнес ему такой комплимент: «В тебе есть ниточка серебряная. Серебряные колечки в душе».) Настроенный по отношению к себе более чем критически («страшное недовольство делаемым и сделанным», «нет настоящей силы» — вот лейтмотив абрамцевского «Дневника»), эту «похвалу» Голубков хотя и зафиксировал, но — без комментариев, и вряд ли она его всерьез обрадовала: серебряная ниточка, серебряные колечки в душе — это, увы, чересчур тонкая снасть, а где тонко, там и рвется, — океанскую крупную рыбу на нее не поймаешь.

Но с Баратынским он все-таки сладил. И загаданную им загадку похоже что разгадал, единственный из всех его биографов. Ну да, разумеется: никто не знает настоящей правды и на дне рассекреченной загадки непременно обнаружится когда-нибудь другая, еще загадочнее и замысловатей. Но на данный момент та гипотеза жизни и смерти Евгения Баратынского, какую двадцать с лишним лет назад предложил Дмитрий Голубков, представляется мне наиболее правдоподобной: гений, не поверивший в свою гениальность, мятежник, добровольно обудавший мятежную душу «домашним кругом»... «Не обманите свою судьбу», — предупреждает (в романе Голубкова) Мицкевич, с дьявольской пронизательностью ясновидца угадав в Баратынском даже при первом, шапочном, знакомстве возможность такого обмана — обмена судьбы гения на обыкновенное человеческое счастье.

1 августа 1972 года, не решившись предложить рукопись в «Новый мир» — здесь прозу Голубкова сначала решительно отклоняли, а после выхода отвергнутых книг в другом месте печатали на них положительные и даже порой восторженные рецен-

зии, — он отнес ее в «Дружбу народов». Не исключено, что по совету Ю. Казакова. Во всяком случае, к 1 августа Казаков роман как бы прочел и, по устному уговору, согласился написать на «Недуг бытия» положительную внутреннюю рецензию.

Зная тогдашние правила и обстоятельства, а главное, особое положение Ю. Казакова в «Дружбе народов» (Казаков переводил — художественно обрабатывал — подстрочник большого романа Абдижамила Нурпеисова, в котором журнал был крайне заинтересован), можно предположить, что именно его, казаковская, настойчивая рекомендация помогла бы «Недугу бытия» обойти внутрижурнальные рифы. Однако, когда дошло до официального предложения, Казаков «увильнул»; Голубков, соответственно, расценил сие как предательство. Мелкое, но предательство:

«Вчера был Казаков — виноватый, смущенный. Все, что думаю о нем, сказал ему — что душа скупая и пустая, полная лишь себялюбием и тщеславием, что настоящее его скверно, а будущее прямо зловеще, если не соберет опрятно, венчиком, уцелевшие в душе крохи, что не добр, а благодушен, а пора бы порадеть о душе. Слушал задумчиво и растерянно. Извинялся тем, что Тамара (жена Ю. Казакова. — А. М.) отговорила писать рецензию обо мне: мол, протянешь с полгода, измучишь Митю и т. д.» (11 сентября, понедельник, Абрамцево).

Голубкова можно понять. Но надо понять и Казакова. Не мог же он признаться, что дело не в лени, не в обломовщине, а в том, что мир — чувств, идей, настроений, — в котором живут герои «Недуга...», ему чужд и уже поэтому непереносимо скучен. Да, он был из тех, кто умел как никто писать с куку (скуку как климат российского бытия), но никогда не мог ни думать, ни писать о скучном его душе. А кроме того, на дух не выносил «островитян». Да, всегда, начиная с «Арктира» и случая «На полустанке», писал «тени, осколки, отпадающие элементы» — «стариков, оттиснутых на край жизни, старух, переживших свой век», «отшельников, бирюков, шатунов, странников» (Л. Аннинский, «Казаковский зов» — «Согласие», 1993, № 5). Но это был край оконечности материковой, а не островной жизни, а «выбирал» Казаков людей края потому, что тут, на краю русской жизни, он, Казаков, еще мог чувствовать, «как мучится и куражится чутунная русская сила»... (Л. Аннинский, там же).

Чутунная сила — и серебряные ниточки, серебряные колечки в душе?..

А кроме того, несмотря на всю свою отдельность, Юрий Казаков весь — «до печенок» — принадлежал своему времени. Безразличный к тому, что носилось в воздухе, глухой к поверхностному шуму, он обожал его, времени, сего времени, подземный гул и не понимал, а следовательно, и не одобрял Митиной влюбленности в нынешний век.

Ну а кто бы в 1972-м это предпочтение прошлого настоящему мог разделить вполне и не лукавя? Массовая эмиграция в XIX век начнется только лет этак через семь, но и она обойдет стороной опыт Голубкова, и так будет до тех пор, пока аппетит к классике не подавится сырофактоедением — и читающая, а вслед за ней и пишущая публика не затоскует по настоящему историческому роману, начинающемуся, как известно, там, где кончается документ, — роману, где важен не факт или аргумент, а мысль, которая делает его, этот факт, тем и другим, роман, где слово не носитель информации, а художественное, даже музыкальное произведение и, следовательно, предполагает и выделку, и отделку (отделка в данном случае — по словарю Пастернака: «Кто погружен в отделку кленового листа»).

Короче, следуя за Баратынским, Дмитрий Голубков шел хотя и в одиночку, но в правильном направлении; умом он этого, наверно, не понимал, иначе не среагировал бы столь бурно на «предательство» Казакова. Но по инстинкту наверняка чувствовал: проба удалась и он мог быть вполне «доволен собой». Похоже, что это внутреннее собой довольство (впервые за много лет отчаянного недовольства) помогло ему относительно спокойно выдержать и «предательство» Казакова, и затянувшееся на месяц с гаком ожидание (после отказа Казакова рукопись была отослана Г. Шторму как специалисту по русской истории).

Заказанную рецензию Г. Шторм принес только 16 сентября. Как и следовало ожидать, она была убийственной, после нее о публикации не могло быть и речи. Текст этот, к сожалению, не сохранился, но, вернувшись из редакции, Голубков оставил такую запись все в том же абрамцевском «Дневнике»:

«16 сент<ября>. «Дружба народов». Г. Шторм принес рецензию на «Недуг бытия». Пишет о «редкой талантливости» романа и указывает на множество идеологических просчетов, ставящих книгу под удар».

Но дело было, конечно, не в отдельных нарушениях идеологического ритуала, а в самом духе книги, в способе соображения фактов и понятий, слишком свободном для того узкого и фальшивого времени.

Может быть, это почувствовал и Казаков; наверняка понимал это и Штурм; думаю, что и сам автор «идеологически неправильной» книги отдавал себе отчет в том, что решительно не соответствует требованиям времени.

Знал — и все-таки надеялся на чудо. Но чуда при жизни Дмитрия Голубкова не произошло.

Я, разумеется, не только не утверждаю, я даже и не предполагаю, что именно эта последняя неудача и вызванное ею тайное страдание подвели автора «Недуга бытия» «к дулу ружья». Тут, видимо, сошлось слишком многое, многое из того, чего никто и никогда никому не открывает. И все же я почти уверена: если бы случилось чудо, то есть в случае чудесного успеха пусть даже не напечатанного текста, а хотя бы рукописи «Недуга...», Голубков пережил бы, перетерпел приступ смертельного отвращения к этой грязной жизни. Скажете — невозможно? Но ведь издал же «идеологически вредный» роман журнал «Север», и всего через год после гибели автора? А еще через год он вышел уже и в «Советском писателе»...

Да, но чтобы такое произошло, надо было случиться тому, что случилось в дачном Абрамцеве 4 ноября 1972 года: «Ружье висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевье послушно легло в левую ладонь. Туго подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружье переломилось в замке, открыв широкий, как два тоннеля, затыльный срез двух стволов. И в один из стволов легко, гладко вошел патрон...

Нет, не слабость — великая жизненная сила и твердость нужны для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал» (Ю. Казаков, «Во сне ты горько плакал»).

Ни читательского, ни критического ажиотажа ни при первом, ни при втором издании «Недуга бытия» не было. Олег Проскурин, автор предисловия к книге Алексея Пескова о Баратынском (А. М. Песков. Баратынский. Истинная повесть. М. «Книга». 1990. Серия «Писатели о писателях»), среди его предшественников Дмитрия Голубкова даже не упоминает. И думаю, что не по злопыхательству — по элементарной неосведомленности, незнанию истории вопроса. «Недуг бытия», однако, с тихим успехом выдержал и еще одно издание («Советский писатель», 1987; тираж — 100 тысяч).

И наверняка будет время от времени, причем самоходно, стараниями отдельных энтузиастов, а не усилиями лоббирующей тусовки, переиздаваться. Не часто, но иногда. Пока наконец не займет подобающее ему место, пусть не в золотом, но уж в серебряном ряду позднесоветской классики наверняка.

Алла МАРЧЕНКО.



Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

ГОРНТОН УАЙЛДЕР



КАББАЛА

Роман

«Каббала» — книга совсем молодого прозаика: Уайлдер написал ее, когда ему не исполнилось и тридцати лет. Роман стал его литературным дебютом. Год спустя, в 1927-м, появился «Мост короля Людовика Святого» и сделал автора знаменитым, причем не только на родине. Но пока Уайлдер лишь пытается найти свою тему и круг героев.

Внешние обстоятельства этому не помогают, ведь жизненный опыт Уайлдера очень небогат. Подростком он провел несколько лет в Гонконге, где отец занимал должность американского консула. Потом был элитарный колледж, усиленные занятия философией и историей, несмелые мечты о писательстве и о театре, которым Уайлдер увлекался с юности.

Случилось так, что с археологической экспедицией он оказался в Италии. Раскапывали город, построенный этрусками. Из-под спрессованной пыли выступали полуобвалившиеся стены, остатки акведуков и колонн. Европа тоже лежала в руинах, оставленных неслыханной по масштабам войной. Уайлдер осознал, что на поверку нет никаких перегородок между сегодняшним и далеким во времени. Прошлое длится или повторяется снова и снова. Незримые нити соединяют цивилизации и культуры, по первому впечатлению ничего общего не имеющие одна с другой.

Это открытие было для него необыкновенно важным. С тех пор история всегда оставалась для Уайлдера живой реальностью, и об этом он писал, касаясь самого разного материала, хронологически крайне отдаленного от наших дней, а если актуального, то все равно осмысляемого под знаком непрерывающейся многовековой истории. Эффект ее присутствия на страницах Уайлдера составляет, быть может, самую яркую отличительную черту этого писателя.

Экспедиция закончилась осенью 1920 года. К этому времени отнесено действие «Каббалы». И происходит оно в Италии — конечно, не в силу случайного совпадения.

Мы читаем «Каббалу» после книг, которые обеспечили Уайлдеру репутацию эрудита, интеллектуала и живого классика. Рядом с ними скромный первый роман может показаться всего лишь пробой сил, этюдом. Никто, впрочем, не откажет этому этюду в изяществе и оригинальности. А главное, коллизии, затронутые в «Каббале», выглядят узнаваемыми для давних читателей Уайлдера. Они с ними встречались, и не раз: в «Нашем городке», «Дне восьмом», «Геофиле Норте».

Незачем пояснять, что это узнавание иллюзорно, ведь «Каббала» написана намного раньше. Но были мотивы, к которым Уайлдер возвращался, чувствуя, что он их не исчерпал. А если проследживать их генеалогию, читателю Уайлдера надо обратиться к «Каббале».

Итальянский фон необходим здесь уже по той причине, что в Америке вовсе не так отчетливо чувствовались опустошения, произведенные войной, и перелом, ею ознаменованный, а Уайлдер писал как раз об этом. Его персонажи словно выпали из времени, но в действительности они только стараются — наивно, беспомощно — остановить его разрушительное движение, законсервировав обреченные на гибель формы жизни или реставрировав другие, безнадежно устаревшие. Эта борьба с современностью, воспринимаемой героями Уайлдера только как непрерывная деградация, как угроза всему, чем они дорожат, составляет истинное побуждение, сплотив-

шее людей, порою кажущихся восковыми фигурами или манекенами из музейной витрины. Не каббала святош, как у Булгакова в пьесе о Мольере, а каббала обреченных, чей орден будет разрушен временем, разрушающим все на земле.

Этот сюжет окажется из самых важных для Уайлдера, воплощаясь у него то в формах, близких к гротеску, то в лирическом контексте, то с явственным оттенком трагедийности. И по своей главной коллизии, и по сложной, изменчивой тональности «Каббала» как бы открывает цикл, увенчанный несколькими шедеврами. Достаточно вспомнить знаменитую пьесу «Наш городок»: несколько десятилетий, отрывочно намеченная хроника жизни двух семей и пронзительно звучащая нота неостановимого времени — оно беспощадно в самом прямом значении слова.

Недоброжелатели Уайлдера часто сравнивали его произведения с музейной экспозицией, утверждая, что он равнодушен к тревогам и болям своего времени. Это крайне несправедливый упрек. Просто по характеру дарования Уайлдер не относился к тем, кто черпает вдохновение, обращаясь к злобе дня. Он предпочитает нескрываемую условность событий, смешение достоверности с фантастикой, и Вергилий, с которым накоротке беседует повествователь, покидая Италию, — ход, очень типичный для зрелого Уайлдера, а не просчет неопытного прозаика, как показалось первым рецензентам «Каббалы». В произведениях Уайлдера действие, если под ним понимать стройность фабулы, никогда не главенствует, а композиция почти всегда отрывочна, эпизодична, — «Каббала» характерна и в этом отношении. Тут иные художественные законы, иной тип писательского мышления. Кстати, в Европе это всегда понимали лучше, чем в Америке, и ценили созданное Уайлдером выше, чем его соотечественники.

Сила Уайлдера — в умении с покоряющей убедительностью реконструировать давно ушедшие эпохи, приблизив их к читателю настолько, что перестает ощущаться их экзотичность, и все происходит словно у нас на глазах, идет ли речь о Риме, ожидающем убийства Цезаря, или о Перу начала XVIII столетия. Обвинения в том, что это не литература, а муляж, тенденциозны и оттого, что эта реконструкция никогда не бывает в произведениях Уайлдера самоценной. Она нужна для того, чтобы появилась дистанция, с которой яснее виден настоящий смысл происходящего сегодня. Уайлдер дорожил не правдивостью фактографии, а масштабностью обобщающей коллизии, которая затрагивает у него область высших ценностей человеческого существования. И кроме того, он дорожил смелостью или, во всяком случае, вызывающей нешаблонностью идеи. Он мог предложить совершенно нетрадиционное истолкование даже такого вроде бы исчерпанного сюжета, как миф о творении, каким он предстал в его романе «День восьмой». Ему было по силам в хронике будничности обнаружить отголоски вечных проблем, над которыми бьются философия и культура.

Конечно, по «Каббале» еще трудно было угадать истинную меру творческих возможностей этого писателя, однако о его даровании этот роман свидетельствовал с убедительностью. Как и о своеобразии этого таланта, далеко не до конца оцененном даже сейчас. Уайлдер ведь по-прежнему остается в тени своих более прославленных современников — Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека.

Он и правда очень от них отличается — не в последнюю очередь по той причине, что воспитывался на других литературных традициях. Наставником Уайлдера в искусстве прозы — «Каббала» дает это почувствовать особенно ясно — был Генри Джеймс, первый из больших американских писателей, добровольно покинувших родину ради приобщения к иной духовной и художественной стихии. В Европе прошла почти вся его творческая жизнь, и на столкновении европейских понятий с американскими построена драматургия его романов.

Не так ли и в «Каббале»? Еще одно духовное странствие, оказывающееся для героя актом самопознания, и еще один открытый финал, потому что выбор между американской юной неискушенностью с привкусом наивности и европейской изощренностью познания, отдающего старческой немощью, — трудный выбор, не предполагающий каких-то окончательных решений. Но Уайлдер никогда и не добивался, чтобы читатель закрывал его книгу с ощущением открывшейся конечной истины. Он слишком крупный писатель, чтобы над ним имели власть самонадеянные иллюзии всеведения.

Глава 1

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

Поезд, который впервые привез меня в Рим, был переполненным и холдным. Несколькo раз он по необъяснимым причинам останавливался прямо посреди поля, и ночь застала нас все еще медленно ползущими через Кампанию по направлению к едва расцвеченным тучам, висевшим над Римом. Через какое-то время мы остановились у перрона, и ослепительные лампы на мгновение облили светом чью-то великолепную голову, растрепанную непогодой. Перрон тонул в темноте, виднелись лишь отблески дороги и тусклые очертания гор. Это была страна Вергилия, и в ней царил ветер. Он, казалось, поднимался с полей и нисходил на нас, как долгий вздох, словно сам поэт возвращал свое чувство вдохновившей его земле.

Поезд был переполнен. Накануне некоторые туристы открыли, что неаполитанские нищие пахнут карболкой, из чего сразу же сделали вывод, будто власти обнаружили индийскую холеру и проводят дезинфекцию «дна». Воздух Неаполя рождает легенды. В этом общем бегстве билеты до Рима стали почти недоступны, и туристы первого класса теснились в третьем, а в первом путешествовали некие загадочные личности.

В вагоне было холдно. Мы сидели в пальто, задумчивые; наши глаза то ли стекленели от смирения, то ли покрывались льдом. В одном из купе расположилась компания представителей того племени, которое в основном путешествует и извлекает из этого очень мало удовольствия. Они без устали разглагольствовали о чересчур дешевых отелях и слишком дорогих ресторанах. Дамы сидели, свернув у лодыжек свои юбки, дабы воспрепятствовать восхождению блох. Напротив развалились трое американских итальянцев, возвращающихся к себе домой, в деревню где-нибудь в Апенниннах, после двадцати лет торговли фруктами и драгоценностями на Верхнем Бродвее. Они вложили свои накопления в бриллианты, сверкавшие у них на пальцах, и глаза их сияли в предвкушении семейной встречи. Можно было представить себе их родителей, изумленно взирающих, неспособных понять причины, вследствие которых в их сыновьях не осталось того очарования, которое земля Италии дарует смиреннейшим из своих детей. Ничего, кроме того, что они возвращаются с луковичеобразными лицами, употребляющими варварские идиомы, утратившими навсегда остроумие и интуицию своей расы. Их матерям еще предстоит бессонные ночи озадаченных размышлений под вквотанье домашней птицы в тишине родного дома. В другом купе юная искательница приключений в серебристом манто прижалась щекой к дрожавшему оконному стеклу. Напротив нее почтенная матрона с блистающими глазами держалась с вызывающей стойкостью, готовая перехватить любой взгляд, брошенный на ее подремывающего мужа девчонкой. В проходе два молодых армейских офицера, подбоченясь, охорашивались и ловили взгляд юной путешественницы, подобные насекомым с гляцевых страниц Фабра, которые готовы начать брачные танцы даже перед камнем, стоит только затронуть соответствующие нервы. Здесь же расположились иезуит с воспитанниками, коротающий время переводом с латинского; японский дипломат, благоговейно ласкающий коллекцию почтовых марок; скульптор из России, мрачно изучающий строение наших черепных коробок; несколько студентов из Оксфорда, тщательно экипированных для бродяжничества — но только верхом на лошади — по изобилующей бродягами настоящими и не всегда миролюбивыми итальянской провинции; обыкновенная старая женщина с курицей и обыкновенной молодой американской зевака. Такая вот компания, из тех, что приезжают в Рим и уезжают из Рима по десять раз на дню с каждым поездом.

Мой спутник сидел и читал лондонскую «Таймс»: продажа недвижимости, военные действия и прочее. Его звали Джеймс Блейр. После шести

лет классического образования в Гарварде его направили на Сицилию в качестве консультанта-археолога в кинокомпанию, отважившуюся перенести на экран греческую мифологию. Компания обанкротилась, ее ликвидировали, а Блейр пустился в скитания по Средиземноморью, пробавляясь случайными заработками и записывая в огромной тетради свои наблюдения и теории. Его голова была полна рассуждений: о химическом составе красок Рафаэля, о том, какое освещение выбирали античные скульпторы для своих работ, о датировке древнейших мозаик в Санта Мария Маджоре. Он разрешил мне записывать все это и многое другое и даже скопировать кое-какие схемы, сделанные цветными чернилами. В случае его гибели в море со всеми его записями — что отнюдь не исключено, поскольку он мотается по Атлантике на безвестных коммерческих суденышках, не упоминаемых в газетах, даже когда они тонут, — это будет мой печальный долг: передать в дар библиотеке Гарвардского университета его материалы, непостижность которых должна придать им неоценимое значение.

Вскоре Блейр отложил газету и решил поговорить.

— Возможно, вы едете в Рим для исследований. Но перед тем как вы уйдете с головой в древность, узнайте, нет ли там интересных современников.

— В современной романистике нет докторов философии. Кого из современников вы имеете в виду?

— Вы когда-нибудь слышали о Каббале?

— Что это?

— Некий круг людей, живущих в Риме.

— Не слышал.

— Они очень богаты и очень влиятельны. Все их боятся. Их подозревают в заговоре, цель которого — изменить порядок вещей.

— Что вы говорите! Политика?

— Не совсем.

— Общественное движение?

— Да, пожалуй. Но больше того. Это лютые снобы-интеллектуалы. Мадам Агоропулос чрезвычайно боится их. Она говорит, что они время от времени наезжают из Тиволи¹ и проталкивают в Сенате свои законопроекты либо — своих людей в церковных кругах или изгоняют дурных женщин из Рима.

— Неужели!

— Это потому, что им скучно. Мадам Агоропулос говорит, что им ужасно скучно. Они все давно получили. Самое важное в том, что они не терпят ничего нового. Они тратят все свое время на принижение новых имен, новых счастливых и новых идей. Они держатся средневекового стиля — во внешности, в одежде. И в мыслях. Я предполагаю следующее: надеюсь, вы слышали, что в Австралии исследователи открыли регионы, где животные и растения остановились в своем развитии сотни тысяч лет назад? Они еще в архаические времена нашли нишу посередине мира, и его дальнейший прогресс уже не коснулся их. Нечто подобное произошло и с Каббалой. Это круг людей, словно заснувших среди понятий, которые остались от мира, каким он был несколько веков назад: право герцогини войти в дверь первой; мировой порядок в соответствии с церковной догмой; право королей — помазанных Божьих, особенно Бурбонов. Они до сих пор неистово верят в чепуху, к которой все мы относимся как к прелестной антикварной безделушке. Более того, эти люди, которые так держатся за свои понятия, вовсе не отшельники или чудачки, из тех, кем пренебрегают. О нет! Они принадлежат слою настолько всемогущему и недоступному, что все остальные римляне говорят о них затаив дыхание: Каббала! Они действуют с невероятным коварством, должен вам сказать, и обладают невероятным богатством и влиянием. Я ссылаюсь на мадам Аго-

¹ Тиволи — фешенебельный пригород Рима, где с древности располагались виллы императоров и богачей. (Здесь и далее примечания переводчика.)

ропулос, которая боится их до истерики и думает, что они — сверхъестественные существа.

— Но ведь знает же она кого-нибудь из них лично?

— Конечно знает. И я тоже знаю.

— Кого знаешь, того не боишься. Кто это?

— Завтра я познакомлю вас с одной из них. Это мисс Грие. Она главарь целой международной шайки. В некотором смысле ее можно назвать самым последним диктатором Рима. Я приводил в порядок ее библиотеку. Если бы не это, я бы и не узнал о ее существовании. Я жил у нее в Палаццо Барберини² и кое-что узнал о Каббале. У них есть Кардинал. И еще княгиня д'Эсполи, сумасшедшая. И мадам Бернстайн, из семьи немецких банкиров. Каждый из них обладает каким-нибудь чудовищным талантом, а вместе они намного выше любого социального слоя. Это удивительные и потому одинокие люди. Они обитают в Тиволи, пользуясь благамми, которые извлекают из своих преимуществ.

— Они называют себя Каббалой? Они организованы?

— Нет, насколько я понимаю. Вероятно, им даже и группой-то называться никогда не приходило в голову. Я же вам сказал, что вы их увидите. Вы уж сами выведывайте их секреты. Мое дело сторона.

В паузе, которая последовала за этими словами, мои мысли на мгновение переметнулись от полубожественных персон к обрывкам разговоров из разных купе. «У меня нет ни малейшего желания спорить, — проворчала одна из англичанок. — Естественно, ты пригостила к поездке наилучшим образом. Единственное, что я могу сказать, — это что горничная не каждое утро чистила умывальник. Все время приходилось ее вызывать».

Американские итальянцы тараторили: «Я говорю ему, это, черт побери, не твое собачье дело, я говорю! Убирайся, черт возьми, отсюда, черт побери! И он побежал, я тебе говорю. Он побежал так, что и пыли не осталось, так он побежал!»

Иезуит со своими воспитанниками учтиво интересовался почтовыми марками, и японский атташе мурлыкал: «О, исключительные редкости! Вот четырехцентовая, бледно-фиолетовая. Если посмотреть ее на свет, обнаружится водяной знак — морской конек. Во всем мире только семь таких марок, и три из них в коллекции барона Ротшильда».

В этой симфонии разговоров можно было услышать что угодно: и что нет ни кусочка сахара, и что Мариетте три дня назад сказали положить сахар, и что, хотя Гватемала немедленно прекратила выпуск, все-таки кое-что просочилось в коллекции, и что ежегодно на углу Бродвея и 126-й стрит мускусных дынь продавалось больше, чем можно было предполагать. Возможно, причиной было отвращение ко всем этим ничтожным мелочам, — но у меня вдруг возникло весьма острое желание разыскать тех самых «олимпийцев», которые хотя и могли в действительности оказаться скучными и нелепыми, но все-таки обладали — по крайней мере каждый из них — «каким-нибудь чудовищным талантом».

Все это происходило тогда, среди тех людей, в то пасмурное утро, когда я впервые приехал в Рим, на той станции, которая была более чем безобразна и которую вода с хлоркой «украшала» не меньше, чем тошнотворный запах мочи. В дороге я обдумал, что буду делать сразу по прибытии. Я непременно напьюсь вина и кофе и посреди величавой ночи направлюсь вниз по Виа-Кавур. Перед самым рассветом я стану созерцать кафедру в Санта Мария Маджоре, которая будет нависать надо мной подобно Ноеву ковчегу, и дух Палестины в грязной сутане излетит из боковой двери и унесется на родину. Затем я поспешу на площадь перед Палаццо Латерано, где Данте бродил в праздничной толпе. Я постою на Форуме и обойду тесный Палатин. Я пойду вслед за рекой к постоялому двору, где Монтень страдал от своих жестоких недугов. В благоговейном созерцании замру пе-

² Палаццо Барберини — памятник итальянской архитектуры XVII века. В настоящее время — Национальная галерея живописи XIII — XVIII веков.

ред скалоподобным обиталищем Папы, где творили величайшие художники Рима: и тот, который никогда не был несчастлив, и тот, который никогда не был счастлив³. Я должен познать мой путь, проложенный в мечтах на карте города, которая все восемь лет школы и колледжа висела над моим столом, — города, к которому я стремился так страстно, что в глубине души искренне не верил, что когда-нибудь увижу его.

Когда же я в конце концов приехал, станция оказалась пустой; не было ни кофе, ни вина, ни луны, ни духов. Была только скучная езда по сумрачным улицам среди плеска фонтанов и специфическое эхо от туфовых мостовых.

Всю первую неделю Блейр помогал мне искать и обставлять квартиру. Она состояла из пяти комнат в старом доме в Трастевере⁴ по ту сторону реки и в двух шагах от базилики Св. Марии. Комнаты были высоки, унылы и пахли восемнадцатым веком. Потолок в гостиной был украшен кессонами с благопристойной росписью, в холле валялись куски отвалившейся штукатурки, еще хранившей бледные оттенки голубого, изжелта-зеленого и золотого тонов, и каждая утренняя уборка уносила еще один кусочек локона от какого-нибудь купидона, виток волюты или обломок гирлянды. Кухню украшала фреска — Иаков, противоборствующий Богу, но громоздкая печь почти загоразивала ее. Два дня мы занимались тем, что искали стулья и столы, грузили их на подводы и лично сопровождали все это до нашей улицы, торговались в магазинах за длинномерную серо-голубую парчу, на все лады обсуждая фактуры, рисунки и колеры; среди бесчисленных подделок выбирали старинные канделябры, наиболее успешно симулирующие дряхлость и чистоту стиля. Приобретение Оттими стало триумфом Блейра. Неподалеку, на углу, располагалась трагтория, навевающая лень, — полная случайных посетителей и людского гомона винная лавчонка, владелицами которой были три сестры. Блейр некоторое время наблюдал за ними и наконец предложил одной из них, смысленной, веселой женщине среднего возраста, несколько недель побыть моей кухаркой. Итальянцы с отвращением относятся к долговременным контрактам, и это последнее условие сразу покорило Оттиму. Мы хотели нанять ей в помощь для тяжелой работы еще кого-нибудь по ее рекомендации, но она омрачилась при этом предложении и ответила, что с тяжелой работой очень хорошо справится и сама. Переезд в мою квартиру оказался промыслом Божиим для Оттими, с ее жизненными проблемами и страстной привязанностью к своему делу, и для ее компаньонов по кухне: полицейского дога Курта и кошки Мессалины. Каждый из нас смотрел сквозь пальцы на недостатки других, и вместе мы созидали дом.

На следующий день после вселения я и Блейр, возжелав римских зрелищ, вызвали на сцену «самого последнего диктатора Рима» и вдруг увидели перед собой ребячливую старую деву с привлекательным и болезненным лицом, капризными птичьими жестами и беспрестанным чередованием доброты и раздражительности. Было около шести, когда мы вошли в ее гостиную в Палаццо Барберини и застали там общество из четырех дам и одного джентльмена, чопорно сидящих подле стола и разговаривающих по-французски. Мадам Агоропулос радостно вскрикнула при виде Блейра, этого рассеянного школяра, к которому она так привязалась; мисс Грие вторила ей. Осторожная миссис Рой холодно ожидала до тех пор, пока разговор не коснулся наших родственных связей, и лишь после этого смягчилась и улыбнулась. Испанский посол и его жена удивлялись

³ Имеются в виду итальянские живописцы Рафаэль Санти (1483 — 1520) и Микеланджело Буонарроти (1475 — 1564).

⁴ Трастевере — район Рима на правом берегу Тибра, где почти полностью сохранилась средневековая архитектура.

тому, что в Америке могут обходиться без титулов, посредством которых только и можно безошибочно определить чью-либо личность. Маркиза чуть вздрогнула при вторжении двух вульгарных молодых «краснокожих» и начала произносить, предварительно составляя в уме, неуклюжую французскую фразу, за которую тут же попросила извинить ее. Разговор порой судорожно оживлялся, блистая правильностью, как и всякая речь на чужом для каждого из говорящих языке.

Неожиданно мое внимание привлекла напряженность, возникшая в гостиной. Я почувствовал шевеление интриги, будучи не в состоянии составить хотя бы отдаленнейшее представление о происходящем. Мисс Грие старательно изображала детскую болтливость, но в действительности оставалась совершенно серьезной, и миссис Рой тут же приняла это к сведению. Суть эпизода сводилась к типичному для Рима, хотя и не очень запутанному примеру торговли влиянием со свойственным для нее проникновением в религиозную, политическую и семейную сферы жизни. В свете информации, которую получил позже, я обращаю ваше внимание на то, чего миссис Рой добивалась от мисс Грие и чего ждала сама мисс Грие.

У миссис Рой были узкие глаза и ротик, словно только что отведавший хинина. Когда она говорила, ее серьги позванивали над худыми ключицами. Она была католичкой, а по политическим взглядам — «черной» из «Черных»⁵. Во время своего пребывания в Риме она занимала себя тем, что доводила запросы определенных американских филантропических организаций до внимания Папы. Злые языки приписывали ее благим усилиям самые разнообразные мотивы, из которых наименее постыдным было желание получить титул графини Папского Доминиона⁶. Дело в том, что миссис Рой добивалась аудиенции в Ватикане в надежде убедить Его Святейшество совершить чудо, а именно — даровать ей право на развод с привилегиями св. Павла⁷. Такое завершение брачных отношений, не имеющее прецедента, зависело от множества условий. Прежде чем принять подобное решение, Ватикан хотел иметь совершенно точное представление о том, насколько велико будет удивление в католических кругах Рима. Кроме того, следовало бы конфиденциально получить у американских кардиналов сведения о нравственности нашей матроны, а также выяснить, не привлекая внимания, мнение широких кругов верующих как в Риме, так и в Балтиморе. Лишь после этого можно было бы судить о реакции протестантского духовенства и мерах, которые оно могло бы предпринять в ответ. К счастью, репутация миссис Рой оказалась безукоризненной, и ее право на развод не подлежало сомнению (ее муж совершил грех в каждой из нижеперечисленных категорий: он был неверующий, он еще дальше отступил от веры и, наконец, он стал *animaе regiculum*⁸, поскольку попытался втянуть ее в кощунственную дискуссию о разжижении крови св. Януария). Но все же необходимо было получить еще и разрешение протестантской *imprimatur*⁹. Чье мнение могло быть более весомым для этой цели, как не мнение аскетичной директрисы Американской колонии? Мисс Грие могла бы — и обе дамы знали это — все устроить, пользуясь своими исключительными по тонкости и влиянию средствами. А если из Палаццо Барберини прозвучит нота сомнения, то к нашей просительнице скорее всего вернется бесцеремонный «Вердикт о нецелесообразности», и вопрос будет закрыт раз и навсегда.

⁵ «Черные» — партия клерикалов.

⁶ Папский Доминион — теократическое государство в Средней Италии, возглавлявшееся Римским Папой и существовавшее с 756 по 1870 год.

⁷ В тех странах, где сильно влияние католической церкви (Италия, Испания), расторжение брака при жизни супругов до 70-х годов XX века вообще не допускалось: возможно было лишь судебное установление раздельного жительства. Привилегии св. Павла состояли в праве супруга на расторжение брака с некрещеным супругом, если тот препятствует отправлению религиозных обрядов первого.

⁸ Духовной опасностью (*лат.*).

⁹ Здесь: цензуры (*лат.*).

Миссис Рой необходимо было так много расспросить у мисс Грие, которая, в свою очередь, хотела знать, что она получит взамен.

А вот как обстояли дела с другой стороны.

Ни одно произведение итальянского искусства классического периода не могло покинуть страну без огромной вывозной пошлины. Каким же тогда образом «Мадонна со св. Георгием и св. Еленой» Мантеньи оказалась в Алюмна-холл в колледже Вассара¹⁰, минуя таможеню? Последний раз эту картину видели три года назад в коллекции покойной княгини Гаэты. По крайней мере, она приписывалась этой коллекции в отчетах министра изящных искусств за последние годы, вопреки молве, утверждавшей, что этот шедевр неизвестные лица предлагали музеям Бруклина, Кливленда и Детройта. Знаменитая картина сменила хозяина шесть раз. Но торговые агенты, искусствоведы и владельцы музеев были настолько поглощены проблемой, была или нет поправлена кистью Беллини (по утверждению всезнающего Вазари) левая нога святой Елены, что им ни разу не пришло в голову задаться вопросом: а регистрировалась ли картина на таможне? В конце концов ее купила какая-то сумасшедшая богатая старуха из Бостона в лиловом парике и, умирая, завещала (вкуче с тремя фальшивыми Боттичелли) колледжу Вассара, который лишь благодаря ее ужасному произношению был избавлен от ее дружбы во всех видах, за исключением опекуинства.

Министр изящных искусств в Риме пришел в отчаяние, едва услышал о передаче этого шедевра в дар американскому колледжу. Если этот факт получит огласку, его положению и репутации придет конец. Весь его огромный труд на благо Италии (*exempli gratia*¹¹: он в течение двадцати лет препятствовал раскопкам в Геркулануме; он разрушил фасады двадцати изумительных церквей эпохи барокко в надежде отыскать окно в XIII век и т. д., и т. д.) не спасет его от бури, которая разразится в римской прессе. Все истинные итальянцы страдают, видя, как национальные художественные сокровища утекают за океан; они только ждут предлога, чтобы разорвать правительство на куски и этим утешить свою оскорбленную честь. Посольство предпринимало отчаянные усилия, чтобы не допустить скандала. Но Вассара нельзя было заставить ни отказаться от картины, ни заплатить штраф за контрабанду. На следующее же утро передовицы всех римских газет красочно изобразят, как варварская Америка тайно похищает у Италии ее любимые детища; градом посыплется благочестиво-гневные ссылки на Катона, Пикколомини, Микеланджело, Кавура и св. Франциска. Римский Сенат будет вынужден до малейших подробностей разобрать этот щекотливый вопрос о злоупотреблении Америки благожелательностью итальянцев.

В настоящее время мисс Грие тоже была опекуном Вассара. Она играла виднейшую роль в этой долгой кампании в защиту национального достояния, которая началась еще в июле среди воскресных и общих школ. Она была готова заплатить не скупясь, но лишь после того, как отцы города успокоятся. Это можно было бы сделать посредством благоприятных решений соответствующего комитета, который должен был заседать именно в этот вечер. Комитет состоял из семи членов, и четверых она уже контролировала; остальные трое были из «черных». Собственно говоря, интересы княжны Гаэты, получившей в наследство от матери вышеупомянутую коллекцию картин, а также лестное знакомство с мисс Грие требовали единогласного решения.

Если миссис Рой немедленно сядет в машину, она успеет доехать до Американского колледжа¹² на Пьяцца-ди-Спанья и побеседовать с дра-

¹⁰ Алюмна-холл в колледже Вассара — актовый зал женского колледжа Вассара (Коукипси, штат Нью-Йорк).

¹¹ Например (*лат.*).

¹² Американский колледж — высшее учебное заведение, организованное правительством США в Риме для подготовки своих церковных деятелей.

жайшим всеведущим отцом О'Лери. Акустика церкви непостижима! Еще десять дней назад негромкие голоса тех троих «черных» могли бы благопристойно провалить тонко построенное умиротворение. И сейчас, за чайным столиком, задача мисс Грие состояла в том, чтобы донести эту сложную экспозицию до миссис Рой и намекнуть ей на щедрейшее вознаграждение. Все это надо было проделать с необходимой предосторожностью, чтобы ни у мадам Агоропулос, ни у жены посла (мужчины были не в счет) не возникло ни малейших подозрений. К счастью, жена посла не понимала быструю французскую речь, а сентиментальная мадам Агоропулос постоянно впадала в рассеянность, и мелкие подачки в виде комплиментов и сантиментов легко отвлекали ее от скрытой сути разговора.

Мисс Грие разыграла свои карты с той непринужденной точностью, которую дает только безошибочная техника. Она несомненно обладала тем редким качеством, которое так присуще великим монархам и которое мы особенно отчетливо видим в Елизавете или во Фридрихе¹³, — эту способность хладнокровно манипулировать опасностями, сводя их до степени маловероятных возможностей и не допуская их реального грозного действия. Миссис Рой сразу поняла, чего от нее ожидают. Она состояла во множестве различных комитетов и многие годы занималась тем, что улаживала взаимоотношения раздраженных папских камерариев и политических приверженцев; торговля влиянием была ее ежедневным делом. Более того, она обладала счастливой способностью влиять на умы, и это приводило ее в восторг; она уже видела у себя в руках разрешение на развод! Она поспешно встала. «Вы должны извинить меня, я вас покидаю, — проворковала она. — Я обещала Юлии Говард встретиться с ней у Розали. И еще: у меня есть дело на Пьяцца-ди-Спанья». Она кивнула нам и улетучилась. Что это такое, что это за чувство, которое поистине придает крылья и питает блаженством столь тонкие натуры? На следующий год она вышла замуж за молодого яхтсмена-француза, будучи вдвое старше его, поселилась во Флоренции и родила сына. Теперь «черные» сразу же прекращали разговоры, если она появлялась в их гостиных. Картина осталась у Вассара, а в его архивах, наверное, до сих пор покоится письмо из Министерства иностранных дел Италии, прочесть которое было бы большим подарком. Воздействие художественных шедевров на случайных прохожих не поддается определению, но каждый должен поддержать ту мысль, что сотни девочек, ежедневно проходящих мимо Мантеньи, получают от картины духовные импульсы, которые помогают им стать достойными женами и матерями. По крайней мере именно этого министерство пожелало колледжу.

Когда все разошлись, мисс Грие состроила гримаску вслед ушедшим, убавила свет и предложила нам рассказать о Нью-Йорке. Она, кажется, чувствовала своего рода удовольствие от таких экзотических гостей, как мы. Но ее мысль, рассеянная до поры, вдруг встрепенулась, она разгладила складки своего одеяния и попросила нас срочно удалиться, переодеться к обеду и быть у нее ровно в восемь. Мы удивились, но не сочли уместным возражать и выдворились вон прямо под дождь.

Я тут же наел на Блейра, выпытывая все возможное о мисс Грие. Он мог рассказать не много. Ее образ мыслей и даже ее характер можно было бы отчасти объяснить ее родословной, представление о которой я составил для себя, читая между строк и изучая фотографии из истории рода Грие, написанной за вознаграждение моим троюродным братом.

Кажется, ее прадед, отличавшийся щедеушием, приехал в Нью-Йорк в 1800 году. Он снял в пригороде старый дом и намеревался жить отшельником, посвящая свои дни изучению пророческих писаний и споспешествуя размножению четырех поросят, которых привез в корзине из-за океана.

¹³ Имеются в виду Елизавета I Тюдор (1533 — 1603), английская королева, и Фридрих II (1712 — 1786), прусский король.

Но его здоровье крепло вместе с его делами, и вскоре он оказался женатым на наследнице процветающей фермы Доу Корнер, мисс Агате Фрехестокен. Смерть ее родителей десять лет спустя позволила соединить две фермы в одно весьма обширное хозяйство. Их дети Бенжамин и Анна в качестве образования получали лишь то, что перепадало им от ее отца в дождливые дни, когда ничего другого не оставалось делать. Дед нашей мисс Грие, хитрый целеустремленный деревенский мальчишка, много лет прозябал в тине провинциального бытия, воплощаясь по очереди то в трактирного слугу, то в газетного пройдоху, а то и в управляющего рестораном. Наконец он навестил своих родителей и начал было уговаривать их употребить землю в обеспечение каких-то подозрительно выгодных железнодорожных инвестиций. У нас есть его портрет того времени — дагерротип мужлана датчанина с выпяченной нижней губой и ухмыляющимися нахальными глазами, типичный почти для каждой истории Великой Американской Удачи. Вероятно, благородное искусство укращения мустангов, когда-то вошедшее в плоть и кровь неведомых предков, проявило себя в Доу Корнер в тот воскресный вечер. Анне велели взять свое вязанье, идти в амбар и сидеть на мешках с овсом, пока ее не позовут. Старик отец принялся воспитывать сына плетью, сопровождая удары проклятиями из гневных библейских псалмов, за что получил впоследствии весьма забавное отмщение: в душу Бенжамина Грие запали семена религиозного чувства, а в его тело — наследственное тщедушие. Все это принесло свои плоды. Вскоре он уже сидел в директорском кресле и управлял пятью железными дорогами. Его родители окончили свои дни в огромном особняке на площади Вашингтона, так и не простив сына.

Бенжамин женился на дочери одного богача, которая, живи она в прошлом веке и имей другое вероисповедание, удалилась бы в монастырь и утешала бы нищету своего ума и духа нескончаемым потоком унылых и необъяснимых слез. Она с трудом произвела на свет хилого мальчика, названного Грейсом Бенхамом и предназначенного для мира аристократов. В нем любовь к прекрасному, таившаяся в предшествующих поколениях Грие и Халлетсов, наконец расцвела пылким стремлением к операм Россини и вещам, которые он любовно принимал за итальянские, к ярким розариям, к живописным лохмотьям каприйских крестьян и картинам Доменикино. Он женился на крепкой сообразительной женщине, которая была старше его, — она сама обдуманно выбрала его на собрании прихожан пресвитерианской церкви. Они были невероятно богаты, богаты тем богатством, которое растет в простоте, само собой, и, не окруженное заботами, удваивается каждый год. Таким образом, родословная переходит к Грейсу Бенхаму, продолжившему род Грие в лице нашей мисс Грие. Несмотря на добрый десяток гувернанток, которые с утра до вечера толклись вокруг младенца, мешая друг другу, это маленькое чудовище было воплощением хитрости и злобы. Ее возили, не давая отдыха, из Нью-Йорка в Баден-Баден, из Веве в Рим и обратно; она росла безо всякой привязанности к местам и людям. Ее родители умерли, когда ей было двадцать четыре года, и окончательное, полнейшее одиночество сделало то, чего не могли сделать проповеди: ее характер смягчился при виде жалких людей, которым так хотелось говорить с нею, жить с нею, чем-нибудь заполнять роскошную пустоту ее дней.

Подобное перечисление фрагментов из ее биографии, попадись оно ей на глаза, вряд ли было бы для нее интересным или смутило каким-либо образом. Ее ум был послушен лишь жаркому дыханию ее раздражительности; она жила, чтобы осмеивать и оскорблять глупцов и идиотов. В этой ее болезненной чувствительности слились воедино религиозный экстаз и семейная неустроенность, ипохондрия ее прадеда, плеть ее деда и его благоговейный страх перед Долиной Скелетов, вечно красные глаза ее бабки и потаенная любовь ее отца к Нормам и Семирамидам из музыкальной школы. Она была неутомима и обладала свойственными мужскому уму талантами, унаследованными от деда, — талантами коммерческого магната,

которые в сочетании с ее полем и социальным положением могли найти свое единственное проявление в мании пугать обыкновенных женщин и вмешиваться в чужие дела. При всем этом она была умной и сильной натурой; она правила своей эксцентричной и непослушной паствой с язвительной галантностью, и после ее смерти в римских гостиницах долго витало эхо ее странной быстрой приглушенной речи и сдержанного смеха.

Ее портрет будет неполным без перечисления ее в высшей степени странных привычек, которые отчасти объяснялись бессонными ночами, выпадающими на дни ипохондрии, а отчасти — ужасом перед привидениями, внушенным ей гувёрнантками в детские годы. Она никогда не могла уснуть, пока не придет рассвет. Она боялась оставаться одна; в час ночи она запросто могла попросить последних гостей не уходить и посидеть у нее еще немного; «C'est l'heure du champagne»¹⁴, — говаривала она, мотивируя столь неурочную просьбу. Когда же наконец гости уходили, она посвящала остаток ночи музыке. Подобно германской принцессе из восемнадцатого столетия, она содержала собственный оркестр.

Эти занятия до самого рассвета вовсе не были беспредметным и сентиментальным музицированием; напротив, они были в высшей степени определены, хотя и эклектичны. В одну из ночей она могла упиваться сонатами Скрябина или маршами Метнера; другую ночь отдавала «Хорошо темперированному клавиру»; она перебирала все фуги для органа Генделя или все шесть бетховенских фортепьянных трио. Постепенно она отошла от легко понимаемой музыки и слушала только то, что давалось с трудом и требовало размышления. Она полюбила музыку, интересную в историческом отношении, и выискивала забытые шедевры Баха и оперы Гретри. Она не жалела денег певцам из церковного хора Сан-Джованни ин Латерано, лишь бы они пели и пели ее любимого неисчерпаемого Палестрину. Она обладала необыкновенной музыкальной эрудицией. Сам Гарольд Бауэр¹⁵ почтительно выслушивал ее советы по поводу фразировки Баха — он утверждал, что у нее исключительно тонкое чувство контрапункта музыки того века. И музыканты соглашались с ее мнением, что некоторые страницы Леффлера следует играть чуть быстрее.

В свое время я встречал много людей, которые по той или иной причине не могли спать в эти таинственные часы между полночью и рассветом. И когда я сам впадаю в бессонницу или поздно возвращаюсь домой по безлюдным улицам — в час, когда во тьме кошки скребут на душе у злодеев, — я вспоминаю старика Бальдасаре из Борго или наборщика Бишопа из Шаньдуна. Я вспоминаю Апостолического инспектора на Дальнем Востоке, который вставал в два часа ночи и бдел, устремив глаза на Отцов Церкви и членов Собора, восхищенный, как он признавался, непреходящим цветением розового дерева Учения. Я вспоминаю Стасю, эмигрантку из России, которая потеряла способность засыпать в темноте с тех пор, как побывала на войне сестрой милосердия. Стася дежурила по ночам и в одиночестве размышляла о пытках, которыми солдаты замучили в Таганроге ее семью. Я вспоминаю и Элизабет Грие, слушающую в ночном сумраке своего просторного жилища новую кантату, которую прислал д'Энди, или разбирающую счета, в то время как ее маленькая труппа возрождает увертюру к «Галантной Индии».

Возобновив визит часом позднее, мы увидели, что гости уже собрались и ожидают выхода хозяйки. Среди прочих привилегий мисс Грие оставляла за собой поистине королевскую prerogative являться на собственный званый вечер самой последней. В холле *maitre-d'hotel*¹⁶ подал мне записку. «Пожалуйста, представьтесь мадемуазель де Морфонтен (высокая девица

¹⁴ Пора пить шампанское (франц.).

¹⁵ Гарольд Бауэр (1873 — 1951) — английский пианист.

¹⁶ Дворецкий (франц.).

меровингского вида), она пригласит вас к себе на виллу в Тиволи», — прочел я. В следующую минуту впорхнула мисс Грие и приветствовала гостей, быстрыми зигзагами передвигаясь от одного к другому. Словно сошедшая с гравюры Фортюни, она в своем наряде, составленном из красного и черного, напоминала саламандру. На ней был редкостный медальон эпохи Ренессанса такой величины, что любая другая женщина не рискнула бы надеть подобное.

Поскольку хозяйка хотела слышать каждое слово, произнесенное за ее столом, то у ее гостей имелись достаточные основания для недовольства теснотой, в которой проходили ее обеды. Мы все были плотно упакованы, подобно путешественникам в Модане¹⁷. Впрочем, у нее были и другие сомнительные обычаи: она обсуждала достоинства блюд; она перебрасывала направление разговора справа налево и обратно, не считаясь с удобством собеседников; она непринужденно болтала со слугами; она по прихоти переходила с французского на итальянский или английский; она обращалась к гостям, которые были приглашены, но не смогли приехать и отсутствовали за столом. Неожиданно кто-то заметил, что она не притрагивается к подаваемым кушаньям. И тогда она взяла маленькую тарелочку с крошечными сухариками и несколько грецких орехов. Потом она немножко поклевала кукурузных хлопьев, чуть сдобренных маслом, в то время как мы уписывали *faizan Souvaroff*¹⁸ с трюфелями и *foie gras*¹⁹ и удостаивали все это завершающим темно-вишневым великолепием, которое является исключительной привилегией Мадейры — привилегией сопровождать столь изысканную дичь. И все же она не могла удержаться и не приставать к гостям со своими рискованными шуточками и дьявольской меткостью по поводу, например, «главы правительства с его безголовыми речами» или миссис Осборн-Кэди с ее карьерой пианистки, которую она принесла в жертву семейной жизни, разочаровавшей ее в большей, чем это обычно бывает, степени. На минуту, как раз перед тем, как подали жаркое, ее магнетический взгляд остановился на мне; она уже начала что-то язвительно бормотать, но, мгновенно придумав нечто позанятнее, приказала слуге положить мне изрядную порцию *oeufs cardinal*²⁰, высокомерно добавив при этом, что это не более чем *oeufs cardinal*, которые доступны в Европе любому, и что Меме (старшая княжна Голицына) позволила себе большую глупость, похваставшись своим шеф-поваром, который, судя по всему, получил свое поварское образование на вокзальной кухне, и т. д., и т. д.

«Высокая девица меровингского вида», сидевшая слева от меня, была мадемуазель Мари Астре-Люс де Морфонтен, дочь Клауди Эльзер де Морфонтена и Кристины Мезирес-Берг. Ее дед, граф Луи Мезирес-Берг, женился на Рашели Кранц, дочери великого финансиста Макси Кранца, и в 1870 году получил пост французского посла в Ватикане. В те времена она была так богата, что имела, как поговаривали, больше акций Суэцкого канала, чем сами Ротшильды. Она была высока, пышнотела и ширококостна, без всякого намека на изящество. Ее длинное белое лицо, обрамленное парой длинных же сердоликовых серег, вызывало в памяти какую-то символическую фигуру с фриза Джотто, архаически неправильную, но излучающую мрачные спиритические флюиды. У нее был хрипловатый голос и экзальтированные манеры. В первые же десять минут она наговорила кучу глупостей, потому что ее ум в это время был где угодно, но только не при ней. Смутно чувствовалось, что он должен проявиться — в свое время. Вскоре так и случилось, причем в весьма эпатирующей форме. Она представляла в моих глазах весь французский роляизм. Она столь же пылко исповедовала его идеи, сколь пылко презирала его практику.

¹⁷ Модан — город во Франции, последнее место, где обычно обедают туристы перед многочасовой дорогой в Италию через туннель.

¹⁸ Фазана по-суворовски (франц.).

¹⁹ Гусиную печенку (франц.).

²⁰ Яиц по-кардинальски — под красным соусом (франц.)

— Во Франции не будет короля до тех пор, пока не наступит великое возрождение католичества! — воскликнула она. — Францию нельзя спасти без Рима. Мы — латиняне; мы не варвары. Это они навязывают чуждые нам взгляды. Но рано или поздно мы обретем себя, своих королей, свою веру, свой латинский дух. И я еще увижу мою Францию возвращенной Риму, перед тем как умру! — добавила она, крепко сжав перед собой довольно крупные кулаки.

Я робко заметил, что, по моему недалекому мнению, как итальянский, так и французский темпераменты трудно совместить с республиканскими взглядами. В ответ на это она положила свою большую бледную руку на мой локоть и пригласила меня на свою виллу в следующее же воскресенье.

— Вы услышите целую дискуссию, — сказала она. — Будет сам Кардинал.

Я спросил, какой кардинал. Grimаса недоумения у нее на лице дала мне понять, что в ее окружении не может быть толпы кардиналов — есть только один.

— Конечно же, кардинал Ваини. Разумеется, в Коллегии в настоящее время вообще отсутствуют неинтересные священники. Но есть один, без сомнения, самый образованный, самый оригинальный и самый привлекательный. Это кардинал Ваини.

Я часто встречал образованность, оригинальность и привлекательность, но только в низших и не столь богатых церковных кругах, поэтому я удивился, услышав о наличии этих качеств у высокого церковного чина.

— Кроме этого, что еще может помочь Франции, этой мятежной дочери? — добавила она. — Кстати, вы не знакомы с нашим Кардиналом? Кладезь учености! И представьте себе, он ничего не пишет! Я бы сказала, если это не будет непочтительным: Его Преосвященство огорчает нас своей пассивностью. Весь мир ожидает объяснения всем этим злополучным расхождениям среди Отцов Церкви. Он — единственный, кто сможет все объяснить. Но он хранит молчание. Мы его умоляли. В его власти использовать для наших целей художественное слово. Одним движением пальца он мог бы привести в действие дело, к которому устремлены наши сердца.

Я спросил, что это за дело.

Она с удивлением посмотрела на меня:

— Ну как же! Обнародование божественного права королей как непреложного догмата Церкви. Мы намерены для этой цели созвать Экуменический совет в ближайшие двадцать пять лет. Я полагала, что вы осведомлены; я в самом деле считала вас одним из наших.

Я ответил, что я — американец и к тому же протестант. Я надеялся, что такой ответ освободит меня от бремени считаться католиком и роялистом.

— О! — воскликнула она. — У нас есть много приверженцев, которые на первый взгляд не заинтересованы в нашем движении. Среди нас есть иудаисты и агностики, художники и даже анархисты, да!

Теперь я был совершенно уверен, что сижу рядом с душевнобольной. «Тебя не смогут запереть в психушку, пока у тебя миллионы», — подумал я. Идея собрать Экуменический совет в двадцатом веке, дать престолом сверхъестественные санкции и утвердить эти санкции наряду со статьями о принудительном вероисповедании — эта идея не просто благочестивая мечта, это безумие. В тот вечер мы больше не возвращались к теме нашего разговора, но несколько раз я ловил ее долгий полусумасшедший взгляд, подразумевающий гораздо большую степень близости, нежели я был готов признать.

— Я пришлю за вами машину в одиннадцать, — проронила она, когда я проводил ее. — Вы непременно должны быть. Вы меня этим весьма обяжете.

Вернувшись в гостиную, я оказался рядом с Адой Бенони, дочерью известного сенатора. Хотя она выглядела слишком юной для таких вечеров, она уже обладала той приятной осторожной искусственностью, столь свойственной хорошо воспитанным итальянским девушкам. Я спросил ее почти напрямую, не может ли она рассказать мне что-нибудь о Каббале.

— О, Каббала — это просто уличная шутка, — ответила она. — В действительности Каббалы не существует. Но я знаю, что вы имеете в виду. — Тут ее глаза осторожно смили расстояние между нами и остальной компанией. — Под Каббалой подразумевают группу людей, которые часто бывают вместе и у которых много общего.

— Они все богаты? — спросил я.

— Нет... — ответила она задумавшись. — Только не надо говорить так громко. Например, кардинал Ваини не богат, герцогиня д'Аквиланера тоже.

— Но они все интеллектуалы?

— Пожалуй, княгиню д'Эсполи интеллектуалкой не назовешь.

— Тогда что же у них общего?

— Как вам сказать... У них нет ничего общего, кроме... Кроме того, что они презирают людей: вас, меня, моего отца и так далее. У каждого из них есть что-то особенное, какой-нибудь исключительный дар, и это их связывает.

— Не считаете ли вы, что они действуют сообща и устраивают беспорядки там и сям?

Лоб ее сморщился, она слегка покраснела.

— Нет, я не считаю, чтобы они были способны на такое, — ответила она.

— Но ведь они *действуют*? — настаивал я.

— Ну... Они сидят у себя в Тиволи и разговаривают о нас с вами, а потом каким-то образом, не знаю каким, что-то *делают*.

— И многих из них вы знаете?

— Да, я знаю их всех, — быстро ответила она. — Да их знает каждый. Конечно, кроме самого Кардинала. Я их всех люблю. Они бывают плохими, только когда собираются вместе, — объяснила она.

— Мадемуазель де Морфонтен просила меня провести воскресенье у нее на вилле в Тиволи. Я увижу их там?

— Да, конечно! Мы это называем «очаг».

— Вот как! А вы не могли бы что-нибудь мне посоветовать перед тем, как я туда отправлюсь?

— Нет, — улыбнулась она, пожав плечами.

— И все-таки посоветуйте.

— Хорошо, — согласилась она, сведя в раздумье брови. — Я советую вам... быть глупым! Это непросто. Сначала они покажутся вам очень сердечными. Обычно они вначале проявляют к человеку большой интерес, а когда он им надоест, отворачиваются от него. Если они находят кого-нибудь, кто им понравится, то они приближают его к себе совсем, и вот вам новый член Каббалы. Многие в Риме прошли через них, но не подошли им. Всем этим специально занимается мисс Грие. Именно она вас и пригласила, не так ли?

— Ну да, именно сегодня!

— Вот-вот, она несколько дней не будет отходить от вас ни на минуту. Да она прямо сейчас же подойдет к вам с просьбой остаться у нее поужинать. Ох уж эти ее знаменитые полуночные ужины!

— Но я не могу! Я уже приходил сюда к чаю, и тут же меня пригласили отобедать. Это же смешно, в конце концов, — торчать тут до полуночи...

— В Риме это не смешно. Они вас проверяют, вот и все. Ведь характер выявляется в мелочах. Это очень важно! Не пытайтесь им противостоять, иначе вы много потеряете. Хотите услышать, как я узнала о том, что

вас проверяют? Я вам расскажу. Мой жених должен был прийти к ним сегодня на обед, но за час до начала ему прямо домой принесли записку, в которой его попросили прийти в следующую пятницу. Она часто так поступает, и это означает единственное: она пригласила кого-то из новеньких и хочет немедленно показать его своим. Конечно, второе приглашение подкрепляет первое и всегда значительнее и важнее, чем первое, но мы обиделись.

— Совершенно с вами согласен. Мне очень жаль, что я помешал...

— О, пустяки, — ответила она. — Витторио как раз сейчас ожидает меня на улице, в машине.

Вскоре после этого, когда мы с Блейром предстали перед мисс Грие с просьбой извинить наш уход, она с непреодолимой настойчивостью увлекла меня в сторону и сказала мне на ухо:

— Вы должны вернуться сюда позже. Я пригласила к ужину некоторых людей, которым хочу вас представить. Вы сможете, не так ли?

Я изобразил некоторое подобие протеста, и реакция оказалась чудовищной.

— Но мой дорогой! — гневно прошипела она. — Я все-таки попрошу вас не отказываться! Есть нечто очень важное, что я бы хотела вам поручить. Дело в том, что я уже позвонила одному моему очень хорошему другу... Поэтому убедительно прошу вас, сделайте мне одолжение — выбросьте вон из головы все ваши ночные планы! Это очень большая услуга, о которой мы хотели бы вас просить.

Конечно же, после этого я совершенно смирился, исполненный удивления и угодливости. По-видимому, вся Каббала хотела, чтобы я сделал ей одолжение.

— Вот и отлично! — потеплела мисс Грие. — Чрезвычайно вам благодарна. Итак, в двенадцать.

Было около десяти. Убить два часа... Мы было собрались отправиться к цирку, как вдруг Блейр воскликнул:

— Слушай, а что, если мы заглянем на минуту к моему приятелю? Во вторник я уезжаю, и надо бы с ним попрощаться и вообще посмотреть, как он там. Тебе не очень противны больные люди?

— Не очень, — ответил я.

— Он чудесный парень, но долго не проживет. Он опубликовал в Англии одно из своих стихотворений. Одно из тысячи, представляешь? И это принесло ему сущие гроши. Думаю, он настоящий поэт, но не может выйти из своей манеры. Он пишет почти одними прилагательными.

Мы спустились по Испанской лестнице и повернули налево. Перед крыльцом Блейр остановился и негромко предупредил:

— Я забыл сказать, что за ним присматривает один из его друзей, художник, он пишет акварели. Они ужасно бедны, и единственное, что они могут себе позволить, это пригласить врача. Я хочу дать им немного денег. У тебя найдется сколько-нибудь?

Мы набрали около сотни лир и постучали в дверь. Не дождавшись ответа, мы толкнули дверь — она оказалась незапертой. Из глубины бедно обставленной комнаты тускло светила лампа. Она стояла у кровати, и свет ее выхватывал из темноты жестокие подробности человеческого бытия на последней стадии болезни, перед уходом из жизни. Посуда, бутылки, грязная одежда... В кровати полусидя спал больной; голова его склонилась в сторону.

— Художник, наверно, ушел ненадолго, поискать денег, — сказал Блейр. — Давай побудем немного.

Мы прошли в комнату и усьелись в темноте, созерцая в окно облитый лунным светом фонтан «Лодочка». На Пинчо пускали фейерверк в честь победы в какой-то битве на Пьяве, и нежно-зеленый отсвет неба, казалось, трепетал позади китайских огней, взлетающих в ночи. Смирный трамвайчик вкатился на площадь, помедлил, словно испрашивал позволе-

ния, и покатился прочь. Я попытался вспомнить, где умер Вергилий. В Риме... Нет, он погребен близ Неаполя. А Тассо? Несколько пронзительно-сладких страниц из Гёте²¹, исключительный триумф Моисси²², его широко раскрытые глаза и элегический голос... Тут мы услышали зов из другой комнаты:

— Френсис, Френсис!

Блейр пошел туда.

— Наверно, он отлучился на минуту. Могу я что-нибудь сделать для тебя? Я приехал ненадолго и зашел посмотреть на тебя. Мы тебя не утомим, если немного посидим с тобой? Ну, что скажешь?

В ту минуту Блейр и сам не помнил имени поэта, и наше знакомство не состоялось. Было очевидно, что он жил последние часы, но болезнь придала его глазам яркий лихорадочный блеск; казалось, он готов часами слушать или разговаривать. На столике у его кровати я заметил записку, написанную грубым карандашом: «Дорогой доктор Кларк, в два часа у него был кашель, много крови. Он просил есть, я дал ему больше, чем вы предписали. Я скоро вернусь. Ф. С.»

— Ты что-нибудь сочинил еще? — начал Блейр.

— Нет.

— Наверно, много читаешь?

— Мне читает Френсис. — Он посмотрел на томик Джереми Тейлора, лежавший на кровати. — Вы из Америки, да? У меня есть брат в Америке. В Нью-Джерси. Я собирался к нему поехать.

Разговор иссяк, но он пристально смотрел на нас, улыбаясь живыми глазами.

— Кстати, тебе нужны какие-нибудь книги? Мы принесем.

— Спасибо, это было бы чудесно.

— Скажи какие.

— Любые.

— Какую ты особенно хочешь?

— Ох, любую! Я не привередлив. Вот только, я думаю, нелегко найти какой-нибудь перевод с греческого.

Я предложил принести Гомера в оригинале и почитать ему, импровизируя перевод.

— О, это было бы лучше всего! — воскликнул он. — Я хорошо знаю перевод Чапмена.

Я легкомысленно ответил, что чапменовский перевод — это вообще не Гомер, и вдруг заметил на его лице гримасу боли, как от смертельной раны. Стараясь вернуть самообладание, он закусил палец и попытался улыбнуться. Я поспешил добавить, что Чапмен по-своему неплох, но все-таки не смог заглядеть своей жестокости; наверно, сердце его облилось кровью при моих словах. Блейр спросил его, нет ли у него поэм для новой книги.

— Я больше не думаю о книгах, — ответил он. — Я пишу только для собственного удовольствия.

Все-таки оскорбление Чапмена подействовало на него. Он отвернул лицо в сторону, и крупные слезы закапали ему на руку.

— Простите меня, простите меня, — прошептал он. — Мне нездоровится, и я, кажется... огорчаюсь из-за пустяков.

Он принялся искать носовой платок, но не нашел и согласился воспользоваться моим.

— Я не хочу уезжать, не повидав Френсиса, — заявил Блейр. — Ты не знаешь, где его можно найти?

— Конечно знаю. Он в кофейне «Греко», за углом. Я попросил его сходить туда и принести немного кофе; он сидел со мной весь день.

²¹ Имеется в виду драма Гёте «Торквато Тассо» (1790).

²² Моисси Сандро (1880 — 1935) — немецкий актер.

Блейр оставил меня с поэтом, который, кажется, простил меня и был готов продолжать разговор. Чувствуя, что лучше говорить мне, я завел речь о всякой всячине: о фейерверке, о диких цветах близ Альбано, о сонате Пиццетти, о воровстве в библиотеке Ватикана. Его лицо явно показывало, что ему нравятся любые темы. Я понаблюдал за ним и открыл, что он с жадностью слушает, как я хвалю что-нибудь. Ему было чуждо возмущение несправедливостью, чувство юмора, сентиментальность; его не интересовало ни в малейшей степени изучение древностей. По-видимому, в течение многих недель, проведенных с ним вместе в горестной атмосфере болезни, Френсису не очень хотелось говорить добрые слова о чем бы то ни было, и поэт, перед тем как оставить этот мир, уже чуждый ему, хотел услышать немного слов в его похвалу. О, как я старался! У него сияли глаза и дрожали руки. Но более всего он ждал достойных слов о поэзии. Я пустился в историю поэзии, называя имена поэтов, путая и перевирая века и языки, снабжая их банальными энциклопедическими эпитетами, вспоминая о них, какие мог, анекдоты, как правило бездарные, но хотя бы отчасти выстраивающие в торжественный ряд все это славное сборище. Я говорил о Сафо; об Еврипиде, разъярившем граждан Абдеры; о Теренции, который просил публику ходить на его комедии, а не на представления канатоходцев; о Вийоне, который успел исписать кафедральные стены молитвами своей матери задолго до того, как их покрыли фресками; о Мильтоне, который в старости не выпускал из рук оливу, напоминавшую ему о единственном золотом годе, проведенном в Италии.

Совершенно неожиданно посредине моего каталога он неистово воскликнул:

— И я должен стоять среди этих имен! Я тоже должен!

Такое его самомнение слегка задело меня, и, очевидно, на моем лице это отразилось, потому что он снова закричал:

— Я должен! И я тоже! Но теперь слишком поздно. Я хотел бы уничтожить каждый экземпляр моих книг! Предать смерти каждое мое слово, каждое... Я не хочу, чтобы меня помнили после моей смерти.

Я пробормотал что-то успокоительное насчет его выздоровления.

— Я знаю побольше врачей, — ответил он, с яростью глянув на меня. — Я сам учился на врача. Я собственными глазами видел смерть моей матери и брата, а теперь я умираю сам.

Я не нашел, что ему ответить. Мы сидели в молчании. Потом он сказал уже спокойным голосом:

— Можете ли вы обещать мне одну вещь? Мои стихи были недостаточно хороши; они только-только начинали становиться хорошими. Когда я умру, я хочу, чтобы вы напомнили Френсису о его клятве. На моей могиле не должно быть имени. Только надпись: «Здесь упокоен тот, чье имя преходяще»²³.

В передней комнате послышался шум: вернулся Блейр с художником. Мы попрощались.

Поэт был очень болен, и когда я уезжал из Италии, его уже не было в живых, а его слава начинала расти и расходиться по всему миру.

Глава 2

МАРКАНТОНИО

Герцогиня д'Аквиланера происходила из рода Колонна и относилась к консервативному крылу этого семейства, не забывающему своих кардинальских, роялистских и папистских традиций. Ее муж происходил из Тосканского, особенно знаменитого в XII веке дома рода Медичи — дома, ко-

²³ Эпитафия, которую английский поэт Джон Китс (1795 — 1821) завещал написать на своей могиле. Умер в Риме.

торый Макиавелли в своих историях осыпал хвалой, а Данте — проклятиями. Ни одно другое семейство не насчитывало столько мезальянсов в двадцати двух поколениях, и даже в двадцати трех, и не терпело такого позора, как браки с незаконнорожденными «племянницами» кого-нибудь из Медичи или Пап. Герцогиня никогда не забывала — среди тысячи подобных поводов для гордости, — что дед ее деда, Тимолое Нерон Колонна, принц Веллетрийский, нанес много оскорблений предкам нынешнего итальянского короля, происходившего из старого и почтенного Савойского дома; что ее отец отверг титул гранда Испанского двора по той лишь причине, что и его отец в свое время отказался от этого титула; и, наконец, что она благодаря самой себе доставила своему сыну титулы: гофмейстера Неаполитанского двора (если бы только Неаполитанское королевство еще существовало), принца Священной Римской империи (если бы только эта грандиозная организация еще функционировала) и герцога Брабантского — титул, который некстати возродился среди прочих претензий королевских фамилий Испании, Бельгии и Франции. Для себя она добилась права именоваться «Высочеством» и даже «Королевским Высочеством»; для своей матери, которая была последней из королевской династии Крабург-Готтенлингенов, — именоваться «Светлейшей». У нее не было родственников разве что среди высшего буддийского духовенства. Герольды европейских дворов склонялись перед ней с особенным почтением, зная, что в силу некоторых обстоятельств много разных и великих генеалогических ветвей сплелось в этой необыкновенной особе.

Ей было пятьдесят, когда я увидел ее. Это была невысокая темноликая женщина с двумя аристократическими стеатомами на левой стороне носа, с желтыми неопрятными руками, усыпанными изумрудами (намек на португальские родственные связи; она была бы эрцгерцогиней Бразильской, если бы только Бразилия еще оставалась колонией Португалии). Она отличалась хромотой, как и ее тетка делла Кверция, и, как и тетка, страдала эпилепсией, присящей всем истинным Ваини. Она жила в крошечной квартирке в Палаццо Аквиланера на Пьяцца-Арачели. Из своих окон она наблюдала за пышными свадьбами своих соперниц, на чьи брачные церемонии приглашали и ее, но она не отваживалась на них присутствовать, предвидя, что ее посадят на место, которое окажется ниже ее достоинства. Согласиться сесть на такое место значило бы допустить мысль об отказе от целого вороха многочисленных исторических притязаний. Она внезапно покидала многие торжественные встречи, стоило лишь только ей узнать, что ее стул поставлен позади кого-нибудь из Колонна, уронивших свою честь аристократа женитьбой на актрисе или американке. Она отказывалась стоять среди владельцев сомнительных неаполитанских титулов в дни похорон — и это в тени ее собственных фамильных усыпальниц! Она отказывалась сидеть вблизи лакеев у дверей в концертном зале; она не хотела, чтобы ее приглашали в одиннадцать часов; она не желала дожидаться в передних. Почти все время она сидела взаперти в своих безобразных унылых комнатах, предаваясь мрачным размышлениям о забытой славе ее рода и завидуя роскоши своих богатых родственников. Дело в том, что, с точки зрения итальянцев, принадлежащих среднему классу, она в действительности вовсе не была бедной; но все-таки она не могла содержать лимузин, ливрейных лакеев и устраивать приемы. Не иметь всего этого, да к тому же с ее претензиями, — значило для нее быть беднее, чем выловленный из Тибра последний утопленник без роду и имени.

С некоторых пор тем не менее она начала получать знаки неожиданного и трогательного признания — и это, на ее взгляд, было отнюдь не мелочь. Когда она появлялась в обществе, ее строгое лицо, ее величественная хромота и ее необыкновенные изумруды производили впечатление. Ее побаивались. Римские законодатели общественного мнения наконец осмелились намекнуть всем этим Одескалки, Колонна и Цермонета²⁴, что эта

²⁴ Одескалки, Цермонета — старинные аристократические итальянские роды.

полунищая женщина, которую они презирают и третируют, как придурковатую бедную родственницу, имеет полное право стоять впереди них на любой торжественной церемонии. Французские династии, которые еще не изжили своих феодальных замашек, разжигаемых республиканской модой, признали ее родовые связи с королями и Папами. Она первая заметила перемены в своей репутации, и если и была немного озадачена, то совсем недолго и очень скоро подставила свои паруса попутному ветру. У нее были сын и дочь на выданье, и ради них она решилась пожертвовать своей гордостью. При первых же признаках реабилитации она заставила себя сделать вылазку в свет и, видя, что ее возможности наиболее велики в международных сферах, подавив отвращение, стала бывать у американских леди и в миссиях южноамериканских государств. В итоге она появилась и у мисс Грие, на ее знаменитых ночных ужинах. Отзвуки почестей, которые она получала в столь величественных местах, наконец достигли слуха ее собственной родни; ее стали щадить и мало-помалу избавили от многих явных унижений.

Вскоре ей пришлось оставить своих прежних друзей, еще более унылых, чем она сама, туповатых больных старух, с которыми она привыкла убивать тягучие затворнические вечера за глухими шторами на Пьяцца-Арачели. Ей пришлось также отказаться от одной подлой привычки, крепко связавшей ее с прежними временами, а именно привычки вмешиваться в дела судебных властей. Врожденные способности, столь развитые у этой женщины, проявились еще в дни ее безвестности весьма неординарным способом. Она бывала там и сям, вынюхивая все о давних исках и юридических претензиях, о торговых нарушениях и тонких адвокатских уловках. Она всегда защищала своих неискушенных друзей от мошенничества, обычно не без успеха, и часто избавляла их от весьма крупных и неотвратимых на первый взгляд расходов. Она подкупала судебных чинуш, чтобы ее приглашали в суд в качестве свидетеля, полагаясь на ее знатность и, следовательно, незаинтересованность, и пользовалась такими случаями, чтобы узнать побольше о всем деле. И простодушные горожане, прочтя в утренней газете о том, что С. А. Леда Матильда Колонна, герцогиня д'Аквианера, обвиняет римский муниципалитет в махинациях с ценными бумагами железнодорожной компании или протестует против законопроекта, выдвинутого неким известным негоциантом или торговцем фруктами с Виа-дель-Корсо, часами торчали у ворот ее дома в страстной надежде лицезреть эту мужественную потрясательницу устоев и внимать ее язвительным сарказмам и неопровержимой логике доказательств. Тем не менее эти пассажи смешили ее надутую родню, не замечавшую, что она в гораздо большей степени, нежели они сами, олицетворяет исконные аристократические добродетели.

Такова была женщина, с которой мы столкнулись, когда вернулись посреди ночи с третьим в этот день визитом к обитательнице старинного дворца. Ужин был накрыт в огромном ярко освещенном зале, каких я еще не видывал. Как только я вошел в высокие двери, мой взгляд упал на странную фигуру, в которой я сразу признал члена Каббалы. Маленького роста смуглокожая женщина с тростью в руке устремила на меня магнетический жгучий взгляд. С трудом освободившись от его колдовской силы, я разглядел ее узкое платье, орлиную голову и, наконец, драгоценности — семь крупных бугорчатых аметистов на золоченой нити, оттягивающих ей шею. Меня представили этой ведьме, которая сразу же и с чудовищным искусством внушала каждому симпатию к себе. Услышав, что Блейр вскоре покидает Рим, она оставила его в покое и сконцентрировала свое внимание на мне. Предложив мне сесть, она устроилась напротив, нервно водя концом своей трости по паркету, прикусив верхнюю губу и придавив меня своим тяжелым взглядом. Она спросила о моем возрасте. Мне было двадцать пять.

— Я герцогиня д'Аквианера, — начала она. — На каком языке вы говорите? Мне кажется, вам лучше говорить по-английски. Я не очень хоро-

шо понимаю по-английски, поэтому говорите разборчиво. Надо, чтобы вы понимали меня совершенно ясно. Я близкий друг мисс Грие. Я часто говорила с ней об одна большая проблема, которая, к несчастью, мой друг, имеет отношение к моей семье. И вдруг она звонит мне в семь утра и говорит, что нашла человека, который может мне помочь: она имела в виду вас. Теперь слушайте: у меня есть сын, ему шестнадцать. Он очень важный, потому что он есть некто. Как вы говорите? — да, вот именно, он есть личность. Мы есть из очень старинного рода. Наша семья — лицо Италии в любом ее триумфе или беде. Вы у себя в Америке не симпатизируете такого рода величию, не так ли? Но вы читали историю, да? Древние века, средние века и тому подобное, да? Вы должны представлять себе, как важно для великих фамилий... всегда быть... для страны...

Тут она дала волю нервам, бурно вскипела и позволила себе ту знаменитую роскошную итальянскую жестикуляцию, которую невозможно описать словами. Я поспешил уверить ее, что очень уважаю аристократические принципы.

— Может быть, да, а может быть, и нет, — сказала она наконец. — Во всяком случае, вы должны относиться к моему сыну как к принцу, в котором течет кровь королей. Далее. Теперь я должна вам сказать, что он попал в дурную компанию. На него сильное влияние приобрели какие-то женщины, и больше мне ничего не известно. У нас в Италии все мальчишки так себя ведут, когда им стукнет шестнадцать, но Маркантонио, мой ангел! Я не знаю, что с ним происходит, я сойду с ума. Вы, американцы, воспитаны в духе пуританства — или не так? — и ваши правила весьма отличаются от наших. Но в данный момент существенно только одно: вы должны спасти моего мальчика. Вы должны с ним общаться, бывать вместе, играть в теннис. Я беседовала с ним, священник беседовал с ним, но мальчик никого не слушает и ходит туда, в это отвратительное заведение. Элизабет Грие сказала, что в Америке многие молодые люди вашего возраста как раз... именно... как бы это выразить... В общем, вы чисты, как *vielles filles*²⁵. Ваш темперамент, это... я не знаю, что это такое! Конечно, это очень странно, если это правда, но я не думаю, чтобы это было так на самом деле; на мой взгляд, это ненормально. Но, во всяком случае, вы должны побеседовать с Маркантонио и убедить его больше не посещать это гадкое заведение — или мы сойдем с ума. Мой план таков: в следующую среду вы приезжаете на всю неделю к нам, в нашу загородную виллу. Это самая прекрасная вилла во всей Италии. Вы должны приехать вместе с нами. Маркантонио привяжется к вам, вы с ним будете играть в теннис, стрелять в тире, плавать, а тем временем вы должны непрерывно беседовать с ним, внушать ему и в конечном счете спасти его. Ну как, могли бы вы сделать все это для меня? Учтите: никто так вам не сможет помочь в беде, если она случится с вами, как это смогу я!

Тут, очевидно вследствие внезапного страха, что ее усилия пропадут впустую, она махнула концом трости, привлекая внимание мисс Грие, краем глаза наблюдавшей за нами, которая немедленно поспешила к нам. Слезы чуть ли не ручьем побежали у герцогини, она воскликнула в свой носовой платок:

— Элизабет, скажите ему! О Боже мой, я сражена. Он не хочет к нам, все погибло!

Меня разбирали гнев и хохот. Я прошептал на ухо мисс Грие:

— Я буду рад встретиться с ним, мисс Грие, но я не читаю лекций мальчикам. Я в дурацком положении. И потом, что я там буду делать всю неделю?..

— Она не совсем верно вам все изложила, — сказала мисс Грие. — Не будем больше говорить об этом сегодня.

²⁵ Старые девы (франц.).

При этом Черная Королева, намереваясь встать, качнулась в своем кресле. Она уперлась своим посохом в мой ботинок, чтобы не упасть на полированный пол, и поднялась из кресла.

— Нам следует просить у Господа другого пути. Я глупа. Я не виню молодого человека. Он не сознает величия нашей семьи.

— Какая чепуха, Леда, — твердо сказала мисс Грие по-итальянски. — Успокойся.

Она обернулась ко мне:

— Вы ведь не прочь провести воскресные дни на вилле Колонна-Стьявелли, не так ли? Никаких условий о чтении морали принцу. Если он вам понравится, вы найдете способ побеседовать с ним. Если же нет, вы вольны оставить его в покое.

Две каббалистки умоляли меня хотя бы мельком взглянуть на знаменитейшую из вилл эпохи Ренессанса, тем более редкостную по причине ее недоступности для широкой публики, вынужденной разглядывать ее издали, с дороги. Я обернулся к герцогине и, поклонившись, принял ее приглашение. Засим она коснулась моего плеча, проворковав с чудной улыбкой: «Истинный христианин!», и, пожелав нам доброй ночи, прошествовала, кивая гостям, к выходу.

— В воскресенье я увижу вас в Тиволи, — сказала мисс Грие, — и расскажу обо всем подробнее.

В течение следующих нескольких дней мой рассудок подвергался гнету двух обязательств, возложенных на меня: уик-энд на вилле Горация и миссионерская акция на вилле Колонна. Я сидел дома, упавший духом, что-то читал или надолго уходил гулять по Трастевёрскому предместью, мыслями уносясь в Коннектикут.

В машине, которая приехала за мной в субботу утром, уже сидел один из приглашенных. Он представился как М. Лери Богар, добавив, что мадемуазель де Морфонтен распорядилась послать за нами отдельные машины, но он настоял, чтобы мы ехали вместе. Не только потому, что для поездки по Кампанье любая компания лучше, чем никакая, но потому, что он много слышал обо мне, и это привело его к мысли, что мы не будем неприятны друг другу. Я ответил в том же духе, с искренней любезностью, на которую только был способен, что возможность побыть приятным столь знаменитому ученому, члену Французской Академии, для меня, почтительного школяра, большая честь, превосходящая мои мечты. Несмотря на подобную увертюру, в нашем общении не обнаружилось тенденции к важной холодности. М. Богар был хрупким, безупречно одетым джентльменом, с лицом, на котором лежал отпечаток душевной тонкости, воспитанной изысканным чтением и изысканной пищей, с темными кругами у глаз и бледной синеваой щек, из которой вырастали белее слоновой кости нос и подбородок. У него были мягкие, спокойные манеры, проявлявшиеся большей частью в игре его глаз и рук, — и те и другие возбужденно трепетали в унисон, подобно листе под свежим бризом. Я нерешительно сообщил об удовольствии, которое получил от его работ, особенно от странич, посвященных истории Церкви, слегка пропитанных ядом. Услышав это, он вскричал:

— Не напоминайте мне о них! Моя юношеская невоспитанность! Ужасно! Чего бы только я не дал, чтобы их не было! И эти мои глупости донеслись так далеко, до самой Америки? Вы должны объяснить своим друзьям, молодой человек, что эти книги в настоящее время не выражают моей позиции. С тех пор как я стал смиренным сыном Церкви, ничто не способно дать мне большего удовлетворения, нежели мысль, что все эти книги хорошо бы сжечь на костре.

— И что же мне сказать моим друзьям о нынешних ваших взглядах? — спросил я.

— За что меня только читают? — закричал он в притворном горе. — В мире столько книг! Не будем больше читать, мой мальчик. Лучше мы будем искать родственные души. Лучше мы сядем за стол (с роскошным уго-

щением, черт возьми!) и поговорим о нашей церкви, о наших королях и, может быть, о Вергилии.

Очевидно, мое лицо походило на лицо уопленника, когда я примерил к себе начертанный им план жизни, потому что М. Богар тут же впал в безразличие.

— Провинция, которую мы в данный момент пересекаем, — вяло заговорил он, — знавала бурные времена... — И он забубнил, как экскурсовод свою «легенду», словно я — какой-нибудь богатый и тупой болван, хозяйский сынок, а он — не выдающийся ученый и никогда им не был.

На вилле нас встретил дворецкий и показал наши комнаты. Когда-то, много лет назад, здесь был монастырь, и мадемуазель де Морфонтен, купив виллу, устроила рядом подобие церкви, в которой даже служили мессы для окрестных поселян. Она утверждала, что вилла — та самая, которую Меценат подарил Горацию, и местные легенды подтверждали это. Основанием для такого утверждения были одни из лучших в Италии *opus reticulatum*²⁶, а также расположение виллы, соответствующее довольно туманным сведениям, почерпнутым из классики. Даже ономотопея доказывает, утверждала наша хозяйка, что шум водопада, доносящийся в открытые окна, слышится буквально как шелест волн:

...domus Albunae resonantis
Et praeceps Anio ac Tiburni locus et uda
Mobilibus pomaria rivis²⁷.

В оформлении своего монастыря наша хозяйка собрала все лучшее, чтобы добиться своеобразного эстетического эффекта и выразить стремление к суровости. Длинное, низкое, эклектично украшенное здание, лишённое в своих очертаниях какой бы то ни было стройности, — это и была вилла Горация. Цветники с розами, намеренно небрежные дорожки из гравия и поломанные мраморные скамьи беспорядочно окружали ее. Войдя, мы попали в длинный холл, в конце которого несколько ступеней низводили в библиотеку. В холл с обеих сторон с правильной регулярностью выходили многочисленные двери, за которыми когда-то были монашеские кельи, а теперь все они вели в приемные покои. Многие из дверей оставались открытыми весь день, и длинный коридор, вымощенный красно-коричневым кафелем, пересекали полосы света и тени от солнечных лучей. Потолок был отделан кессонами и, подобно дверям, окрашен в темно-зеленый с золотом цвет со щедро разбросанными кирпично-красными квадратами, напоминающими неаполитанский кафель. Желтовато-белые стены, отделанные мраморной крошкой, создавали чудесную зрительную иллюзию пространства, глубины и света перед библиотекой, подобной огромному зелено-золотому колодцу в дальнем конце коридора. Чувство соразмерности и осязаемой фантазии, возбужденное во мне, повлекло за собой вереницу воспоминаний о картинах Рафаэля с их таинственным очарованием. Слева располагались приемные покои, усталые однотонными коврами, украшенные дарохранительницами и старинными вещицами — вроде огромных подсвечников, цветочных вазонов, столов, покрытых парчой и уставленных хрусталем или неограниченными драгоценными камнями, — оживляющими строгую простоту древних стен. В конце холла, справа, ступени вели наверх, в трапезную — пустое помещение с голыми стенами. Днем трапезная служила импровизированной гостиной. Завтрак здесь не считался обязательным для посещения, и все разговоры приберегались до обеда. За завтраком здесь только смотрели друг на друга,

²⁶ Здесь: шпалеры для вьющихся декоративных растений (*лат.*).

²⁷ ...дом Альбуней звучащий

И стремительный Анио, а также Тибурна берег и влажный
Трепет ручьев плодоносных (*лат.*).

(Гораций, «Оды»)

кто-нибудь ронял несколько слов о недавнем дожде и грядущей засухе или о чем-нибудь другом, что едва намекало на страсти, которыми жила семья, — на религию, аристократизм и литературу. Прелесть трапезной заключалась в том, что она была очень хорошо освещена, и в восемь часов вечера вся величественность помещения концентрировалась в омуте винно-желтого света, льющегося на красную скатерть, на темно-зеленые куверты в тарелках, на серебряные и золотые столовые приборы и хрустальные бокалы для вина, на платья и украшения гостей, на ленты послов, на мантии понтификов и на армию одетых в шелк лакеев, которые, казалось, возникали ниоткуда.

К вечеру в день моего прибытия перед самым обедом появился Кардинал — последний из всех приглашенных на уик-энд. Он сразу же направился прямо в трапезную, где мы стоя встречали его. Выражение его лица было мягким, даже ласковым. Пока он благословлял трапезу, мадемуазель де Морфонтен стояла на коленях на подоле своего восхитительного желтого платья. М. Богар тоже припал на одно колено и прикрыл глаза рукой. Молитва была на английском языке — странная вещица, должно быть, найденная нашим эрудированным гостем среди литературных останков какого-то давно почившего разочарованного кембриджского проповедника:

О, пеликан вечности,
Ты пронзаешь свое сердце для нашей пищи,
Мы твои птенцы, которые не знают твоей скорби.
Благослови эту призрачную и пророческую пищу Святого Духа,
Чей последний вкушающий будет червь,
И насыть нас насущной пищей
Блаженства и милости.

Кардинал, хотя и сохранившийся духом и телом, вполне выглядел на свои восемьдесят лет. Выражение сухой безмятежности, которое никогда не сходило с его лица с висячими усами и заостренной бородкой, придавало ему вид столетнего китайского мудреца. Он родился в деревенской семье где-то на равнине между Миланом и озером Комо и начал свое образование под рукой местного священника, который скоро обнаружил в своем подопечном незаурядные способности к латыни. Он рос от школы к школе, получая всевозможные награды, учреждаемые иезуитами. Его успехи привлекли внимание многих влиятельных деятелей Церкви, и после окончания высшего колледжа на площади Св. Марии ему присвоили степень бакалавра за блестящую и бесполознейшую диссертацию на тему о сорока двух случаях, в которых самоубийство является допустимым, и двенадцати ситуациях, в которых лицо монашеского сана может применять оружие без опасения убить, — и после окончания ему предложили на выбор три заманчивых карьеры. Возможности и характер каждой из этих стезей были заранее predeterminedены высшим духовенством: он мог стать священником в любой из лучших церквей Рима; он мог получить должность в секретариате Ватикана; он мог, наконец, стать проповедником и консультантом. К изумлению и горю профессоров, он неожиданно объявил о своем намерении следовать путем, который для него означал тупик: он выбрал миссионерство. Его приемный отец и плакал, и бранился, и призывал небеса в свидетели столь вопиющей неблагодарности, но юноца знать ничего не желал кроме того, что самая страшная опасность грозит Церкви из Западного Китая. В те края он и отправился, когда пришел срок, без благословения своих учителей, уже и забывших о нем и обративших свое внимание на более послушных, хотя и не столь блестящих учеников.

За двадцать пять лет в провинции Сычуань молодой монах прошел огонь, голод, мятежи и даже пытки. Все эти миссионерские тяготы тем не менее не лишили его благочестия. Юноша, ощущавший в себе яростную силу, на протяжении всей своей молодости презирал своих учителей и товарищей. Он прекрасно знал и ни во что не ставил церковных чинуш всех

сортов, какие только встречаются в Италии. Ни разу в жизни он не видел, чтобы их слова подтверждались делами. И теперь он мечтал о поле деятельности, на котором бы ему не мешали глупцы. Во всем церковном царстве была только одна область, которая отвечала его стремлениям, а в Сычуане лишь месячное путешествие в неудобном фургоне отделяет предыдущего священника от следующего. После кораблекрушения, нескольких месяцев самого настоящего рабства и других испытаний, о которых он никогда не рассказывал, но о которых мир узнал от его туземных учеников, — после всего этого он поселился в местной гостинице, надел туземное платье, отрастил косичку и шесть лет жил среди крестьян, не вспоминая о своей вере. Со временем он изучил язык и китайских классиков; он изучил обычаи и этим понравился властям; он настолько сросся с ежедневной местной жизнью, что порой почти переставал быть иностранцем. Когда же наконец он объявил о своей миссии всем негодьям и представителям власти, в чьих домах он бывал чуть ли не каждый день, то его труды увенчались успехом. Величайший, может быть, из всех миссионеров, считая от средних веков и доныне, он очень быстро решил большинство застарелых конфликтов, что привело Рим в глубокий шок. Каким-то образом он добился гармонии между христианством и местными религиями и усвоил понятия и идеи Китая, что можно сравнить лишь с духовным подвигом св. Павла, явленным в его дерзновенных проповедях Палестине. Адаптации молодого миссионера, каких до него не сумел сделать никто, были столь искусны, что без труда привели туземцев к осознанию необходимости отказа от их прежней веры. Всего через двадцать лекций они увидели, как далеко продвинулись и что дорога назад уже невозможна. И вот он крестил их.

Однако хлеб, который он принес им, был горек: фундамент его храма зиждился на могилах двух десятков мучеников; но, возведенный сразу, храм его веры больше не претерпевал головокружительных взлетов и рос медленно и с трудом. Тем не менее окончательные итоги оказались настолько блестящи, что даже зависть не смогла помешать ему, и его сделали епископом. Через пятнадцать лет, проведенных на Востоке, он вернулся в Рим и был принят с холодной неприязнью. Его здоровье было отчасти подорвано, и он получил годовой отпуск, во время которого работал в библиотеке Ватикана над тезисами, относившимися отнюдь не к Китаю, а к «Дару Константина»²⁸. Среди миссионеров это было воспринято с ужасом, и когда его тезисы были опубликованы, их научность и объективность покорили религиозных обозревателей. Обитатели папской резиденции снисходительно посматривали на ретивого схоласта; они изложили ему свое представление о его великой удаче в Западном Китае: низкий грязный молитвенный дом и сборище нищих, ожидающих единственного — еды. Он не стал объяснять им, что его церковь — это высокое каменное здание с двумя грубоватыми, но величественными башнями и больницей; это процессии по праздничным дням, несущие яркие лозунги, входящие в гигантскую пещеру церкви и поющие григорианские хоралы; это, наконец, уважение и неприкосновенность во время каких бы то ни было революций и помощь горожан.

В конце концов он вернулся в Китай, чтобы погрузиться в жизнь страны еще на десять лет. Визит в Рим не изменил его дружеского отношения к товарищам по призванию. Но он услышал там о себе чудовищные вещи: что, например, он скопил огромное состояние, принимая взятки от китайских торговцев; что он истолковывал Искупление буддийскими понятиями и разрешил печатать языческие символы на самом Теле Христовом!

²⁸ «Дар Константина» — грамота (по утверждению историка Лоренцо Валла — подложная), согласно которой в VI веке римский император Константин передал Папе Сильвестру I верховную власть над западной частью Римской империи, в том числе над Италией.

Почести, которых он в конечном итоге удостоился, были им условно заслужены, поскольку ни он сам, ни его друзья не ходатайствовали о них. Полнейшая его победа была настолько очевидна, что буквально вырвала у Ватикана заслуженные им награды, которые присуждались лишь только по ходатайствам, несущим на себе не менее десяти тысяч подписей, или под нажимом власти и богатства. Чтобы получить эти новые награды, наш Епископ после десятилетнего отсутствия снова приехал в Рим. Но в этот раз он хотел остаться в Италии навсегда, полагая, что будет лучше, если начатые им труды продолжат сами новообращенные. В церковных кругах его возвращение восприняли с большой тревогой. Если он вернулся как ученый, стремящийся к принципиальным дискуссиям, то каждый из них содрогался от ужаса, заранее видя недостатки собственного ума выставленными на посмешище. Если он явился критиковать Учение, то опасность грозила всем сразу. Они следили за ним, наблюдая, как он поселился в крошечной вилле на Джаниколо с двумя слугами-китайцами и нелепой, деревенского вида, женщиной, которую он упорно рекомендовал как свою сестру.

Он вступил в Археологическое общество при Ватикане и посвятил себя чтению и садоводству. Его пятилетнее уединение пугало католические круги сильнее, чем если бы он писал скандальные памфлеты. Его слава ученого-романиста распространилась далеко за пределы Рима; каждый мало-мальски знаменитый человек, приезжая в Рим, прямо от вокзала спешил на Джаниколо с визитом к великому затворнику. Сам Папа был слегка раздражен рвением визитеров, которые воображали, что Его Святейшеству больше всего на свете нравятся разговоры о трудах, болезнях и скромности основателя христианской церкви в Китае. Английские, американские и бельгийские католики, не понимавшие всех нюансов сложившихся в Ватикане отношений, подняли крик: «А почему бы не сделать что-нибудь приятное для него?» Он вежливо отказался от весьма почетного места смотрителя Ватиканской библиотеки, но его отказ не был принят, и штатное расписание все-таки украсилось его именем. То же произошло и с Главной комиссией по вероучению. Он не появлялся на заседаниях, но не было речи более влиятельной, нежели те несколько его случайных слов, которые были обронены в разговорах с приверженцами на вилле Вэй Хо. Он был начисто лишен честолюбия, и это пугало высших духовных пастырей, полагавших, что столь естественное человеческое чувство обязательно должно проявиться в нем и усилиться до той степени, на которой оно заставляло Ахиллеса сидеть в своем шатре и дуться на весь свет. Они со страхом ожидали дня, когда он в своей обиде дойдет до крайней степени и обернет весь свой огромный авторитет против них и сокрушит их из-за почестей, которых они пожалели для него. И вот они решились предложить ему сан кардинала, больше всего на свете опасаясь его отказа. Но на этот раз он согласился и прошел через все формальности с суровым величием, тщательно соблюдая тонкости ритуала.

Трудно сказать, о чем были его мысли в то ясное утро, когда он сидел среди своих цветов и кроликов, не замечая томика Монтеня, упавшего со скамьи на гравий дорожки. О чем он думал, пристально глядя на свои желтые руки и вслушиваясь в приглушенное журчание воды в Aqua Paola²⁹, поющей Риму вечную хвалу? Наверно, он спрашивал себя, когда, в котором году вера и радость отлетели от него. Что-то говорило ему, что он стал похож на новообращенного, который вновь скатился к язычеству; что-то напоминало ему, как он когда-то под пыткой воззвал к Христу, чтобы Тот вызволил его из рук бандитов. Возможно, это было потому, что он взвалил на себя самую тяжелую задачу во всем мире и после всего обнаружил, что она не так уж тяжела. Он думал о том, что мог бы скопить огромное состояние и стать великим финансистом, употребив лишь

²⁹ Aqua Paola — акведук в Риме, сохранившийся с античных времен.

половину своей энергии и одну десятую таланта. Он думал о том, что всю жизнь был человеком, который только просто жил и умел писать на латыни то, что нравилось августинцам. Он думал о том, что он — последний человек, способный держать в голове сразу все учения Церкви, и что для того, чтобы стать кардиналом, не требуется ничего, кроме посвященного безразличия к собственному делу. Раздумья над этими вещами помогли ему понять, что мир не придает значения крикам восторга и овациям, которые непрерывно возносятся к небесам. Хотя, может быть, какую-то из небесных звезд и оценят несколько выше из-за чьих-то молитв.

Приличия были соблюдены, и к ужину не приступали до тех пор, пока Кардиналу не доложили об Аликс.

— Но где же Аликс?

— Аликс, как всегда, опаздывает.

— Вы полагаете, что она все-таки придет?

— Она звонила сегодня днем и сказала, что...

— Не очень любезно с ее стороны! Она всегда является впопыхах середине обеда. Святой отец, вы слишком добры к ней. Вы всегда прощаете ее. Вы должны пресечь!

— Мы все должны пресечь.

— Все недовольны, что Аликс появляется так поздно.

Я подумал, что разговоры у Каббалы в ее тесном кругу могли бы быть и более глубокомысленны. Даже если я и предвкусил остроумие и красноречие в этих застольных речах, то все-таки я страшился их неизбежного открытия, что я косноязычен и глуп. Когда же наконец разговор оживился, я очень удивился, обнаружив, что он весьма походит на обычную беседу дома вечером где-нибудь у нас на Гудзоне. Погоди, сказал я себе, это у них еще только разминка. Или, может быть, мое присутствие удерживает их от значительных тем. Мне вспомнилось литературное предание о том, что античные боги не умерли и до сих пор витают над землей, лишенные значительной доли своей власти, — и Юпитер, и Венера, и Меркурий плутают по улицам Вены, подобно странствующим музыкантам, или поденщиками бредут по югу Франции. Случайные знакомые не в состоянии почувствовать их сверхъестественную сущность, ведь боги умеют скрывать свою божественность. Но однажды какой-то прохожий прилег рядом с их нескладным человеческим воплощением и отдохнул под сенью их древней божественности. Я сказал себе, что именно я являюсь препятствием и что эти олимпийцы болтают всякий вздор и плоско шутят только при мне; но когда обстановка изменится, тогда — о, какие божественные речи польются тогда!

В этот момент в трапезную влетела долгожданная Аликс, княгиня д'Эсполи, запыхавшаяся и рассыпающаяся в извинениях. Никто из присутствующих и не подумал «пресечь». Напротив, все лучились улыбками. Нам предстояло узнать о чрезвычайно важном деле, задержавшем княгиню. Достаточно сказать, что она была француженка до кончиков ногтей — элегантная, с волосами песочного цвета, очень привлекательная и наделенная изумительным даром речи, в которой каждый оттенок мысли, юмора, пафоса и даже трагизма звучал к месту и вовремя. Через несколько минут она уже совершенно очаровала всю компанию абсурдной историей о том, как на Пинчо какая-то лошадь заговорила по-итальянски, а полиция пыталась прекратить столь возмутительное безобразие. Когда меня представили ей, она быстро шепнула: «Мисс Грие просила передать вам, что она будет здесь в половине одиннадцатого».

После обеда мадам Бернстайн немного помузицировала за роялем. Она была наследницей богатого германского банкирского дома. Безо всякого вмешательства в дела своих сыновей и заседания директора она тем не менее влияла на все важные решения, принимаемые банком, посредством кратких замечаний за обеденным столом, постскриптумов к своим письмам и распоряжений мимоходом в тот момент, когда она, прощаясь, жела-

ла доброй ночи. Она хотела произвести сенсацию своим выходом из директорского совета. Чуть ли не половина ее жизни тратилась на представительские пышности и финансовые дела, и все-таки она не могла полностью решить свои проблемы. Дружба с Каббалой примирила ее с надвигающейся старостью и все более и более усиливала в ней любовь к музыке.

Еще девочкой в материнском доме она часто слушала Листа и Таузига. Постоянно играя неувядаемых Шумана и Брамса, она сохранила в своих пальцах кристально чистую технику, и даже сейчас, в свои преклонные года, она заставляла вспоминать о великой эре виртуозов, о тех временах, когда оркестр не принуждал фортепьяно к унылому следованию за духовыми и струнными. Мадемуазель де Морфонтен сидела с чашкой в руке, время от времени позволяя залезть в нее морде одного или другого из своих великолепных догов. Ее глаза были полны слез, но были то легкие слезы ее полубезумной природы или видения памяти, всколыхнувшиеся при звуках шопеновской сонаты, пролились в ее глазах — этого нам знать не дано. Кардинал вышел, а княгиня сидела в полумраке, не внимая музыке, уносясь вслед за таинственными видениями своего воображения.

Едва лишь армия со знаменами остановила свой марш в застывшем сиянии последнего аккорда, как слуга прошептал у меня над ухом, что Кардинал хочет меня видеть.

Я нашел его в одной из двух небольших комнат, которые на вилле обычно отводились для него. Он писал письмо, стоя перед высокой конторкой, — за такими работали клерки Диккенса и средневековые переписчики. Позже мне довелось читать многие из этих знаменитых писем, никогда не бывавших менее четырех страниц. Исполненные самой отменной учтивости, тонкого остроумия и живости, эти письма от начала и до конца являли собой непревзойденные образцы глубокой авторской мысли. О чем бы он ни писал: отказывался от приглашения, рекомендовал прочитать книгу Фрейда о Леонардо или давал советы по поводу откармливания кроликов, — всегда, начиная первое предложение, он уже знал последнее, и всегда, подобно моцартовской мелодии, все его письмо выливалось на бумагу единым дыханием и совершенство деталей служило совершенству целого. Он усадил меня в кресло, к которому, казалось, сходилась весь бывший в комнате свет, тогда как сам выбрал место в тени.

Он начал с того, что слышал, будто бы мне предстоит встретиться с сыном донны Леды. Я был смущен и непроизвольно запротестовал, объясняя, что не могу ничего гарантировать, что я был вынужден согласиться и что я оговорил за собой право отказаться в любой момент.

— Позвольте, я расскажу о нем, — приступил он. — Наверное, прежде всего я должен сказать, что я некоторым образом старый друг этой семьи и ее исповедник вот уже много лет. Итак, Маркантонио. Что же вам сказать о нем?.. Вы видели его?

— Нет.

— Мальчик исполнен добрых задатков. Он... он... он исполнен добрых задатков. Может быть, в этом его беда. Вы говорите, что еще не встречались с ним?

— Нет.

— Это хорошо. Он был прилежным учеником. У него была куча друзей. Особенно он был хорош на церемониях и вел себя сообразно своему происхождению — на приемах при дворе, в Ватикане. Мать его отчасти беспокоилась по поводу его юношеской легкомысленности. Я полагаю, она вспоминала его отца и хотела, чтобы мальчик поскорее избавился от подобной наследственности. Донна Леда вовсе не относилась к категории глупых женщин. Она была весьма довольна, когда он обзавелся своей собственной квартирой на Виа-По и держал это в тайне.

Кардинал задумался, не зная, что сказать дальше, возможно, удивленный собственной неловкостью. Вскоре, однако, он собрался с мыслями и сказал:

— И вот после этого, мой дорогой, что-то произошло. Мы вначале думали, что ему неплохо бы приобрести обычную опытность, свойственную молодым людям Рима его происхождения, и на этом остановиться. Но ему не захотелось останавливаться. Возможно, вы скажете: почему бы молодому человеку не иметь пять или шесть романов?

Я изобразил на лице затруднение в ответе на этот вопрос. На самом же деле я был настолько ошеломлен этими самыми «пятью или шестью» связями у мальчика шестнадцати лет, что больше ничего на своем лице изобразить не мог. Я очень не хотел выказать своего изумления и постарался движением бровей показать, что мальчишка мог бы и сам считать свои связи до того числа, которое ему понравится.

— Маркантонио, — продолжал священник, — водит компанию с юношами, которые старше его. Больше всего на свете ему хочется походить на них. Вероятно, вы видели подобных молодых людей на скачках, в мюзик-холлах, даже при дворе или в кафе и в холлах отелей. Они носят монокли и американские шляпы; все их разговоры — исключительно о женщинах и своих победах. Эх... наверное, мне лучше начать сначала.

Последовала пауза.

— Первое, так сказать, «посвящение» — пожалуй, здесь следовало бы употребить более сильное выражение — он получил на озере Комо. Он часто играл в теннис с очень милыми девочками из Южной Америки, богатыми бразильскими наследницами, которые, я подозреваю, уже были, так сказать, «посвящены». Я предполагаю, наш Тонио вовсе не намеревался идти дальше обычных комплиментов или невинного поцелуя в качестве приза. Но вскоре он — и я думаю, неожиданно для себя самого — оказался с одной из них... ну, нечто вроде рубенсовской необузданности. Допустим, в этом он подражал своим старшим друзьям. Но от подражаний дело перешло к удовлетворению своего тщеславия. Что было предметом тщеславия, то стало удовольствием. Удовольствие переросло в увлечение. Увлечение обратилось в манию. Вот в каком он сейчас положении.

Последовала еще одна пауза.

— Вы, должно быть, слышали о том, что иногда нарушение рассудка у душевнобольного сопровождается неестественным развитием его интеллекта; то есть он становится хитрым и скрытным, он пытается скрыть свою болезнь. Я тоже считаю, что развращенные дети проявляют чудеса изворотливости, достойные усилий лучших криминалистов, пытаюсь утаить от родителей свои проделки. Вы слышали об этой теории? Так вот в каком положении оказался Маркантонио. Что тут можно сделать? Кое-кто, возможно, скажет, что надо позволить ему продолжать и ждать, когда ему это надоест. Может быть, в этом есть смысл, но мы хотели бы попытаться еще раз. Особенно теперь, после того как вся эта история получила дальнейшее развитие.

В тот момент я был абсолютно не расположен к «дальнейшим развитиям». Заключительные аккорды Шопена приглушенно доносились из гостиной. Но у меня не доставало решимости быть настолько неучтывым, чтобы встать, распахнуть дверь, откланяться и пожелать хозяйке доброй ночи. Долгой доброй ночи — погрязшему в пороке маленькому принцу и его маме.

— Да, — продолжал Кардинал. — Его мать наконец решила, что его следует женить. Она не верила, что в мире есть хоть одно семейство, брачные связи с которым польстили бы ее самолюбию, но она все-таки подыскала невесту из старинного рода и с некоторым состоянием и ожидала лишь меня для окончательного решения. К несчастью, братья этой девушки знают Маркантонио. Они из той же компании, о которой я уже

рассказывал. Они не дадут согласия на свадьбу до тех пор, пока Маркантонио не исправится, ну хотя бы на несколько недель.

Тут на моем лице, должно быть, перемешалось все: и ужас, и веселье, и раздражение, и изумление, — потому что Кардинал в растерянности умолк. «Никогда не знаешь наверняка, что именно способно так поразить американца», — вероятно, подумал он.

— Нет-нет! Простите меня, святой отец. Этого я не смогу! Нет, я не смогу.

— Что вы имеете в виду?

— Вы, очевидно, хотите, чтобы я несколько недель ходил за ним как привязанный и принуждал его к воздержанию? Я не понимаю, что дало вам повод для этой мысли. Ваш Тонио вроде страсбургского гуся, которого вы хотите перед свадьбой наполнить целомудрием. Неужели вы не видите, что он?..

— Вы преувеличиваете!

— Извините меня за невежливость, святой отец, но даже вам не по силам такое чудо — повлиять на мальчишку. Вы сами не верите в то, что говорите. Вы не представляете себе, что такое воздержание.

— Напротив. Я очень хорошо представляю, что это такое. Или я не священник?

— Тогда почему бы не заставить мальчишку?..

— Но ведь *мы* — в *миру*!

Я засмеялся. Я воскликнул со смехом, который был бы оскорбителен, не будь он истерическим. «О, как я благодарен тебе, дорогой отец Ваини, — подумал я. — Я благодарен тебе за это слово. Как оно очеловечивает всю Италию, всю Европу. *Не надо противостоять стремлениям человеческой природы.* Я вышел из семьи, в которой царили совсем другие законы».

— Простите меня, святой отец, — наконец произнес я. — Я не могу продолжать разговор на эту тему. В моем положении я буду ужасным лицемером, если заговорю с мальчиком об этом. Но было бы вдесятеро ужаснее, если, говоря с ним, я бы знал, что мера его добродетели — месяц или два, не больше. Я думаю, аргументы здесь не нужны. Это дело совести любого из нас. Сожалею, но мне придется сказать мисс Грие, что я не смогу посетить ее подругу. Она уедет отсюда в половине одиннадцатого. Если вы позволите, я прямо сейчас отправлюсь к ней. Я думаю, она в гостиной.

— Не сердитесь на меня, сын мой. Наверное, вы правы. Кажется, я действительно не представляю себе этих вещей.

Едва я с видом решительного протеста вошел в гостиную, как навстречу мне поднялась княгиня д'Эсполи. Посредством телепатии, которую Каббала использует в своих интригах, она уже знала, что меня снова надо уговаривать. Она заставила меня сесть рядом с ней и безо всяких усилий, лишь малой толикой своего обаяния, секрет которого держит в тайне, перевернула мои намерения. В две минуты она убедила меня, что это будет самое естественное во всем свете, если я сыграю роль сурового старшего брата в отношении ее одаренного легкомысленного друга.

Словно по щелчку чьих-то невидимых пальцев, вошла мисс Грие.

— Добрый вечер, как дела? — сказала она, волоча ко мне по кафельному полу свои светло-коричневые одежды. — Вы не догадаетесь, кто меня везет. Я должна спешить. В двенадцать часов хор из Латерано будет петь у меня Палестрину. Вы, конечно, знаете эти мотеты из «Песни Песней»? Нет? Меня привез Маркантонио. Он обожает мощные автомобили, а его мать не покупает ему. Я дала поиграть ему свой. Вы можете пойти к нему прямо сейчас? Вам лучше надеть пальто. Вы любите ночные прогулки?

Мы вышли на дорогу, где за двумя ослепительными фарами приглушенно гудел мотор.

— Антонио, — позвала она. — Это друг твоей мамы, он из Америки. Не покатаешь ли его на машине с полчаса? Смотри не задави кого-нибудь.

Невероятно худой, с резкими чертами лица, маленький денди, вполне выглядевший на свои шестнадцать, с черными искрящимися глазами, чопорно кивнул мне из полуосвещенной машины. Похоже, итальянские принцы не имеют обыкновения вставать при появлении дамы.

— Ты не разобьешь мою машину и моего друга, Маркантонио?

— Нет.

— Куда ты поедешь?

Но он не озаботился выбором ответа, и ее вопрос утонул в реве двигателя.

Минут десять мы сидели в молчании, глядя на летящую в свете фар дорогу. После мучительной борьбы с собственным эгоизмом, уверенный, что ни о чем другом я и не мечтаю, дон Маркантонио предложил мне поехать за рулем. Услышав мой отказ, он успокоился и вцепился в рулевое колесо с почти сладострастным вождением. У него было тонкое чувство дороги; длинные спуски он проходил, если можно так сказать, *cantabilemente*³⁰, и объезжал булыжники в темпе скерцо. Очертания Альбанских гор выступали на фоне ночного неба под звездами, подобными рою золотых пчел, напоминая надменного Барберини³¹, который считает, что само небо — не что иное, как золоченая фамильная доска на двери его дома. Мы пронеслись мимо освещенных ферм, мимо какой-то деревеньки; магазинчик «Francobolo»³² сверкнул фонарем, осветив на мгновение стол и мужчин, играющих в карты. Многие бессонные души, должно быть, заворожились на своих супружеских ложах и вздохнули, взбудораженные нашим полетом. Скоро, однако, моему водителю захотелось поговорить. Он принялся расспрашивать меня об Америке. Сможет ли нормальный человек прожить хотя бы минуту на Диком Западе? Есть ли там города больше Рима? На каком языке говорят в Сан-Франциско? А в Филадельфии? Где наши спортсмены готовятся к Олимпийским играм? Разрешают ли публике при этом смотреть на них? Что я знаю об этом вообще? Я отвечал, что у нас в школах и колледжах не рассказывают о спортивной форме и тренировках. Тогда он сообщил мне, что нанял рабочих, которые построят на вилле Колонна трек, гаревую дорожку с барьерами и ямами, с навесом и огороженными углами. И что мы с ним будем упражняться там каждое утро. Он мечтал пробегать неслыханно длинные дистанции за невероятно короткое время. Он строил планы о том, что под моим руководством он начнет пробегать по миле каждое утро и будет прибавлять полмили каждый день. Он будет тренироваться весь год, чтобы участвовать в Олимпийских играх, которые будут проходить в Париже в 1924 году.

В моей уставшей голове уже не было места удивлению после всех этих мадемуазель де Морфонтен с их Экуменическими советами, Кардиналов с их толерантностью, мисс Грие с их кукурузными хлопьями, и я не спрашивал себя, что могли думать каббалисты о претензиях принца. Но я полагаю, что они испытали немалые угрызения совести, когда услышали, что этот хилый и опустошенный дух заявляет о своей кандидатуре на звание мирового рекорсмена в беге на длинные дистанции. Не без ехидства я начал обрисовывать жертвы, на которые он будет обречен своим честолюбием. Я сказал, что придется сидеть на диете, рано ложиться и рано вставать. Он слушал меня с нетерпением. Тогда я сказал ему о том самоограничении, которое предстоит лично ему, и тут же с нарастающим

³⁰ Превосходная степень от *итал.* *cantabile* — плавно.

³¹ Имеется в виду Маффео Барберини (1568 — 1644), Папа Урбан VIII.

³² «Francobolo» — магазин, где продают сигареты, напитки и другие акцизные товары.

воодушевлением, с почти религиозным пылом он поклялся, что будет блюсти абсолютное воздержание. Я был поражен, увидев свой успех. Я думал, что мне предстоит долгие душеспасительные беседы. Я сказал себе, что он должен спасти себя сам; он должен собрать все силы, которые защитят его от его же слабости; он сам надеется найти в спорте избавление.

Когда мы возвратились на виллу, там все еще слушали музыку. Все глаза устремились на нас, едва мы вошли в зал, и я понял, что в настоящий момент Каббала, отложив в сторону все дела, была озабочена только одним — спасением сына донны Леды.

Вернувшись в свою римскую квартиру, я нашел там несколько писем от мистера Перкинса из Детройта, процветающего фабриканта. Мистер Перкинс, впервые попав в Италию, хотел осмотреть достопримечательности. Не было в Италии ни одной частной коллекции, на осмотр которой у него не было бы припасено рекомендательного письма; не было ни одного ученого, сколь угодно занятого, у которого бы он не добился согласия быть его чичероне; аудиенция у самого Папы, которой он добился, была, по его словам, «сверхспециальная»; археологические раскопки, еще не открытые для широкой публики, уже стали объектом его разочарованного любопытства. Кто-то из секретарей в нашем посольстве обмолвился, что я уже обзавелся кое-какими итальянскими знакомствами, по поводу чего, собственно, он и прислал свои письма, в которых просил меня показать ему настоящих итальянцев. Он хотел посмотреть, какие они у себя дома, и полагал, что я ему должен их показать. Подумайте только, настоящих итальянцев! Я тут же написал ему, что все итальянцы, которых я знаю, — это полуфранцузы или полуамериканцы, но при этом заверил его, что если только я в самом деле встречу настоящего аборигена, то немедленно приведу его к нему. Я приписал еще, что уезжаю из города и вернусь через неделю или две и тогда постараюсь чем-нибудь ему помочь.

На вилле большую часть дня я проводил с Маркантонио. Его желание тренироваться ничуть не убавилось и даже росло день ото дня по мере роста нагрузки, хотя временами он позволял себе отступить от режима тренировок. Было далеко за полдень. Уже красный закат переливался в синие сумерки, когда мы вошли в большие ворота парка. Сразу за воротами начиналась дубовая роща, за которой на целую милю протянулся открытый луг с несколькими суетливыми овцами. За лугом стояла сосновая роща и протекал ручей; дальше были фермы и стаи голубей над ними, возвышенная терраса с водопадом и, наконец, просторная галерея под навесом, где Черная Королева таскала свои запыленные саржевые подола по дорожкам из толченого ракушечника. Но нам некогда было любоваться оранжево-коричневым фасадом виллы, украшенным завитками и гирляндами, осыпающимися под действием солнца и дождя, или знаменитым фризом с женскими фигурами из поэм Ариосто, напоминающим о днях, когда Папа Сильвестр Левша содержал здесь свою академию и создавал свою сонетную форму. Все, что я мог сделать, — это скрывать свое удовольствие от того факта, что должен жить при свечах в комнатах, которые, хотя и стали источником для сотен плохих копий на Лонг-Айленде, все же были здесь предметом тайного стыда владельцев виллы. Идеалом хозяев был заурядный отель на Эмбанкмент³³; они чуть ли не извинялись за огромные комнаты, в которые препроводили меня и оставили в одиночестве, потрясенным великолепием древности, до того часа, пока Маркантонио не постучал в дверь и не позвал меня на ужин.

За столом меня представили донне Юлии, единокровной сестре Маркантонио, и еще одной особе, какой-то дальней кузине, которая все время молчала и сомкнутые губки которой, напоминавшие рубин, ни разу не ше-

³³ Эмбанкмент — улица в Нью-Йорке.

вельнулись, чтобы выразить ее мысли. Как и всех девушек ее происхождения, донну Юлию за всю ее жизнь не оставляли одну более чем на полчаса. Все ее дурные наклонности безжалостно подавлялись при первых же признаках и находили себе единственное убежище в ее глазах. Ей ничего не давали читать, кроме комедий Гольдони и «I Promessi Sposi»³⁴, но она имела представление об уголовном мире, и когда замужество наконец принесло ей свободу, она стала играть в этом мире свою роль. Донна Юлия была не очень хорошо сложена, почти безобразна и обладала высоким самомнением. Она все время хранила молчание, мною совершенно не интересовалась и была занята главным образом тем, что ловила быстрые взгляды своего брата, чтобы торжествующе и многозначительно сверкнуть в ответ глазами.

Спать на вилле Колонна ложились рано. Но Маркантонио, которого забавляло мое прямодушие, любил задержаться у меня в комнате и поболтать часок-другой за стаканчиком марсалы. Без сомнения, его мать, замечая эти его визиты ко мне через полуоткрытую дверь своей спальни, с удовлетворением заключала, что я читаю ему лекции по гигиене. Но в действительности, особенно в конце недели, мы главным образом были заняты составлением диаграммы, которая демонстрировала, как день ото дня растут результаты юного чемпиона.

Это произошло, кажется, в конце недели, когда во время одной из наших поздних бесед его добродушие неожиданно сменилось злобой. Дали себя знать недельные труды отнюдь не изящного рода. Его ум снова заполнили прежние образы его страстей, и ему хотелось говорить об этом. Вероятно, он понял, что спорт — не его стезя. Его честолюбие томилось недоступностью спортивных вершин, и он заменил их каталогом призов, которых он добился в другой сфере. Он вспомнил своих бразильских приятельниц под сводами увитых плющом беседок на озере Комо. Он рассказывал, как вернулся в Рим с абсолютно другими взглядами, потрясенный тем, что «забава» оказалась гораздо проще, нежели он ожидал. Мир открылся ему с неожиданной стороны. Оказалось, что в действительности ни мужчины, ни женщины никогда всерьез не занимаются тем, что они делают видимым образом. Напротив, они живут в мире тайных предложений, согласий и отказов! Теперь он понимал, что означает движение бровей у официантки и щетка в руках горничной, когда она отпирает ему дверь. И совсем не случайно ветер кидал ему в лицо длинный конец газового шарфика встречной дамы, когда он выходил из отеля. И друзья его матери совсем не случайно проходили длинным коридором мимо гостиной. Он открыл, что все женщины не просто дьяволицы, но хуже их; он постиг наконец истину, что единственный смысл жизни заключается в стремлении к ним. «Это совсем не сложно!» — воскликнул он и пустился в описание подробностей и тонкостей. Он болтал о том, что все их горничные в этом отношении одинаковы, и тут же уверял меня в бесконечном разнообразии их темпераментов. Затем он принялся хвастать своим абсолютным к ним равнодушием и своим превосходством над ними; он видел их слезы, но ничуть не верил, что они действительно страдают. Он не верил, что у них есть душа.

К тем эпизодам, которые действительно имели место, он прибавлял другие, которые придумал сам. К своему знакомству с одним весьма любопытным уголком Рима он прибавил питавшую его воображение с четырнадцати лет собственную мечту о мире, в котором никто не думает ни о чем, кроме наслаждений. Изложение этой фантазии длилось около двух часов. Я слушал его не произнося ни слова. И тут произошло что-то такое, от чего его возбуждение вдруг пропало. Своими рассказами он хотел произвести на меня впечатление. Конечно, они меня впечатляли; но я понял,

³⁴ «Обрученные» (итал.). Роман итальянского писателя Алессандро Мандзони (1785 — 1873).

что ни один американец не в состоянии помочь ему. И все-таки я помнил, что главное — это не показывать ему своих чувств. Вполне вероятно, он сам неожиданно осознал, по крайней мере мне так кажется, что эти его приключения не вызывают зависти; возможно, эта хлынувшая из него грязная волна воспоминаний вдруг разбудила в нем чувство собственного достоинства; возможно, это всего лишь его искренность искала выхода — во всяком случае, у него еще достало силы на вспышку чувства. «Я ненавижу их всех. Я ненавижу все это. Этому всему нет конца. Что мне делать?» — крикнул он вдруг и упал на колени рядом с кроватью, лицом в матрас, судорожно вцепившись руками в покрывало.

Врачам и священникам часто приходится слышать крик: «Спасите меня! Спасите меня!» Мне было суждено услышать это еще от двух душ, прежде чем миновал год моей жизни в Риме. Кто теперь скажет, что это большая редкость?

Уже не помню, что я говорил ему тогда. Все, что я помню, это, кажется, мои торжественные мысли, возникшие по этому поводу. Одному лишь Богу известно, какие новоанглийские теологи снабдили меня своими безжалостными советами. Я весь вдруг пропитался пуританством и, чередуя психиатрическую терминологию с лексикой, почерпнутой из Пятикнижия, показал ему, где ошибался его разум. Не стремясь напугать его, я указал ему, в чем он походил на своего дядю Маркантонио. Я открыл ему глаза на то, что даже его увлечение атлетикой было симптомом его разлада, как и то, что он был не в состоянии остановить свою мысль на общечеловеческих интересах; и все, что бы он ни думал и ни делал: шутил, занимался спортом, впадал в амбицию, — под всем этим скрывается его похоть.

Моя маленькая проповедь, сверх всяких ожиданий, возымела действие, хотя и по вполне объяснимым причинам. Во-первых, она обладала энергичностью и искренностью, всегда привносимыми пуританином в осуждение тех поступков, которые он не может себе позволить, — не латинская демонстрация жестов и слез, но холодная нордическая ненависть, которая ошеломляет средиземноморское воображение. Далее, все мои слова уже имели своих смутных двойников в мальчишеской душе. Это распутник, а вовсе не проповедник наиболее достоверно представляет себе идеал непорочности и трезвости, потому что он дорого за это заплатил, доллар за долларом, в раскаянии, сознательно, бесповоротно. Вот почему раскаявшийся грешник был Христу дороже несогрешившего праведника. Все мои слова находили ответ в душе Маркантонио. Кроме того, я почувствовал, что он вошел в состояние столь глубокого упадка, что страдал от малейшего прикосновения, повторяя и повторяя: «Мне никогда не выбраться. Я погиб». Позднее я узнал, что накануне у Маркантонио был период религиозного невроза и что он целый год надеялся на перемены к лучшему как в круге своего общения, так и в преодолении своего падения. Но восторг от видимой легкости первого очень скоро обманул его надежды в отношении последнего, а безнадежность последнего вновь привела его к мукам первого. Наконец, в состоянии абсолютного цинизма, все чаще и чаще утверждаясь в своем падении, он несколько месяцев не ходил к мессе. Все эти причины и объясняют столь сильное действие моей краткой карающей речи. Он корчился на полу, умоляя меня замолчать, рыдая и клянясь исправиться. Но желая внушить ему прочное убеждение в невозможности возврата к прежнему, я продолжал свои инвективы. У меня еще оставался запас негодования. Теперь он уже кричал, катаясь по ковру, зажав руками уши и обращая ко мне свое мокрое от слез лицо, искаженное мольбой и ужасом. Я замолчал. Он замер, злобно вглядываясь в меня, дрожа от перенесенного потрясения, затем кинулся прочь.

На следующее утро он казался бледным и каким-то бесплотным, просветленным своими внутренними мыслями. Он ходил неслышно, с какой-то воздушной застенчивостью. Ни он, ни я ничем не напоминали друг

другу о сцене накануне вечером, но его быстрые взгляды в мою сторону через теннисную сетку говорили о покорности и уважении, которые были скорее надоедливы, нежели нахальны. После двух сетов мы побрели к нижнему фонтану, и здесь, растянувшись на полукруглой скамейке, он проспал три часа. Кажется, я просидел рядом все утро до самого полдня, и солнце пронизывало насквозь его тонкое тело в очаровательной расслабленности, которая наступает после истерических припадков. Мне казалось, что, пожалуй, я не удивлюсь, если увижу, что мы с ним преодолели его беду. Я грезил наяву. На ровной террасе ниже галереи слышался стук садовых ножниц; с поля, где стояло древнее капище, похожее на барабан, украшенное полустершимся фризом, доносились крики нескольких студентов-богословов (они проводили свои летние вакации на небольшой казенной вилле неподалеку), игравших в футбол, их рясы путали им ноги; с опушки соснового леса долетали громкие голоса двух пастушков, сидевших и увлеченно вырезавших что-то из палок, в то время как стадо у них за спиной незаметно убрело почти до самой дороги. Фонтан перед нами пел на разные голоса, рычал своими бьющими струями, тонко позванивал шариками воды, разбивающимися о дно бетонной чаши, барабанил брызгами в стенки и шумно журчал всем тем, что падало сверху в самый нижний бассейн. Непрочитанный Тацит лежал у меня на коленях, пока мои глаза следили за ящерицей, мелькавшей своей бриллиантовой в солнечных бликах спинкой среди гравия дорожки, и за ее испугом, когда неожиданный порыв ветра изогнул тонкую пелену висевшей над фонтаном воды и накрыл нас ее прозрачным флером. Гармония света и шума воды, стрекот букашек и воркование голубей на усадьбе за моей спиной — все это слилось в гамму, напоминавшую те трепетные переплетения звуков, которыми современные композиторы так любят уснащать свои оркестровки и в терциях проводить через всю тему гобоями с их мелодичным мычанием.

Пока я там сидел, мне принесли записку. Мистер Перкинс из Детройта прослышал, что я на вилле, и из какого-то загородного отеля звонил мне по телефону, к счастью, не имея возможности добраться до меня лично на этой самой недоступной из вилл Италии. Я написал на обороте его послания, что трагический случай, произошедший в семье хозяев виллы, не позволяет мне пригласить его сюда немедленно.

Горячие лучи утреннего солнца набирали силу, и после обеда мы оставались дома. Маркантонио и донна Юлия пытались научить меня неаполитанскому диалекту, в то время как молчаливая кузина сидела тут же в глубокой прострации. Но вскоре мое обучение перешло в изысканную и едкую склоку между моими учителями. Она протекала большей частью в быстрых, исполненных ненависти междометиях и на малопонятном для меня арго. Я могу только догадываться, что означали ее язвительные слова, но видно было, что он проигрывает. Он весь налился злобой. Дважды он пускался бегом вокруг стола, чтобы ударить ее, но она была наготове, тут же отпрыгивала в сторону и жгла его своими магнетическими глазами. Наконец он крикнул мне, чтобы я зашел с другой стороны и придержал ее, и тут они, словно семилетние дети, сцепились в сватке с искаженными злобой лицами, стараясь перекричать один другого.

После обеда война возобновилась. Герцогиня дремала у камина; кузина что-то невнятно бормотала подле нее. А двое детей сидели в полумраке, обмениваясь оскорблениями. Мне было неловко наблюдать их курьезную свару. Я попросил меня извинить и ушел спать. Последнее, что я, уходя, видел, — это удар, который Маркантонио в бешенстве нанес по плечу собственной сестре, а последнее, что я слышал, — это тремоло ее издевательского смеха в тот момент, когда они сцепились друг в друга в углу, на антикварном сундуке резного дерева. Я рассуждал сам с собой, поднимаясь по ступеням в свою комнату: конечно, я понимаю, что происходит. Моя бедная больная голова за эту неделю была просто переполнена его эротическими рассказами. Конечно, я понимал эту

смесь их любви и ненависти, выражаемую в его ударах, которые были не что иное, как дикие, варварские ласки, а ее смех — полуоскорбление-полупризыв.

Но я понимал не все.


Около трех часов ночи меня разбудил Маркантонио. Он был одет. Он вылил на мою сонную голову бурлящий поток слов, в котором я ничего не понял, за исключением одной лихорадочно повторяемой фразы: «Вы были правы!» Потом он вышел из комнаты так же внезапно, как и пришел.

Каким же все-таки счастливым был всегда мистер Перкинс! Вот и теперь, когда он, призвав на помощь всю свою решительность истого американца, ворвался наконец в эти недоступные обыкновенным смертным парковые аллеи, — что мог его ангел-хранитель приготовить для него, чтобы он увидел знаменитую римскую виллу во всей ее римской красе? Конечно же, старинная итальянская вилла предстала его глазам во всей своей роскоши, с мертвым принцем, лежащим среди розовых кустов! Когда Фредерик Перкинс из Детройта перелез через стену в кристально чистом воздухе раннего утра, он обнаружил у своих ног тело Маркантонио д'Аквиланера, четырнадцатого принца и четырнадцатого герцога родов Аквиланера и Столи, двенадцатого герцога Столи-Росцелина, маркиза Бугначчо, Теи и т. д., и т. д., барона Спенестра, Гран-Спенестра, синьора Сциестринских Озер, патрона байли³⁵ Ордена св. Стефана, а также принца Альтдорф-Готенлинген-Крабургского, курфюрста-управителя Альтдорф-Г.-К., принца Священной Римской империи и т. д., и т. д.; гофмейстера двора Неаполитанского короля, лейтенанта Ватикана и отпрыска Папской династии, — лежащее среди розовых кустов, холодное вот уже три часа тело Маркантонио с мокрым от росы револьвером, стиснутым в правой руке.

Перевел с английского А. Гобузов.

(Окончание следует.)

³⁵ Байли — должностное лицо, представлявшее королевскую власть или знатный род.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

Архимандрит АВГУСТИН (НИКИТИН)

*

РЕПОРТАЖ ИЗ 37-го ГОДА...

О Бирме в России не пишут ничего или почти ничего. Не до этого — разобраться бы с собственными проблемами. А между тем нынешний бирманский режим удивительно напоминает ту модель, которая бытовала в нашей стране более семидесяти лет и чье влияние было ослаблено в августе 1991 года.

Ключевые события новейшей истории Бирмы на два-три года опережают российские. Никита Хрущев был еще у кормила, когда в ночь на 2 марта 1962 года в Бирме произошел военный переворот. Власть в стране взяла бирманская армия во главе с генералом Не Вином. Кремлевский заговор 1964 года возглавил Леонид Брежнев, выдававший себя за верного ленинца, хотя В. И. Ульянова он видел только в гробу. Не Вину повезло в большей степени: в 40-х годах он был соратником лидера национально-освободительного движения в Бирме — генерала Аун Сана, убитого заговорщиками в 1947 году.

Бирманский «Брежнев» — генерал Не Вин безраздельно управлял страной с 1962 по 1988 год, доведя экономику не только до застоя, но и до края пропасти. Этим воспользовались «реакционные (они же «прогрессивные») элементы» из армейских кругов. В июле 1988 года в стране произошел кровавый переворот, и к власти пришли «гэкачеписты» во главе с генералом Со Маунгом. За шесть недель было расстреляно более трех тысяч человек — противников военного режима. А еще больше брошено в тюрьмы.

Вскоре изменилось и название страны: Бирма стала Мьянмой — по названию самой многочисленной народности, населяющей государство. Играя на патриотических струнах населения, хунта объявила, что прежнее название — Бирма — связано с эпохой английского колониализма. (Замечено, что когда в кабинет вселяется новый начальник, то первое, с чего он начинает свою деятельность, это перестановка мебели. Если бы только этим все и ограничилось...)

В условиях военной диктатуры, когда пресса оказалась под контролем, а страна находится вдалеке от нефтяных и прочих стратегических путей, голос оппозиции едва ли был бы услышан. Но все же нашлась мужественная женщина, которая заставила мир обратить внимание на преступления режима. Это была Су Чжи — дочь легендарного Аун Сана, отдавшего жизнь за независимость Бирмы. В своих заявлениях, переданных на Запад, она разоблачала правящую хунту, за что в июле 1989 года и оказалась под домашним арестом. В 1990 году правители аннулировали результаты состоявшихся в мае того же года всеобщих выборов, победу на которых одержала Национальная лига за демократию, возглавляемая Су Чжи. Тогда же в тюрьмы были брошены сотни активистов оппозиции.

Но мировая общественность «взяла на контроль» судьбу Су Чжи. В январе 1991 года Европейский парламент наградил ее премией Сахарова за свободу мысли; в октябре того же года она была удостоена Нобелевской премии мира. В июне 1992 года ЮНЕСКО присудила Су Чжи премию Симона Боливара.

Но, несмотря на поддержку Запада, Су Чжи продолжала находиться под арестом. Правительство США обратилось к демократическим странам с призывом бойкотировать военную клику, которая усилила свое влияние после смерти «умеренного» Не Вина, скончавшегося в 1992 году в возрасте восьмидесяти одного года. Но страны АСЕАН — Таиланд, Индонезия, Малайзия,

Сингапур, Бруней — воздержались от бойкота, считая, что США вмешиваются в «домашние дела» их региона. Китай также восстановил торговые отношения с Бирмой — ведь режимы в этих странах родственные и расстрелы там дело привычное. Военная помощь хунте также продолжает поступать из Китая.

В апреле 1992 года глава бирманских «гэкачепистов» — старший генерал Со Маунг, известный своей жестокостью, ушел в отставку с поста председателя Госсовета. Его сменил другой генерал — Тан Шве. Но каких-то послаблений во внутренней политике не произошло. Если в 60-е годы бирманские правители слепо вели страну по социалистической тропе, используя Советский Союз в качестве поводыря и дойной коровы, то после 1991 года мы стали для них «учителями наоборот». И нынче, оправдывая репрессии, представители военного режима ссылаются на распад Советского Союза и гражданскую войну на его бывших окраинах.

* * *

О том, чтобы в нынешнее время посетить Бирму, казалось, не может быть и речи. Российско-бирманские отношения практически свернуты: закрыто представительство ИТАР — ТАСС, РИАИ, культурный центр; прекратил свои полеты «Аэрофлот», торговля на нуле. Можно себе представить воображаемый разговор с работником бирманского консульства в Москве. Он проходил бы в лучших традициях застоя.

- Можно ли получить визу?
- Основание?
- Хочу посмотреть Бирму, пардон, Мьянму.
- Это не основание.

И это при том, что соседний Таиланд широко распахнул свои врата для россиян. Плати двенадцать долларов за визу — и гуляй по стране три месяца! И вот возникает мысль: а что, если попытаться проникнуть в Бирму из Таиланда?

...Разворачиваю карту Бангкока. Бирманское посольство расположено на Сатхон-Нуа-роуд, в одном квартале от российского. Добравшись до столичного ЦПКиО — парка Лумпини, вышагиваю мимо целой череды посольств. Здесь обосновались дипломаты из Германии, Франции, Малайзии, Австралии, Мексики, Саудовской Аравии, Сингапура. Наконец справа потянулся глухой забор, за которым спряталось российское посольство. Крошечное тюремное окошечко в железных воротах закрыто. Но нам сюда и не надо: прошли те времена, когда нужно было получать в посольстве разрешение на выезд в «третью страну»: могли посоветовать, а могли и не посоветовать. И это неудивительно — ведь мы жили в стране Советов...

Через несколько десятков метров такой же глухой забор. За оградой, судя по карте, должно находиться бирманское посольство. Но на воротах нет даже тюремного глазка, нет и кнопки звонка. Как же хунта общается с внешним миром? Ради любопытства заглядываю в щель между воротами и стеной. Изнутри на меня уставился охранник в военной форме и в белой каске. Его глазки беспокойно бегают, но он не произносит ни слова. Немая сцена длится полминуты; спрашивать стража о чем-то бессмысленно: он «при исполнении».

Еще раз осматриваю ограду и замечаю неброскую вывеску на английском языке: «Резиденция военного атташе. Вооруженные силы. Военно-морской флот. Авиация». Вот в чем дело! Значит, посольство где-то впереди. Маленькая, бедная страна, а содержит большой участок земли и особняк — резиденцию атташе. По сути дела, армия дублирует деятельность бирманского посольства — значит, ее влияние в стране весьма велико. Даже в российском посольстве эти службы не «почкуются».

Здание бирманского посольства действительно рядом, и вот открываю дверку, ведущую в визовый отдел. Но она тут же захлопывается перед носом, а охранник показывает на часы: прием документов только что закончился. Узнав, что запоздалый посетитель из России, он качает головой и с сомнением смотрит на краснокожую паспортину. Чувствуется по всему, что мне «не светит».

Но надежду терять не стоит — есть еще одна возможность попасть за «бамбуковый занавес». Возвращаюсь в свой отель — он расположен в районе

Банг-Лум-Пхо, который кишит западными туристами. Здесь множество частных туристических контор с броской рекламой. На плакатах слоны, пальмы, обезьяны, развалины древних храмов. Самодельные объявления с надписью: «Визы, авиабилеты». Перечень стран: Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Вьетнам. И где-то сбоку карандашом: «Мьянма».

Молодая тайка (молодайка), улыбаясь, кивает головой: да, помогаем с визами в Бирму. Две фотографии, двадцать пять долларов — и нет проблем. «А это ничего, что?..» — робко начинаю, показывая на советский герб, красующийся на обложке паспорта. Ведь, строго говоря, уже нет такой страны и могут быть сложности. Но молодайка объясняет: вы не просите визу, вы ее покупаете. На всякий случай она набирает номер своей подруги — секретарши бирманского посольства и после краткого разговора-консультации восклицает: «Ну проблем!» Да... и здесь все куплено, все схвачено. Режим обнищал, стране нужна валюта, и хунта вынуждена пускать кого ни попадя из забугорья — лишь бы тратили доллары.

Оплачиваю стоимость визы и авиабилета. Из Бангкока раз в неделю в Рангун летает самолет бангладешской компании «Биман». Цена билета предельно низкая и россиянину вполне доступная. Отдаю паспорт (он пойдет в посольство) и взамен получаю ксерокопию его первой страницы — на случай, если какому-то сумасшедшему полицейскому придет в голову остановить иностранца и «устанавливать личность». Но здесь стражи порядка нормальные, и в королевстве все спокойно.

Через день получаю в агентстве билет на самолет и паспорт с бирманской визой: иностранцам разрешено находиться в стране до четырех недель. Простившись с суматошным Бангкоком, отправляюсь в аэропорт на автобусе прямо от туристической конторы. Плачу за проезд. Кондуктор вручает билет, на котором оттиснута дата: 15 декабря 2537 года. В Таиланде летосчисление ведется по буддийскому календарю. Бирма тоже буддийская страна. Значит, записки о пребывании в гостях у хунты можно озаглавить «Репортаж из 37-го года».

В бангкокском международном аэропорту объявляют регистрацию на рейс до Рангуна — Дакки. Несколько бородатых мусульман в белых облачениях заканчивают намаз в специально отведенной выгородке. Мы встречаемся с ними уже в «накопителе», и здесь их теперь гораздо больше, все они в белых шапочках. Они летят к себе домой, в Дакку. В самолете, набитом разношерстной публикой, моими соседями оказываются два студента — японец (слева) и немец (справа). Не хватает только итальянца для оси «Рим — Берлин — Токио». Впрочем, это уже другая история, и молодым туристам вряд ли знаком зловещий смысл этого сочетания.

«Бисмилля ар-рахим...» — «Во имя Аллаха милостивого...» — раздается в динамиках, и далее следует объявление о правилах полета. «Ас-салам алейкум...» — так начинается второе приветствие, обращенное к пассажирам; это что-то типа «Мы приветствуем вас на борту нашего самолета...». Полет проходит по четвергам, и это не случайно: в пятницу мусульмане стараются быть в мечети и дома, в кругу семьи.

Полет занимает всего пятьдесят минут — над Андаманским морем и заливом Мартабан, так что есть время просмотреть свежие газеты. Нас, сидящих в одном ряду, в первую очередь интересуют сообщения о последних событиях в Бирме. Пунктуальный немец («сосед, что справа») вынимает из своего «досье» вырезку из нью-йоркской «Ньюсуик» за сентябрь 1994 года. Читаем о том, что в Бирме прошла передача по национальному телевидению и она была весьма необычной. Лауреат Нобелевской премии мира Аунг Сан Су Чжи, более пяти лет находящаяся под домашним арестом, мирно беседовала с двумя высокопоставленными правителями Бирмы. Встреча проходила в армейском доме для гостей. Сорокадевятiletняя Су Чжи впервые лицом к лицу встретила с главой военной хунты генералом Тан Шве и его ближайшим соратником генерал-лейтенантом Кхин Ньюнгом. Хотя тема их беседы осталась в тайне, гораздо важнее то, что такая встреча состоялась¹.

¹ 10 июля 1995 года Высший совет военного режима, установленного в Бирме в 1988 году, объявил об освобождении лауреата Нобелевской премии мира Аунг Сан Су Чжи. (Примеч. автора.)

По мнению дипломатов, это первый шаг на пути к освобождению Су Чжи и смягчению репрессивного политического курса. Вне всякого сомнения, военные власти устроили все это с целью поднять свою репутацию на международной арене, укрепить связи с зарубежными странами, открыть путь иностранным инвестициям, которые необходимы Бирме.

Показываем заметку с этими строками нашему японскому соседу. Прочитав абзац, он качает головой: не будем торопить события! Тем временем на табло вспыхивает надпись о ремнях: идем на посадку. Что ждет нас в аэропорту Мингаладон?

Надо честно признаться: автоматчиков со злобными овчарками мы здесь не видели. Паспортный контроль недолог, но зато на таможене туристов ждет неожиданный сюрприз. Иностранцев практически не досматривают — ведь можно отпугнуть редких гостей! Но зато предлагают в обязательном порядке обменять по триста долларов на особые сертификаты — «эй-фи-си», без права обратного обмена при возвращении из Бирмы. Система предельно простая: хунта изымает твердую валюту у гостей сразу, при въезде, а на руки выдают «гэкачепистские» «павловки». Туристы обязаны расплачиваться сертификатами, и только ими, за гостиницу, за железнодорожный транспорт.

Автобусов до Рангуна «нет и не будет», и вот первые расходы: чеками нужно платить за «интуристовское» такси. Рядом с шофером — молодой парнишка «от конторы»: он отвечает за размещение «объекта» в гостинице. Но он тоже человек, со своими слабостями. И, пользуясь тем, что шофер не понимает по-английски, он откровенно вводит новичка в курс дела.

У каждого туриста обязательно будут повседневные мелкие расходы. Не будешь же совать чек неграмотной старушке за чашку риса? Значит, неизбежно встает проблема обмена чеков на местные кьяты. Чеки эти «двухэтажные»: один сертификат приравнивается к одному доллару, что по реальному курсу составляет сто кьят. Но если наивный иностранец по душевной простоте пойдет в банк, то ему за один чек выдадут по официальному курсу всего шесть кьят. Но среди туристов «дурных нема», и они меняют чеки у частных лиц: в гостиницах — у дежурных, на улице — у «чекистов»: чеки на кьяты. В каждом городе есть валютный черный рынок, где чеки стоят еще дороже — до ста двадцати кьят. Но «белый человек», европеец, туда не пойдет — он слишком выделяется среди местных. Этим и пользуются посредники, делая свой маленький бизнес. Власти с подобным нарушением уже практически не борются — зачем отпугивать иностранцев? Ведь курс черного рынка отражает реальную «температуру» экономики, так для чего наказывать «градусник»?

Но при совершении сделки местные менялы напускают на себя таинственный вид и делают испуганные глаза, так что иностранцы чувствуют себя вовлеченными в рискованное занятие. Но не следует торопиться и менять большую сумму, ведь за гостиницу и железнодорожные билеты нужно расплачиваться только чеками, а цены для иностранцев завышены в несколько раз. Это один из сравнительно честных способов «отъема денег», как говаривал великий комбинатор.

Разместившись в гостинице, обмениваю несколько чеков на кьяты у моего нового знакомого, и он, откланявшись, уходит. И то, что через несколько минут в номер не ворвалась «спецмилиция» с понатыми для изъятия незаконно обмененных кьят, радует. Значит, «неладно что-то в Датском королевстве» и вряд ли здесь «маразм крепчает».

Чтобы «закрыть тему» с финансами, следует немного забежать вперед. При посещении всемирно известных памятников, таких, как пагода Шведагон в Рангуне, ряда пагод в Мандалае и других городах страны, с иностранцев взимают плату — от трех до пяти чеков-долларов. А в городе-памятнике Пагане, где множество древних пагод и к каждой сторожа не приставишь, «курортный сбор» составляет десять чеков и должен быть уплачен при вселении в гостиницу. А уж перед отлетом из Рангуна взыскать шесть чеков в качестве «сбора за пользование аэропортом» — святое дело. Так что принудительный обмен в аэропорту вроде бы приличной суммы не должен огорчать: даже при самом экономном образе жизни чеков едва хватит на три недели, а в начале четвертой снова придется менять «зеленые». Впрочем, трех недель

вполне достаточно, дабы объехать те немногие места, что разрешено посещать иностранцам.

В буклете, который вручают туристам, решившим навестить Бирму, перечислены города, в которых гостям можно побывать без особого разрешения. Таким образом, хунта действует по принципу «запрещено все, что специально не разрешено». И немногочисленные туристы, прибывшие в Бирму, двигаются по одному маршруту с небольшими вариациями: Рангун — Паган — Мандалай — озеро Инле — Баго — Рангун. Существует еще один небольшой перечень мест, которые можно посещать, но в сопровождении «гида». В остальных случаях от чиновников, ведающих разрешением, можно услышать твердое «нет». И уж конечно, речи быть не может о приграничных районах, о «золотом треугольнике» на стыке границ Бирмы, Таиланда и Лаоса. Так что подчас одни и те же лица мелькают в поезде, у пагод, на пароходе, и мы здороваемся как старые знакомые.

Но режим постепенно смягчается. Так, еще два года назад виза для туристов давалась только на две недели. На сегодня, имея визу, иностранцы могут провести в Бирме четыре недели. Из тюрем выпущены многие политзаключенные, в городах отменен комендантский час, и можно спокойно разгуливать по вечерним улицам.

С утра начинается осмотр Рангуна (в местном произношении — Янгон). На набережной Иравади (главной бирманской реки), как и по всему городу, обилие прилавков с яблоками из Китая. Это значит, что налажена приграничная торговля, несмотря на призыв к международному бойкоту страны. Вверх по Иравади буксиры тянут танкер «Шкотово». Так что зря стараетесь, господа империалисты! — как написали бы раньше в советской прессе. Вам не запугать блокадой маленькую (обязательно — маленькую, чтобы со слезой) Бирму (Кубу, Никарагуа и т. д.)!

Поднимемся вверх по Шведагон-стрит к знаменитой Золотой пагоде. Вот блеснула ее вершина, и лучше смотреть прямо на нее, а не по сторонам. А все потому, что справа расположена воинская часть и на вас с подозрением поглядывают из проходной КПП. За оградой этакое «хозяйство полковника Петрова» в бирманском варианте. А если все же нейдет, то безопаснее обратить свой взор налево — туда, где виднеется шпиль католического храма Сент Джонс (св. Иоанна). Днем, в жару, церковь закрыта, но при входе, в тени колокольни, кипит жизнь. Здесь устроилась группа солдат, которые увлеченно режут в карты. При виде посетителя они начинают с серьезным видом копаться в своих автоматах: вроде бы они отвечают за охрану «культового здания».

Шведагон-стрит раскалена от солнечных лучей. Навстречу идут юноши в юбках-лоунджи. Они черпают воду из пузатых глиняных кувшинов, выставленных для прохожих, и жадно пьют ее. Под ногами вертятся ребятишки, их лица разрисованы танакой — желтым порошком, приготовленным из древесной коры. Считается, что танака должна защитить их от болезней. Но никто из людей не вечен — даже сильные мира сего. Перед самым входом на территорию, прилегающую к Шведагону, — мавзолей павших борцов, где покоится прах генерала Аун Сана и его соратников. На стенах усыпальницы эмблемы: серп и молот, голубь мира, раскрытая книга — источник знаний. Неподалеку от sklepa — двое солдат, сидящих в тени под деревом. Это караул, но явно не почетный, а так, для порядка. Солдат лениво машет рукой: можно подойти поближе, посмотреть... Но паломников манит нестерпимым блеском Золотая пагода — Шведагон...

Поднявшись по лестнице, ведущей на вершину холма, иду по одному из уголков Шведагона — и не верю своим глазам. На обелиске, облицованном с четырех сторон мемориальными досками, одна из надписей сделана на русском языке. Читаю: «На этом месте 3 декабря 1920 года встретились и дали клятву бойкотировать закон 1920 года о статусе Рангунского университета следующие 11 студентов рангунского колледжа...» Далее следуют имена молодых борцов с британским империализмом. Откуда русская надпись в цитадели буддизма? Наверное, в 60-х годах кто-то из посольских подсуетился...

Находясь в Бирме, часто вспоминаешь Джорджа Оруэлла. И не только потому, что, находясь на службе в британской армии, этот английский писатель несколько лет пробыл в Бирме. Тот, кто читал его книгу «Скотский ху-

тор», помнит лозунги-перевертыши, которые были в ходу среди восставших животных. Схожие призывы можно прочесть в сегодняшней Бирме, благо что они исполнены как по-бирмански, так и по-английски. Вот один из них: «Татмадав и народ в вечном единстве. Тот, кто попытается разделить их, — наш враг».

Загадочное слово «татмадав» в словаре искать бесполезно. Это что-то свое, самобытное. Память подсказывает сходное заклинание: «Народ и партия едины». Быть может, татмадав — это партия? В этом слове чудится что-то зловеще-магическое: «там-там удав». Но вот еще одна надпись — на здании магазина, и снова слово «татмадав». Если магазин государственный, то, быть может, татмадав — государство? Снова на ум приходит похожее слово, но уже из Мандельштама: «Век — волкодав».

Однако с татмадавом особенно часто приходится встречаться у ворот воинских гарнизонов — они неизбежно попадают на пути в любом городе. Вот еще несколько образцов оруэлловской «пятиминутки ненависти»: «Татмадав и народ, сотрудничайте и уничтожайте всех, кто вредит единству!» Или еще короче: «Уничтожайте все деструктивные элементы!» (Вспоминается экспозиция в одном из провинциальных краеведческих музеев: горняцкий подарок XVII съезду партии — шахтерский топорик с лезвиями, заточенными с обеих сторон. И надпись на металле: «Руби правый уклон! Руби левый уклон!»)

Так что пришлось выяснять насчет загадочного татмадава в разговоре с доброжелательным управляющим одного из отелей. И оказалось, что татмадав — это и не партия, и не государство, а «вооруженные силы». Впрочем, и на такой случай у нас имеется свой лозунг: «Народ и армия едины». Примечательно, что лозунги эти, по идее, должны быть внутренним делом режима, и, казалось бы, зачем их вывешивать на двух языках? Зачем выносить сор из избы? Видимо, по принципу: «Бей своих, чтобы чужие боялись!»

Эти лозунги особенно часто встречаются в Мандалае — втором по величине городе страны, прежней бирманской столице. Главная достопримечательность Мандалая — бывший королевский дворец, укрытый за длинной кирпичной стеной. Это не Запретный город, как в Пекине, а полузапретный. Местные жители могут свободно посещать свой «Кремль», а с иностранцев за вход взимается пять чеков-долларов. Военная полиция бдительно охраняет все входы и въезды на территорию «зоны». Из ворот то и дело выезжают грузовики, набитые автоматчиками. Такое впечатление, что присутствуешь при военном перевороте. Впрочем, режим должен постоянно демонстрировать народу свою силу; в армии это называется ИКД — «имитация кипучей деятельности».

Утром направляюсь к Мандалайскому холму, украшенному множеством пагод. Грузовики свозят тысячи людей на ремонт дороги вокруг стен королевской резиденции. Человеческий труд здесь дешев, и рабочая сила в избытке. Социалистический эксперимент продолжается прямо на глазах. Невольно вспоминаю загадку: «Кто были основоположники социализма — ученые или практики?» Правильный ответ таков: «Практики, потому что ученые сначала попробовали бы на собаках».

Не проходит и часа, как эта тема получает неожиданное продолжение. Чадающая выхлопными газами таратайка останавливается у тротуара, недалеко от подножия Мандалайского холма. Два собаколова выскакивают из кузова и, подманив куском мяса бездомного пса, набрасывают на его шею веревку. Собака отчаянно борется за свободу, но профессионалы знают свое дело. Один из них втаскивает несчастное животное в кузов и подвешивает на штырь, торчащий сбоку. Веревка сдавливает шею, пес молотит воздух лапами, лязгает зубами. Второй собачник сует ему в пасть палку, и, щуря узенькие глазки, оба бесстрастно наблюдают за агонией пса.

Но это жестокие профессионалы, а в целом бирманцы-буддисты мягкие по натуре. В том, что они и при диктатуре остались доброжелательными к иностранцам, довелось убедиться в городе Баго (бывшем Пегу). Для туриста здесь много интересного, но сложно передвигаться — ни вещей не оставить в камере хранения на вокзале (здесь ее просто нет), ни плана города не сыскать, да и расстояния здесь приличные. Выручает молодой человек с мотоциклетным шлемом в руках. Назовем его Минт. Он приглашает сесть на мотороллер и отправиться на осмотр города. А посмотреть в Баго есть на что. Тут и самая высокая в Бирме позолоченная пагода Шве Мандав, а при ней —

металлический гонг в два человеческих роста, быть может, тоже самый большой в стране. На другом конце Баго — огромный ангар, похожий скорее на вокзал. Под этим навесом — гигантская статуя лежащего Будды, ее длина 55 метров, высота — 16 метров, а «улыбка Будды» растянулась на 2 метра 30 сантиметров.

Минт знает в городе каждый уголок, и вот мы идем в сторонку, под навес, окруженный пальмами. Здесь морщинистая старушка извлекает из-под полы бутылку и наливает нам в стаканы мутную жидкость. «И здесь гонят!» — возникает чисто российская мысль. Но это просто легкое вино из кокосового сока. Да и закуска подходящая — не огурец, а орешек. После двух стаканов Минт начинает жаловаться на жизнь, а точнее — на режим в стране. Он говорит о массовых расстрелах 1988 — 1989 годов, о том, что экономика в упадке — ее душит контроль чиновников. Вести можно только мелкую торговлю, большое дело развернуть не дадут.

Минт зарабатывает на жизнь продажей развесного чая, который он развозит по окрестностям Баго. За границу пускают один раз в три года (трудности с валютой), и он дальше Малайзии и Сингапура нигде не бывал. От безысходности Минт даже поступил на один из факультетов местного университета. Но заканчивать его он не торопится, ведь, получив диплом, он должен менять профессию, работать больше, а получать меньше. При прощании приглашаю его в гости, в Россию. Но Минт только грустно улыбается...

В Рангун из Баго возвращаюсь на тряской колымаге, точнее — джипе, до отказа забитом пассажирами. Перед въездом в Рангун знакомая ситуация: пост ГАИ. Бирманская столица на особом положении, и при въезде в город военный патруль проверяет документы у местных пассажиров. Интересно, что иностранцев автоматчики просто игнорируют. Видимо, опасаются прежде всего своих.

Путешествие по Бирме подходит к концу, слишком мало в стране «открытых» городов. Правда, есть еще несколько мест, которые «полузакрыты». Это значит, что любопытствующий турист должен заказать гида в столичном «Интуристе» и в его сопровождении посетить интересующие его места. Но это требует нескольких дней ожидания, согласования. Да и дорого обойдется содержание «ока государева». Вот и возникает мысль: а что, если попробовать режим на прочность — пощекотать нервы военной диктатуре? А цель достаточно заманчива: хочется побывать в Патэйне (при англичанах — Бассейн) — городке, расположенном в дельте реки Иравади, в одной из ее многочисленных протоков.

Патэйин — режимный город, он закрыт для одиночных путешественников. Но вдруг повезет? В стране Советов попытка иностранца взять билет в «закрытый» город окончилась бы прямо у кассы: ему бы туда ехать «не по советовали». Поэтому не надо высовываться раньше времени. Прошу пожилого бирманца, стоящего за билетом на пароход до Патэйна, купить еще один — для меня. Не проходит и пяти минут, как квиток на руках, и вот уже начинается посадка на пароход, похожий на уют.

В суматохе проскальзываю на борт и располагаюсь на верхней палубе среди прочих пассажиров. Здесь нет ни спальных полоков, ни мест для сидения. А просто на палубе цифрами отмечены места, где ночью пассажиры улягутся на своих циновках, человек по сорок в четыре ряда. Перед самым отправлением парохода меня все же «засекли»: дежурный помощник просит спуститься вниз, к старпому. Тот в растерянности: по всем правилам, «нелегала» нужно снимать с рейса. Но у меня на руках законный билет, а о разных запретах иностранец может и не знать. На вопрос о цели поездки отвечаю: «Пишу о вашей стране». Это помогает. Немного помявшись, старпом просит предъявить паспорт и переписывает «установочные данные», после чего совершенно откровенно говорит: «Я должен сообщить о вас в „секьюрити“» (бирманская Лубянка). Но на борту парохода оставляет, и это уже большая удача. Значит, режим все-таки ослабил свою хватку.

Ночь на пароходе проходит спокойно. Рядом со мной на циновках разместились на ночлег солдаты с автоматами. Они едут к месту назначения. Утром, по прибытии в Патэйин, — очередная проверка документов. Чиновник вежлив и ни слова не произносит в упрек — почему, дескать, без гида. Инте-

ресуется, что буду делать в Патэйне. И тут, чувствуя слабинку местных властей, небрежно заявляю, что намерен продолжить путь до прибрежного городка Чаунгта, который тоже значится в «закрытом» списке. Чиновник переглядывает со своим коллегой, который сидит сбоку.

Неизвестно, чем бы закончилась эта немая сцена, но, на мое счастье, в контору «секьюрити» доставляют новых клиентов. Еще на пароходе всеобщее внимание привлекал высокий немец, ехавший в Патэйн с законной гидшей (гейшей?). И вот эта пара входит в контору, где разбирается мое «дело». Немцу, как и мне, предлагают заполнить анкету. Вилли — строитель из Бонна. Решил провести отпуск в далекой экзотической стране и на расходы не скупится. Оказываясь, он тоже хочет попасть в Чаунгта. Чиновники переговариваются между собой, потом совещаются с «гейшей», кивая в мою сторону. Дескать, присмотри и за этим, бесхозным... Итак, разрешение получено и надо торопиться на автобусный вокзал — ведь время приближается к полудню и как бы не пропустить рейс на Чаунгта. Для бывалого путешественника найти нужный автобус не представляет труда, но на сей раз это не автобус, а крытый армейский грузовик с повышенной проходимостью. В кузове уже набилось порядочно народа, но еще есть свободное местечко. Моих попутчиков что-то не видно, наверное, где-то на подходе. И вот когда грузовик, развернувшись, выезжает за ворота автовокзала, вижу растерянную парочку. Вилли, понадеявшись на гидшу, не стал торопиться, теперь же они должны остаться в Патэйне. Мест в кузове уже нет, а наш рейс единственный: первый и последний. Так что снова впереди неизвестность, без всякого прикрытия.

Через час грузовик останавливается у переправы через реку. Кто-то тычет в спину через зазор в борту грузовика. Но это не дуло автомата — оно было бы более жестко. Это солдат сует анкету, которую нужно заполнить чужеземцу. На заставе уже «в курсе»: к ним направляется иностранец, — видимо, сообщили по телефону. Грузовик ждет парома, и пассажиры выбираются из кузова, чтобы немного размяться. Отдаю анкету автоматчику и вместе с пассажирами направляюсь в придорожную харчевню. Чашка зеленого чая будет весьма кстати, и, чтобы укрыться от палящих лучей солнца, бреду к хижине, стоящей у берега. Оказывается, это КПП; вот и начальник — он что-то говорит по полевому телефону, а в руках у него моя анкета. Перехватив взгляд, вымученно улыбается: дескать, служба есть служба.

В Чаунгта прибыли перед закатом. С размещением, как всегда, проблемы. Хотя здесь несколько отелей, иностранцам разрешается останавливаться только в одном из них, за соответствующую (точнее, не соответствующую) плату. У остальных гостиниц «нет лицензии».

Пока светло, можно пройтись вдоль побережья. Не каждый день гуляешь по берегу Бенгальского залива... Что же здесь секретного, из-за чего сюда ограничен въезд иностранцев? Из «объектов» лишь рыбацкие лодки, хижины, пальмы да мангровые заросли. Но, как говорится, «режим — основа лагеря», и если снять солдат с дорожных застав, то их начальникам, чтобы не лишиться окладов, придется придумывать себе новые должности. Ведь по той же причине в Советском Союзе было «закрыто» все Приполярье — от Мезени до Анадыря. И не только для иностранцев, но в первую очередь для своих.

На следующий день весь путь проходит в обратном направлении. На переправе снова проверка, но в облегченном варианте. Новый солдат, заступивший на дежурство, сверяет по замусоленной тетрадке данные моего паспорта; путается, водит пальцем по строкам. Вместе находим графу «прибыл — убыл», и он вычеркивает мое имя с радостной улыбкой, как школьник, решивший арифметическую задачку. Машет рукой на прощание — режим еще не превратил этого деревенского парня в хмурую «функцию».

В Патэйне до отправления парохода добрых два часа, и можно погулять по городу. Но где оставить котомку? Иду в «контору на набережной», где за меня «отвечают». Хотите, чтобы все было под контролем? Извольте: пусть рюкзак у вас и постойт как в камере хранения. Налегке можно быстро пройтись по набережной из конца в конец. В центре города — высокая пагода, закрытая бамбуковыми щитами: ее готовят к позолоте. Там, где начинаются мусульманские кварталы, на набережной белеет мечеть. При подходе к ней видны бетонные

надолбы, вроде тех, что устанавливаются против танков. Правда, эти надолбы «сложены» в одном углу, но при необходимости их можно быстро развернуть в ряд.

Почему такое внимание к мусульманам? Дело в том, что режим считает их потенциальными противниками, пятой колонной. На территории, примыкающей к соседней Бангладеш, бирманская хунта преследовала мусульман, запугивала их, с тем чтобы они не «отложились» от Бирмы в пользу исламской Бангладеш. (Ведь прецедент уже был: в 1826 году англичане силой присоединили территорию Аракан к Британской Индии.) В результате гонений около двухсот тысяч мусульман в 1992 году бежало в Бангладеш, после чего такие исламские государства, как Малайзия и Индонезия, выразили протест и осудили действия бирманской хунты.

Проследуем далее по Стрэнд-роуд — так называется парадная набережная Патэйна. Но «сегодня мы не на параде»: здесь происходит то, что не следовало бы видеть непрошеному гостю. Около берега, подальше от лишних глаз, разгружается баржа, наполненная крупными камнями. Молодые грузчики — их около двадцати человек — облачены в одежду из грубой мешковины. С борта баржи за их работой наблюдают несколько военных. Взвалив на плечо тяжелый камень, грузчик медленно бредет по трапу и, подойдя к куче глыб на берегу, с облегчением сбрасывает свою ношу.

Живой конвейер работает слаженно; от палящего солнца грузчики прячутся под соломенными шляпами с широкими круглыми полями, причем шляпы тоже одинаковые. Все это настораживает наметанный российский глаз. Подхожу ближе, пытаюсь выяснить: не зеки ли это? Но у солдат вроде бы нет винтовок, да и на берегу никакой охраны. Однако, внимательно присмотревшись к «челкашам», вижу, что у них на ногах... кандалы! Почти незаметные издали на фоне серой мешковины, они охватывают ноги заключенных, а цепи, идущие от них, сходятся на поясе и замыкаются на металлическом кольце. Вот почему нет ни автоматов, ни овчарок: все равно далеко не убежишь.

Бирманский ГУЛАГ, как и советский, «перековывает» заключенных: у двух-трех человек кандалы отсутствуют, — видимо, близится конец срока. Да еще один пожилой зек тоже без кандалов — скидка на возраст, иначе ему будет трудно выполнить норму. Кто они: уголовники, политические? Ведь не подойдешь к ним или к охране с таким вопросом! И так уже военные смотрят с подозрением. Подходит бдительный страж и пытается заглянуть через плечо в блокнот. Ну, смотри на путевые каракули! И что дальше? Офицер ходит вокруг дерзкого иностранца, как кот вокруг горячей каши, но не решается что-либо предпринять. Ведь команды не было! Попробуй тронь иностранца, да и как с ним общаться, если тот «уйдет в сезонанку» и прикинется, что не понимает по-английски? Ведь и так ряд стран объявил Бирме бойкот из-за нарушения прав человека в стране. Это тебе не местного жителя метелить сапогами в дежурке... А вообще-то интересно, как согласуются кандалы с международными обязательствами, ведь существует перечень минимальных требований по обращению с заключенными.

Однако не будем дразнить гусей. Продолжаю путь по набережной мимо книжных развалов. Чего тут только нет среди подержанных книг! И буддийские трактаты, и курс по астрологии, и руководство по «долгосрочному прогнозированию», а проще говоря — советы для гадания по ладони. А вот до боли знакомые лица: монголоидный профиль вождя (местные художники тут явно перестарались) и внизу факсимильная подпись: «Ульянов (Ленин)». С обложек глядят Хо Ши Мин, Горький и другие основоположники социализма и соцреализма. Книги, покрытые пылью, не раз уцененные, никому не нужные...

В Рангун пароход прибывает по расписанию. Город готовится к празднованию Дня независимости (4 января). Вывешивают красные флаги с изображением шестеренки в углу. (Вот проведем, дескать, индустриализацию — и уж тогда заживем!) Гирлянды лампочек развешиваются по стенам официальных учреждений. Но вот слышится рев моторов, рикши и прочая мелочь испуганно жмутся к тротуару. Несколько грузовиков с зажженными среди бела дня фарами на большой скорости проносятся по припортовой

магистрала. Кузова машин открыты: в них плотно сидят заключенные. На большой скорости быстро не вскочить и не выпрыгнуть, да и про кандалы тоже нельзя забывать. На крышах кабин по три автоматчика. В случае чего, как говорится, «первый выстрел в голову — контрольный, второй — вверх, предупредительный».

Хочется уехать подальше от праздничной суеты, с ее лозунгами и хорошо организованным ликованием масс. Перебравшись на пароме через рукав Иравади, отправляюсь в путь по тряской и пыльной проселочной дороге в прибрежное селение Лекоко, куда «западникам» въезд разрешен. Дорога занимает несколько часов. Поселившись в бунгало (спецхижина для интуристов), предвкушаю, как на рассвете будет приятно выкупаться в море при восходе солнца.

Восход действительно прекрасен, но купания не получилось. Отлив обнажил вязкое дно — жирная черная грязь засасывает ноги по колено, а до воды еще несколько метров. С трудом выбравшись на берег, утешаюсь мыслью, что, быть может, грязь лечебная. Зато есть время на прогулку вдоль берега. Оазис из пальм быстро остался позади, и путь продолжается по пустынным полям. Через час ходьбы появляется деревенька. Ее лучше обойти стороной, чтобы не нарушить покой местных жителей. Но на обратном пути все же решаюсь пройти по деревенской улице.

Появление чужеземца со стороны моря производит большой переполох, как если бы американец возник в районе Балаклавы или Североморска. Да еще в день праздника, когда недруги страны особенно коварны... Конечно, с жителями прибрежного селения не раз беседовали люди «оттуда», и у них на сей случай есть инструкции. Но, по-видимому, такое ЧП первое на их памяти. Ведь немногочисленные «западники», посещающие Лекоко, потягивают свое пиво на верандах под пальмами, и в такую даль забраться им не придет в голову.

Местный дед Шукарь, в резиновых шлепанцах, соломенной шляпе и длинном изодранном пиджаке, пристраивается к залетному гостю и сопровождает его по деревне вроде почетного караульного. Поравнявшись с местным сельсоветом — хижина из бамбука на сваях, — он приглашает войти внутрь. Из вежливости принимаю приглашение, ведь отказ может обидеть. В «кабинете» уже ждет председатель, сделавший по особому случаю «режимное» лицо. Английского никто из них не знает, что-то говорят мне на своем. Отвечаю по-русски, произнося первые пришедшие на ум слова. Результат достигнут — тупиковая ситуация, как нельзя лучше подчеркивающая абсурд происходящего. Сельский голова руками чертит в воздухе прямоугольник — дескать, предъяви документы. Мое право — понять это по-своему. Вынимаю из авоськи «Русскую мысль» и сую ему в руки. Хочешь почитать газету? Читай!

Сельская общественность просовывает головы сквозь прорехи в стенах хижины, наблюдая за тем, как «ихний Нагульный» ошарашенно вертит в руках газету. «Установить личность» не удалось, и пора кончать комедию. С улыбкой забираю газету и, поблагодарив всех за гостеприимство, выхожу на улицу. Начальник в растерянности, но задержать незнакомца «до выяснения» не решается. В сопровождении толпы ребятишек покидаю деревеньку и направляюсь в сторону своей, с персональным бунгало. Общественность толпится у околицы и смотрит вослед.

В советском приграничье в таких случаях на заставу посылали связного, чтобы сообщить «зеленым фуражкам» о подозрительном незнакомце. Здесь же тропа одна, все на виду, да и не сразу сообразишь. А если плыть на лодке по морю вдоль берега, то ветер нынче встречный и не выгребешь. Телефона в деревне нет, а передавать сведения, как в Африке, барабанной дробью здесь не умеют. В общем, праздничный день омрачен.

Но не прошло и четверти часа, как послышались тревожные крики чаек. Мимо меня, усердно нажимая босыми пятками на педали, проносится мальчишка-велосипедист. Возможно, он выполняет спецзадание и потому для конспирации старается даже не смотреть в мою сторону. Да... И в мирной жизни есть место подвигу для бирманского Павлика Морозова...

* * *

Подходит время прощания с многострадальной Бирмой. На попутной машине добираюсь до аэропорта. Последние полкилометра от развилки иду пешком и вижу то, что было скрыто в темноте при въезде в страну три недели назад. Международный аэропорт — это «головная боль» любого режима. За несколько сот метров до здания аэропорта путника встречает металлический забор с проездом для машин. Он охраняется автоматчиками, а на ночь его наглухо закрывают. Увидев иностранца, солдаты машут: проходи! ведь любая диктатура боится не чужих, а своих. Тут же размещаются бетонные здания казарм. Чувствуется, что дело поставлено серьезно. Еще один автоматчик — на подходе к зданию аэропорта. Он не машет рукой, а просто кивает, разрешая просочиться в зал отлета.

У стойки регистрации встречаю несколько знакомых лиц, ведь всем нам было разрешено «колыхаться» по одному и тому же замкнутому маршруту, с небольшими вариациями. Супружеская пара из Франции в затруднительной ситуации. Хотели поехать на юг Бирмы, но в Рангуне выяснилось, что необходимо получить разрешение, а для этого нужно ждать неделю. А через неделю как раз кончится виза. Такая вот арифметика. Решили уехать на неделю раньше и провести время в Таиланде. В конце концов и для них нашлось в самолете место, а страна недосчиталась валюты, столь необходимой казне. Но ничего не поделаешь: режим есть режим. Местных пассажиров почти нет, да и в аэропорту пустынно. Ведь если все будут ездить взад-вперед, пропадет чистота эксперимента и никакого социализма в отдельно взятой (за горло) стране не учинишь...

...Разбежавшись по взлетной полосе, бангладешский самолет отрывается от бетонки. Прощай Бирма! Вряд ли здесь еще доведется побывать. А с татмадавом — сложнее. Он вездесущ и сам найдет свою жертву. Этот татмадав держал под домашним арестом нобелевских лауреатов Су Чжи и Андрея Сахарова; в ГУЛАГе — будущего нобелевского лауреата Александра Солженицына; в немецком концлагере — нобелевского лауреата Карла Осецкого. Татмадав вынудил к внешней эмиграции нобелевского лауреата Бунина и к внутренней — нобелевского лауреата Пастернака.

Но в сегодняшней Бирме не все так безнадежно. Все же тамошнему татмадаву далеко до смежников — красных кхмеров, превзошедших в усердии своих марксистских наставников. И за «валюту» в Бирме уже не сажают, и на базаре военной формой можно приторговывать. И с буддистами заигрывают — отпускают средства на ремонт пагод.

...В ночь перед отлетом из Рангуна в гостинице погас свет — перебой с электроэнергией случился во всем квартале. Вскоре внизу включили автономный движок, и в комнате снова стало светло. Но уже не спалось — мешал лай еще не отловленных собак и стук движка. Но на душе было спокойно — точно знаю, что в эту ночь под его звук в подвале никого не расстреливали. Ведь нынче начало января и вроде бы 37-й год уже закончился.

Санкт-Петербург.

МАРК КОСТРОВ



ГЛУБИНКА

Отчет об одной командировке

Возле Чекунова попутка сломалась, а рейсовый автобус Холм — Новгород, как обычно переполненный, промчался мимо не останавливаясь. Я стоял, безнадежно голосуя, смотрел, как, поблескивая на солнце, бесшумно летели через дорогу осенние паутинки. А что, если пойти из командировки пешком? Взять и пойти. Ну не по асфальту, а параллельно ему, по берегу Ловати, она ведь тоже течет на север. К тому же теперь я человек свободный: мои блесны-вобблеры, брошки-жучки, берестяные грамоты и прочая из эпоксидной смолы продукция опять не заинтересовала местное начальство — провинция продолжала жить по своим неспешным законам...

В чекуновском магазине я купил пачку «Индиан-ти», колбасы, хлеба, расспросил о дороге и скоро шагал по странной узкоколейке: рельсы извивались, бугрились, дальше и вовсе проросли осинником толщиной в руку, а тропинка заструилась по низу невысокой насыпи. Идти было легко и радостно, несмотря на мои производственные неудачи.

Мне сказали, что, когда я пройду два километра, у реки будет Козлово. Я их прошел, но деревни там не оказалось. Вместо нее горбился огромный бугор с разбросанными по его лысине поленьями, а за ним, по тому берегу, обрывистому и гористому, карабкались ели и березки. Лишь кое-где в их темно-синей чаще краснели пятна осин. А под елями, под обрывом, текла, завихряясь водоворотами, светлая Ловать, и вокруг стояла невыносимо прекрасная тишина. Чтобы не потревожить ее, я осторожно стал спускаться к воде. Но камешки все равно срывались, выпархивали из-под ног, торопились меня опередить.

Выбрав тихую, тугую заводинку, я свесился с камня, чтоб напиться, увидел себя, нелепого — с портфелем в руках, в очках, при шляпе, и чуточку усомнился в своем мероприятии. Под моим отображением застыла стеклянная толща воды. Ночные холода сделали свое дело — все зеленые крупницы, вся плавающая тина элодей, рясок опустилась на дно толстым бурым ковром, и над ним, посверкивая боками в последних лучах заходящего солнца, ходили мальки.

Отступать, возвращаясь в Чекуново, не хотелось, идти вперед в неизвестность, на ночь глядя, тоже. Впрочем, к чему торопиться? Я решил развести прямоугольный костер. Плахи, подсушенные нежарким бабьим летом, занимались быстро, скоро я сидел посредине безветренного огневого пространства и попивал крепкий чаек, закусывая его чайной колбасой, поджаренной на прутике. Жестяную консервную банку я подобрал в пути, кусок проволоки тоже и теперь смотрел, как пламя быстро зализывало, коптило какую-то яркую иностранщину.

Много ли человеку для счастья нужно?.. Сидел, смотрел через теплый воздух, как колышутся, погружаясь в темь, окружающие леса, иногда гулко где-то внизу била рыба, я срывался с места и, перепрыгнув через костер, бежал за новой порцией чистой ловатской водички. И скоро только по отражениям звезд под ногами удавалось отличить берег от реки. Вскоре я растянулся на сухой траве, собранной под кустами.

Надо мною, словно огромным дуршлагом накрыли землю, висели дырочки звезд. Иногда одна из них, а то и две срывались с места и, превращаясь в очередной спутник Земли, не спеша уходили куда-то за горизонт. Осенние звездопады в природе уже давно не случались.

Мне долго не спалось, я думал о разном. Не стану утомлять читателя перечислением своих дум, тем более что он и сам сегодня погружен в размышления. Главное в том, что впереди у меня была целая ночь, и незаметно для себя я заснул, а когда проснулся под чьим-то взглядом, то увидел мужика. Среднего роста, со шукой на кукане, он задумчиво скреб реденькую щетину и переводил взгляд с меня, лежащего в лыжном костюме, с портфелем под головой, на выструганные мною плечики, на которых висела под деревом моя «аляска».

«Здравствуйте», — сказал я ему. «Здорово», — ответил он.

Мы закурили, познакомились, разговорились, и Саня Тепанов, бывший кузнец из Чекунова, затеял варку. Пришлось строгать ложку, а потом мы дружно хлебали уху, а когда выпили по второму березовому фунтику из Саниного фанфурика новгородского разлива водочки, и вовсе славно сделалось под начинающимся солнышком. Тепанов все доказывал мне, его, мол, тут не понимают: раньше на пенсию он мог купить только десять бутылок, да в очередях и талонных драках все это происходило. Теперь даже у них в поселке два ларька открылось, так что в любое время суток тридцать бутылок тебе преподнесут, да еще с поклонами.

Я слушал Саню, неторопливо разбирая шучью голову, которую он великодушно уступил мне. А он все советовал, чтоб я не шел просто так. Мол, меня не поймут (как не понимают его). Надо говорить в деревнях, что иду я по этому краю, дабы высмотреть дом на покупку.

Попроцавшись с Саней, с приятной тяжестью в ногах и желудке, побрел я далее, и как бы все в гору и в гору, хотя шел по ровному месту. Разноцветные листья, не переставая дрожать, все еще держались на кленах и липах, лишь под старыми ветлами споро падали, потому что то были старые, серебристые, как узенькие окуневые блесенки, листочки. Под этими ветлами, едва дорога выводила меня под них, стоял тихий ровный шум, будто шел снег.

Постепенно солнце разошлось, расстаралось окончательно, воздух прогрелся, и сквозь тишину было слышно, как синицы, цепляясь за вертикальность стволов, попискивают то там, то здесь. И везде, то в одну сторону, то в другую, расчесанная розами ветров, как гребешком, лежала пожухлая лесная осока.

Ноги мои постепенно оживились, и тогда сразу на километр вперед сделалось плоско. И я, увидев в стороне от дороги дом, свернул к нему передать от Сани привет Петру Карпычу. Рукастый старик с красным носом и венчиком пуха над лысиной привет принял, а так как он собирался на рыбалку, то пригласил и меня.

Хорошо было сидеть на сухом травянистом берегу, ощущать в руках шершавое, окоренное у конца рябиновое удилище и таскать, таскать скользких, как обсосанный леденец, плотвиц. За ужином я не спеша возился с ними и слушал, кем был и кем только не был Карпыч. Шкипером на тихвинках, дровянках и нефтянках, потом лесорубом в тайге, в войну служил в разведбате, после войны работал шахтером в Сланцах, а когда вырастил двух дочерей, позвал за собой жену в эту глушь — жена заплакала и не поехала. Он не стал, как Лев Толстой, дожидаться восьмидесяти — в шестьдесят лет сварганился сюда. Теперь ему семьдесят пять, и о своем решении он не жалеет. Пчелок завел, сажает картошку, а между ботвой до недавнего времени зарывал бутылочки с самогонкой от борцов за трезвость — ныне этого делать не надо. Теперь еще к нему и дочки с внуками приезжают на лето, — он же их каждый год заставляет по одной стене обоями оклеивать. Когда-нибудь доведут это дело до конца...

Закрепив в курятнике доброжелательного старика диод, чтоб пятнадцативатткa горела вечно и круглосуточно для повышения яйценоскости его двух хохлаток, я попросился на печку и на теплых голых кирпичках, грея свой правый, печеночный, бок, спал сладко и глубоко. А рано утром, когда шел от Карпыча далее, думал, что если вот так всю жизнь спать, пить умеренно только двойной очистки вино, закусывая его самодельным маслом, то будешь и ты жить долго-долго.

...Вокруг сверкал иней. Мороз подкрался неожиданно, ночью. Ледок хрустел под ногами, в лужах бултыхались белые пузыри, и подосиновик, прикрывшись ледяным куполом, от удара моей палочкой звенел и не хотел валиться набок. Постепенно изморозь оттаивала, превращаясь в капли, и от этого сверкала еще радужней и нестерпимей, выделяя матовые холодные тени отдельных дубов и сосен.

Следующая деревня после Ракова была Осетище. На околице, рука козырьком у глаз, стояла и ждала меня староверка Мария Игнатьевна. Слух, что идет по их дорогам интеллигент в очках, чтоб высмотреть избу, бежал по телефонной трассе впереди меня.

Мария Игнатьевна показала мне два дома. Один был обшит тесом и звался пятистенка, другой, постарее, весь оброс сладким необобранным крыжовником, а из баньки, что стояла над Ловатью, можно было прямо с обрыва прыгать в реку.

Потом я обедал. Чинно, не спеша старался лупить яички из самовара, поддевал вилкой рыжики, но особенно мне запомнился творог и сыр из него с тмином и безо всяких ГОСТов и санэпидстанций, как делали его предки сотни лет подряд.

Потом мы говорили с Игнатьевной о божественном. Но, увы, договорить нам не дали зашедшие в гости трактористы (молчаливый покорный муж Марии Игнатьевны был не в счет) и майор запаса из Риги, который вот уже несколько лет подряд приезжал сюда «пасть» коров. Подошла очередь Игнатьевны принимать пастуха на ночевку. «Не может жить без командирства!» — шутила про него хозяйка. Однако вскоре начались какие-то у трактористов разборки, выяснения отношений, и я попросился ночевать во второй дом, ну в тот, что со сладким необобранным крыжовником. Мне дали фонарь, ключ, и я ушел.

Удивительно приятно после городской скученности ходить одному по скрипучим половицам, по просторной горнице, по опрятной чистой избе, подготовленной к продаже. Горбилась моя тень по стенам, с рамочного многоместного фото, сумеречно поблескивая, глядели на меня бывшие обитатели, неярко светила «летучая мышь», и пахло яблоками напополам с пригорающим керосином.

Ночью я проснулся вдруг и долго не мог понять, где я. Наконец вспомнил. На полу лежали оконные квадраты зеленого лунного света, с покачивающимися в них ветками. Такая тишина стояла, что даже не с чем было сравнивать ее. В летнем лесу тишина звенит от множества мошек, в жилом доме она потрескивает, здесь же царил такая тишина, которую я готов был слушать без конца. Бывает, попадешь в сосновый лес после города, дышишь, дышишь — и не можешь насытиться. Так и здесь: я слушал, слушал тишь — и не мог не слушаться. Не скрипели половицы и бревна, не шуршал вездесущий древоточеч, свертки и крысы тоже ушли из избы, поскольку она продается. Дом затаился, соблюдая удивительную деликатность, ждал новых хозяев.

Я вышел на улицу. На улице, круглая, как старый лещ, во всю свою мощь сияла тоже старая луна. Два дня назад я провел всю ночь у костра — луны и в помине не было. А вот сегодня луна на небе. Почему? Откуда? Я до сих пор не могу понять такого странного явления. Возможно, возле многомашинных шоссе с их пронзительными фарами или в городах с белыми фонарями она уже больше не нужна и, поняв это, постепенно отмирает, сосредоточив свой свет где-то в глубинах России.

До сих пор у меня в памяти сохранились эта изба, эта ночная волшебная деревня и как я жадно и бесконечно долго, путаясь в колочках, ем, ем и ем этот сладкий необобранный крыжовник.

Утром, прежде чем покинуть эти ягоды, я слезал на чердак, нашел там старый патефон, все хотел завести на нем пластинку «Не нужен мне берег турецкий», но патефон не работал.

...Отказавшись от завтрака (живот был набит антициррозным крыжовником), я попрощался с гостеприимными старовеерами, но Василию Ивановичу было не до меня: он всю ночь просидел на стуле над уснувшими наконец на полу трактористами, изредка переворачивая их со спины на бок, чтоб те не захлебнулись. Иначе кто же деревне приволокет тогда хлыстов из леса, раскромсает их «Дружбой», привезет сено с потайных лужаек.

От Осетищ до хутора Гора, не в пример как от Карпова, шлось бодро, и когда сзади за моей спиной заклаксонила мощная «колхида» (как она прообразилась в эту глушь?), я не стал голосовать. Но мордатый шофер все равно оставался, да еще начал выговаривать мне. «Запомни, батя, — говорил он, — в наших краях завсегда пустят ночью даже в эти беспокойные дни и завсегда водитель притормозит, это у вас, в Новгороде, я прошлой зимой чуть концы не отдал среди пятиэтажек. Вокзал в два ночи закрыли на подметание, а в гостиницу и не суйся — такие там теперь цены».

Перед хуторком я сошел. На горе, на отшибе от подворья, стояла прочная дубовая скамейка. Прохожий, будешь проходить мимо — присядь на нее. К тебе тотчас подбегут две лайки, Стрелка и Белка; хлеба, пряников они не берут, ты просто так приласкай их, почеси за ухом и смотри, смотри с холма на округу.

Извиваясь, словно чешуя только что пойманного голавля, уменьшаясь перекатами до уклеечных блесок, сверкала подо мною Ловать. За рекой виднелся лес. Красные, желтые охристые пятна, и среди них с королевским достоинством высились величавые сосны, вроде как на полянках, в отдельности, не подпуская к себе лиственного мелколесья. И над всем этим — над горой, над хутором, над скамейкой, где я сидел, — висело синее дымчатое небо с тончайшими барашками облаков.

Вскоре из дома вышла еще не старуха, но уже на пределе лет женщина, руки под передником. Она спокойно сообщила мне, что у ее мужа «чирроз» печени, крыжовник и морошка ему уже не помогают, а жить ему врачи определили три месяца. Колдун из Березова дядя Митя велел поймать щуку и на живую в лоханке посмотреть, чтобы она на свое брюхо оттянула всю Иванову желтизну, но у Вани сил на это больше нет.

«Есть у вас спиннинг?» — спросил я. «Нет, — запечалилась Тоня, — сыновья приезжали летось и утопили его. Леска вот есть».

Голь на выдумки хитра — я намотал леску на свой жестяной котелок, нацепил самый тяжелый из вобблеров и стал беспокоить им воду. Леска соскальзывала с барабана, как с безынерционной катушки, я вручную укладывал ее на жестянку. Тоня ходила за мной следом по берегу — переживала, особенно когда одна щука сорвалась.

Рыбина, не большая, не маленькая, попалась под вечер. Тоня напустила воды в ванночку, Иван Горский (настоящей фамилии его не знаю, но раз живет на горе — все зовут его Горским), желтый, исхудалый, сел на табурет, подпер голову руками и замер. Я поужинал, а он все сидел и сидел перед ворочающейся в лоханке щукой. «Хочу пожить еще, хотя бы годочек, — сказал он, — чтобы по лесу с лайками побродить, чтобы пчелок весной от трутней чистить, чтоб Ленке грозить: племяш гербициды по кустам разбрасывает с самолета — я ему кулаком погрожу, он самолет в сторону бросит, — пчелки, как у других, не болеют поносом».

На другой день утром, когда я уходил от Горских, щука уже изнемогала, еле шевелила жабрами, а Иван все смотрел и смотрел на нее, спал ли он хоть чуточку — не знаю. И вдруг мне показалось, что Горский малость побелел, а щука — она часто преворачивалась брюхом кверху — пожелтела еще более. После чего по правилам колдовства ее надо было отпустить в Ловать, чтоб река растворила в себе болезнь человека.

С горы я шел вперед быстро, «колхидными» колеями, но они, оставляя на поле кучки красноватых удобрений, все слабели и слабели, пока не исчезли совсем. На лесной опушке кончился Холмский и начинался Поддорский район.

В лесу под дубами было хмуро, сумрачно и слышалось сплошное шуршание — лист после холодной ночи падал повсеместно, сплошь. Я робко и торопливо шагал по тропе, не обращая внимания на множество грибов, боясь, что тропинка вот-вот исчезнет. Вдруг она вильнула в сторону, вниз, и ноги сами собою вынесли меня на пляж. Пляж был совершенно пуст, его не касалась нога человека, лишь сорочки следы пятнали песок. Сороки где-то недалеко возмущенно стрекотали по деревьям. Мне вспомнилась на том же чердаке в Осетищах школьная тетрадка второклассника Бориса Веселова: «Маленьким птичкам много бед от сороки».

Я быстро развел костерок, и моя верная баночка снова стала служить мне по своему прямому назначению, потом, поудобней устроившись на деревном обрывчике, как на скамейке, я не спеша выгребал щепочкой мед из заговаренной стеклотары, что сунула мне на прощанье Тоня, смотрел, как медленно текла Ловать вперед, к Ильменю. Поковыряюсь в банке, потом смотрю на воду, на спокойное поверху, но одновременно мощное в толще воды течение. Как хорошо, что мне не удалось внедрить мою эпоксидку: у Марии Игнатьевны и Тони я оставил образцы крестиков и лампадок, блесны меня выручили вчера, ну а сувениры попытаюсь освоить в Новгороде.

За лесом четырьмя домами предстала передо мною деревня Березово. Во втором доме у реки (я уже знал) жил колдун дядя Митя, он заговаривал и от змеиных укусов, лечил от водки, но меня перехватил увешанный патронташами человек. «А, Костров, — сказал он. — А я вот поэт Смелов, печатался не только в районке, но и в областной прессе, небось слышал?»

Он и показал мне избу Ивановой. Через пыльные окна видно было, что дом не подготовлен к продаже: со стен свисали драные обои, пол был усыпан мусором.

Через год этот дом купит мой приятель, питерский прозаик Глеб Горышин. Хитрая Иванова выставит на стол бутылочку, плеснет в миску нежинских свежепросольных огурчиков, мы с ней торговаться не будем — отдадим за избу, сколько она запросит...

Дело было к полудню, я торопился дальше, с ходу проскочил Городню, откуда была родом Иванова, Блазнику, а когда надречный проселок совсем «отбился от рук», километров на двадцать отойдя от асфальта, сзади засигналила вторая долгожданная машина, и еще один шофер, тоже румяный и круглолицый, высунувшись из кабины, велел мне лезть в кузов.

В кузове уже пихались двое мальчишек, они шастали по заброшенным садам и теперь везли в свой Селеевский леспромхоз по рюкзаку полусладких яблок.

Я распластался на теплой насыпной пшенице и, вдыхая ее пыльный, чуть горьковатый запах, задремывал. От толчков меня прижимало к заднему борту.

Впоследствии, зимой и летом, я еще не раз пройду этими местами. Основательно познакомлюсь с Саней, с Марией Игнатьевной, мудрой старухой, Горский проживет девять месяцев, после чего Карпыч будет свататься к Тоне, и погибнет в огне поэт. Уснет с папирской в зубах, а когда соседи прибегут на пожар и попытаются вытащить его за ноги из горящей избы, то на поясе у Смелова начнут рваться патроны...

Если же вы когда-нибудь будете проходить этими все более и более отходящими в сторону от больших дорог колеями, то постоит над его могилой. Может, фанерная тумбочка с жестяной звездой еще жива? А если не торопитесь, то почитайте ему его же простые и негромкие стихи, он, наверное, и не знает, что их теперь напечатали уже в сборнике:

Мы сражались в Восточной Пруссии,
Глубоки были там снега,
Помню дом я под Старой Руссою,
Светлой Ловати берега,
Снегирей на кусту смородинном
В деревенской моей стороне,
И звала, и манила родина,
И тревожила душу мне.
Я опять у себя в Березове...
И в саду от зари до зари
Снова вижу, как с грудкой розовой
На кустах сидят снегири...

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ

*

БОГ И ТЮРЬМА

I

— Не поминайте лихом.

— Так ведь и не за что. До свидания.

Капитан помог мне нацепить рюкзак, и я вышел за ворота — быть может, те самые, через которые пять лет назад меня ввели в Лефортовскую тюрьму. Или другие, как случилось уже с Одиссеем... У дверей метро меня задержала милиция. Неудивительно: бушлат, в котором я вышагивал по Москве, выдавал меня без всяких сомнений.

В участке я предъявил дежурному справку об освобождении.

— Так вы по Указу? — Молодой лейтенант смотрел с нескрываемым любопытством.

— Наверно, — пожал я плечами.

Странно, однако, работала *система*. О таинственных указах мы и сами почти ничего не знали. Операция «Освобождение» была полностью нацелена на Запад, на эффект «там». Кажется, только в одной советской газете и появилось туманное сообщение, которое еще поди расшифруй.

Откуда же знает об «амнистиях»-помилованиях простой лейтенант милиции? В ГБ — мания секретности, там и собственным сотрудникам не давали подчас информации, нужной для работы.

— А можно спросить: что вам у нас не нравится? Если хотите сказать, конечно... — прервал мои размышления дежурный.

— Мне в коммунизме вообще ничего не нравится. Но сегодня мне и совсем легко ответить на ваш вопрос. Вот в газетах начали появляться мысли (очень мало пока), за которые несколько лет назад давали сроки. Так когда же ваш режим был прав: в восемьдесят втором или в восемьдесят седьмом, сегодня?

Мы поговорили еще немного, мне вернули справку.

— Послушайте, — сказал я. — А можно домой позвонить от вас? А то душки нету, а маме будет лучше узнать заранее.

— Только не говорите, что вы из милиции.

— Спасибо. Не скажу.

Я вернулся домой.

Через пару дней я впервые вышел в город. Привычный доарестный режим: окончено писание писем — и можно откуда-нибудь отправить их, заодно прогулявшись по ночной Москве.

Сендеров Валерий Анатольевич родился в 1945 году. Окончил Московский физико-технический институт. Занимается математической (научной и педагогической) деятельностью. Автор нескольких десятков статей по функциональному анализу. Член Нью-Йоркской академии наук. В 1982 году арестован. Основная причина: антикоммунистические публикации под своей фамилией в русскоязычных изданиях за рубежом. По статье 70 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») приговорен к максимальному сроку наказания: семи годам лагерей строгого режима с последующей ссылкой на пять лет. В 1987 году «помилован» (без каких-либо заявлений и просьб с его стороны). Представитель Международного общества прав человека в России по религиозным проблемам. Лауреат премии Комитета «Религия в подкоммунистических странах». Лауреат премии Фонда независимой польской культуры. (Ред.)

Но и на почтамте, и на Главтелеграфе меня поразили закрытые окошки «Работа с ... до ...». Никогда прежде подобного не бывало...

Так и осталась во мне весна 1987-го — двумя ощущениями: небывалая вежливость милиции и чувство какой-то подступающей провинциализации, глухоты...

Посейчас верен я тем ощущениям: да, все точно, такой весна 1987-го и была. Флюиды добра (не побоимся этого просторного слова!) ощущались в воздухе — как-то по-иному дышалось даже в традиционно чинном Лефортове. Казалось, что уж могло измениться в главной тюрьме страны, с безукоризненно строгими правилами и безукоризненно вежливыми конвоирами? Но по камерам разносилось громкое «кис-кис-кис»: это прапорщики окликали Лефортика. И ясно чувствовалось: единственный обитатель чопорного заведения, свободно разгуливающий по всем его этажам, пребывает в новом каком-то, весеннем, перестроечном статусе...

«Весна перестройки»? И да и нет. Причинно-следственные связи, конечно, очевидны; если же посмотреть поглубже...

Память отсылает меня в 1983 — 1984 годы, времена безвылазного лагерного карцера. Волею обстоятельств я стал участником нечастого психологического эксперимента.

О чем обычно вспоминают бывшие лагерники? Зона: работа, редкие часы отдыха, письма, свидания. Правда, свиданий на зоне почти ни у кого не было, да и письма доходили нечасто. Но все-таки пишешь, волнуешься, ждешь... Идет в некотором роде обычная жизнь. И, как подобает жизни, течет она среди людей: вокруг тебя солагерники — ну, не всегда друзья, конечно, но все-таки *свои*.

В карцере-одиночке все эти зонные атрибуты жизни отсутствуют *в принципе*. Не волнуйся о книгах и свиданиях, об отправке писем, о бумаге и ручке. Беспокоиться не о чем, спорить не с кем: вышеперечисленное — «не положено». Ты один, точнее, в окружении «начальства». И запрограммировано оно на проявление худших своих качеств. Карцер — крайняя мера, сигнал начальству начальства: перевоспитать осужденного не удастся. А значит, никакой политики «кнута — пряника»: давить, давить и давить.

«Давящее» начальство — и только его — я два года и наблюдаю.

Не могу представить себе людей более несвободных, чем эти бедные язычники. Что они могли? Обыскивать, отбирать любую тряпочку, «значенную», чтобы погреться; зачитывать постановления об очередном карцерном сроке, о конфискации писем из дома... Или (гораздо реже, конечно) письмо передавать, а то и сделать (как выяснилось позже, перед отправкой в чистопольскую тюрьму) царский подарок: перевести для подкормки в больницу.

И что же? «Наказывали» они с хмурыми лицами, изображая исполнение сурового долга: «Таков Закон». А то и просто оправдывались: «Сами себя своим поведением мучаете».

Зато когда переводили из угловой камеры в более теплую или лечили нарами... (именно так! Однажды меня постановили считать больным — я и вправду на ногах уже не стоял. Так вот, в виде лекарства... стали оставлять нары на день, так что я мог лежать на них, а не на полу) — они прямо-таки светились, каждый из них казался себе Гарун-аль-Рашидом.

Только и было у этих несчастных свободы: с хмурым или радостным видом исполнять приказы системы. Любителей «закручивать гайки» я так и не встретил. Ни одного.

...Вот это и проступило весной 1987-го — в чистопольской, потом в Лефортовской тюрьме, потом на московских улицах. Простое божеское чувство: предпочтение добра злу.

Те дни были недолги, от них не осталось и следа. Но так не хочется возвращаться в «сегодня», и память гуманно ведет меня назад — в 1983-й.

«Начальники» хотели казаться наглыми, уверенными в себе. Но и в самых, как мерещилось, отпетых проступала — рано или поздно — закомплексованность, жалкость.

Урывками мне удавалось делать математические записи. Разные бывали обстоятельства, и нельзя сказать, что я в буквальном смысле два года не видел бумаги и карандаша. Но вот конец всегда был скорым и однозначным: записи конфисковывали и уничтожали. Как «содержащие условия в текс-

те». Кромешной условностью для «товарищей» был весь русский язык, так математические значки не могли же не толковаться ими как очевидная тайнопись для ЦРУ и Моссада!

Не скажу, чтобы я реагировал на это внутренне равнодушно. Изъятие Библии и невозможность заниматься математикой как раз и привели меня в «перманентный» карцер: я отказался, до возвращения Книги и реальных условий для работы, подчиняться любым лагерным правилам.

Но постепенно в постоянных уничтожениях бумаг увидел несомненный плюс: при всяком восстановлении их хоть какую-нибудь мелочь в формулировках или доказательствах теорем удавалось усовершенствовать.

А я-то при первых сожжениях волновался, стараясь не подавать вида, нервничал! Что бы я, интересно, делал, если бы они не попытались истребить теоремы? Продуктивно заниматься наукой, годами глядя в потолок, невозможно, выдохся бы я достаточно быстро. А так — в несущественной для математики, но приятной эстетически возне, усовершенствовании уничтоженного я хорошо проводил время. И к концу тюремной эпопеи несколько вполне «троечных», по существу, статей были мной отполированы до блеска.

Банально это, конечно, — повторять, что Господь все устроит для нас к лучшему. Но как же чувствуешь *там* подобные важнейшие истины. На воле о такой полноте чувств не приходится и мечтать!

До конца я все это понял лишь потом. Но на очередное изъятие стал реагировать уже вполне машинально: «Мое дело писать, ваше — жечь. Каждому свое».

«У нас тоже свое дело. Мы тоже приносим пользу обществу. Мы выполняем Закон!»

Замначальника по режиму заговорил сбивчиво, волнуясь, он стал краснее своих погон, голос его дрожал. Я смотрел с удивлением: да он уж год как *их* Закон выполнял подобным образом. Эх его проняло, а я-то считал майора Букина воплощением лагерного совершенства.

Что ж, прекрасно: слабость врага — наша сила. Не учитывая всё, все мелочи, все обстоятельства, трудно было бы реализовать в карцере мою программу действий. Программа же была простой: ни дня без ущерба коммунистам!

Чтобы наносить друг другу ущерб, нам с начальниками требовалась фантазия. Что придумать, когда регламентировано все — до слова, до движения?

Здесь место опровергнуть бытующие представления о брежневско-андроповских политзнаках. Представления эти тянутся из кошмаров сталинских лагерей и пребывают в категориях типа «били — не били».

Не били. И обращались исключительно на *вы*. Дело было совсем в другом. Но пересказать это «другое» — оруэлловский по степени совершенства механизм уничтожения личности — невозможно, немыслимо.

И потому прошедшие через этот механизм невольно адаптируют свои воспоминания и рассказы, как бы «локализуют» не имеющий образа кошмар — на вещественном, на понятном: холод, голод, побои.

Холод и голод были «по Закону». А с побоями все-таки как же?

Расскажу — как. Был свидетелем — слышимость в карцере идеальная.

Заклученного привели на пятнадцать суток. Все как обычно: вежливо зачитали постановление, обыскали, переодели в легкую одежду. Он требует книги — в карцере в это время они еще разрешались. Отказ: «Идите так, без книг».

Ответ, с точки зрения многолетнего заключенного, чудовищный. Мы привыкли в брежневских лагерях, что всякое глумление — по инструкции. А «не дадим» — и все? Да ведь это произвол! Да так не бывает!

Опытный был заключенный. А тут не выдержал — вспылит. И то ли своими ногами в камеру не пошел, то ли, упираясь, задел кого-то из конвоиров. Словом, «сказал физическое сопротивление». А на таковое надзиратели ответить тем же разве не вправе?

Избили зека — в котлету, в лепешку. Так что он до смерти — через несколько лет в тюрьме — и не оправился толком от воистину зверских побоев.

Вот так увидел бы эту сцену любой объективный наблюдатель. И не понял бы главного.

Не понял бы, что «товарищи» своих законов не нарушали. Потому что в этот день пришло запрещение выдавать книги в карцер.

Правда, они были обязаны приведенному об этом сообщить. Ну, такого упущения у кого не бывает...

Теперь ясен расчет? Психологию этого зека они знали. Человек сдерживаться умеет, поучиться у него можно. Так сделаем же то, чего почти никогда не делаем: продемонстрируем «грубое беззаконие». По сути-то он человек вспыльчивый, не выдержит. И даст нам право — по почкам, по морде, по мозгам.

Садизм, варварство? Ну, не будем применять к *системе* моральных категорий. А отметим лучше ее несомненный, по сравнению с системой сталинской, плюс: она стремилась играть по правилам. И если тебя, как раньше, по черепу свинцовой плошкой — тут ничего не поделаешь.

А ежели по правилам — то еще посмотрим, кто кого...

Итак, продумываем мы с начальниками: как, сообразно Закону, друг друга со света сживать?

В карцере мы имели право пользоваться своим мылом. Я привез в лагерь несколько сортов. И развлекался: то коричневым умываюсь, то желтым, то детским...

Ага, у него такая слабость. Учтем.

Гражданин Осин, начальник зоны, мыло у меня отобрал. Нет-нет, я имею право им пользоваться! И разве ж кто у меня мои права отымает? Но где сказано, что я могу пользоваться всеми кусками сразу? Нет этого в Законе! Вот гражданин майор и будет надзирать *лично*: приносить мне мыло из кладовой по смыливанию текущего куска.

— Но, гражданин майор... Ведь по смыливанию я имею право просить у вас *любой* из принадлежащих мне кусков?

— Конечно, — важно подтвердил Осин.

Я посмотрел на него с жалостью: ну зачем ты, бедняга, сам себе яму роешь? Не понимаешь, что ли, что запутаешься до полной безнадеги в десятке моих мыльных сортов?

Майор пытался добросовестно выполнять возложенную на себя государственно значимую функцию. Но не справлялся: количество сортов заведомо превосходило количество его извилин.

Раз в неделю бедолага совершал обход карцерных камер: торжественно, в сопровождении свиты офицеров. Дежурный открывал «кормушки».

— Есть ли жалобы, претензии? — солидно вопрошал Осин.

Что ответишь? «Претензий нет», — то есть все происходящее — норма? Нет, не поворачивался язык. И отвечали зеки, что не желают с майором разговаривать.

Начальник сокрушенно вздыхал. Вот ведь политические, а невоспитанный, грубый народ. Ну, коли вы всем довольны...

И «кормушка» захлопывалась — еще на одну космическую неделю.

А иные начинали возмущаться. Подспудный пафос был: как же можно так? ведь и мы и вы — люди!

Это уж майору совсем удовольствию. Он тебе и «Правила внутреннего распорядка» зачитает, и растолкует со вкусом: «Все, гражданин осужденный, законно!»

Что-что? Закон плохой? М-м-м... Может, вы и правы. Но мы ж с вами законов не пишем. Мы их *соблюдать* должны...

— Есть ли претензии, осужденный Сендеров?

— Есть, гражданин майор.

— Какие?

— Мыло, гражданин майор. Я розовое заказывал. Оно — мое, прошу по Закону. А вы опять спутали, голубое принесли.

Не прошло и двух месяцев, а гуманист Ваня Ковалев (сидел он, как и я, в карцере бессменно) стал меня из своей камеры совестить:

— Да пожалей ты его... Хоть один раз забудь ты о мыле...

Можно и забыть. Я что — не гуманист? Не могу изобрести большевикам какую-нибудь новую пакость?

Удары по красным нужно наносить не только новые, но еще и неожиданные. Азы войны: твои действия должны быть непредсказуемы.

Скажем, голодовка считается традиционным оружием политзаключенных. Это так, но не совсем: иногда начальство само голодовки провоцировало, но ведь не действовало же оно при этом себе во вред.

Эффект голодовки, для максимализации его, следовало помножить еще на несколько эффектов. Один из них — неожиданность: ты, а не совдепы должен вести игру. Но этого мало. Можно в любой момент заголодать, требуя изменения «Правил» или чего-нибудь в этом роде. Особого воздействия такие развлечения не окажут. Хотя, разумеется, и они внесут в *систему* неприятный для нее элемент хаоса.

Гораздо полезнее другое: голодать по *конкретному* поводу, который ни одному начальнику заранее не просчитать. Но не очень-то это просто, когда каждое движение — и твое и их — заранее взвешено и исчислено.

Что ж, время в карцере есть — взвесим все заново, исчислим по новой. Поразмышляем.

Вот и план созрел. Осталось выбрать *объект* для нанесения удара.

Внимание мое привлек Крысолов — так мы с Иваном прозвали одного из надзирателей. Поймав крысу, он живьем коптил ее на медленном огне.

Лучше всего было бы завязать его в мешок с крысами: твари Божьи с ним сами разобрались бы по справедливости. Увы, такой возможности я не имел. Но Крысолов оказался подходящим *объектом*. Нервы у него шалили, а это-то мне и требовалось.

Однажды в его дежурство меня вызвали к начальству. Идя по коридору, я неожиданно для него остановился. «Что вы стали? Идите дальше». Он взял меня за рукав.

Порядок! Сработало...

Войдя в дежурку, я объявил сухую голодовку. Чтоб всякой мрази неподвадно было впредь меня за одежду цапать. Требование голодовки простое: от дежурств по карцеру мразь отстранить. Чтоб впредь она мне на глаза не попадалась.

На четвертый день голодовки Крысолов исчез. Меня уведомили: больше он в карцере не появится. Говорили, что после этого он сделался много хуже, чем был: и у Крысолова хватило извилин сообразить, что его просто выбрали в качестве мишени, и это обозлило его. Не знаю. Вполне возможно.

Интересно, как бы я действовал сегодня? Уже зная, что они не только комиссары, но еще и люди? Так же бы и действовал. Потому что на войне пощады не дают и не просят.

Но мне это сегодня было бы много тяжелей.

Цель невосмделишных моих баталий была одна: выстоять, не отступив ни на шаг.

Выстоять, подставляя другую щеку, — если бы я так мог... Но не мне, грешному и презренному, было дерзновенно мечтать о подобной участи.

А значит — значит, я был прав, нанося удары. Розово-современное прочтение Евангелия ближе, я убежден, не к христианству, а к толстовству. Господь не осудил апостола, отсекавшего ухо. И Он не из жалости исцелил лукавого раба: Он явил Свое могущество, исцелив его. А апостолу приказал: «Оставьте, довольно».

Повинуйся, «вложи меч в ножны». Меч сделал свое: «Довольно».

То есть теперь время для иного: для промыслительно открытых тебе — волею Его — истин.

Так живи открывшимися истинами и благодари за них Сына Божия. А произносить их вслух — зачем? Разве не открывались эти истины несравненно более достойным, разве не написаны о них тысячи книг?

Все так. Написаны. И даже изданы в России. Но не только они...

Для примера — опубликован один замечательный дневник: свидетельства жертвы брежневского красного террора, повествование, как страдала она, жертва, за Христа. Всяко страдала: то десять суток, а то и все пятнадцать.

Однажды (кажется, было то на десятисуточной пытке) объявил мученик голодовку. До конца срока (карцерного, не тюремного), в знак протеста: не смейте, палачи, терзать душу и плоть! Кровопийцы не унимаются, дошли уже до прямого злодейства: вкусную пищу в камеру ставят, чтоб голодовку сорвать. Жертва на происки в миске ноль внимания — все пять суток!

Почему пять, а не десять? А на шестые кто-то из ангелов небесных мученику в видении явился. И велел ему голодовку снять.

Более или менее понятно, почему эти учетные книги скорбей эмигранты печатали: они нас из тюрьмы вытаскивали, можно им за это только благодарным быть. Но вот печатает дневник серьезный сегодняшний российский журнал. Добро бы «Вестник атеиста», в разделе «Сатира и юмор».

...Навестили меня однажды, примерно в 1989 году, два мальчика — родные братья, из Истинно Православной Церкви. Сидели они оба перед этим по второму уж сроку, за отказ от службы в армии (отказ красному Антихристу служить — хоть в приговорах у них об «уклонении» каком-то говорилось). Одному из них в лагерном цеху сорвавшаяся со станка деталь выбила глаз, изуродовала лицо.

Мальчик от радости светился, словно бы тихое сияние от него шло. Сказал умиротворенным шепотом: «Какой же Господь милостивый, хоть немножко дозволил за Себя потерпеть».

После случая в цеху произошло нечто для них непонятное. Шла всесоюзная перепись. Братьям «переписываться» даже и не предложили: знало начальство, что ни на какие вопросы отвечать они не станут. Потому что ответы в бумагу советскую заносятся. А на бумаге той — печать Зверя.

Вызывают обоих: «С вещами!» Ребята собираются для карцера: думают, по пятнадцать отсидеть надобно, за отказ от участия в переписи.

«Все вещи берите!» Провожают к лагерным воротам, открывают: «Убирайтесь отсюда!»

Процедура прошла без излишних формальностей, справки об освобождении братьям и предлагать не стали. Все равно перекрестят и разорвут в клочья: печать Зверя на них.

А перед этим мы о выбитом глазе узнали, подняли шум. Ситуация «новому мышлению» несколько противоречила, вот и пришлось перестройщикам братьев выпускать.

Но им-то и в голову не приходило, что где-то о них шумят. Да и зачем им была наша помощь, если с ними все время Господь был?

Встречаю я порою таких людей. Неверно было бы думать, что вовсе перевелись они на Руси. Только народ они по большей части бесписьменный: школ не кончали, книг, кроме Слова Божия, в руки не берут.

...Так что же все-таки должен я делать — с истинами, не по заслугам открывшимися мне? Высокомерно молчать: происходящее вокруг просто вне христианства, а об истинах лучше меня сказано не раз?

Пусть читатель простит мою бесстыльность. Искать плавные переходы от бессвязных заметок о встреченном и увиденном к главным словам — об обретенном в тюрьме — такая задача мне не по плечу...

II

И познаете истину, и истина сделает вас свободными.

Евангелие от Иоанна. 8: 32.

Действительно ли заключение в тюрьму — катастрофа? Катастрофой обычно называют трагическую случайность, то, чего могло и не быть. Но случайных арестов мне известно немного. Большинство политзаключенных заранее знали, что, скорее всего, будут арестованы. Точнее, при минимально трезвом анализе это легко можно было предположить.

Психологические механизмы самообмана здесь рассматривать не место. Обреченный на смерть вследствие неизлечимой болезни подчас обманывает себя до последней минуты. Однако его трагическая кончина не приобретает от этого взрывного характера.

Но есть ли что-нибудь трагическое в переходе по другую сторону решетки? Тюремная жизнь окружена в глазах многих людей прямо-таки мистическим ореолом. Эта мистика остается мне столь же непонятной, как и до ареста. Под следствием моими сменяющимися соседями бывали, как правило, сидящие не в первый раз валютчики. Все они пугали меня предстоящими ужаса-

ми; было видно, что это делается не только по заданию. Я спрашивал, что же все-таки мне конкретно предстоит rrr-рокового; ведь вот я уже и так сижу. В ответ слышал: «Через год тебя эти самые стены давить начнут». Или еще что-нибудь, вызывающее уважение своей непонятностью. На карцерно-тюремном режиме я провел пять лет; кончалось мое заключение опять в Лефортове. Стены, как и в первый год, были под прямыми углами.

Вред, причиняемый «парашами» (ложными слухами), накручиваемыми вокруг тюремных параш, трудно оценить по достоинству. Понятны легенды, которыми овеяна тюрьма в глазах никогда не сидевших людей. Понятно, хоть и не вполне простительно, что мифы насаждаются и многими вышедшими. Но давайте вдумаемся в то, какой моральный климат всем этим создается.

Многое ли в действительности отнимает у нас тюрьма? Почти все. Но главное, остающееся после этого «почти», всегда при нас, оно сияет невидимым на «свободе» внутренним светом. Тюремщики в силах лишить нас только того, что имеет материальное воплощение. Перед прочим они бессильны. Мы не можем ходить в церковь, читать святые книги, у нас отнимают даже нателный крест. Но главное, что объединяет весь христианский мир, — прямое чудо Божие, чистый феномен веры в Него. А присутствие Бога в тюрьме ощущаешь неизмеримо явственнее, чем в «вольной» суете. Главное в церковности, как мне кажется, — ощущение молитвенного единения с умершими и живыми. Я не могу вспоминать без боли сожаления о прошедшем — какую молитву посылал мне Господь в тюрьме. Как живы, как близки были там те, о ком я едва вспоминаю теперь в однообразии пестрой житейской суетоки.

Конечно, вопрос о тюрьме в полном его объеме гораздо сложнее. По грехам нашим мы подвержены плотской слабости. В идеале всякий христианин должен мечтать быть закопанным заживо ради момента встречи с Богом. Но для того, чтобы искренне и до конца чувствовать так, надо быть Нилом Сорским.

Высшие стороны жизни неподвластны тюремщикам. Зато низшие полностью в их власти. Ни на йоту не нарушая советских законов, палачи могут сделать постоянной пытку карцером, то есть холодом и голодом. Но и физическая пытка имеет моральную сторону, и наиболее важной является именно она.

Среди рукописей золотого века христианства (I — IV века) сохранились записи брошенных в подземелья за веру людей. «По воле Божией убит голодом» — этой лаконичной фразой увековечивали наши братья времен катакомб память погибших. «Родившихся» — поправляют меня из тех времен. Дни плотского временного появления в мир тогда не отмечали. Праздновали — день мученического рождения в жизнь вечную!

Попробуем оценить положение обитателя карцера вчерашней политзоны глазами христианина тех времен. Каждый день тебе дают четыреста пятьдесят граммов черного хлеба неплохого качества, через день горячую пищу. На восемь часов в сутки ты обеспечен специальными досками (нарами), чтоб спать. Хуже всего в карцере холод. Однако легкие ты не отморозишь. Холод регулируется, у пытки другая задача: сломать тебя нравственно.

Думаю, христианина первых общин мы совратили бы таким рассказом в грех смеха. «То были другие времена». Вспомним, однако, что даже избранники Божии, апостолы, все покинули Его. Лишь чудо Воскресения утвердило веру, сделало ее несокрушимой. Ровно этим отличались от нас люди первых времен: они жили осиянные светом Воскресения, были все как бы свидетелями его. Но... «блаженны не видевшие и уверовавшие».

Люди довозрожденческих времен знали, что каждая корка хлеба, каждый луч света — незаслуженная милость, щедрый дар Божий. Для нас, людей последних веков, сытная еда, теплая одежда, мягкая постель — естественные принадлежности «достоинства человека». Сколько раз я видел, что попавшие в карцер бурно негодуют именно в первые дни, не успев еще ни как следует промерзнуть, ни оголодать. Они чувствуют себя лишенными того, что принадлежит им «по праву».

Такова моральная сторона физических пыток; она отсутствует при христианском взгляде на них. Материалистическое мировоззрение, роднящее многих

заклоченных со стражниками, удесятеряет физические пытки, превращая их в нравственные.

Закончу на эту тему. Согласен со мной читатель или нет, но, думаю, ему уже ясен мой вывод. Основания выделять тюрьму из других внешних форм бытия отсутствуют. В православной жизни главное — возможности духовного взлета, исихастский путь через внутреннее «я» ко Христу. И в тюрьме таких возможностей много больше, чем на «свободе».

Только так, я думаю, следует смотреть на заключение — как на одну из обычных форм земной жизни. Полезно разобраться, как в специфических, хотя отнюдь не «запредельных», условиях реализуются преподанные нам ценности христианства.

Умирание для мира, сораспятие Христу и последующее Воскресение со Спасителем... Это духовный путь каждого христианина, о нем предельно ясно писал апостол Павел. Часто мы идем по нему настолько плохо, что великие слова кажутся кощунственными в применении к нашей повседневности. Но никакого другого пути у нас нет. Сораспятие производит в нас философский переворот. Умирает вера в мир как первофеномен, вера, которой в той или иной мере заражено большинство из нас. Мир отступает от нас и затем возвращается. Но теперь в мире нет для нас сатанинского соблазна первенствования, он приходит обновленным, частью непостижимой божественной сущности.

(Прошу простить меня за неканоничность терминологии. Я не получил никакого духовного образования и пишу просто о том, как это понимаю.)

Все предусмотрено, разумеется, церковным учением. «Царствие Божие внутрь вас есть», созидается царствие уже сегодня, в нашей душе. Это относится также и к плотским реалиям. По исихастскому учению, не еретическое противопоставление духа плоти, а его единение с плотью обожженной готовит нас к встрече с Христом. Именно в этом «усовершенствовании» мирского в нашей душе и состоит, по-моему, обостренное и обновленное восприятие реальности...

Думаю, всякому человеку полезно пожить год в карцере, наедине со своими строками, звуками, интонациями, давним выражением чьих-то глаз...

Я расскажу о строке, которая меня спасла.

Первые месяцы следствия меня мучил дьявольский соблазн. Я понимал, что многие на воле смотрят на меня как на героя. И остро ощущал свою ничтожность: лень, другие отвратительные пороки. Это несоответствие представлялось мне фарисейским, чудилось, что я играю в какую-то лицемерную игру. И даже казалось, что честнее покаяться, «расколоться», все предать: пусть думают, что я испугался лагеря. Хоть и не так, но это будет не столь большой ложью, как та, которую я творю своим молчанием на следствии, как бы теша свою гордыню.

В этом состоянии мне и Библию читать было трудно. Я чувствовал себя недостойным брать в руки святую Книгу. Но я, прося прощения у Господа, открывал ее, зная, что спасение может прийти лишь от слова Божия. И в момент наибольшего отчаяния я прочел слова Павловы: «Получивший от Бога милость быть Ему верным».

Все тут же стало на места. Я понял, почувствовал, что сила, которой я не достоин, действительно не моя, она великий дар Божий. И не мое дело рассуждать, почему Он избрал столь многогрешного человека Ему послужить. Мой долг прост: безропотно нести служение.

Я привел этот случай в подтверждение сказанного прежде. Разве могли так воссиять перед моим взором простые слова апостола в доарестном духовном комфорте?

Я говорю о всеобщем, такие переживания отнюдь не удел «избранных натур». Внутренний человек есть в каждом из нас, просто в «вольной» расплывленности мы заглушаем его голос.

В Бутырке (первый месяц после ареста я провел там) один из соседей попросил моего совета, что взять почитать. Библиотека в этой тюрьме крайне убогая, и я не нашел, что порекомендовать, кроме «Братьев Карамазовых». Хоть и не думал, что сосед дочитает роман до конца.

Пока Миша не прочел книгу, он почти не слезал с верхних нар. Не спукался подчас даже за едой (Бутырка, в отличие от Лефортова, тюрьма весьма голодная). Часто обращался ко мне, видно было, что он не пропускает ни строчки. Особенно много вопросов вызвало у Миши житие старца Зосимы. «Какое счастье, что сюда попал, а то бы всю жизнь каждый вечер коньяк, бабы... И никогда бы не прочел этого», — закрыл он последнюю страницу.

Обостренное восприятие реальности... Карцер — мир не материальный. У тебя нет ничего. Ни грифеля, ни клочка бумаги. Нет тряпицы, маленького куска материи, чтобы попытаться согреть отмерзшие пальцы ног. Голод.

Когда «товарищам» стало невмочь держать меня дольше в карцере, меня перевели в ПКТ (лагерную тюрьму). На патрицианский строготюремный режим. Каждый день (трижды!) горячая еда! Телогрейка! Как я благодарил Господа, залезая вечером под бушлат и одеяло!

Религиозные мыслители — от Тертуллиана до Бердяева — твердят нам: все, что имеешь, не твое. Все дано тебе взаймы Богом, все милость Его. Раньше я читал это. Но как я ощущал после годовой отвычки всю Его щедрость! В паре теплых носков, в миске ячневой каши...

Из внешних же обстоятельств, безусловно помогших мне, очень важна была изоляция, близкая к абсолютной. Наверное, никто из просидевших несколько лет не имел так мало контактов, как я. На зоне я провел две недели. Затем ШИЗО (лагерный карцер) — ПКТ — Чистополь. В Чистополе — единственный сосед, последние несколько месяцев — одиночка. Желая мне насолить, «товарищи» создали идеальные условия для духовной жизни. Воистину — бессилие зла!

Библия... Первое мое сильное тюремное впечатление было связано со святой Книгой. Я взял ее с собой при аресте. На обыске в милиции Книгу отобрали, стали записывать в протокол. «Кто автор?» Я в первый момент не понял, потом стал потешаться. «Господь». Не понимают. «Создатель — автор». Опять не понимают. «Дух Святой». Переглядываются. Потом один вроде что-то понял. «Да какой вам автор? Это же Библия». — «Библия — название. А положено еще автора в протокол писать», — строго поправил офицер.

Веселился я. Потом заперли в одиночку. Лежу, думаю. И стало вдруг жутко. «Автор Библии»... Это в центре державы Российской. Так... зачем же я здесь?! Может быть, ничего уже нельзя спасти?

Очень многое потом уверило меня в обратном. Но это первое острое впечатление помнится посегодня.

В Лефортове Книга была со мной. В лагере конфисковали. В ответ я встал на статус политзаключенного: отказался от работы, от ношения на груди тряпки с фамилией, вообще от выполнения лагерных требований — любых. Зонные порядки могут быть мягче или жестче, но по сути своей они всегда рабовладельческие, подчиниться им — капитуляция. И только если ты сумеешь отстоять от насильников главное, можно и самому в чем-то уступить.

Результатом такого подхода к делу стало постоянное ШИЗО. Меня поддерживало чувство правоты, я знал, что, если уступлю, я предам Бога. Потом меня перевели в Чистополь. Там Книгу вернули.

Так Библия спасала меня все пять лет. Библия и борьба за нее.

Возможностей насыщать жажду слова Божьего и церковной жизни было немного, лишь за несколько месяцев до освобождения мне удалось получить от близких религиозные книги, среди них — первый том «Добротолубия». Все пять лет я старался использовать «на максимум» имеющиеся возможности: регулярно выполнял Правило, сделал иконостас из двух открыток с Богородицей и Спасителем. Мне повезло гораздо больше, чем многим христианам: я по характеру оказался хорошо приспособлен к тюремным условиям. Например, я знаю людей, которым лучше молиться именно вместе с другими мирянами. Таким людям сидеть в тюрьме, конечно, много тяжелее, чем мне.

Мне же гораздо труднее было бы молиться в многолюдных камерах или бараках. Но в «многолюдной», на пять человек, камере я был только в свой первый, «бутырский», месяц. Двое моих соседей были «в законе», милиция с нами предпочитала не пререкаться. Мы ложились не по отбою, а когда хотели, и я имел возможность молиться, когда все затихало и соседи пытались уснуть. Так же и по утрам: молился я до подъема. Хуже было с дневным пра-

вилом. Я пробовал выполнять его на прогулке, но сокамерники затихали, чтобы мне не мешать, и я портил им единственную возможность поразмяться на свежем воздухе. Поняв это, я стал молиться дважды в день.

В Бутырке двое моих сокамерников были шумные, веселые и недалекие ребята. Двое других были потише и посерьезнее. Об одном, Мише, я уже писал. Второй, домушник Леша, собирался переквалифицироваться в валютчики, лежал и учил немецкий. Эти соседи часто спрашивали меня о Боге. Сами они говорили примерно так: «Я в Бога поверить не могу, меня всю жизнь учили, что Его нет. Но в то, что Его нет, я поверить не могу тоже. Больно уж бессмысленно все сразу получается».

Запомнился еще один разговор — с конвоирами. Из Лефортова в Пермь меня везли через Вятку, и два дня мы со срочниками разговаривали с утра до вечера. Они впервые везли «семидесятую», и им все было интересно. (Кстати, после этих двух дней конвойным разговаривать со мной всегда запрещали.) Мы говорили о многом, я рассказывал им о России, какой она была до катастрофы. Но они жили уже в другом мире, предмет моего рассказа был для них дальше Новой Зеландии.

Это не касалось сферы религиозной. Они мучительно старались припомнить, как их в детстве бабушка водила в церковь, у кого была дома икона... Они почти ничего не слышали о Боге, но чувствовали, как они обделены.

И в заключении, и на воле я не раз убеждался в одном и том же. Коммунизм с дьявольской гениальностью обрывал связи между людьми — философские, культурные, национальные. Но оборвать главную жизненную связь, Бог — человек, сатане не дано. И возрождение в России может начаться только с Создателя. Это надо понять даже тем, кого интересуют частные аспекты, скажем, национальный или экономический. В некоторых странах мог исторически сложиться образ жизни, при котором Бог как бы отсутствует (точнее говоря, не присутствует явно). У нас, после семидесятилетней пропасти, кроме пути ко Христу, другого нет. И лишь через Христа — ко всему остальному, в жизнь новую.

Возможности проповедовать у меня обычно не было. Но я старался воздействовать на окружающих делом. Мне было дано держаться твердо, и я старался, чтобы окружающие поняли, что это по воле Божией.

Не будет преувеличением сказать, что другие люди относились к моей вере благоговейно: и бытовики, и почти все лефортовские соседи, и простые солдаты-срочники. Часто я испытывал неловкость: уважение, внушенное им Богом, они простодушно переносили лично на меня.

Другой была реакция несчастных, все время проходящих спецобработку: следователей, прапорщиков и начальства на политзоне. Они держались вынужденно вежливо, но сознавали преимущества своего научного мировоззрения — это всегда ощущалось. Но в их поведении нередко были «проколы», когда видны становились их неуверенность и страх. Ни одной душой дьяволу не дано овладеть полностью, безвозвратно!

* * *

Странно, однако, вспоминать из сегодня те годы. Когда за окном лефортовской камеры до утра без устали шарили прожекторы, а позже, в лагере, лаяли непростанно собаки...

Ну пусть только в рабочее время, но все-таки... было же у моего следователя какое-то отношение к Богу. Хотя бы чувство досады, хотя бы вера в то, что Его нет. И когда на допросах я допытывался у них, кому же они все-таки поклоняются: кислороду? или обезьяне? — следователи гордо отвечали, что ни тому и ни другому. А Неупорядоченному Движению Атомов. Была, значит, тогда и у них своя, идольская религия...

Случилось мне недавно поговорить с пацифистами. Они за мир борются, способны разрабатывают, как службы в армии избежать.

— Ребята, — сообщил я им. — Отличный способ знаю, на все случаи годится. Так прямо и сказать, как мне говорите: не желаю служить в преступной армии агрессоров, разрушающей мирные села и города.

— Но ведь посадят, — не поняли борцы.

— Вот именно, а из лагеря-то никто вас не призовет!

Борцы долго и весело смеялись.

Крутят ветры и то, что почиталось недавно вечным, неизменным. Вот в очередной раз на экране телящика всеми уважаемый общественный деятель.

«Православная церковь не мечтает с западными проповедниками конкурировать, у нее денег нет. Поэтому их деятельность ведет прямо к тому, чтобы сделать Россию неправославной».

Много смыслов у этого слова, по-разному оно и пишется. Ежели Тело Божие, то с большой буквы: Церковь. А если здание или, допустим, административная структура — с маленькой.

С экрана буквы не разобрать. Но, наверно, не у Тела Христова денег мало. А у администраторов, у начальства?

Может, оно и так. Бог с нею, со структурой, что нам ее деньги считать. Перечтем лучше, как прежде, страницу великого русского писателя.

«Корявые, малограмотные, не умеющие сказать речь с трибуны, ни составить подпольного воззвания (да им по вере это и не нужно), они шли в лагеря на мучение и смерть — только чтоб не отказаться от веры! Они хорошо знали, за что сидят, и были непоколебимы в своих убеждениях! <...>

Христиан было множество, этапы и могильники, этапы и могильники, — кто сочтет эти миллионы? Они погибли безвестно, освещая, как свеча, только в самой близости от себя...»

Но Александр Исаевич и сегодня прав — как был прав тогда. У каждого времени иная нужда, каждому — свое. Тем десятилетиям — народ церковный. Вялотекущим ныне годам — церковные деньги...

Нет-нет, все справедливо, все на своих местах. Но почему так тяжело, трудно теперь — на рассвете мира нового — произносить вслух: ХРИСТОС?



АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ

*

ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ

Старец Феодор Козьмич и царь Александр I: роман испытания

...Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Единый Бог. Кто смеет
Противу их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжел им становился;
Они его меняли на клубок...

Пимен — Гришке Отрепьеву.

Старчества честные Зерцалы

На переломе двух столетий, XIX и XX, граф Лев Николаевич Толстой узнал легенду о старце Феодоре Козьмиче и дотошно выпросил подробности у военного историка генерала Шильдера, работавшего над четырехтомной биографией Александра I Павловича¹. Шильдер рассказал, что в далеком 1836 году в окрестностях уральского города Красноуфимска Пермской губернии был задержан беспаспортный старик — высокого роста, седобородый, голубоглазый. На допросе назвался Феодором Козьмичом, фамилию не указал, паспорта не предъявил, куда направляется, не выдал. В марте 1837-го Феодор Козьмич был отправлен в Боготольский округ, где его приписали к деревне Зерцалы, но определили на поселение в Краснореченский казенный винокуренный завод. После пяти лет «винокурной» жизни старик переведен был в Белоярскую станицу и поселился в избе, что выстроил для него казак Семен Николаевич Сидоров.

Феодор Козьмич был явно из образованных, умел лечить, иногда наставлял советом — и никому ни при каких обстоятельствах не сообщал, кто он и откуда. И хотя старец не был монашествующим, стало быть, имени своего не менял, мало кто сомневался, что настоящее свое прозвание он скрывает.

Откуда он родом?

«Я родился в древах. Если бы эти древа на меня посмотрели, то без ветра бы вершинами покачали»².

Какому ангелу молиться о нем?

«Это только Бог знает».

Как имена благочестивых родителей?

«Святая церковь за них молится»³.

К теме старца Феодора Козьмича и царя Александра I журнал обращался ранее в эссе-истской повести Леонида Бежина («Усыпальница без праха» — «Новый мир», 1992, № 8), сторонника «версии ухода», считающего предполагаемый уход Александра I нравственным подвигом. Противоположную трактовку предлагает в своем исследовании Александр Архангельский. Публикуемая работа представляет собой журнальный вариант главы из книги «Бука русский царь», посвященной эпохе Александра I. — *Ред.*

¹ Шильдер Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. В 4-х томах. СПб. 1897 — 1898.

² Не родовое ли древо имеется в виду?

³ Здесь и далее высказывания Феодора Козьмича, дошедшие до нас в воспоминаниях современников (то есть заведомо приблизительно воспроизведенные), с сохранением разницы в написании имени старца, цит. по: а) Василич Г. Император Александр I и старец

Сибиряки терялись в догадках: тайна имени хранилась строго. Даже рискуя быть заподозренным в сектантстве или ереси, Феодор Козьмич крайне редко и по возможности скрытно приступал к исповеди и причащению — ибо на исповеди приходилось и называть свое настоящее имя, и открывать свое прошлое, вводя исповедника в страшный соблазн разглашения тайны⁴.

Феодор Козьмич вскоре был замучен общением; он-то искал не душеспасительных (для него — душегубительных) разговоров о «высоком», но тишины для неуклонной молитвы. (По смерти, обмывая тело, на коленях его обнаружили уплотнения от многолетнего стояния на молитве.) Тем менее радовала его разгульная атмосфера каторжного края. Спусти несколько месяцев он перебрался на жительство в деревню Зерцалы; здесь ему выстроил келью каторжанин Иван Иванов. В 1843 году отправился куда-то работать — скорее всего, на прииски Попова в енисейскую тайгу. Вернувшись, провел в Зерцалах еще шесть лет. Очевидно, именно в эти годы его стали почитать как православного старца, то есть как подвижника, имеющего опыт многолетней жизни в Духе и потому обладающего особыми «религиозными полномочиями»⁵.

В 1848-м или 1849-м, как раз когда во Франции разразилась очередная революция, он поселился близ села Краснореченского, где ему устроил «пасечную» келью богатый крестьянин Иван Гаврилович Латышев. Здесь Феодор Козьмич прожил до 1857 года, время от времени переносил келью подальше, поскольку окрестные «ходыки» вновь стали не давать ему молитвенного покоя.

Когда же Феодор Козьмич, переселившийся в 1858 году на заимку купца Семена Феофановича Хромова, в четырех верстах от Томска, почил в Бозе, то над его могилой поставили православный крест и сделали надпись: «Здесь погребено тело Великого Благословенного старца Феодора Кузьмича, скончавшегося 20-го января 1864 года». Позже по приказанию томского начальства слова «Великого Благословенного», слишком прямо посягавшие на монаршее «звание» Александра I, были замазаны белой краской, но вылиняли и проступали сквозь покрытые полупрозрачным намеком. Перед самою смертью Феодор Козьмич, со словами: «В нем моя тайна» — указал Семену Феофановичу на мешочек, висевший на стене. В мешочке оказалась зашифрованная запись и ключ к шифру, так и оставшийся неразгаданным.

Не прошло и двух лет со дня успения старца Феодора Козьмича, как купец Хромов отправился в Петербург, чтобы довести до сведения властей предржащих важнейшее известие: обитатель его заимки Феодор Козьмич был не кто иной, как с 19 ноября 1825 года поминаемый за упокой Государь Император Александр Павлович. Царь не умер осенью 1825 года в Таганроге, а тайно ушел; страдал; был бит плетью; скрывался в Сибири; спасал свою душу. Семен Феофанович подал соответствующую записку Александру II; не дождавшись решения, вернулся домой...

История о царе, добровольно отказавшемся от сладкого бремени власти, бежавшем из придворного мира, где светские условности, греховная атмосфера, противостественное сластолюбие змеями оплетали душу; о царе, проведен-

Феодор Кузьмич. М. 1911. [Репринт: М. 1991]; б) Г<о лембиевский> А Феодор Козьмич. — В кн.: «Русский биографический словарь», т. 25. СПб. 1913, стр. 301 — 304. Компилятивную сводку данных о старце, достаточно точно воспроизводящую сведения разрозненных журнальных публикаций 1880 — 1900-х годов, см.: «Два монарха». М. 1991.

⁴ Епископ Томский Парфений, прослышав о том, что почитаемый в народе Феодор Козьмич ни разу не приобщился, а на уговоры священства дерзко отвечает: «Господь удостоил меня принимать эту пищу», лично явился к нему. И если преосвященный ошибся поначалу, если воспринял твердый отказ старца подчиниться иерархической воле («Я каждый день вкушаю хлеба небесного») как верный признак того, что Феодор Козьмич «едва ли не находится в прелести», то и в этой ошибке заключена своеобразная правда. Лучше недооценить святость праведника, чем упустить грех грешника. Тем более что еп. Парфений оказался достаточно чутким иерархом и позже признал свою неправоту — после того, как во сне ему явился св. Иннокентий Иркутский чудотворец, чтобы приобщить их со старцем из одной чаши. Впоследствии духовник Феодора Козьмича о. Петр Попов, ставший епископом Томским, а также о. Николай Сосунов и томские иеромонахи Рафаил и Герман подтвердили, что духовно окормляли покойного и знают, кто он, однако никогда и никому не разгласят.

⁵ О «феномене» старчества см.: Экземплярский В. И. Старчество. — В кн.: «Дар ученичества». Сб. М. «Руссико». 1993, стр. 139 — 227. Об истории русского старчества конца XVIII — начала XIX века см.: Прот. Сергей Четвериков. Молдавский старец Паисий Величковский, его жизнь, учение и влияние на православное монашество. Изд. 2-е. Paris. «YMCA-PRESS». 1988.

шем остаток жизни в посте и молитве и спустя годы и годы умершем вдали от столиц и дворцов, поразила Толстого в самое сердце. Ведь это он сам, царственный патриарх русской словесности, не свободен в собственном яснополянском доме, это его порабощают условности света, не давая жить по правде! Это ему нужно бежать, бежать, бежать без оглядки в простоту здоровой крестьянской жизни; это он должен поселиться в Сибири, просвещать крестьянских детей, не иметь лишнего и величие свое претворять в духовную волю.

Чуть позже Толстой начнет писать «Посмертные записки старца Федора Кузмича, умершего 20 января 1864 года в Сибири, близ Томска на заимке купца Хромова»; при этом вольно или неволью он будет ориентироваться не на литературные прецеденты, не на мемуарную стилистику александровской эпохи, не на язык писем самого Александра, но на свою собственную стилистику, на язык личного дневника Л. Н. Толстого.

«Я родился и прожил сорок семь лет своей жизни среди самых ужасных соблазнов и не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других, грешил и заставлял грешить. Но Бог оглянулся на меня. И вся мерзость моей жизни, которую я старался оправдать перед собой и сваливать на других, наконец открылась мне во всем своем ужасе, и Бог помог мне избавиться не от зла — я еще полон его, хотя и борюсь с ним, — но от участия в нем. Какие душевные муки я пережил и что совершилось в моей душе, когда я понял всю свою греховность и необходимость искупления (не веры в искупление, а настоящего искупления грехов своими страданиями), я расскажу в своем месте. <...>

Бегство мое совершилось так...»⁶

Ничего странного в этом самоотождествлении с «мнимоумершим» царем нет. «Версия Хромова» давала Толстому возможность — хотя бы метафорически — осуществить желанный вариант своей судьбы, в словесном пространстве отрететировать грядущий финальный уход из Ясной Поляны, из дома, из семьи — на просторы России.

Толстой был человеком эпохи не то чтобы приземленной, тем более не безрелигиозной (быть может, напротив, слишком мистичной и непрактической), но постепенно, и чем дальше, тем неостановимее, утрачивавшей вкус к сакрализации политической жизни, к таинственной природе монархии. Оно бы и ничего — наступала пора новых принципов самоорганизации русского общества; но понять «монархическое прошлое», в том числе недавнее, становилось все труднее. Существенной разницы между русским солдатом, забитым шпицрутенами, русским писателем и русским царем Толстой уже не видел, не постигал. А потому исходил из человеческого, а не божественного понимания «царской участи»; причем если Семен Хромов умилялся подвигом многолетнего «царственного смирения» старца Феодора Козьмича⁷, продолжившего в хижине служение Богу, начатое во Дворце, то Лев Толстой славил именно решимость Александра I незримо уйти с трона, порвать с «харизматическим» прошлым. Государь — такой же человек, его поведение подчинено тем же импульсам, его поступки должны оцениваться по той же шкале, что и поступки простых смертных. Был первым — стал последним; а последние станут первыми... Так волей-неволей мечтавший о победе яснополянский старик свел легенду об ушедшем с трона русском царе и томском старце к неким элементарным психологическим основаниям⁸.

⁶ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90-та томах, т. 36. М. 1936, стр. 60.

⁷ Попутно уточним суждение С. С. Аверинцева: предание о старце возникло «посреди цивилизованного XIX столетия» не потому, что «нельзя же было примириться с мыслью, что Александр I, прикосновенный к убийству своего царственного отца, так и умер императором»: легенда исходит из той среды, которая достоверно не знала об убийстве Павла I, а о слухах начала века давно забыла. Но распространялось «в широких дворянских массах» действительно по причине, описанной С. С. Аверинцевым (см. его статью: «Византия и Русь: два типа духовности. Статья первая». — «Новый мир», 1988, № 7, стр. 220).

⁸ Больше того, он спутал социальные роли старца и странника. Между тем «старчество» и «странничество» — совершенно разные (чтобы не сказать противоположные) типы религиозного поведения. Старец малоподвижен, он как бы приковывает себя к определенному пространству, чтобы погружаться духом в невидимое царство молитвы, упокоиваться в нем. Странник, напротив, бежит от греха, его молитва, как домик улитки, всегда с ним. Первому никак невозможно странствовать, второму никак невозможно сидеть на месте.

Естественно, на этом пути он не был первопроходцем; сентиментальная параллель «раскаившийся царь — странствующий праведник» была дорога многим толстовским современникам. Уже в 1860-е годы князю Н. С. Голицыну показали фотографию: «...великого роста и благолепного вида старец, с почти обнаженную от волос головою, в белой крестьянской рубаше, опоясанный пояском, с обнаженными ногами, стоящий среди крестьянской хижины. Лицо — прекрасное, кроткое, величественное; никакого сходства ни с кем припомнить не могу. Наконец приятель мой спрашивает меня:

— Не находите ли сходства с... покойным Императором Александром Павловичем.

Я крайне удивился, начал пристальнее всматриваться и, точно, стал понемногу находить некоторое сходство и в чертах лица, и в росте». Тогда приятель и рассказал Голицыну распространенную в Сибири легенду об Императоре Александре I, скрывшемся от мирской суеты в образе отшельника Феодора Козьмича...⁹ Позже могилу старца посетил Великий Князь Алексей Александрович; есть стойкое убеждение, что в 1891-м у нее был и Цесаревич Николай Александрович, будущий Николай II... С конца 1880-х годов в русской печати шла оживленная полемика: можно ли верить версии Хромова, легендарное ли предание сохранила народная память или историческую правду, — и авторы многочисленных публикаций¹⁰, независимо от занимаемой ими позиции, понимали проблему так же, как понимал ее Лев Толстой. То есть как романтически-прекрасный эпизод ухода царя с трона — в Сибирь; вероятный или невероятный — другой вопрос. В 1897-м, поддавшись обаянию легенды, Н. К. Шильдер увенчает четвертый том жизнеописания Александра I рассказом о старце Феодоре Козьмиче¹¹, завершая фрагментом истории русской святости исследование в области политической истории...

Но именно моральный авторитет Толстого, эстетическая убедительность его построений (которая, как помнит всякий читатель «Войны и мира», подчас была убедительнее самой исторической реальности!) окончательно привели «проблему старца Феодора Козьмича» к общему знаменателю и обрекли последующие поколения историков на разгадку одного-единственного вопроса: как? Как мог — и мог ли — совершиться уход? Как могли — и могли ли — скрыть тайну придворные? Как мог — и где — скрыться царь в «промежутке» между ноябрем 1825-го и осенью 1836-го?..

Истина, убитая в споре

Полемика продолжается до сего дня. Причем читатель многочисленных сочинений о старце Феодоре Козьмиче чувствует себя чеховской Душечкой, поочередно проникаясь силой и стройностью доводов, предлагаемых той и этой стороной. Или героем Свифта, которого вовлекают в свой нескончаемый спор тупоконечники и остроконечники.

Вот две книги: одна наиболее основательно излагает взгляды «союзников» Хромова; другая — совсем напротив. Первую написал драматург и журналист кн. В. В. Барятинский. Вторую — проф. К. В. Кудряшов¹². Опустив их разногласия по мелочам, укажем только на главные несхождения.

⁹ Обратим внимание на то, что, во-первых, речь идет о фотографии, сделанной с литографии, — Феодор Козьмич никогда не фотографировался; во-вторых, что «узнавание» происходит по четкой схеме: пока человек не знает, кто перед ним, он не припоминает сходства, но, получив подсказку, тут же «узнает» царя.

¹⁰ См., например: Долгорукий В. Отшельник Александр (Феодор) в Сибири. — «Русская старина», 1887, № 10; Мельницкий М. Ф. Старец Феодор Козьмич. — «Русская старина», 1892, № 1, стр. 81 — 108; из «послетолстовских» публикаций ср.: Голембисевский А. Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Феодора Козьмича. — «Русский архив», 1908, стр. 448 — 462; Кизеветтер А. А. Александр I и старец Феодор Кузьмич. — «Русские ведомости», 1912, № 299; <Изложение доклада Вергуна> «Записки Русского исторического общества в Праге». Кн. 1. Прага. 1927 (указано А. Л. Топорковым).

¹¹ Позже старец явится Николаю Карловичу во сне и исцелит его от мучительных головных болей.

¹² Барятинский В. В. Царственный мистик. (Император Александр I — Феодор Козьмич). М. 1913; Кудряшов К. В. Александр I и тайна Федора Козьмича. Пг. 1923. (Здесь и далее все цитаты по этим изданиям.)

Барятинский: вот подпись доктора Тарасова под протоколом вскрытия тела покойного императора Александра Павловича; а вот — соответствующее место из воспоминаний доктора, где факт участия во вскрытии отрицается! В таком случае, подпись не что иное, как подделка.

Кудряшов опровергает: у нас имеется свидетельство квартирмейстера Шенига (он сопровождал Александра Павловича в его последнем вояже) о «месте» на теле покойного, которое «хватил Тарасов» и которое стало оттого «черного цвета». Записки же Тарасова относятся к 1842 году, а мемуаристам свойственно ошибаться.

Барятинский замечает: в протоколе описан «рубец на ноге от бывшей язвы», причем на правой ноге. Между тем рожистое воспаление царь перенес на левой. Стало быть, протокол есть плод вымысла.

Кудряшов: ничего подобного. Тот же Тарасов в своих записках упоминает о том, как на учениях 19 сентября 1823 года лошадь лягнула императора в правое бедро; когда же 13 января 1824-го случилось рожистое воспаление, рожа сосредоточилась в том самом месте, где лошадь ударила копытом. Ерго: рожа была справа.

На это кн. Барятинский (и читатель вместе с ним) мог бы возразить, что проф. Кудряшов противоречит сам себе: едва отказавшись признать записки Тарасова веродостоинным источником, тут же сам на них опирается. Но кн. Барятинский не возразил, поскольку исследование проф. Кудряшова вышло значительно позже; зато он высказал еще несколько полезных соображений. Как то: в дневнике лейб-медика Якова Виллие содержится не только загадочная фраза: «Мы приехали в Таганрог, где кончилась первая часть вояжа. Finis»¹³, но и прямое свидетельство о том, что дневник его не велся синхронно с событиями, а создавался задним числом: «Как я припоминаю, сегодня ночью я выписал лекарства»; то же и с записью императрицы Елисаветы Алексеевны от 11 ноября: «Он посмотрел вокруг себя с таким выражением лица, которое я приняла за веселое и которое я видела позже в ужасные минуты»; то же и с собственноручной пометой царского адъютанта кн. П. М. Волконского в рукописи Виллие против записи от 9 ноября (об извещении о болезни, посланном Константину Павловичу): «Сие распоряжение г. Дибичу дано было 11 ноября, а не 9-го».

И если рассуждения кн. Барятинского насчет намека, содержащегося в словах о первой части вояжа и в латинском «Finis», а также о «припоминании» Виллие проф. Кудряшов сравнительно легко отводит (из Таганрога планировали ехать далее, и первой части путешествия действительно пришел «Finis»; дневник обычно ведут вечером, когда события прошлой ночи слипаются в сонный комок, так что их приходится буквально раздирать, припоминая), то в остальном убедительных возражений он не нашел и прибег к помощи риторических восклицаний и вопрошаний, к методике психологического давления на читателя. Да, запись в дневнике императрицы от 11 ноября сделана явно позже, но разве из того следует, что весь дневник велся асинхронно? Да, он обрывается 11 ноября, но разве это означает, что «остаток» уничтожен Николаем I? Ведь Николай Павлович уничтожал только документы, порочившие память о царственном брате! Скорее нужно предположить, что Елисавета начиная с 11 ноября неотлучно была при императоре, чему есть ковенное подтверждение в письме Дибича к Вилламову...

И так во всем.

Выйдя за пределы очерченного книгами Барятинского и Кудряшова круга фактов (но оставаясь внутри «толстовского» концепта!), обнаруживаем ту же многосмысленность и разноречивость допустимых толкований.

То ли декабрьский запрос вдовствующей императрицы-матери Марии Феодоровны Волконскому и Дибичу о подробностях смерти Александра означал, что она не верит известию о кончине старшего сына и подозревает нечто, то ли он свидетельствовал о ее желании сохранить драгоценно-скорбные детали его ухода — но не в странствие по Руси, а в мир иной.

¹³ В другом переводе (с французского) загадочности явно меньше: «...мы прибыли в Таганрог, где оканчивается первая часть путешествия; погода переменчивая. Finis». — «Русская старина», 1892, № 1, стр. 71.

То ли Волконский потому настаивал на погребении царя в Таганроге¹⁴, что хотел скрыть подмену тела, то ли потому, что страшился ответственности за неудачное балзамирование (и — порождаемых им подозрений в отравлении монарха), то ли потому, что боялся народных волнений во время многодневной траурной процессии, то ли потому и боялся, что подменили.

То ли вдовствующая императрица при открытии крышки гроба воскликнула: «Я узнаю его, это мой дорогой сын Александр», то ли, наоборот: «О, как он изменился, я не узнаю его»¹⁵. (И тот и другой варианты донесли до нас очевидцы... ухослышцы события.) И даже если она публично признала, что зрит во гробе сына лежаща, как понять: был ли ее вскрик произвольным? или предназначался окружающим? чтобы погасить слухи? или чтобы скрыть истинное положение? Царское дело — тяжкое; даже в личном горе приходится помнить о возможных социальных последствиях.

То ли в выражениях поминального письма Елисаветы Алексеевны к матери (письма, произведшего столь сильное впечатление на эпистолярно чутких современников, что «ударную» формулу «наш ангел на небе, а я на земле» даже вырезали на перстнях) заключено уклончивое указание на не вполне обычные обстоятельства, то ли это просто дань стилистическому кодексу эпохи...

То ли ошибка в рассказе Феодора Козьмича о въезде Александра I со свитой в послевоенный Париж (старец утверждал, что с правой стороны от русского императора ехал Меттерних, тогда как Меттерниха в Париже тогда вообще не было и быть не могло¹⁶) свидетельствует о пересказе с чужих слов, то ли, напротив, служит лучшим психологическим доказательством непосредственного участия рассказчика в описываемых событиях, причем на главных ролях. Мемуаристы не исследователи; их память не архивохранилище: сразу после взятия Парижа Меттерних принялся портить кровь Александру и его ближайшему окружению, причем столь успешно, что образ австрийского министра не мог не въестся в сознание русского царя и не сублимироваться во всех воспоминаниях о 1814 — 1815 годах. Во всех — без исключения.

Так же обстоит дело и с позднейшими доказательствами и опровержениями.

В 1921 году, во времена срывания всех и всяческих масок, было произведено вскрытие царских гробниц в Петропавловском соборе Петрограда. С тех пор сторонники («остроконечники») не устают напоминать противникам («тупоконечникам»), что гробница Александра I оказалась пустой¹⁷. Свидетельства, собранные ими, многочисленны и разнообразны; люди, от которых они получены, вполне веродостоинны; беда лишь в том, что ни одного прямого показания добыть так и не удалось — только косвенные. Дочери говорил отец, участвовавший в событии... ученику рассказывал учитель... Не верить показаниям невозможно, доверяться — нельзя.

Единственное, на что можно указать уверенно, — это не на точки опоры, а на точки провала той и другой версии — остро- и тупоконечной.

Самое уязвимое место в системе доказательств первых — вопросы о том, мог ли Александр I решиться на уход в историческое небытие? как практически был осуществлен побег? кто именно в окружении был осведомлен о плане ухода? каким образом совершена подмена тела и кто стал этим самым телом — случайно погибший в те дни фельдъегерь Масков? и чьим телом подменили останки самого Маскова? Чай, царь не иголка, а у Маскова тоже родственники имелись. (Позднейшее семейное предание Масковых о «подмене» нас сейчас не интересует: где доказательства, что оно не возникло под влиянием разговоров 1870-х годов?)

Самое уязвимое место противников — ответ на вопрос, кто же такой старец Феодор Козьмич, если не Александр I?

¹⁴ Письмо к Г. И. Вилламову от 7 декабря 1825 года. См.: Шильдер Н. К. Император Александр I..., т. 4, стр. 441 — 442.

¹⁵ См.: Валоттон А. Александр I. Перев. с франц. М. «Прогресс», 1991.

¹⁶ Дочь Франца Австрийского, напомним, была женою поверженного Наполеона.

¹⁷ См.: Эйдельман Н. Я. «Не ему их судить...». — В его кн.: «Из потаенной истории России XVIII — XIX веков». М. «Высшая школа». 1993, стр. 378 — 381.

Ни одного сколь-нибудь вразумительного объяснения они так и не смогли предложить. Известный историк александровской эпохи, Великий Князь Николай Михайлович, долгое время бывший «остроконечником» и внезапно (по сведениям Мориса Палеолога, дополненным историком Грюнвальдом, — после резкого объяснения с Николаем II¹⁸) переменявший точку зрения на противоположную, указал на незаконнорожденного сына Павла I и Софии Чарторыйской (урожденной Ушаковой), Семена Великого, морского офицера, пропавшего без вести в 1794 году¹⁹. Не согласившись с ним, проф. Кудряшов назвал имя действительного статского советника Федора Уварова-второго. После поражения в правах декабриста Лунина Уваров, женатый на лунинской сестре, попытался прибрать к рукам его имение и вдруг — 7 января 1827 года — исчез.

Предположение Кудряшова, конечно, менее невероятно, нежели совершенно фантастическая гипотеза Николая Михайловича. (Особенно если учесть, что мичман Семен Великий в документах морского министерства значился не пропавшим без вести, а вполне определенно погибшим 13 августа 1794-го, во время кораблекрушения близ Антильских островов — на что и указал Кудряшов.) Но есть ли смысл ставить на место одного неизвестного другое? Почему скоростижное раскаяние Федора Алексеевича Уварова правдоподобнее скоростижного раскаяния Александра Павловича Романова? Спору нет, Александр I был изнежен и совершил много нехороших поступков; но, во-первых, иначе и не в чем было бы каяться, нечего искупать; во-вторых, Уваров тоже был человек отнюдь не самый добродетельный.

Дальнейший поиск в заданном направлении лучше всего признать заведомо безрезультатным — и успокоиться. Ибо вопрос изначально был поставлен неверно — и потому доказательства сторонников ничего не доказывают и опровержения противников ничего не опровергают.

Прежде всего: проблема Феодора Козьмича — даже если оставаться в «толстовских» пределах — ставит перед нами не один вопрос («был или не был»), а несколько групп вопросов.

Группа первая: собственно, ею и занимались до сих пор историки, пушенные по ложному следу Толстым (и его предшественниками), — о вероятности тайного ухода Александра I из таганрогского дворца и предполагаемом способе реализации этого опасного плана.

Группа вторая: если уход состоялся, меняет ли он что-нибудь в общей оценке александровского царствования? Отбрасывает ли старчество Феодора Козьмича свой луч назад, в монаршее прошлое Александра Павловича?

Группа третья: если Александр ушел, то стал ли он старцем Феодором Козьмичом? Если не ушел (или?) не стал, то кем же был старец? Но как только мы таким образом расслаиваем мнимоединую проблему, сразу выясняется, что многие «лелеющие душу» ожидания сторонников (вдруг найдутся в архивах КГБ акты вскрытия царских гробниц и там — черным по белому — будет сказано, что интересующий нас гроб пуст... или всплывут неопровержимые свидетельства организаторов таганрогской интриги... или еще что-нибудь волнительное случится) теряют смысл. По крайней мере эмоциональный. Тему эти находки все равно не закроют и всей ее полноты не изъяснят — тем менее послужат доказательством тождества Александра I с Феодором Козьмичом.

Но лишаются какого бы то ни было значения и многие логические увертки противников.

Ибо даже если удастся подтвердить, что старец Феодор Козьмич вовсе не был Александром I, из этого не будет с необходимостью следовать, что русский царь умер своей (а не чужой) смертью в Таганроге 19 ноября 1825 года.

Таежный тупик.

¹⁸ Paleologue M. Alexandre I. Un tsar enigmatique. Paris. 1937; Grunwald C. de. Alexandre I^{er}, le tsar mistique. Paris. 1955. См. также: Валоттон А. Александр I, стр. 330 — 331.

¹⁹ Николай Михайлович, Великий Князь. Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Козьмича. СПб. 1907.

Царь Александр I — не старец Феодор Козьмич

Чтобы выбраться из этого тупика, нужно пересилить себя, покинуть поле толстовского притяжения — и вступить в поле притяжения — пушкинского.

Спокойно и вненаходимо признав «первую группу» поставленных только что вопросов заведомо неразрешимой и допускающей любое толкование, вспомним, что незадолго до появления Феодора Козьмича в Красноуфимске легенду об уходе Александра I с трона применил к себе, к своему биографическому мифу, Александр Сергеевич Пушкин.

Он знал о московско-петербургских слухах 1826 — 1827 годов, будто царь не умер в Таганроге, но тайно ушел с трона (к этим слухам мы еще вернемся); в отличие от Толстого в реальность легенды не верил: слишком долго жил под Александром Павловичем и знал цену его душевным порывам; да и сам в действительности никуда бежать не собирался. Но под явным воздействием иронически воспринятых слухов в поэзии Пушкина (где метафора «царского призвания поэта» наделена вполне весомым смыслом) возникает и на все лады обыгрывается мотив ухода, бегства. Сначала просто из мира условностей и недоброжелательства, а затем от собственных «алчных» прегрешений.

Бегства куда?

«В соседство Бога».

В «обитель дальнюю трудов и чистых нег».

В «тесные врата».

К «Сионским высотам».

Эта метафора цели, к которой стремится поэт, указывает на некую религиозную перспективу; но не следует искать в ней строго церковных соответствий. Поэт, ощущающий себя царем особого поэтического царства, хочет бежать в некое подобие монастырской тишины, где (если воспользоваться не вполне корректным заимствованием у Михаила Булгакова) царит не свет, но покой.

Так в лирике Пушкина рождается формула, по видимости абсолютно нелогичная, по существу же — предельно точно описывающая его «монаршую роль»: «Ты царь — живи один». Царь — тот, кто всегда одинок на земле, ибо помещен в безвоздушное пространство между Богом и Державой, но никогда не живет один, ибо окружен множеством кругов: народа, приближенных, дипломатов. Однако царство Поэзии таково, что допускает (требует!) от своего Царя — именно единенности и созерцательной, почти молитвенной атмосферы Творчества: «Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв».

Именно тут Пушкин проводит границу между «реальной» монархией и монархией поэтической; между царственным Поэтом и «собственно» Царем, между поэтикой и политикой. Он, человек дотолстовской эпохи, хоть и не слишком верит в непосредственную богопоставленность земных владык, но еще продолжает — пусть предельно слабо — ощущать ее; для него десакрализованное, «президентское» представление о Государе как верховном чиновнике государства²⁰ — и только — неприемлемо. Причем опирается он не только (может, и не столько) на церковную, сколько на поэтическую традицию.

Невероятной популярностью пользовался тогда эпизод из жизни Петра Великого, прославленный еще Ломоносовым — и затем воспетый Державиным. Государь обширнейшего Государства, «оставя скипетр, трон, чертог», преодевается плотником, строит корабли, трудится, как простой смертный. Но ни Ломоносов, ни его последователи, ни его читатели вовсе не имели в виду призвать царей к бродяжничеству и пролетарству. Петр Великий оставил свой двор, чтобы выучиться и вернуться, — так следует поступить и любому истинному монарху.

По существу, о том же писал и Карамзин, перелагая в «Письмах русского путешественника» романс Лефорты из оперы Гретри-Буйи стихами, как бы предсказывающими пушкинскую «Сказку о царе Салтане...»²¹. Он менял знаки

²⁰ Формула, предложенная в проекте Конституции Никиты Муравьева, но встречающаяся уже у Радищева.

²¹ См. подробнее: Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М. 1987, стр. 150 — 151.

и оттенки; целью монаршего «отпуска» должно быть не столько обретение трудовых навыков, сколько нравственное совершенствование:

Жил-был в свете добрый Царь,
Православный Государь,
Все сердца его любили,
Все отцом и другом чтили.

Любит Царь детей своих,
Хочет он блаженства их;
Сан и пышность забывает —
Трон, порфиру оставляет. —

Царь как странник в путь идет
И обходит целый свет,
Посох есть ему — держава,
Все опасности — забава.
.....

Чтоб везде добро собирать,
Душу, сердце украшать
Просвещения цветами,
Трудолюбия плодами.

Но для чего ж ему желать «душу, сердце украшать»? Только для того, чтобы по возвращении

...мудростью своей
Озарить умы людей,
Чад и подданных прославить
И в *искусстве жить* наставить.

Второй Болдинской осенью 1833 года Пушкин завершил стихотворную повесть «Анджело», где отзвуки карамзинского романа несомненны. Сквозь ее итальянский антураж просвечивала александровская эпоха, сквозь узор псевдоисторического (шекспировского) сюжета проступала канва предания о таганрогском уходе царя²².

«Предобрый старый Дук», который мягкосердо, а потому не слишком успешно правил своей окончательно разболтавшейся державой, внезапно исчезает. Власть переходит в руки сурового законника Анджело, отвергающего монаршую милость как форму государственного произвола... Венчается же поэма словами, извещающими читателя о помиловании Анджело, этого нарушителя возлюбленной им законности: внезапно возвратясь,

...Дук его простил.

Не все так просто в обманчиво-безмятежном финале; но для нас теперь важно другое. Дук потому и остается единственным до конца положительным героем повести, что он не нарушил своего царского долга; что он, уйдя, не ушел; что он сохранил все обязательства перед страной и народом, вверенным ему Провидением; что он не только вернулся, но, по существу, никуда и не исчезал, наблюдая за происходящим из толпы.

Пройдет два года, и Пушкин напишет стихотворение «Родрик», где повторит тот же сюжетный ход. Потерпевший поражение в битве с маврами, король Родрик

Бросил об земь шлем пернатый,
И блестящую броню.
И, спасенный мраком ночи,
С поля битвы он ушел.

²² См.: Лотман Ю. М. Идеинная структура поэмы Пушкина «Анджело». — В его кн.: «Избранные статьи». В 3-х томах, т. 2. Таллин. 1992, стр. 430 — 444.

Печально его бегство; «Все Родрика проклинают; / И проклятья слышит он». Наконец в третий день Родрик находит пещеру на берегу моря, а в пещере — крест, заступ и нетленный труп отшельника.

И с мольбою об усопшем
Схоронил его король.
И в пещере поселился
Над могилою его.

Он питаться стал плодами
И водою ключевой;
И себе могилу вырыл,
Как предшественник его.

Нетрудно догадаться, что Родрика начинает «упоеанием соблазна» искушать лукавый.

Но отшельник, чьи останки
Он усердно схоронил,
За него перед Всевышним
Заступился в небесах.

В чем же выразилось заступничество? А в том, что отшельник вымолил Родрику, прошедшему искус покаяния и пустынножителства, возможность вернуться к «исполнению королевских обязанностей».

Пробудясь, Господню волю
Сердцем он уразумел,
И с пустынею расставшись,
В путь отправился король.

Для короля — до тех самых пор, пока за ним остается это священное звание, — единственно возможный путь спасенья — это возвратная дорога к трону. Напротив, «обычный» человек спасается, лишь убегая из града, обреченного «пламени и ветрам», от дома, что «в угли и золу вдруг будет обращен». Даром ли сразу после «Родрика» Пушкин в своем «Страннике» переложил эпизод из книги протестантского проповедника XVII века Джона Беньяна? Сюжетный вектор этого трагически-величественного стихотворения прямо противоположен «родриковскому»:

Побег мой произвел в семье моей тревогу,
И дети и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее. Крики их
На площадь привлекли приятелей моих;
.....
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городское поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

Что позволено подданному, то не позволено царю. Полнота власти дается ему в обмен на право распоряжаться собой.

Не веря слухам об уходе Александра Павловича, Александр Сергеевич тем не менее идеально точно описывает условия, при которых уход царя без отречения был бы мыслим. И эти условия предельно жестки: уход в принципе возможен (хотя все равно — невероятен) только как политический прием, как некое испытание, налагаемое на страну; необходимым условием ухода является приход²³.

Пушкин не столько отчетливо сознавал, сколько ощущал родовой памятью, что царь не имеет права самовольно оставить свой трон раз навсегда, ибо этим потрясаются мистические основания христианской монар-

²³ Что, между прочим, доказывают исторические прецеденты; вспомним хотя бы дедмарш Ивана Грозного, удалившегося в Александровскую слободу именно для того, чтобы вернуться в столицу еще более сильным и от бояр еще менее зависящим.

хии, по крайней мере в русском ее варианте²⁴. Православный русский Государь — не египетский правитель Хаким из династии Фатимидов, который правил столько же, сколько и Александр, — двадцать пять лет, запрещая ночью спать, а днем бодрствовать, «пока <...> не сел на осла, не объявил правверным, что они не достойны такого правителя, и уехал, исчез»²⁵. Церковное венчание на царство отнюдь не метафорично; и потому, как уход из семейного дома без бракоразводного процесса есть, по существу, измена семье, так и уход из дворца есть измена стране, которой Государь обручен и с которой он обвенчан²⁶. Поскольку же коронация предполагает взаимную клятву царя и царства на верность перед Крестом и Евангелием, постольку уход без передачи царской благодати другому лицу — это еще и клятвopреступление. А если подходить к делу совсем строго, то после отречения для христианского царя остается один религиозно ответственный путь — в монастырь, в прижизненную смерть монашеского пострига; пример еще одного великого императора, задолго до Александра Павловича пытавшегося сомкнуть Европу в огромное христианское государство, потерпевшего неудачу и после отречения ушедшего в монастырь, — пример Карла V — лишний раз доказывает это.

Но даже «уход через постриг» (напомним, что Феодор Козьмич черноризцем не был) не освободил бы царя от необходимости предварительно отречься. Только в одном — совершенно исключительном и труднопредставимом — случае «окончательный и бесповоротный» уход «буки русского царя» был бы объясним — если не с политической, то по крайней мере с мистической точки зрения. Если бы царя благословил на это его духовный наставник, старец, которому полностью предана личная, человеческая воля монарха и которому ведомы пути Промысла. Однако никто не имел тогда духовного права взять на себя такую ответственность, кроме — нетрудно догадаться — преп. Серафима Саровского²⁷. В статьях и книгах «остроконечников» указание на преподобного иной раз встречается; наиболее восторженные разворачивают перед глазами читателя карту пути следования царского кортежа в Таганрог: вот же, дорога шла через Муромское направление, отсюда до Сарова рукой подать; но — увы!

Во-первых, лишь спустя шесть дней после официальной даты смерти Александра — вместе с концом александровской эпохи — преп. Серафим окончательно завершил многолетний подвиг затвора. **Можно почти уверенно сказать, что Александр I о св. Серафиме ничего не знал, а с архиепископом Филаретом (который тоже узнал о старце, скорее всего, лишь в николаевскую эпоху²⁸) в последний год своего царствования не общался. Общался он с архимандритом Фотием, а тот, в свою очередь, был связан с саровским игуменом**

²⁴ По необходимости краткое и ясное сопоставление западного, византийского, русско-го типов отношения к проблеме «Священной Державы», а значит, к фигуре самодержца и природе его власти см. цитированную уже статью С. С. Аверинцева «Византия и Русь: два типа духовности».

²⁵ См.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII — начало XIX столетия. М. 1986, стр. 86.

²⁶ См., например: Барсов Е. В. Древнерусские памятники священного венчания царей на царство... М. 1883; Вальденберг В. Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. Пг. 1916; Попов К. Чин священного коронования. (Исторический очерк образования чина). — «Богословский вестник», 1896, апрель — май. Ср. также чрезвычайно важную работу, где проблема сакрализации монарха в России рассмотрена в социокультурном аспекте (с некоторыми издержками системного подхода к подвижному историческому материалу): Успенский Б. А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен. — В его кн.: «Избранные труды». В 2-х томах, т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М. «Гнозис». 1994, стр. 75 — 109.

²⁷ И если передававшийся из уст в уста дивеевскими сестрами и саровскими иноками рассказ о посещении Сарова инкогнито Великим Князем Михаилом Павловичем в 1825 или 1826 году (см.: Архим. Серафим (Чичагов). Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря... В 2-х частях, ч. 1. Изд. 2-е. СПб. 1903, стр. 154) справедлив, то вполне вероятно, что под воздействием распространяющихся слухов младшему из Павловичей было высочайше поручено проверить: а вдруг и впрямь теперь царям благословляется исчезать с трона?

²⁸ В 1831 году начинается духовное общение митрополита Филарета с архимандритом Антонием (Медведевым), будущим настоятелем Троице-Сергиевой Лавры, который в 1818 году поступил в Саровский монастырь, с 1820-го, продолжая посещать преподобного, спасался в близлежащем монастыре, а в 1831-м св. Серафим предсказал ему скорое игуменство в Лавре.

Нифонтом, который в духовный дар старца Серафима не только не верил, но и всячески этого подвижника притеснял²⁹. Больше того: царственный современник преп. Серафима Саровского в 1823 году прямо говорил о. Феодосию Левицкому о своем страшном религиозном одиночестве: «...что он не видит и не знает таковых духовных и облагодатствованных свыше людей, посредством коих <...> великие дела Христовы в сем мире благонадежно совершаться бы могли; а только известны ему и под одеждою духовною почти все служители Христовы, плотские и земные, к оным весьма неспособные»³⁰.

Во-вторых, именно потому, что в Сарове игуменом был Нифонт, наивно полагать, будто величайший русский святой мог кого бы то ни было (тем более — царя!) в обители или в пустыни спрятать. Его почитала дивеевская община, где он практически никогда не бывал, а от саровского монастыря ему пришлось много натерпеться. Конечно, чудотворцу все возможно — но ни единого намека на подобное чудо церковная память до нас не донесла.

Да и все, что мы знаем об Александровой религиозности — утонченно-нервной, мистически перенапряженной, романтически-необузданной, — подсказывает нам, что направить русского царя к русскому святому в 1825 году было некому.

Тут, пожалуй, может прийти на память анонимная исповедь Александра Павловича слепому иеросхимонаху Киево-Печерской Лавры Вассиану, спустя день после которой Государь впервые принародно заговорил о прижизненном отречении: не тогда ли и было преподано требуемое благословение? Слава Богу, на исповеди сторонних лиц не допускают; так что, о чем шла тогда речь, мы никогда не узнаем. Но кое о чем догадаться — можем.

Во-первых, Александр назвался тогда князем Волконским. Старец Вассиан, славившийся духовной прозорливостью, догадался, кто перед ним (и после сказал об этом лаврским инокам). Но, приняв правила «игры», беседовал с царем как с его адъютантом. Стало быть, мог поделиться с «Волконским» неким предвидением, до царя касающимся, но отнюдь не мог дать ему благословение на уход: посредничество мнимого Волконского тут было бы неуместно. Во-вторых же, как было сказано, 8 сентября 1817 года царь сообщил ближайшему окружению не план побега, а замысел легитимного устранения от монаршей «должности». И позже неизменно заводил речь о прижизненном отречении — отнюдь не об «уходе».

Так что если вдруг царь в Таганроге не умер, то он из Таганрога не ушел, а сбежал³¹. И не потому, что хотел спасти душу, а потому, что не хотел терять жизнь. И не в здравом уме и трезвой памяти, а в припадке нервного пароксизма, поняв, что значит летний донос Шервуда об окончательно созревшем заговоре тайных обществ, помноженный на осенний доклад начальника Южных военных поселений генерала Витта о всероссийском масштабе и всеармейском охвате грядущего путча (Витт перечислил имена руководителей и главных участников). Вполне вероятно, что после разговора с Витгом Александр в ином свете представил сентябрьский инцидент с Аракчеевым: когда дворовые зарезали аракчеевскую сожительницу Настасью Минкину, «преданный без лести» граф не только самовольно сложил с себя высочайше возложенные обязанности, но и напрочь отказался приезжать к царю в Таганрог. Почему? От нервного шока или из холодного расчета — в ожидании глобальных потрясений и опасаясь цареубийства в Таганроге, во время которого придворных не пощадили бы?..³²

²⁹ См.: Прот. В.с. Рощко. Преп. Серафим: Саров и Дивеево. Исследования и материалы. М. Sam&Sam. 1994.

³⁰ «Описание духовных подвигов и всех случаев жизни священника Феодосия Левицкого, бывшего благодатию Божию, под именем Феодора, свидетеля приближившегося суда и царствия Божия, самим им писанное в 1835 г.» — «Русская старина», 1880, № 9, стр. 147.

³¹ Именно это слово употреблял Н. Я. Эйдельман, обсуждая возможные варианты развязки «таганрогского сюжета», хотя он и находился под обаянием «Посмертных записок...» Толстого. См.: Эйдельман Н. Я. «Не ему их судить...». — В его кн.: «Из потаенной истории России XVIII — XIX веков», стр. 381. Впрочем, о бегстве — одобрительно — говорил и сам Толстой.

³² Подробнее см.: Архангельский А. Н. Бегство в ожидании ухода? К поэтике эпистолярного жеста. — «Человек», 1994, № 6; 1995, № 1.

Могло это быть? Это — в принципе — могло. (Совершенно не значит, что было.) И в таком случае помогавшие Александру стали преступными сообщниками совершенной им государственной измены.

Меньше всего нас должно волновать, почему тогда беглого царя не узнал первый же встречный. Ответ прост: фотография еще не была изобретена. Парадные (читай: приукрашенные до неузнаваемости) портреты Государя имелись в «казенных домах». Но прохожих в кабинеты столоначальников не допускали, а столоначальники не были прохожими. Они пользовались услугами общественного и личного транспорта. И потому, убежав осенью 1825 года из таганрогского «дворца», Александр остался бы неузнанным. Как в 1812 году он оставался неузнанным в Вильно, когда, по воспоминаниям Шуазель-Гуффье, инкогнито «часто заходил в находившиеся на его пути дома частных лиц, беседовал с хозяевами, своей предупредительностью приобретал их доверие, расспрашивал их и таким путем открывал разные скрываемые от него злоупотребления властью <...> Однажды он вошел таким образом к одному дворянину, сельскому жителю, хорошему малому. Последний принял его добродушно, восхищенный дружеским видом, с которым император отозвался на его гостеприимство, и стал пить с ним пиво <...> «Наконец, друг мой, — сказал он, все более оживляясь с каждым стаканом крепкого пива, — скажите, прошу вас, ваше имя, чтобы я знал, кого я имел счастье принять в своем доме?» Император, немножко смущенный, ответил, улыбаясь, что он называется *честным человеком*. «Итак, мой милый честный человек, — сказал дворянин, сердечно обнимая его величество, — благослови вас небо!» В эту самую минуту приезжают несколько лиц из свиты его величества: инкогнито открыто. Дрожащий и смущенный дворянин падает к ногам Государя, который ласково поднимает его и, уезжая, оставляет ему знак своего благоволения»³³.

Трогательно, эффектно, театрально. Но неинтересно.

Куда занимательнее вопрос, что было бы дальше... если бы было? Что предпринял бы царь, очнувшись от настигшего его пароксизма и обнаружив себя — бежавшим... если бы он убежал? С помощью невидимых чернил подставив это «бы» в каждый пассаж последующего рассуждения, приступим.

В отличие от нас Александр, убегая, ничего бы не знал о «тайне Феодора Козьмича», не догадывался, как прекрасна его участь — участь царственного странника. Вот, все имел, на золоте едал, а теперь босичком, босичком — по пути в Царство Небесное... И — опять же в отличие от нас — он (бы) понимал, что натворил, и чувствовал: обратного пути нет. Он не Дук, ему не вернуться на трон. Не он должен прощать, а его — не простят.

Создавшееся положение нужно было обдумать. Где? В каком укромном уголке? Первая мысль очевидна: к Аракчееву, в Грузино.

Очевидна и вторая мысль: единожды солгавши, кто тебе поверит. Если Аракчеев не пожелал разделить с отцом и благодетелем рискованное таганрогское уединение, если в самую тяжелую минуту воспользовался трагическим поводом и послал неформальное прошение об отставке — кто может поручиться, что не выдаст снова?

Третья мысль не очевидна, но предположить ее можно с большой степенью вероятности: в Киев, в Лавру, в пещеры или скиты. Здесь он найдет укрытие, где его — не найдут. Здесь дадут душеполезный совет. Здесь о нем помнят; возможно, что именно здесь ему и было предсказано прижизненное удаление с трона. Здесь не выдадут.

Мысль четвертая: к Фотию, в Новгородский Юрьевский монастырь. Фотий спрячет, Фотий поймет, Фотий сам говорил, что грядет страшная революция.

Пятая: Москва, Филарет. Владыка мудр, он умеет хранить тайну, что уже доказал однажды.

Мысль шестая: Валаам. Здесь царь тоже был, здесь его тоже помнят, здесь его тоже не выдадут.

А больше бежать было некуда. Потому что в Сибири надежных знакомых русский царь не имел. Сибири прежде не посещал.

³³ «Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе, — графини Шуазель-Гуффье, урожд. графини Фитценгауз, бывшей фрейлины при Российском дворе. Изд. 1829 года». М. 1912, стр. 157.

Чтобы понять, какой выбор сделал (бы) Александр Павлович, не надо заглядывать ему в душу. Достаточно посмотреть на карту: ближе всего к Таганрогу Киев.

Последнее, о чем не так уж трудно догадаться, — это о том, что сказали (бы! бы!) Александру лаврские старцы, и среди прочих — слепой провидец Вассиан, который был тогда еще жив — он умер в 1827 году. Они сказали бы ему правду. Их оценки не совпали бы с оценками великого русского сердцеведа, а если бы старцев и давили «спазмы в горле», если бы в их глазах и «стояли светлые лучистые слезы»³⁴, это были бы слезы сочувствия и спазмы сострадания: какой же ценой придется искупать грех! Какой угол отражения предстоит вычерчивать, чтобы он оказался равен углу падения...

Но гадать бесполезно. Бывший царь пошел бы туда, не знаем куда, и сделал бы то, не знаем что.

Впрочем, трудно удержаться от (вполне соблазнительного!) предположения, что какой-то язвительный полунамек на дальнейшую перспективу содержания в книге одного из самых осведомленных (и политически и религиозно) людей первой половины XIX века, исполнившего должность обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода, Андрея Николаевича Муравьева³⁵. Муравьев описывает свое паломничество на Валаам, где в 1819 году побывал и Александр I. На малом кладбище паломнику указали деревянную доску, время от времени поновляемую.

Надпись гласила:

На сем месте тело погребено,
В 1371 году земле оно предано,
Магнуса Шведского короля,
Который, священное крещение восприя,
При крещении Григорием наречен.
В Швеции он в 1336 году рожден.
В 1360-м на престол возведен,
Велику силу имея и оною ополчен,
Двоекратно на Россию воевал,
И о прекращении войны клятву давал;
Но преступив клятву паки вооружился,
Тогда в свирепых волнах погрузился,
В Ладожском озере войско его осталось
И вооруженного флота знаков не оказалось;
Сам он на корабельной доске носился,
Три дня и три ночи Богом хранился,
От потопления был избавлен,
Волнами ко берегу сего монастыря управлен;
Иноками взят и в обитель внесен,
Православным крещением просвещен;
Потом вместо царския диадимы
Облечен в монахи, удостоился схимы,
Пожив три дни, здесь скончался,
Быв в короне и схимою увенчался.

И тут же Муравьев начинает подробно — очень подробно, слишком подробно — пересказывать сюжет жития Варлаама и обращенного им царевича Иоасафа, день церковного поминовения которых стал последним днем царской жизни Александра I Павловича. (Житие, составителем которого был св. Иоанн Дамаскин, Муравьеву подарил тогдашний валаамский игумен о. Варлаам.)

«Гщетно вельможи и народ умоляли его оставаться на престоле. Влекомый жаждою уединения, он избрал им достойного Царя и сам устремился к иным подвигам. Плачущий народ весь день следовал за ним по пути к пустыне, но с солнечным закатом исчез навеки от него Иоасаф. Долго скитаясь по безлюд-

³⁴ Так один из интервьюеров описывал состояние Толстого, рассказывающего об Александре I — старце Феодоре Козьмиче.

³⁵ Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам Русским. В 2-х частях. СПб. 1840. Кстати, Муравьев был автором едва ли не первого описания Саровской обители: Муравьев А. Н. Саровская пустынь. СПб. 1849.

ным местам, открыл он наконец вертеп наставника своего Варлаама, и одною молитвою потекла жизнь обоих, доколе юноша не воздал последнего долга старцу. Одинокий труженик еще многие годы подвизался подле него в пустыне, как некий Ангел охраняя пределы своего царства, променяв Индийскую корону на венец нетленный».

Точка.

И в следующем же абзаце, без всякого перехода, Муравьев заводит речь об Александре I:

«Размышляя о великом отречении Иоасафа, я воротился от Игумена в те самые келии, где другой царственный искатель уединения приходил на время облегчить душу, обремененную мирским величием. Здесь в Августе 1818 (1819. — А. А.) года благочестивый Император Александр два дня удивлял своим смирением самых отшельников Валаама. Оставив в Сердоболе свиту, с одним лишь человеком приплыл он вечером в монастырь. Братия, созванная по звуку колокола, уже нашла Государя на паперти церковной. Несмотря на поздний свой приезд, ранее всех поспешил он к утрени в собор и смиренно стал между иноками, отказавшись от царского места. Исполненный благочестивого любопытства, пожелал он лично видеть пустынные подвиги отшельников, посетил все их келии, с иными беседовал, с другими молился и, утешенный духовным состоянием обители, щедро наделил ее своими милостями. Игумен Иоанафан впоследствии имел всегда свободный вход в царские покои. Память кроткого Монарха священна Валааму».

Читаем — и останавливаемся в недоумении.

Носитель немнимой риторической традиции, Муравьев понимает — не может не понимать! — что он делает. Не может не догадываться, что рассказ о посещении Валаама Александром I сам собою встраивается в контекст чересчур подробно изложенного жития.

Что фраза об игумене Иоанафане, всегда имевшем доступ в покои Александра, немедленно рождает мысль о старце Варлааме, получившем доступ в покои царевича Иоасафа.

Что без всякого усилия, сам собою, в читательском сознании перекидывается мостик к стихотворной истории о шведском короле, спасшем душу на Валааме.

Проверяем себя: не происходит ли с нами то же, что со сторонниками версии Хромова, которые подставляли конечный, «монарший», вывод в размышления о самых рядовых эпизодах жизни старца Феодора Козьмича и превращали эти эпизоды — в набор намеков на известные всем события?

Или все-таки Муравьев отнюдь не бесхитростен и указывает на странные, ему одному известные, обстоятельства?

Тогда кому он на них указывает? На дворе ведь не конец 1860-х, а начало 1840-х; о старце Феодоре Козьмиче знают только его конвоиры и его односельчане, а слухи об исчезновении Александра давным-давно преданы забвению.

Или он, подобно пушкинскому Пимену, адресует свое послание потомкам, через голову современников: догадайся, кто сможет?

Нет у нас ответа. И ни у кого нет. Но умолчать не можем. Потому что — могло быть.

А было ли? Кто знает. Но для Александра — лучше бы не было. Ни жив, ни умер, не отрекался, не предал, не сохранил, не потерял... страшно и подумать о такой перспективе.

Вот чего не хотел заметить Толстой, жизнь положивший на очищение религии от религиозности, на промывку мистического содержания жизни до прозрачности обыденного события. Тем меньше могли разобраться в природе царской власти современники и потомки великого писателя. Авторитет Толстого заменил им глубину личного понимания. Одни умиляются романтичностью предания, другие разоблачают несостоятельность легенды, и никто не посягает — на самую романтичность. Между тем она-то и есть единственное, что здесь безусловно отсутствует.

В отличие от своих подданных это, кажется, ясно уразумел последний русский царь, Николай II, который — как было уже сказано — буквально запретил члену правящей фамилии Николаю Михайловичу доверяться версии об уходе Александра из Таганрога и впредь распространять ее в публике; вполне

вероятно даже, что он и был «заказчиком» странноватой книжки Николая Михайловича о сибирском старце.

Решение Николая II, принятое в грозовой промежуток между русской революцией 1905-го и мировой войной 1914 года, свидетельствует о детальной продуманности всех потенциальных трагических следствий «версии Хромова», с которыми несравнимы даже бесконечные взаимоубийства русских царей XVIII века. Если Александр действительно бежал в 1825 году из Таганрога, то юридическая, политическая, нравственная система русской монархии, олицетворяемой Домом Романовых, дает трещину именно как целое. Сомнительными оказываются все последующие престолонаследники, ибо они, в принципе, могут быть сочтены не более чем местоблюстителями престола — до возвращения прежнего царя. Или — до лишения его царского сана, развенчания. Или — до соборного избрания царя — нового. Понятно, к чему это могло привести в предреволюционной ситуации.

Последний из русских царей помогает нам понять то, мимо чего, отправившись вслед русскому писателю, прошли русские историки. Что, скончался ли Александр I в Таганроге или нет, — в любом случае александровское царствование завершилось 19 ноября 1825 года, ибо как монарх Александр Павлович несомненно в этот день умер. Физически или метафизически — для понимания той эпохи как явления политического и ее исторической оценки не так уж и важно, ибо свет, исходящий от личности Феодора Козьмича, не рассеивает темные стороны александровского правления. И в любом случае босиком по сибирскому снегу в толпе арестантов шел не русский самодержец, а частный человек, ищущий спасения. Носил ли он в своей «прошлой» жизни имя Александра Павловича Романова или не носил, этого мы с достоверностью не знаем. И вряд ли узнаем когда-нибудь.

Самозванство без самозванца

Теперь подойдем к проблеме с другой стороны — со стороны самого старца Феодора Козьмича.

Понять правительственных чиновников, разбиравших челобитную Хромова и не давших ей ход, можно.

Заявитель прибыл из Сибири, перенасыщенной каторжными и ссыльными монархами. В конце XVIII века только ленивый не выдавал себя за Петра III Феодоровича; в XIX пришла пора отца, братьев и сестер Александра Павловича. Незадолго до появления Феодора Козьмича в Сибири под Иркутском в 1833 году после молитвы у мощей св. Иннокентия объявилась Мария Павловна, велевшая народу помянуть за здравие брата ее Михаила Павловича. Митрополиту Серафиму (Глаголевскому) тогда же было отправлено ее письмо:

«Уведомляю Вас, что я жива и здорова; по Вашем святом благословении нахожусь во святой Сибири. Однако Вы, св. отец, благословили меня, только не знали, когда благословляете, чью дочь. А теперь я Вас уведомляю, что я была Государя Павла Петровича. Бог меня сотворил, а Государь меня родил Павел Петрович, вместе с маменькою моею любезною, а с его женою, Государынею Мариею Феодоровною в Зимнем Дворце.

Но я была у них по Божьем желанию отдана и находилась в таких местах, что не могла открыть себя, чья я дочь, и принимала мучения со всех сторон.

Покорнейше Вас прошу, св. отец, уведомить тайно самого Государя о моем приключении, абы он меня взял во дворец, знаю, что надобно быть теперь в Империи. За что буду вечно Богу молиться и буду ему правою рукою второю не только ему, даже и Вам, св. отец, которого я видела чудо»³⁶.

В том же 1833-м, по убеждению ссыльных поляков, в Сибири должен был объявиться мнимоумерший Великий Князь Константин (россиянам о том сообщила и «Мария Павловна»). Ему предстояло возглавить новое польское восстание и маршем пройти из Томска в Варшаву. Уже в 1834 году будущий генерал-губернатор Сибири Семен Броневский предложил «расположить в селениях за Томском на время наступающего лета <...> пятисотенный казачий полк

³⁶ Кубалов Б. Сибирь и самозванцы. — «Сибирские огни», 1924, № 3, стр. 169.

поэскадронно, а в Томске два орудия конной артиллерии и, кроме местного гарнизона, еще роту 5-го линейного Сибирского батальона»³⁷.

Если роль утверждена общественным художественным советом, актер найдется: в 1835-м семидесятилетний поселенец Красноярского округа Николай Прокопьев стал принимать подарки, есть и пить в счет будущих поступлений в государственную казну, пока не был арестован и не получил тридцать розог...

В 1836-м эсхатологические чаяния вновь охватили поляков (имелись пророчества, что в этом году будет кровопролитие между народом), и местный заседатель Птичников приказал объявить, «чтоб цесаревича Константина не считать в живых, а считать умершим»³⁸. Поскольку же цесаревич Константин умершим не считался, властям приходилось принимать более серьезные меры. В поисках претендента на русский престол казачьи разъезды прочесывали тайгу...

И всякий раз центром самозваного круга оказывался Томский и Тобольский край. И всякий раз мы обращаем внимание на то, что «случай самозванства в Сибири падают главным образом на 20 и 30 годы XIX столетия»³⁹.

Но, к сожалению, серьезное изучение самозванства как особого явления русской политической и квазирелигиозной жизни началось только в XX веке, и те, кому поручено было рассмотреть «записку» Хромова, не имели возможности сопоставить полученное известие с «типовым проектом», понять, насколько оно противоречит «самозванческому канону».

Во-первых, до крайности неудачен был выбор царского псевдонима. Идеальным вариантом подмены всегда были ничем не проявившие себя (или, подобно Константину, прошедшие жизнь в историческом далеке, в некоем пространственном тумане) члены царской фамилии; желательно — рано умершие или еще лучше — насильственно устраненные придворными. Тогда возникало ощущение недоговоренности, недосказанности их монаршего слова, в воздухе повисала неловкая пауза, взывающая к завершению и договариванию. Тогда фигура как бы лишалась фона и легко могла переместиться из Петербурга в Тобольск. Тогда на месте царского лица оставалась прорезь, в которую так удобно было вставлять физиономию самозванца.

Александр Павлович для этого совершенно не подходил. Он «со славой правил» четверть столетия, слишком многое совершил, слишком полномерно осуществился в истории — русской и мировой. Его «загадочность» была слишком салонной, слишком придворной, чтобы ее различало простонародье. Для крестьянина, мануфактурного рабочего, каторжника, поселенца (то есть для той среды, что и становится закваской для самозванства) он был не «сфинкс, не разгаданный до гроба», а простой русский Государь, победитель Наполеона, освободитель России, монарший друг Кутузова.

Что же до отцеубийства, то, даже если бы официальная тайна была оглашена, все равно народная религиозная фантазия продолжала бы интересоваться убиенным, а не убийцей.

Словом, в Александре Павловиче совершенно нечего было подменять. (Или — точнее — заменять, ибо народное религиозное сознание воспринимало самозванца как истинного царя, который был предназначен от века, но в силу внешних обстоятельств лишен возможности осуществить предначертанное; «законный» Государь, в таком случае, казался лжецарем, самочинцем на троне, увенчанным от врага рода человеческого.)

Во-вторых, даже в конце 1820-х годов, когда появились некоторые основания для «замены» — кончина царя вдали от столиц, закрытый наглухо гроб, путаница с присягами, военно-поселенческие волнения, участникам которых отнюдь не помешал бы свой крестьянский царь, — претендентов на александровскую вакансию практически не нашлось.

Больше того. В любой истории александровского царствования можно прочесть, что зимой 1825/26 года некий дворовый человек Федор Федоров (совершенно случайное совпадение с именем старца) собрал «Московские по-

³⁷ Кубалов Б. Сибирь и самозванцы, стр. 174.

³⁸ Там же, стр. 173.

³⁹ Там же, стр. 170.

вести, или Новые правдивые и ложные слухи, которые после виднее означутся, которые правдивые, а которые лживые, а теперь утвердить ни одних не могу, но решился на досуге списывать, для дальнего время незабвенного, именно 1825 года, с декабря 25-го дня⁴⁰. Зная славную традицию отечественных слухов, помня обстоятельства таганрогского успения и способ доставки царского тела (закрытый гроб) в столицу империи, чего вправе мы ожидать? Что по крайней мере две трети версий будут подобны объявлениям в народной газете об открытом конкурсе на освободившуюся должность русского царя. Что почти все они станут толковать об его исчезновении.

Совсем напротив.

Лишь некоторая — не самая значительная — часть слухов прямо дарует Александру Павловичу «жизнь после смерти». Причем один из них при этом указывает и на место «сокрытия», и на род деятельности, каким прежний царь займется в новое правление. То есть заранее отсечена самозванная перспектива, главное условие которой — неизвестность царского местопребывания и незавершенность монаршего дела.

...жив, его продали в иностранную неволю...

...жив, уехал на легкой шлюпке в море...

...солдат взошел к Государю и сказал ему: Вас сегодня изрубят, приготовьтесь непременно... солдат... надел на себя царский мундир, а Государя спустил в окно, а на солдата вбежали изверги и всего изрубили вместо Государя; ...а настоящий Государь бежал под сокрытием в Киев и там будет жить у Христе с душою и станет давать советы, нужные теперешнему Государю Николаю Павловичу для лучшего управления Государством...

...Государево тело сам Государь станет встречать... и на 30-й версте будет церемония им самим устроена...

Еще какая-то — тоже отнюдь не обширная — часть слухов ставит под сомнение факт царской смерти — ничего определенного не утверждая при этом.

...«престарой князь» Долгоруков Юрий Владимирович хочет прежде присяги «видеть тело покойного Государя своими глазами в лицо, тогда и присягнет кому должно»...

...некий сельский дьячок, вернувшись из Москвы, где он встречал монарший гроб, на вопрос мужика, что, видел ли Государя, отвечивал: «Какого Государя, это черта везли, а не Государя» (мужик, между прочим, не поверил и ударил дьячка в ухо)...

Но большая часть слухов, объясняя причину закрытости гроба, толкует о смерти царя; насильственной, но — смерти.

...Убили, изрезали... и нельзя узнать, для того на лицо сделали восковую маску...

...напоили такими напитками, от которых он захворал и умер. Все тело его так почернело, что никак и показывать не годится...

Невероятное, неслыханное смирение народной фантазии. И это во взрывоопасной ситуации 1826 года! Что уж говорить о временах позднейших, особенно после безвременной кончины Государя Императора Николая Павловича (с его не до конца безупречной легитимностью и двойной присягой) и воцарения «несумненного Государя» Александра II! А именно в эту пору — и даже еще позже — рождаются первые слухи о тождестве Александра I и старца Феодора Козьмича...

Однако того, что во-первых и во-вторых, мало. Есть еще в-третьих и в-четвертых.

Купец Хромов отправился в Петербург со своим неведомым известьем только после смерти «подозреваемого», что уж и вовсе полностью противоречит вековым традициям и русского социального мифа о возвращении царя-избавителя, и народному квазирелигиозному мечтанию об «истинной монархии», чья истинность не зависит от формальных обстоятельств.

Наконец (и это главное), в описываемом сюжете отсутствовал немаловажный элемент традиционного самозванства: сам самозванец.

Сколько бы мы ни искали в словах и «жестах» старца Феодора Козьмича прямых указаний на его царственное прошлое, ничего найти не удастся.

⁴⁰ Ниже цит. по: Василич Г. Император Александр I и старец Феодор Кузьмич, стр. 89 — 91, с небольшим дополнением по: Шильдер Н. К. Император Александр I..., т. 4, стр. 445.

А те намеки на возможные обстоятельства, о которых сообщают нам источники, близкие к его особе, намеками становятся только после того, как высказан и принят в качестве исходной посылки конечный вывод: Феодор Козьмич есть Александр Павлович. Не намек требует расшифровки, а расшифровка превращает факт — в намек!

Сделаем над собою интеллектуальное усилие.

Забудем, что мы знаем о донесении Хромова.

Представим, что не ведаем о позднейших слухах, и рассмотрим «намекающие» эпизоды изнутри них самих.

Вот случай, поведенный казаком Семеном Сидоровым (владельцем дома в Белярской станице). «Вспоминая однажды в разговоре Красноярск и его начальство и будучи чем-то недоволен, старец сказал <...>:

«Стоит мне только гаркнуть слово в Петербурге, то весь Красноярск содрогнется от того, что будет».

Он произнес эту фразу, смотря прямо в глаза Сидорову, так громко и строго, что тот весь задрожал»⁴¹.

Что значит в устах православного старца «гаркнуть слово в Петербурге»? Следует ли понимать это так, что старец, порвав с миром, которому принадлежал прежде, сохранил с ним потайную связь? Что, бросив все, он не утратил самое главное, самое страшное — власть и окружающим дано понять, каков масштаб и статус ее? Или речь иносказательна и старец говорит о другом — о том, что власти земные поставлены не для произвола, что есть высший суд и высшая власть; что стоит подвижнику благочестия обратиться к помощи этой власти (а только ею и может быть наделен молитвенник — какую же еще?!), как в движение придут все государственные механизмы? Зная — заранее зная — «вывод Хромова», предположим первое; не догадываясь о нем — выберем второе, куда более веродостоинное.

Или вот слова, сказанные Феодором Козьмичом крестьянину Семену Андреевичу Митрофанову: «Да, панок, тяжело Государю царствовать. Министры все дело в руки забрали». Забудем на миг «монаршую перспективу» — и услышим в словах только то, что и заключено в них: горький вздох праведника об участи богопоставленного владыки, о судьбе здравствующего Государя Императора. Может быть, на самом дне уловим след каких-то личных воспоминаний о петербургской жизни, но отнюдь не «признательные показания» бывшего правителя Империи Российской!

Пойдем далее. Томская старушка Аринушка, которая во времена старца была молодой девушкой, в начале XX века вспоминала, как село Краснореченское посетил «архиерей Афанасий»; естественно, любопытная молодежь столпилась у открытого окна дома, в котором епископ остановился. Владыка расспросил, где обретается старец Феодор, и пожелал видеться с ним. За старцем послали. Прибыв и подойдя под благословение, тот стал ходить с епископом по горнице, «разговаривая между собою не по-нашенски». Другой источник сообщает, что во время первого свидания со старцем преосв. Афанасий просил того открыться, но старец наотрез отказался, сославшись на благословение митрополита Филарета Московского.

Что следует из всего этого? Только то, что Феодор Козьмич говорил по-французски (стало быть, имел образование), что некогда он принял послушание у московского митрополита и что Филарет за чем-то поручил ему подвиг сокрытия имени и неизбежно связанного с этим поношения, поражения в правах, ссылки. К этому эпизоду мы еще вернемся; пока же ограничимся ответом на вопрос, что здесь специфически царского: ничего.

Напротив, в «кулинарной» похвале старца при вкушении любимых им оладий с сахаром: «От таких оладий и сам бы царь не отказался» — царские мотивы несомненны; но чтобы принять эти слова за скрытое признание, нужно окончательно потерять чувство юмора.

⁴¹ Попутно заметим, что нам ничего не известно о пребывании Феодора Козьмича в Красноярске; единственное упоминание о том, содержащееся в книжке некоего К. Г-ва «Сибирский замечательный и загадочный старец Федор Кузмич, умерший в Томске 20 января 1864 года, и о том, как жили в Сибири русские люди в его время» (СПб. 1905), настолько неправдоподобно, что разбирать его нет смысла.

Да, отправляя в паломничество по российским монастырям свою любимицу, дочь бедного краснореченского крестьянина Александру Никифоровну, на ее вопрос — как бы в России увидеть царя? — он задумчиво ответил: «Погоди, — может быть, и не одного царя на своем веку увидеть придется. Бог даст, и разговаривать еще с ним будешь и увидишь тогда, какие цари бывают». Но что из этого следует, кроме прозорливости Феодора Козьмича? Ибо, попав осенью 1849 года в Почаевский монастырь, паломница нашла здесь «добрую и гостеприимную графиню» Остен-Сакен, встречу с которой предвещал ей старец. Та заинтересовалась двадцатилетней богомолкой и ее сибирскими повествованиями и взяла с собою в Кременчуг, где граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен находился на излечении от венгерских ран; в это самое время в Кременчуг прибыл император Николай Павлович и остановился в доме Остен-Сакенов — благочестивую сибирячку предъявили царю, подали на духовный десерт.

Да, она упомянула в разговоре с Николаем I о «великом старце Феодоре Козьмиче» — и, по одной из версий этого эпизода, Николай побледнел и велел Остен-Сакену выдать Александре Никифоровне записку-пропуск, позволяющую в любое время явиться во дворец, пред монаршие очи. Но по другой — император не обратил на произнесенное имя никакого внимания и записку приказал написать просто так, из склонности к широкому жесту. Картина с побледневшим императором эффектнее, именно поэтому она менее достоверна. Следуя старому правилу: из двух версий реального события выбирай наименее литературную, — будем считать, что имя Феодора Козьмича впечатления на царя не произвело. Как не произведет оно впечатления и на императрицу Марию Александровну, с которой Александра Никифоровна восемью годами позже встретится на пароходе, плывущем на Валаам, и (как бы во исполнение предвещанного: ...может быть, не одного царя увидеть придется...) побеседует о Сибири и сибирских подвижниках благочестия...

Да, старец говорил, что и «цари, и полководцы, и архиереи — такие же люди, как и вы, только Богу угодно было одним наделять властью великою, а другим предназначить жить под их постоянным покровительством».

Да, отводя сочувствие крестьян (вот, мол, жил хорошо, а теперь в лишениях...), объяснял, что его нынешнее положение лучше прежнего, ибо «в настоящее время я свободен, независим, а главное — покоен. Прежде мое спокойствие и счастье зависело от множества условий: нужно было заботиться о том, чтобы мои близкие пользовались таким же счастьем, как и я, чтобы друзья мои меня не обманывали... Теперь ничего этого нет, кроме того, что всегда останется при мне — кроме слова Бога моего, кроме любви к Спасителю и ближним. Теперь у меня нет никакого горя и никаких разочарований, потому что я не завишу ни от чего земного, ни от того, что не находится в моей власти. Вы не понимаете, какое счастье в этой свободе духа, в этой неземной радости. Если бы вновь вернули меня в прежнее положение и сделали бы вновь хранителем земного богатства, тленного и теперь мне вовсе не нужного, тогда я был бы несчастным человеком».

Да, память старшей дочери Хромова сохранила и такой эпизод: «Когда Феодор Козьмич <...> жил в с. Коробейниковом, то мы с отцом приехали к нему в гости. Старец вышел к нам на крыльцо и сказал:

— Подождите меня здесь, у меня гости.

Мы отошли немного в сторону от кельи и подождали у лесочка. Прошло около двух часов времени; наконец из кельи, в сопровождении Феодора Козьмича, выходят молодая барыня и офицер в гусарской форме, высокого роста, очень красивый и похожий на покойного Наследника Цесаревича Николая Александровича. Старец проводил их довольно далеко, и когда они прощались, мне показалось, что гусар поцеловал ему руку, чего Феодор Козьмич никому не позволял. Пока они не исчезли друг у друга из виду, они все время друг другу кланялись. Проводивши гостей, Феодор Козьмич вернулся к нам с сияющим лицом и сказал моему отцу:

— Деды-то меня как знали, отцы-то меня как знали, дети как знали, а внуки и правнуки вот каким видят!»

Но и мысль о царях и власти, и предпочтение «бедной независимости» — «зависимому богатству» ни о чем не свидетельствуют, кроме мудрости и простоты; ни о чем не сообщают, кроме как о преждебывшем состоянии старца,

которое променял он на евангельскую жемчужину Царства Небесного. Ни о миропомазании, ни о короновании они не говорят. То же и со сценкой у кельи. Феодор Козьмич ни словом не обмолвился о том, кем были его посетители. Он вновь выражается иносказательно. Иносказательно в любом случае! — ибо у Александра Павловича родных детей и внуков не было, а деда его убили.

Что же до подробных и частых рассказов старца о 1812 годе, о въезде Александра I в Париж, до слез, пролитых им, когда рабочие затянули песню «Ездил Белый русский Царь...», и просьбы никогда эту песню при нем более не петь — то всюду Феодор Козьмич выступает в роли свидетеля царского сияния и никогда, ни разу, ни при каких обстоятельствах, не поставляет себя на место «князя, сына человеческого».

Наконец, Феодор Козьмич, вспоминая о своем «достарческом» прошлом, неизменно называл себя «великим разбойником» — но, честное слово, разбойников в русской истории XIX века и без Александра Павловича хватало.

Больше того: перед нами случай, предельно располагавший к появлению «царской версии» (внешняя схожесть, несомненно непростое происхождение, твердокаменная безымянность и — даже! — французский язык). Стоило бы старцу и впрямь хоть единожды, хоть косвенно, хоть ненароком дать знать окружающим о том, что перед ними — русский царь, мы сейчас не разбирались бы с единичными и разрозненными предположениями, а распутывали бы хитросплетения бурного народного романа с похищениями, переодеваниями, изменами и торжеством добродетели. И первая глава романа была бы предана «гиснению» не в 1850 — 1860-е годы, а практически одновременно с его появлением в Сибири. Между тем, повторимся, слухи о царском происхождении Феодора Козьмича распространились лишь в последние годы его жизни⁴².

Впрочем, единственную оговорку — уже на смертном одре — Феодор Козьмич допустил; но о ней речь пойдет чуть позже. А пока, просеяв при жизни нежные данные, что получаем в осадке?

Французский язык.

Военную выправку.

Вензель, изображающий буквицу «А» с короною на венце и с летящим голубком вместо перечерка (Феодор Козьмич сам нарисовал этот вензель карандашом на писчей бумаге, раскрасил зеленовато-голубой и желтой красками и поместил за стекло киота иконы Печерской Божией Матери «старинного письма»). Икону же, перебираясь впоследствии из села Зерцалы на новое место, он перенес в часовню и после молебна велел крестьянам хранить ее и вензель пуще глаза).

Высокий рост, голубизну глаз.

Связь с митрополитом Филаретом.

Икону св. Александра Невского.

Старательное искажение своего почерка.

Добровольный разрыв со средой и уход из дому втайне от близких («родные <...> поминают за упокой»).

По смерти старца к этому перечню совпадений добавились сведения о мозольных уплотнениях на коленях от долгого стояния на молитве — точно таких же, какие были у покойного царя. А также брачное свидетельство Великого Князя Александра Павловича и Великой Княгини Елисаветы Алексеевны. Но мозоли сами по себе ничего не доказывают, а брачное свидетельство исчезло раньше, чем его успел взять в руки хотя бы кто-нибудь, кроме Семена Хромова, не слишком сведущего в монаршем делопроизводстве.

Следовательно:

если мы заранее убеждены, что перед нами скрывшийся под именем Феодора Козьмича Александр Павлович, то можем быть счастливы, получив несомненные подтверждения нашей убежденности;

если же мы заранее убеждены в противном, стало быть, все это просто набор случайных совпадений.

...И теперь начнем противоречить себе.

⁴² См.: Г<о лем биевский> А. Феодор Козьмич, стр. 304.

Ибо старец Феодор Козьмич, не давший сибирякам непосредственных поводов считать себя царем, точно так же никогда, ни при каких обстоятельствах не лишал их возможности такого «толкования».

После того как смутное предположение уже возникло и утвердилось во «мнении народном» помимо и вопреки его воле, Феодор Козьмич не произнес ясное и твердое «нет», но стал уклоняться от прямых ответов на любовые вопросы, как бы равно опасаясь и признания, и отрицания.

Так, когда Александра Никифоровна в 1852 году возвратилась на родину и «спроста» объявила старцу: «Батюшка Феодор Козьмич, как вы на императора Александра Павловича похожи...» — тот нахмурился и «строго так» спросил: «А ты почему знаешь?.. Кто это тебя научил так сказать?» Узнав же, что Александра Никифоровна видела у Остен-Сакена портрет Александра I во весь рост, где покойный Государь «так же руку держит», Феодор Козьмич ничего не ответил, молча вышел в другую комнату, и рассказчица заметила брызнувшие из его глаз слезы.

Даже за день до кончины, уже на смертном одре, вновь наотрез отказавшись назвать себя и своих родителей, в ответ на коленопреклоненное вопрошание Хромова («Есть молва! <...> что ты, батюшка, не кто иной, как Александр Благословенный... Правда ли это?») старец тем не менее не отверг самую возможность отождествления; он лишь перекрестился и прошептал: «Чудны дела Твои, Господи... Нет тайны, которая бы не открылась!» Понимать это можно как некое косвенное согласие с молвой, можно — как не имеющее к ней ни малейшего касательства раздумье о собственной тайне, скрытой в мешочке. Единственное, чего решительно нельзя, так это расслышать в шепоте старца однозначное «нет». Лишь в самую последнюю минуту своего земного жития старец выдохнул не что, отдаленно напоминающее полупризнание (в котором все-таки оставлено место для сомнения и толкования: имя так и не названо, старец не именует себя Александром, но как бы смиряется с узнаванностью): «Панок, хотя ты знаешь, кто я, но, когда умру, не величь меня, схорони просто».

Опять же: будь старец Феодор Козьмич образованным человеком XX века, он понял бы, как неправильно, нелогично, в полном противоречии с мифологическим канонам он поступает. Но, подобно петербургским чиновникам 1860-х годов, он был образованным человеком своей эпохи и о несовместимости сюжетных законов социального утопического мифа о возвращающемся царе и народно-религиозной легенды о раскаявшемся царе-разбойнике — не ведал. И, видимо, только поэтому подталкивал один сюжет навстречу другому, так, чтобы миф лишился мифологизма, а легенда — легендарности. Еще раз повторимся: миф предполагал появление реального живого человека, его добровольное встраивание в мифологическую систему; легенда не нуждалась в этом. Она по возможности строго соблюдала границу между идеальным пространством, где разворачиваются ее события, и той грешной юдолью, где расположены слушатели и рассказчик. Зато она славила смирение и раскаяние, спасение души в страданиях, предпочтение небесного торжества земному величию, слезно умиляясь мысленным созерцанием рубища на теле, что некогда облачено было в парчу, и тернового венца — на челе, прежде увенчанном короною. В конечном счете она предлагала «условному царю» воистину уподобиться Христу не в сиянии силы, а в поругании и сораспятии. Напротив, миф провоцировал своего потенциального «героя» на гордый жест, великий шаг из нищеты и безвестности в царскую роскошь; он тоже обоготворял царя — но не через страдание, а через сияние в лучах Божественной Славы...

Вновь — расхождение с традицией.

Не само по себе очередное появление в Сибири «русского царя», но полное выпадение истории старца Феодора Козьмича из всех мифологических и легендарных канонов, ее абсолютная политическая неактуальность, ее несомненная церковная каноничность, ее подчеркнутая несоблазнительность, а не что-либо другое предопределили распространение «версии Хромова» в русском обществе. Это же — плюс чрезмерная «литературность» таганрогского финала — и мешает нам отвергнуть ее без обсуждения как очередной «царский след» на слишком хорошо пересеченной местности легендарного пласта русской истории. Потому что — скажем прямо — внезапная смерть вполне здорового человека в тот самый момент, когда время его полностью вышло; когда

стало окончательно ясно, что революция, отчасти именно им спровоцированная, уже началась и что производить спокойную рокировку монархов — поздно; когда ближайший сотрудник царя поспешил ретироваться, — эта смерть, развязавшая все узлы биографического сюжета, не менее (если не более) невероятна, чем тайный уход царя в историческое небытие. По крайней мере не менее подозрительна.

Что-то не так, что-то не то — но что?

Старец Феодор Козьмич как царь Александр I

Но вернемся к теме, которую мы уже обсуждали и которую оставили без развития. А именно: никогда не подтверждая своего «царского происхождения», Феодор Козьмич никогда и не отрицал его, как бы неизменно балансируя на опасной грани согласия и отвержения.

И тут вновь нужно вспомнить о нескольких вещах, нескольких обстоятельствах — места и времени.

Тот, кто называл себя Феодором Козьмичом и при этом не отрекался от некой — возможной — связи с Александром Павловичем, появился в 1836 году именно там, где ему ни в коем случае нельзя было появляться. Человек без паспорта (хотя бы фальшивого, который, кстати сказать, стоил ненамного дороже хорошей лошади — а деньги на холеную лошадь у «Феодора Козьмича» в 1836 году нашлись) не мог не знать о том, о чем в Сибири и на Урале знали все: о «разъездах Броневского», полицейских заставах на больших дорогах. Не мог он и не догадываться о причинах повышенной бдительности государства: об ожидаемом со дня на день Государе Константине Павловиче говорили повсеместно. Не мог не ведать и о своем потрясающем, вполне соблазнительном внешнем сходстве с Романовыми.

Что из всего этого следует?

Вывод первый, безусловный: будущий арестант сознательно направлялся туда, где его арестуют, где его предадут поруганию, где он сможет пострадать.

Вывод второй, правдоподобный: он хотел быть арестованным и оскорбленным именно там, где все напряженно ждут самозванца и где ему — с его явно непрым происхождением и «узнаваемым» обликом — трудно будет удержаться от соблазна «гаркнуть слово», предъявить портрет мнимопокойного царя в качестве «знака предызбранности», возмутить народ.

Вывод третий, на двух первых основанный: он искал не только возможности как следует «пострадать», но и возможности побороться со страшным искушением «гаркнуть». Перед ним стояла двойная, обоюдоострая задача; с нею он справился безупречно.

Вывод четвертый, предположительный: кем бы ни был тот, кто именовал себя Феодором Козьмичом, он прибыл на Урал проходить своего рода «царское послушание», испытывать смирение мучительным соблазном отождествления с Александром I. Соблазном постоянным, пожизненным, неустрашимым. Сначала потенциальным, а затем и явленным. Достаточно было однажды сказать окружающим: да, я царь, — и вся Сибирь собралась бы у его порога, чтобы на руках нести через грады и веси в Зимний дворец. Достаточно было сказать: нет, я не царь, я та кой-то, — и все разговоры разом прекратились бы. Но вместе с разговорами обесмыслился бы и подвиг борения «с самим собой, с самим собой». Этим — и едва ли не единственно этим — можно объяснить готовность и желание старца балансировать между «да» и «нет» во взрывоопасном «монархическом вопросе».

Опять же: учитывая православную традицию, ни на мгновение не усомнимся в том, что Феодор Козьмич затеял эту опасную «игру с огнем» не сам по себе, не сам от себя, не сам из себя. На та кое требовалось уже не просто благословение, но духовное повеление «старшего по чину», моральный приказ, послушаться которого нет никакой возможности.

Причем посылавший Феодора Козьмича, этого бывшего «великого разбойника», на суровый путь искупления должен был ясно сознавать, что произойдет в Сибири (да и не только в Сибири), если испытуемый не выдержит испытания, сделает шаг в сторону от «тесных врат» спасенья. Если он все-таки «гаркнет».

Какая волна придет в движение.

Какая кровь может пролиться.

Кто же мог быть этим посылавшим?

Мы почти ничего не знаем о «предуральском» периоде жизни того, кто называл себя Феодором Козьмичом. Но как раз его «церковная биография» просматривается достаточно далеко, реконструируется без особого труда и с большой степенью достоверности. Спустившись вниз по ее ступеням, мы рано или поздно встретимся с «автором посылаания».

Даже если бы в речи старца «из образованных» не застряли простонародные западноукраинизмы (обращение к ближним — «панок», «паночек» и к Богу — «Пречистый Боже»), все равно: по клейму на имевшейся у него иконе *Чуда исцеления ног*, в народе называемой «Стопочка», по сохранившимся связям с семейством Остен-Сакенов нетрудно было бы догадаться о длительном жительстве при Почаевской Успенской Лавре.

Даже если бы у старца не было иконы Печерской Божией Матери *В чудесах*, мы предположили бы его связь с Киево-Печерской Лаврой по тому, сколь «адресно» направлял он свою любимицу, будущую «майоршу Федорову», к Парфению и Афанасию Печерским⁴³.

Третий «монастырский адрес» вычисляется по раскавыченной цитате в одном из речений Феодора Козьмича.

Он говорил: «Православная вера есть великий корабль, который плавает в море; все же секты — это маленькие лодочки, которые привязались к кораблю, как на веревке. Потому только держатся и не тонут».

Самые образы моря как символа земной жизни, человеческой истории, корабля как символа Православия, лодочки как символа иноверия суть общие места церковной риторики. Но их смысловое сцепление в речи старца абсолютно нетрадиционно. Не многие православные проповедники XIX века видели «привязь», соединяющую христианские «секты» (прежде всего имелось в виду старообрядчество) с господствующей Церковью. Не многие допустили бы мысль о том, что секты — пусть благодаря невидимой «связке» с Православием — не тонут в море житейском. Большинство сочло бы опасным и соблазнительным отношение к сектантам как к заблуждающимся братьям, а не как к отпавшим нечестивцам. Однако именно так отзывался о раскольниках преподобный Серафим.

Слишком большое сходство в отличии от общего мнения, облеченном в устойчиво-привычную метафору, чтобы оно оказалось случайным.

И, наконец, четвертый адрес. Быть может, самый важный. На него Феодор Козьмич сам указал: митрополит Филарет. Именно он позволил будущему старцу уклоняться от частой исповеди. Стало быть, он-то и дал послушание, требующее такого позволения.

Что же за послушание? Попытаемся разгадать загадку.

Будущий митрополит с юных лет был причастен миру большой русской политики. Еще учась в Троицкой Лаврской семинарии, он был приближен митрополитом Платоном (Лёвшиным), одним из самых «политичных» церковных деятелей конца XVIII — начала XIX столетия. И через него — неизбежно — был в первые же месяцы после переворота посвящен в подробности антипавловского заговора; ведал, какую цену Александр I заплатил за свое преждевременное воцарение.

Филарет быстро продвигался по церковно-служебной лестнице. Август 1809-го: ректор Александро-Невского Духовного училища. Март 1812-го, в годовщину царевубийства и за шесть дней до падения Сперанского, — ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии со званием ординарного профессора богословских наук. Июнь 1817-го — викарий Санкт-Петербургской епархии в сане епископа Ревельского. Март 1819-го — архиепископ Тверской, член

⁴³ Когда именно это произошло, судить трудно. Сама Александра Никифоровна называла конец 1857 года; однако лаврский духовник схимонах Парфений из Ближних пещер отдал Богу душу в Великую пятницу 1855 года и уже с зимы никого не принимал. Так что либо она посетила его до конца 1854 года, когда старец — хотя бы изредка — продолжал принимать, либо благословение ей дал старец Афанасий, а впоследствии произошел сбой в памяти. Об о. схимонахе Парфении см.: «Сказание о жизни и подвигах Старца Киево-Печерския Лавры иеросхимонаха Парфения». Киев. 1856.

Святейшего Синода. Сентябрь 1820-го — архиепископ Ярославский. Июль 1821-го — архиепископ Московский, священноархимандрит Троице-Сергиевой Лавры.

Скорость продвижения определялась выдающимися дарованиями молодого инока, но не только. Ему покровительствовали первенствующий член Синода митрополит Амвросий и первенствующий (до поры до времени) друг Государя князь Голицын. Покровительство влекло за собою вовлеченность в дворцовые «тайны». Филарету не раз доверяли самые деликатные поручения, посвящали в тонкости, не предназначавшиеся для огласки в широкой публике. Его не раз ставили в неловкие положения, из которых он вынужден был выходить на свой страх и риск, не имея возможности называть вещи своими именами ради оправдания в глазах общества. И этот крест он нес смиренно, твердо помня, где, что и кому следует говорить, а где, что и кому — нет, и принимая чужие удары на себя. Самый печальный, самый исключительный пример такого рода — история с необъявленным Манифестом о переназначении наследника престола с Константина на Николая. (В 1823 году по поручению кн. Голицына и Александра I Филарет составил текст этого Манифеста и положил его в ковчежец Успенского собора Московского Кремля.)

Едва узнав о происшедшем в Таганроге и о присяге, принесенной Константину, архиепископ отправит из Москвы личное послание «варшавскому сидельцу» — послание, за стиливым холодом которого будет скрыто смятение писавшего. Да, Филарет выполнил поручение царя; да, он никому не сказал о том, что за документы хранятся в пакете, опущенном в недра ковчежца; но теперь — теперь — что делать? Кому из членов правящей династии и в какой мере Александр счел нужным раскрыть секретные решения; ведает ли Константин об участии Николая и Николай об участии Константина? Или, как было не раз, все запутано до предела?⁴⁴

После известной заминки, мышинного шуршания секретных запросов, после двусмысленной паузы в делах Российского государства, после повторной присяги и смуты будет принято Высочайшее решение 18 декабря 1825 года вскрыть ковчежец и завещание, в нем покоящееся, огласить.

Решение логичное.

Документ, хранящийся в алтаре Успенского собора Московского Кремля, где совершалась коронация русских царей, как бы освящен изначально, наделен — для народа — дополнительной степенью непрерываемости. Вынуть Манифест из церковного ковчежца и в присутствии сенаторов, «гражданских и военных чинов» объявить его молящимся — совсем не то же самое, что просто опубликовать в правительственной печати текст царского указа, извлеченный из пыльных недр Сената. В первом случае то будет акт сакральный, во втором — бюрократический.

Но решение — не слишком этичное, ибо следовало принять его раньше, до событий 14 декабря.

И тогда вновь был использован хорошо известный любому политику принцип громоотвода. Вот — ковчежец, вот — владыка; вот поп, вот приход; разбирайтесь как знаете. Верховная российская власть тут как бы и ни при чем. Что оставалось Филарету? В знаменитой «Речи при всенародном открытии хранящегося в Московском Успенском соборе завещательного акта в Бозе почившего Государя Императора Александра Павловича, о назначении на наследственный Всероссийский Престол Его Императорского Величества Благочестивейшего Государя Николая Павловича, Императора и Самодержца Всероссийского» он вынужден был использовать все возможности риторического искусства, чтобы отвести от власти подозрение в двусмысленности ее действий. (А значит, в какой-то мере направить эмоциональный удар на себя.)

«Производство» из архиепископов в митрополиты, состоявшееся 22 августа 1826 года, было знаком благодарности Николая I Филарету, закрывшему собою очередную моральный изъян предшествующего правителя.

Однако опалы опалами, награды наградами, а все, что совершалось в александровскую эпоху, не было для Филарета чужим, чуждым. Он прошел

⁴⁴ Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (с 1807 по 1829 год). СПб. 1883, стр. 473.

через все ее соблазны и искушения⁴⁵; позднейшая суровость Филарета и кажущаяся холодность были запоздалым ответом на его юношеские вопросы, которые он предложил сам себе. Чрезмерная трезвость его зрелого отношения к миру восполняла и заземляла чрезмерную экзальтированность ранних лет.

Включенность в сферу государственного делания. Тесное сотрудничество с Александром. Внутреннее, опытное знание о болотном мерцании религиозного анархизма начала XIX столетия. Сугубо церковный взгляд на политику — как на одну из форм человеческого самоосуществления, подлежащую сначала нравственной, а уж затем прагматической оценке («Тебе бы пользы все!»). Понимание сакральной сущности монархического правления.

Вот чем было определено Филаретово отношение к личности русского царя, давшего свое имя великой эпохе.

В отличие от большинства верноподданных современников он не мог видеть в Александре «всего лишь» Правителя Полумира. Он видел еще и человека, с которым жил в одно время, небезучастным свидетелем потаенных поступков которого был. Человека, за которого готов был нести некую долю вины — как священник, как подданный, как близкий сотрудник.

В отличие же от членов тайных обществ он был непреклонным монархистом; подводя итог завершившегося царствования, он думал об Александре не столько в политических, сколько в религиозных категориях, не как о носителе определенных властных полномочий, государственном деятеле, иногда успешливом, иногда не очень, но прежде всего как о носителе бессмертной души, отягченной смертным грехом отцеубийства. Вольным или невольным, совершенным или совершившимся. Главное, что уже неустранимым и оставшимся неискупленным. И вот после всего сказанного вообразим встречу митрополита Филарета с тем, кого он, возможно, благословил на пожизненное сокрытие личности под именем Феодора Козьмича.

Если пред очи преосвященного предстал сам беглый Государь, в начале 1830-х годов посланный в Москву киевскими и почаевскими старцами, — все просто до прозрачности. Филарет, в свою очередь, направил «отставного царя» в Саров, к преп. Серафиму — не прятаться, нет, но получить епитимью. В таком случае именно в Сарове переименованному тезоименитцу было поручено пройти испытание искусом уральско-сибирского жития, в сантиметре от самопровозглашения и невероятного, неслыханного самозванства, когда самозванцем оказывается немнимый Государь.

Если же — что гораздо вероятнее — нет, то внешняя схожесть «великого разбойника», пришедшего (тоже скорее всего по «наушению» киевлян) каяться и просить епитимьи, могла подсказать Филарету неожиданный для современного человека, но, в общем-то, не столь уж исключительный для традиционно православного сознания ход мысли.

Тот ход мысли, который привел преп. Серафима Саровского к улыбочивому предложению, обращенному к сестре любимого служки «Мишеньки», Елене Васильевне Мантуровой: «Вот и послушание тебе: умри ты за Михаила-то Васильевича, матушка!»⁴⁶

Говоря проще, не было бы ничего сверхудивительного, если бы митрополит Филарет предложил своему кающемуся посетителю: прими на себя грехи покойного Государя, искупи их, этим спасешься.

Вспомним образок св. Александра Невского, с которым старец не расставался (между прочим, житие св. Александра особо восхваляет его предсмертное желание отвергнуть честь княжеской власти, обменять ее на небесный венец схимы). Вспомним также вензель, изображающий буквицу «А» с короною на венце. Если это не указание на истинное имя старца, то указание на имя того, чей крест он несет в этой жизни.

И вспомним еще одно обстоятельство: спешный отъезд Феодора Козьмича из Зерцал весной 1843 года. Дело в том, что на другом конце той же деревни жил старец Даниил — один из самых прозорливых православных старцев, спасавших душу в раскольничьей Сибири. Происходил Даниил Корнилович из

⁴⁵ О них, быть может, излишне строго, зато подробно пишет о. Георгий Флоровский в книге «Пути русского богословия» (изд. 2-е. Paris. 1981).

⁴⁶ Архим. Серафим (Чичагов). Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря..., ч. 1, стр. 418.

казаков Полтавской губернии, родился в один день с Императором Александром Павловичем, 12 декабря, но 1784 года; обучен грамоте; с 1807-го был ратником; сражался под Бороудином; в 1820-м простился с родными: «Куда-нибудь залезу в щель, как муха, и там век доживу»⁴⁷. В это время он был представлен к офицерскому чину, от которого — а значит, и от дворянства! — отказался; военным судом приговорен был к работам в Нерчинском руднике, затем определен на «вечную работу» в Боготольском винокуренном заводе, откуда «по неспособности к работам» отправлен в Ачинск. Последние годы как раз и провел в Зерцалах.

Феодор и Даниил были близки по возрасту, по опыту жизни, по опыту участия в новейшей русской истории; их разделяло лишь происхождение. Никаких свидетельств их особенно тесного общения мы не имеем; они жили по разным краям деревни; по одним источникам, старцев видели совместно разгружающими бревна и Феодор Козьмич называл Даниила «человеком святой жизни» и подчеркивал, что поэтому «редко кто мог понимать его», по другим — Феодор Козьмич так отзывался о Данииле: он не имел учеников, «да и не мог никого учить, потому что он был малообразован и едва грамотен»⁴⁸. Впрочем, образованность никогда не входила в число главных добродетелей отечественных подвижников благочестия, так что хулу на Даниила в словах Феодора Козьмича могли усмотреть лишь добросовестные позитивисты начала XX века. А что до «необщения»... Можно общаться — скрытно от глаз; можно общаться через посыльных богомольцев; можно и просто общаться в молитве.

Преподобный Серафим Саровский, очевидно, никогда не встречался с Даниилом и — совершенно точно — никогда с ним не переписывался. И тем не менее — все о нем знал; и тем не менее — направлял к нему сибирских паломниц; и тем не менее — велел внимать каждому его слову. Томской мещанке Марии Иконниковой, которой старец Даниил не дал благословения странствовать и велел сидеть в Томске, чулки вязать, но которая запрета не послушалась и явилась в Саров, преп. Серафим выговорил: «Зачем ты пошла по России? Ведь тебе брат Даниил не велел больше ходить по России. Теперь же ступай назад, домой!»⁴⁹

Как бы то ни было, старец Даниил почил в Бозе 15 апреля 1843 года, перед самой смертью перебравшись в Енисейск; и в том же году Феодор Козьмич, покинув Зерцалы, отправился на прииски. К золотоискательству он отосился не слишком одобрительно — до нас дошел полуупрек, впоследствии обращенный им к купцу Хромову: «Охота тебе заниматься этим промыслом, и без него Бог питает тебя!»; так что уход из деревни находится в несомненной связи со смертью Даниила — и указывает на последнего как на возможного духовного руководителя Феодора Козьмича, у которого тот проходил «предстарческое» сибирское послушание. (В такой перспективе слова о «малообразованности» Даниила, из-за которой он не имел учеников, напоминают уклончивую отговорку, избавляющую от необходимости «метать бисер», вдаваться в подробности духовной жизни, не подлежащие огласке.)

Но тут встает другой вопрос: почему будущий старец одновременно с благословением на «царский крест» получил имя Феодор?

Смена имени в русском церковном и околоцерковном обиходе конца XVIII — начала XIX века дело привычное. Даже если забыть на время о монашеском «рождении в смерть», предполагающем новое наречение. К смене имени прибегали и в других случаях — например, принимаясь за особо важное и ответственное духовное дело. Так, знаменитый прорицатель конца XVIII — начала XIX века Василий Васильев, уже ставший о. Авелем, получает (или берет) еще одно, тайное, имя — Дадамей⁵⁰. Так, неудавшиеся «мис-

⁴⁷ О Данииле см.: Кудряшов К. В. Александр I и тайна Федора Козьмича.

⁴⁸ Обе версии приведены в кн.: Василевич Г. Император Александр I и старец Феодор Козьмич, стр. 125.

⁴⁹ Архим. Серафим (Чичагов). Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря..., ч. 1, стр. 415.

⁵⁰ Об о. Авеле, в своих «книгах мудрых и премудрых» поочередно предсказавшем смерть Екатерины Великой и Павла I, подробнее см.: «Предсказатель монах Авель». — «Русская старина», 1875, № 2, стр. 414 — 435; Ильин-Томич А. А. Васильев Василий. «Русские пи-

тические сотрудники» Александра I, священник Феодосий Левицкий с о. Федором Лисевичем, принимают новые, сокровенные имена — Феодора и Григория соответственно⁵¹. За всем этим стояла древняя мистическая традиция, на уровне литературной игры выродившаяся в систему псевдонимов; нам сейчас важно другое.

А именно: что традиция эта не допускала произвола в «переименованиях». «Шифр» должен был иметь «дешифровку». Не столько формально-логическую, сколько духовную.

Так вот: в славном 1812 году архимандрит Филарет, одновременно с утверждением в должности ректора Санкт-Петербургской Духовной Академии, был назначен настоятелем первоклассного Новгородского Юрьевского монастыря. Того самого, что позже получит в управление архимандрит Фотий. Именно в Софийском соборе Новгорода покоились мощи святителя Феодора — старшего брата св. Александра Невского; в «Словаре историческом о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых», впервые изданном в 1836 году (год красноуфимского ареста Феодора Козьмича) и тогда же положительно отрецензированном Пушкиным, читаем: «Сей юный князь (по словам летописи), цветущий красотой, готовился вступить в брак, но внезапная смерть прекратила дни его»⁵².

Если посетитель митрополита Филарета был некогда русским царем, крещенным в честь св. Александра Невского (хотя и названным скорее в честь Александра Македонского, отнюдь не «св.»), такое закрытие истинного имени с помощью сакральной метатезы обретает в контексте последующего сибирского жития Феодора Козьмича особенно острый смысл. Если же нет, но митрополит Филарет назначил ему такое послушание, — она все равно разумна. Ибо имена Александра и Феодора носили родоначальники династии Романовых, дядя и отец (будущий патриарх Филарет) Михаила I Феодоровича, а Феодоровская икона Божией Матери была фамильной святыней рода.

...Гипотеза и есть гипотеза. Не больше и не меньше. Были бы прямые доказательства, она бы и не потребовалась. Но другого объяснения, которое в такой же мере удовлетворяло всем описанным выше «параметрам», я не вижу. И потому решаюсь на вывод, прямо противоположный тому, каким завершилась одна из предыдущих главок.

Кем бы ни был тот, кто называл себя Феодором Козьмичом, он был sui generis Александром I. Он нес крест русского царя, платил по его счетам, искупал его грех. Грех духовный, а не политический. Политические грехи русского царя предстояло искупать России в целом; она должна была понести его крест; в этом смысле именно ей выпала участь «коллективного Феодора Козьмича».

сатели. 1800 — 1917». Биографический словарь, т. 1. М. 1989, стр. 394. См. также свидетельство генерала Ермолова о допросе Авеля в 1795 году, после того как тот предрек близкую кончину Екатерины: «Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских». Кн. IV. 1863, стр. 222 — 223.

⁵¹ См.: «Описание духовных подвигов и всех случаев жизни священника Феодосия Левицкого...». — «Русская старина», 1880, № 9, стр. 155.

⁵² Цит. по: «Словарь исторический о святых...». Изд. 2-е. СПб. 1862.

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ

*

СОБЫТИЕ БЫТИЯ

О Михаиле Михайловиче Бахтине

Девяностые годы прошлого века — звездное время рождения наших поэтов и филологов. Бонди, Шкловский, Лосев, Тынянов, Виноградов — одно за другим прошли их столетия (и не так заметно прошли — Пумпянский, Оксман, Пропп). Теперь — Бахтин. Словно это была коллективная историческая акция: наша лучшая филологическая наука XX века родилась (физически) в эти несколько лет.

Всех потом суровая эпоха повернула, но, кажется, двое имели бы особые основания продолжить вместе с поэтом: «Мне подменили жизнь. В другое русло, / Мимо другого потекла она». Филологам-философам, Лосеву и Бахтину, подменили жизнь, она потекла у них «мимо другого». На склоне дней Бахтин рассказывал В. Д. Дувакину, что «раньше кого бы то ни было в России», еще в юности, прочитал Киркегора¹, в ранней работе об авторе и герое он на него ссылался, — между тем как Лев Шестов в эмиграции впервые слышит это имя от Бубера в 1928 году: «Я вынужден был признаться, что не знаю его, его имя совершенно неизвестно в России <...> Даже Бердяев, который читал все, его не знает»². Но работа об авторе и герое была последним опытом прямого философствования у двадцатипятилетнего автора, и обретена она была полвека спустя в чулане, в подвале его саранского дома, свет же увидела через четыре года после него. В поименованной плеяде не было никого, кто был бы так неизвестен под семьдесят лет, как был Бахтин в 1963-м, когда так круто повернулась его судьба. Был он к этому времени автором пяти опубликованных за собственным именем работ — одной порядком забытой книги и четырех статей, из которых первая — двухстраничная реплика на большую тему («Искусство и ответственность», 1919) — была, похоже, забыта им самим, никогда ее не вспоминая даже в ответ на прямые вопросы («М. М., что же было еще у вас напечатано?»), и после него уже была раскопана Ю. М. Гельпериним на газетных страницах провинциального Невеля, а последняя называлась «Опыт изучения спроса колхозников» («Советская торговля», 1934, № 3) и обобщала деятельность ссыльного экономиста Кустанайского райпотребсоюза (эту статью как раз охотно автор вспоминал). В чемодане же в том самом чулане слезивались, желтели и разрушались листы его эстетики, философии поступка и теории романа: как это все потом являлось на свет, он уже не увидел.

1963-й стал годом прорыва, и все по щучьему велению переменялось. Состоялось второе рождение обновленной, но старой книги — и она была принята новым временем так, как в свое время ее не приняло то, «свое», время. Состоялась счастливая встреча старого автора с новым временем.

¹ «Человек», 1993, № 4, стр. 151.

² Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова, т. II. Paris. «La Presse Libre». 1983, стр. 12. Свидетельство несколько удивительное, поскольку Киркегор в русском переводе П. Ганзена появился еще в конце XIX века («Наслаждение и долг». СПб. 1894), тем не менее свидетельство Шестова таково. Видимо, по каким-то причинам русские публикации Киркегора прошли мимо внимания наших крупнейших философов. Юный Бахтин знакомился с ним по-немецки.

Это было событие историческое — на повороте нашей советской истории. Поворот его сделал возможным, и оно же было свидетельством о повороте. Ведь недаром же эта одновременность с явлением «Одного дня Ивана Денисовича» — недавно об этом вспомнила И. Роднянская³. Но исторические события имеют свою внутреннюю человеческую личную сторону и свое дифференциальное исчисление — видеть их так научил нас автор «Войны и мира». В настоящем случае я был свидетелем этой художественности истории и даже отчасти ее невольным участником. Встреча с новым временем оказалась встречей с нашим поколением, только что вышедшим из XX съезда и своей комсомольско-марксистской невинности. Тогда-то мы и наткнулись на старую книгу о Достоевском, которая нас поразила. И тогда история избрала Вадима Кожина. Видно, оглядываясь назад, что это была та встреча в значительном смысле, которую сам Бахтин теоретически описал как универсальнейший «хронотоп». Для нас это стало очень большим событием в жизни, но оказалось, что это стало событием и для него.

В одном из архивных бахтинских текстов, по-видимому начала 40-х годов, записано так: «Неожиданность и непредвидимость правды. Не ждать добра от закономерного и привычного, а только от чуда». Словно он пророчил себе поворот судьбы через двадцать лет. Сколько в нем закономерного и сколько чуда? Или закономерного чуда? Но с наступившим признанием драматизм судьбы Бахтина не остался в прошлом; он стал открываться по-новому, открывается и в судьбе посмертной.

Вскоре уже после смерти его М. Л. Гаспаров заговорил об иронии судьбы Бахтина⁴. Ирония заключалась в признании через столько лет: он писал для одного времени, а его прочитали в другом. Прочитали, следовательно, неверно и приняли не за того — для Гаспарова это культурологическая аксиома. В другом своем выступлении он заявил, что «душевный мир Пушкина для нас такой же чужой, как древнего ассирийца или собаки Каштанки». Книга 1929 года тоже чужая для читателя 1963-го. В этом трезвом и безнадежном взгляде есть свой пафос, с резкостью отрицающий вместе с бахтинской идеей диалога культур и самое понятие диалога как такового: «Даже когда разговаривают живые люди, мы сплошь и рядом слышим не диалог, а два нашинкованных монолога»⁵. В свете этого тезиса неприятие Бахтина Гаспаровым очень понятно. Но бесспорен ли тезис — в части как относящейся к диалогу, так и к Пушкину и собаке Каштанке? Можно сослаться на наблюдения столь безупречного лингвиста, как Л. В. Щерба, о том, что «монолог является в значительной мере искусственной языковой формой» и что в омывающих нас потоках речи мы не слышим монологов, «а только отрывочные диалоги»⁶. Но, разумеется, дело не в эмпирических наблюдениях, а в культурологической позиции. Гаспаровская — в отношении к любой прошедшей культуре (к Горацию или Пушкину или литературоведческой книге о Достоевском 20-х годов — все равно) как к чужо м у я з ы к у, который нужно учить, как английский или китайский (сравнение все из той же программной статьи в журнале «Новое литературное обозрение»); только такое филологическое понимание всегда чужих культурных языков и возможно (а как М. Л. Гаспаров умеет их читать — все мы знаем). Интересно: Бахтин еще в те самые 20-е под именем Волошинова описывал подобную позицию, правда относя ее в отдаленное прошлое, — как «жреческую»: «Первыми филологами и первыми лингвистами всегда и всюду были жрецы. История не знает ни одного исторического народа, священное писание которого или предание не было бы в той или иной степени иноязычным и непонятным профану. Разгадывать тайну священных слов и было задачей жрецов-филологов»⁷.

³ «Диалог. Карнавал. Хронотоп». Витебск. 1994, № 3, стр. 19.

⁴ Гаспаров М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре XX века. — В кн.: «Вторичные моделирующие системы». Тарту. 1979, стр. 113.

⁵ Гаспаров М. Л. Критика как самоцель. — «Новое литературное обозрение», 1994, № 6, стр. 9.

⁶ Щерба Л. В. Восточнолужицкое наречие, т. 1. Пг. 1915. Приложение, стр. 3 — 4.

⁷ Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л. 1930, стр. 75. Эта жреческая филология, по заключению автора, определила весь путь философии языка, лингвистики, риторики и поэтики на протяжении веков, вплоть до сосюровского языкознания. Так что сближению весьма современного и авторитетного филолога наших дней со столь древней фигурой, может быть, и не следует удивляться.

Культурологию Бахтина Гаспаров назвал «неоправданно оптимистической»; в самом деле, в ней есть черты классического прекраснотворения, верящего в культуру (и литературу) как не только язык, но и смысл, имеющий свойство расти во времени, и признающего историческую дистанцию положительной силой, способной освобождать этот смысл из плена его эпохи, его современности. Так четверть века тому назад писал Бахтин в тот самый журнал, куда нынче и я пишу эту заметку о нем, и я помню, как в начале 1971 года М. Б. Храпченко указал мне на эти строки письма Бахтина в «Новый мир»: «Автор — пленник своей эпохи, своей современности. Последующие времена освобождают его из плена...»⁸ Я пришел в кабинет академика-секретаря хлопотать о новом переиздании книги о Достоевском, и он, десятилетием раньше поддавшийся на участие в выпуске из бутылки бахтинского джина, теперь отказал, и его аргументом было это самое место из новомирского интервью: «Вы понимаете, что здесь сказано? Что и наш советский писатель — пленник своей эпохи». Третье издание «Проблем поэтики Достоевского» вышло в 1972 году, обойдясь без помощи академика.

Похоже, бахтинская культурология имеет отношение к собственной его литературной судьбе. Успех его книги в 60-е годы был лишь большим запозданием и сплошной аберрацией, по Гаспарову, или освобождением из плена той его современности 20-х годов? Книга тогда очень точно вышла в 1929-м — году великого перелома, когда ее автор уже полгода как был арестован. Книга была постсимволистским прочтением Достоевского на фоне его прочтения в символизме. Автор одним из первых в России узнал Киркегора, но время памяти о символизме и Киркегоре было на излете в год выхода книги. Время шло мимо нее, она оказалась несвоевременной и не стала событием; она не была прочитана (в эмиграции была прочитана лучше: рецензии П. М. Бицилли, А. Л. Бема, значительная ссылка в «Путих русского богословия» о. Г. Флоровского).

Читательница начала 60-х вспоминает сегодня, что без Бахтина бы не заметила этих слов Аглаи в «Идиоте»: «У вас нежности нет: одна правда, стало быть — несправедливо». «А прочтя их в контексте бахтинской книги, я вспоминаю эти слова, эту мысль едва ли не каждый день» (И. Роднянская). Другой читатель того же времени вспомнил евангельского благоразумного разбойника по поводу главного утверждения книги о том, что никто не может сказать обо мне последнего слова, кроме меня самого, пока я жив (Г. Гачев⁹). Мы открывали в книге значения, которые переставали звучать — и надолго — в конце 20-х годов и начинали вновь вспоминаться в 60-е, начинало к ним открываться «чуткое ухо», как сказал бы Бахтин. Книга, несвоевременная в свое время, приходилась ко времени в иное, новое время. Теперь она стала событием — и мы знаем каким.

(Попутное замечание — о категории «правды» в бахтинском контексте: она уже дважды встретилась нам на пути изложения — и по-разному очень. «Правда» у Бахтина раздвоена и полярно разная «правда» оценена — что выражается в двух эпитетах, встречающихся в архивных текстах, один из которых уже цитировался: о «непредвидимой» правде, какую, возможно, и Бог не скоро скажет, правде-чуде — это он принимал. Но резко высказывался о правде-силе, «тоталитарной правде» — есть у него такое понятие — и в разговорах любил повторять, что правда и сила несовместимы, правда не может торжествовать, всегда существует в смиренном облике.)

Помню, что сказал Михаил Михайлович в ответ на просьбу, которую я передал от А. М. Кузнецова после смерти М. В. Юдиной, бывшей М. М. близким другом с молодости, — написать воспоминания для памятной книги о ней. Он ответил: «Мария Вениаминовна была человеком неофициальным, и никакие официальные воспоминания о ней невозможны». Официальные — то есть для печати. Но он хотел сказать этим словом и что-то еще. Юдина в его глазах принадлежала к скрытому, потаенному пласту культуры, к какому принадлежал и он сам. Юдина, Пумпянский, М. И. Каган, А. А. Мейер, Вагинов — все они, составлявшие близкий и тесный круг Бах-

⁸ «Новый мир», 1970, № 11, стр. 239.

⁹ Гачев Георгий. Русская дума. М. 1991, стр. 108.

тина в 20-е годы, были людьми неофициальными в этом смысле и попросту малоизвестными. Это была подводная жизнь культурной эпохи, почти не имевшая выхода на ее бурлящую поверхность. На авансцене современности эти люди не были, и лишь в последнее время их имена становятся в общем мнении именами высокого ранга. Контраст им в этом отношении составляли знаменитые формалисты, чья деятельность была публичной и громкой, и они принадлежали этому времени полностью, это было их время. Их деятельность тоже была пресечена, но она успела пройти свой цикл. В беседах с Дувакиным Бахтин подчеркивает, что принадлежал к другому кругу и даже с ними не соприкасался. Собственная его работа в 20-е годы была непубличной в принципе: тихая деятельность в домашних кружках, но именно она стоила ему ареста и приговора. О Викторе Шкловском Нина Петровская, брюсовская «Рената» и героиня «Некрополя» Ходасевича, сказала в 1923 году (в рецензии на его «Сентиментальное путешествие»): «...всегда самой судьбой в авангардах»¹⁰. Бахтин в те же годы самой судьбой в арьергардах. Категорию судьбы мы вправе здесь понимать по Г. О. Винокуру (столетие — через год) — как «теоретическое начало в истории личной жизни»¹¹. Это теоретическое начало в виде судьбы, возможно, глубже, чем мы понимаем, определяло противостояние Бахтина и ОПОЯЗа в те годы.

«Теоретическое начало» в союзе с ходом истории (и с ним сливаясь, как это бывает на столь значительных путях, каким была биография Бахтина), по-видимому, сработало и тридцать лет спустя, и участники события стали его орудиями, как ни странно, включая отчасти и самого героя. В истории «эпифании» Бахтина читается классический почерк судьбы: он, собственно, сам ничего не делал и был, по моим, во всяком случае, впечатлениям, как-то странно внутренне отрешен от происходивших больших событий, совершавшихся словно бы сами собой, уже без него, помимо него. Он все сделал раньше — написал свои книги, долго ждавшие своего часа и, когда тот пришел, начавшие завоевывать мир.

Но в самом деле эта осуществившаяся судьба обнаружила и свою иронию. Она занесла мыслителя в такие авангарды, в каких он бы вряд ли хотел и предполагал оказаться. В начале 70-х он усмехался, читая французскую критику на толькo что там появившиеся переводы двух его книг: получалось, что идеи свободы героя от автора и карнавальная антиавторитарность очень созвучны их студенческой революции. Затем на Западе прочитали Волошинова с Медведевым и с удовольствием констатировали марксистский период в эволюции Бахтина. В отечестве он был объявлен прародителем нынешней семиотики, а на Западе образ его пошел перелицовываться соответственно их методологическим революциям. Все это шло, и продолжает идти, уже без него. И наступившее столетие обязывает взглянуть на, выражаясь канонизированной в так называемое застойное время формулой, «предварительные итоги», включая судьбу посмертную.

Что открывается в этих итогах? Бахтин — в авангарде, литература о нем уже необъятна, но где продолжатели его дела? Не бахтинисты, имя которым уже легион, а те, кто продумывает за ним его мысли и представляет его традицию, его направление, его школу в литературной теории? Решусь назвать у нас два имени — Владимира Федорова и Вардана Айрапетяна¹²: оба самостоятельно и занято, каждый по-своему, продумывают бахтинские идеи о слове. Но школы Бахтина в теории литературы нет. Как и в литературе о Достоевском: знаменитая книга произвела переворот в мире мысли, но она оказалась не очень нужна нашей армии «достоевсковедов». Направления в изучении Достоевского она не породила, как и в целом школы в литературоведении Бахтин не породил, но породил, к сожалению, бахтиноведение. И сегодня мы должны констатировать странный разрыв между этой новой дисциплиной, бурно разросшейся (вначале на Западе и в Америке, а теперь и у нас) и

¹⁰ Литературное приложение к газ. «Накануне», Берлин, 1923, к № 270, 25 февраля, стр. 11.

¹¹ Винокур Г. Биография и культура. М. 1927, стр. 65.

¹² Федоров В. О природе поэтической реальности. М. «Советский писатель». 1984; Айрапетян Вардан. Герменевтические подступы к русскому слову. М. «Лабиринт». 1992.

обособившейся на манер особой секты в науке, и реальными плодами действия его мысли в живом литературоведении (впрочем, этого слова он не любил).

Вероятно, этому парадоксу есть объяснение в природе бахтинской мысли. Вероятно, к созданию школы она не была предназначена. Вероятно, школы в нашем деле образуются вокруг более четкого и компактного круга идей попроще, прошу прощения за это слово. Не избежать тут вспомнить самую ярко оформленную школу в истории нашей науки, с которой в такой неслучайной тяжбе оказалась бахтинская филология (тяжбе, впрочем, больше односторонней, поскольку корифеи ОПОЯЗа книги «Проблемы творчества Достоевского» просто тогда не заметили: реагировавшего на нее Виноградова все же нельзя причислить к школе, а Шкловский реагировал — в книге «За и против» — спустя почти тридцать лет), — формальную школу. Год назад по поводу тоже столетия (Ю. Н. Тынянова) Вл. Новиков высказался, что опоязовская модель «материал и прием» — это главное эстетическое открытие со времен «Поэтики» Аристотеля или — счел автор нужным ввести еще один вселенский масштаб — за все двадцать веков «христианской культурной эры»¹³. С утверждением столь страстным бессмысленно спорить, потому что все мы знаем от Гоголя, «что значит внутреннее убеждение». Единственно можно спросить: к чему опоязовскому открытию «христианский» контекст? Ощущаемая с неловкостью неуместность эпитета роняет, мне кажется, пафос этого утверждения. Но в самом деле было такое открытие — «материал и прием» — как найденный ключ, простая отмывка к тайне художества. Как Вл. Новиков говорит, на пальцах: «вот сено, вот солома — вот материал, вот прием». Не обсуждая сейчас открытие по существу (теоретически его обсудил Бахтин под именем Медведева на стр. 143 — 161 книги «Формальный метод в литературоведении», заключив, что поэтическая конструкция с точки зрения этого открытия сводится «к голой периферии, к внешней плоскости произведения»), признаем, что да, оно отличалось той простотой, которая словно бы открывает глаза на предмет и обладает (вновь цитируем Вл. Новикова) «максимальной разъясняющей силой». Вокруг такого открытия могла сложиться школа — объединение ярких личностей в целеустремленную группу.

Круг Бахтина в те годы, уже поминавшийся, не представлял собой подобной группы. Тоже сильные личности объединялись общими философскими интересами, но не научным методом. Коллективной деятельности группы не было — все шло по своим путям (пресловутые «спорные тексты» Волошинова, Медведева и Канаева невозможно считать плодом коллективной работы группы). Центральная же фигура генерировала проблемы, но не дала упрощающих идей и прикладного метода.

Что же вместо этого дал Бахтин? Он открыл довольно обширный проблемный мир, материк проблем, который можно и впрямь помыслить географически — как новые земли на карте гуманитарной мысли. Таково, например, чужое слово. Что проще и очевиднее этого факта? И, однако, это почти колумбово открытие в филологии Бахтина. «Выдвигаемая нами плоскость рассмотрения слова с точки зрения его отношения к чужому слову...»¹⁴ С точки зрения: колумбово открытие как эффект точки зрения, меняющей соотношения в том же, кажется, мире. На языке Канта это называлось коперниканским переворотом, и Бахтин по крайней мере дважды пользовался этим словом Канта — один раз по отношению к нему самому, важнейшему для него философу («Мы забыли коперниканское деяние Канта»¹⁵), а другой раз, как все помнят, — к Достоевскому, у которого в первых уже вещах «весь мир стал выглядеть по-новому, между тем как существенно нового, неголековского материала почти не было привнесено Достоевским»¹⁶. Так и мир слова стал выглядеть по-новому у Бахтина. А за миром слова — мир других людей, тоже ведь очень простая реальность, но он как будто невероятно воз-

¹³ «Новый мир», 1994, № 10, стр. 223.

¹⁴ Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М. 1963, стр. 267.

¹⁵ Бахтин М. К философии поступка. — В кн.: «Философия и социология науки и техники». М. 1986, стр. 86.

¹⁶ Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, стр. 65.

рос в значении и объеме: «...о другом сложены все сюжеты, написаны все произведения, пролиты все слезы, ему поставлены все памятники, только другими наполнены все кладбища, только его знает, помнит и воссоздает продуктивная память...»¹⁷ Поэзия этих строк на другом полюсе его мысли смыкается с точной и суховатой классификацией типов прозаического слова, изображенной памятной всем читавшим графической схемой; на языке поэтической философии и скрупулезной типологии то же самое: совершенно особое, исключительное философское и филологическое внимание к смысловому весу в нашей жизни другого человека и его чужого слова.

В одной беседе (28 октября 1972 года) М. М., говоря о классиках европейского искусствознания рубежа XIX — XX веков, в сравнении с нашими искусствоведами, даже лучшими, заметил: «Те были проблемны с начала и до конца». Самого знаменитого, Вёльфлина, при этом не назвал, на вопрос же о нем отозвался, что он «полегче. У него концепция». Проблемность он явно предпочитал концепции: «Например, концепция барокко у Вёльфлина и проблема готики у Воррингера». Различие же понимал в соответствии с внутренней формой греческого «проблема», как ее недавно исследовал В. Н. Топоров: выступание вперед, торчание наружу¹⁸. Очевидно, «концепция» для него заключала нечто от сглаживания этих острых значений, то, что он называл (всегда несочувственно) «сведением концов с концами». Сам он к этому не стремился, и его главные книги «торчат» как проблемы, не приведенные к наглядному единству. Как ни стараются за него бахтинисты свести концы с концами, противоречия между «Автором и героем» и «Достоевским» и между последним и «Рабле» не случайно бросаются нам в глаза и должны быть признаны самой глубокой характеристикой творчества Бахтина. Он создал свой полифонический роман, и «не нужно превращать его в эпос» (М. Л. Гаспаров). Книги о Достоевском и о Рабле составляют единый проблемный мир по принципу дополнительности: видно, недаром их автор ссылаясь то на теорию относительности, то на квантовую физику, ибо мысль его состояла в неповерхностном родстве с философско-научными универсалиями нашего века.

Я — читатель Бахтина, и есть у меня в его сочинениях любимые места. Например: «Когда мы глядим друг на друга, два разных мира отражаются в зрачках наших глаз»¹⁹. В красоте этой фразы — мировоззренческий стиль Бахтина. Стиль «художника в науке» — это слово о герое «Хозяйки» он охотно выписывал в своей книге. Обширный труд об авторе и герое весь об этом — как двое глядят друг на друга. Элементарное, но очень сложное бытие и бытия. Двое — минимум события и минимум бытия; бытия, в котором они могли бы слиться, монологического, так сказать, бытия не знает Бахтин. Не бытие, а событие бытия — его категория. «Я нахожусь в бытии, как в событии...»²⁰ Событие — категория сюжетная, художественная. В нашей фразе это скульптурная группа, объем, живая архитектура (будучи озвучена, эта группа даст диалог; в «Авторе и герое» она еще не озвучена). Событие, состоящее в отражении мира в зрачках наших глаз.

Пусть читатель позволит лучше пройти по некоторым любимым местам у Бахтина, чем пытаться обозреть его мир. Вот еще: «Несказанное: ядро души может быть отражено только в зеркале абсолютного сочувствия»²¹.

Человек у зеркала — эта тема проходит через всего Бахтина, и большей частью речь идет о самообмане самосознания, какой ситуация эта содержит в себе: «Из моих глаз глядят чужие глаза»²². Ситуация, замутняющая «оптическую чистоту бытия»²³ и чреватая явлением двойника. Но «зеркало абсолютного сочувствия» — это ведь что-то иное. Сочувствие нам дается как благодать, так нам сказано; и не это ли происходит у Бахтина с его презумпцией

¹⁷ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. 1979, стр. 99.

¹⁸ В предисловии к упомянутой выше книге: Айрапетян Вардан. Герменевтические подступы к русскому слову, стр. 4.

¹⁹ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества, стр. 22.

²⁰ «М. М. Бахтин как философ». М. 1992, стр. 235.

²¹ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества, стр. 411.

²² Бахтин М. М. Из черновых тетрадей. — «Литературная учеба», 1992, № 5-6, стр. 156.

²³ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества, стр. 30.

абсолютного сочувствия («абсолютный» эпитет в его афоризме — главное слово)? Тютчевское четверостишие — о чем оно, как не о благой зеркальности бытия, той, в которой угол падения не равен углу отражения (который нам не дано предугадать)? В произведении Достоевского, на котором особенно (как и на «Двойнике») задерживался Бахтин, есть, кажется, и то и другое зеркало. Человек из подполья у зеркала — это крайний случай одержимости чужим взглядом и оценкой. Но вот что случилось с ним:

«А случилось вот что: Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит, а именно: что я сам несчастлив».

Она поняла его, минуя сразу все его безобразные оболочки: чем не зеркало абсолютного сочувствия? Но — а б с о л ю т н о г о, проходящего сразу мимо всего неприятного и противного к скрываемому ядру души, в самом деле — иному и лучшему.

Книга о Достоевском о том написана, как человек нуждается в признании его другим человеком. Это наша человеческая, «слишком человеческая» потребность — но творчество Достоевского, по Бахтину, представляет собой ее оправдание. Святой Акакий Акакиевич «на себя почти никогда не глядел и даже брился без зеркала». Достоевский начал с того, что заставил Макара Девушкина созерцать свою наружность в зеркале, и это стало началом всего — деформаций и тупиков, но и проникновений и взлетов самосознания. Другого, конечно, качества святости, чем герой «Шинели», искал для себя и своих героев Толстой. Как мне не бояться людей и их суда, не зависеть от их похвалы, не нуждаться в признании? У Толстого это решается одиноким путем ухода — но решается ли? «Чем меньше имело значение мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог». Это итог «Отца Сергия». Отец Сергей ушел от людей до растворения в безвестности безымянного существования. Но в радости, которую он испытывает, когда потерявшим имя странником на большой дороге принимает подавание и слышит разговор господ о нем по-французски, который он понимает, — в радости этой не может не быть опять шевеления гордости если не самого героя, то автора за героя, Толстого, так мощно выписавшего его безмерное превосходство, его величие в эту минуту. Так есть ли куда уйти от оценки людей, пусть в виде самооценки или оценки героя автором?

Лидия Яковлевна Гинзбург в одном разговоре высказала афористически то, о чем писала в своих замечательных книгах. Она сказала, что сознавать себя по Достоевскому интереснее, а по Толстому важнее. Я пытался отвечать, что это как сказать и что это дело выбора. Выбором Лидии Яковлевны был Толстой, Бахтина — Достоевский. Можно их принимать и обоих, знаю это не по одному хорошему читателю, тем не менее типичная ситуация выбора, видимо, возникает недаром и у читателей тоже столь сильных. Бахтин бывал к Толстому несправедлив, оттого что не был к чему-то главному в нем расположен. Это главное он сформулировал за Толстого так: «Мне надо одному самому жить и одному самому умереть»²⁴. «Обойтись с самим собой» — формулирует он уже для героев Достоевского, причем для таких героев, как господин Голядкин и человек из подполья. «Обойтись с самим собой» хотят и герои иного, гордого типа — Ставрогин, Иван Карамазов. Обойтись без признания, без утверждения другим человеком, какое подарила Лиза подпольному герою, приняв его как несчастного человека, но он такого утверждения любовью, в обход его самоутверждения, принять не смог. «Обойтись» так — как будто значит обойтись без чужого мнения, взгляда, оценки, и разве не хорошо обойтись без этих малоприятных вещей, без зависимости от них? Но как бы не потерять вместе с этим и что-то необходимое и дорогое, отвечая Достоевский — Бахтин. Не потерять бы и зеркала абсолютного сочувствия, которое нам дается как благодать в ответ на нашу заинтересованность во мнении, взгляде, оценке. В такой заинтересованности, нужде в другом человеке — наша слабость и зависимость, но и шанс на проникновения и прорывы. Достоевский знал толк в таких вещах и без своего разбирательства в

²⁴ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества, стр. 314.

неприятных амбициях не пришел бы к своим духовным сияниям. Он не сказал бы, как Толстой, что чем меньше значит мнение людей, тем ближе Бог. «Толстой всю жизнь искал Бога, как ищет его язычник, природный человек», — писал Н. Бердяев — Достоевского мучила тема о человеке, он не был теолог, он был антрополог. «Поистине, вопрос о Боге — человеческий вопрос. Вопрос же о человеке — божественный вопрос, и, быть может, тайна Божья лучше раскрывается через тайну человеческую, чем через природное обращение к Богу вне человека»²⁵. И Бахтин не теолог, он антрополог и глубочайшую тайну просматривает сквозь «событие» отношения одного человека к другому; а событие это, как он формулирует, — в «абсолютной нужде» одного человека в другом (а это последнее слово у Бахтина тяготеет, как и слово «автор», к повышенному статусу и заглавной букве, которая и прорывается в «Авторе и герое»: «отпущение и благодать нисходят от Автора»)²⁶.

О любви как силе художественной — еще одно дорогое место у Бахтина, и он здесь снова поэт. «Только любовь», — повторяет он, ритмируя кусок своей философской прозы: только любовь способна «удержать и закрепить» многообразие бытия, «не растеряв и не рассеяв его, не оставив только голый остов основных линий и смысловых моментов <...> Равнодушная или неприязненная реакция есть всегда обедняющая и разлагающая предмет реакция: пройти мимо предмета во всем его многообразии, игнорировать или преодолеть его. Сама биологическая функция равнодушия есть освобождение нас от многообразия бытия, отвлечение от практически не существенного для нас, как бы экономия, сбережение его от рассеяния в многообразии. Такова же и функция забвения.

Безлюбовь, равнодушие никогда не разовьют достаточно силы, чтобы напряженно замедлить над предметом, закрепить, вылепить каждую мельчайшую подробность и деталь его»²⁷.

«...привожу подробности / жизнь подробно / промедление жизни подобно...» Жизни, не смерти! Так, того не ведая, вторит нравственной философии семидесятилетней давности поэт наших дней — Людмила Петрушевская в ее волшебном «Карамзине». Но на эту тему — «жизнь подробно» — есть стихотворение-источник, синхронное безвестной тогда философии Бахтина.

«...Кому ничто не мелко, / Кто погружен в отделку / Кленового листа...» Случайность ли, что два эти текста, философский и поэтический, возникли одновременно (на границе 10 — 20-х годов)? Не рождены ли они единым жизненным порывом (*élan vital*, понимаемым в той самой философии поступка) мысли, поэзии и истории? За этими текстами — и синхронная у двух авторов (хотя и вполне раздельная) ориентация на философию Марбурга²⁸: за поэзией философии Бахтина и философией поэзии Пастернака. Главное же — синхронность мировникающего любовного пафоса, поэтически-философского оптимизма, обоснованного более космологически у поэта и более антропологически у мыслителя. Синхронность идеи о детальной разработке мира как действию в нем космически-человеческой, божественной силы любви. «Ты спросишь, кто велит? / — Всесильный бог деталей, / Всесильный бог любви...» Вероятно, «в родстве со всем, что есть», бахтинская мысль была и с научными (о чем выше шла речь), и с поэтическими движениями эпохи.

Но философия поступка осталась тогда не востребованной вплоть до ее помертвого опубликования, и Пастернак ничего о ней не узнал. Он лишь поразился, прочитавши книгу «Формальный метод в литературоведении», и со своей восторженностью писал П. Н. Медведеву 20 августа 1929 года (когда Бахтин уже был приговорен к пяти годам Соловков и ждал решения своей судьбы и помощи от Е. П. Пешковой — и дождался, между тем как Луначарский тем не менее писал о нем похвальную статью): «Я не знал, что вы скрываете в себе такого философа»²⁹. Но не востребованным слишком многое

²⁵ Бердяев Николай. Миросозерцание Достоевского. Paris. «YMCA-PRESS». 1968, стр. 20 — 21.

²⁶ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества, стр. 71.

²⁷ Бахтин М. К философии поступка, стр. 130.

²⁸ См.: Библиер В. С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М. 1991, стр. 45.

²⁹ «Литературное наследство», т. 93. М. 1983, стр. 708.

остается и посейчас — например, замечательная бахтинская теория интонации и как первичного экзистенциального момента высказывания, определяющего всю его «музыку», выводящего слово за его словесные пределы: «В интонации слово непосредственно соприкасается с жизнью»³⁰. По существу, не востребована и книга о Достоевском, при всей ее неслыханной славе. Здесь — громадное противоречие судьбы Бахтина, заставляющее задуматься в дни его столетия.

Противоречие в размахе признания и невостребованности по существу. В характере использования, превратившего бахтинские идеи и особенно термины в предметы массового культурного потребления, и неприступности в то же время внутреннего ядра его мысли. В одном разговоре (25 января 1971 года) я спросил М. М., отвечает ли и насколько мыслитель за использование его идей. Речь зашла о возникшей моде не только уже на Ницше, но и на Киркегора. Он сказал, что Киркегор не отвечает, а Ницше все же отвечает. Киркегор, сказал он, не будет вульгаризирован, как Ницше, и не по внешним только причинам, а по самому свойству мысли (тем более Герман Коген, прибавил он, никогда не войдет в моду, он до сих пор очень мало известен во Франции: в разговоре участвовала славистка из Парижа Анни Эпельбуэн).

Этот ответ заставляет подумать, что как-то и сам Бахтин за судьбу своего наследия отвечает. Но за что? неужто за этот вульгарный бахтинизм, что расцвел вокруг его имени? за то, что так подставилась его мысль под успех? Он, не искавший успеха и в максимальной степени в работе своей его не планировавший? А когда пришел успех, он переживал его незаинтересованно и отрешенно — это нам привелось наблюдать, — и в разговорах проскальзывало, при нарастающей славе, как будто на жизнь свою в целом смотрел как на неудачу. Я уже рассказывал в печати³¹, как в разговоре 9 июня 1970 года он судил себя за то, что «не утверждал». В том числе и в книге о Достоевском, в которой он «вилял — туда и обратно». И вообще, «все, что было создано за эти полвека на этой безблагодатной почве, под этим несвободным небом, все в той или иной степени порочно», сказал он, включив сюда и своего «Достоевского». А про нас, своих новых знакомых и не совсем еще старых тогда филологов, отозвался с сомнительным одобрением: «Вы, во всяком случае, не предаете. Если вы не утверждаете, то это потому, что вы не уверены. А я вилял — туда и обратно». То есть — с нас и вопроса нет, он же мог утверждать — и не утверждал, а значит, предал. В другом разговоре (21 ноября 1974 года) он рассказал, что писал в 20-е годы статью «О непогибших». «Статью ненаучную. Конечно, не кончил и, конечно, потом уничтожил». «О непогибших», то есть так или иначе «сдавшихся» и «вилявших», к каким относил и себя.

Отвечает ли он за бахтинский масскульт? и за бахтинистскую «индустрию» в науке? Конечно, нет, скажем мы — и будем правы; но все же это будет слишком простой и неполный ответ. Сам ведь он научил нас тому, что значит ответственность за поступок — и за его последствия; и резонно спросила американская переводчица Бахтина и автор работ о нем Кэрол Эмерсон в докладе на недавней московской конференции, говоря о его философии поступка: «Раз уж это со мной случилось, согласен ли я подписаться под этим?»

Однако надо, во всяком случае, установить тот главный факт, что при всем размахе, с каким оболочки бахтинских текстов пошли в расход и растворились в массовом потреблении, ядро его мысли остается неприступным и довольно таинственным — не потребляемым, говоря тем словом, каким он говорил о неотчуждаемом и непотребляемом ядре личности. Таков и язык Бахтина, как будто прежде всего пошедший в расход, нарасхват. Но тогда-то и обнаружилось, что термины Бахтина не работают (или плохо работают) за пределами его текстов и не годятся для общенаучного употребления. Этим он стал поперек семиотическому движению с его утопией охватить все гуманитарные сферы как «знаковые системы» единой терминологией. Язык Бахтина

³⁰ Волошинов В. Слово в жизни и слово в поэзии. — «Звезда», 1926, № 6, стр. 253.

³¹ «Новое литературное обозрение», 1993, № 2.

упорно сопротивлялся этой тенденции, он оказался неотчуждаем, как личность. Это принципиальный и в то же время личный язык, совсем не язык направления или школы. Не входя сейчас в его исследование, чего он очень заслуживает, заметим лишь, что он насыщенно метафоричен. Из метафоры происходят такие главные бахтинские понятия, как полифония, но хочется отметить особенно такой его метафорический слой, какой американцы Г. С. Морсон и К. Эмерсон обозначили как бахтинскую «прозаику»³². Обыденные житейские положения становятся метафорами духовнейших состояний. «Достоевский, объективируя мысль, идею, переживание, никогда не заходит со спины, никогда не нападает сзади <...> Даже в памфлете он никогда не пользуется для изобличения героя тем, чего герой не видит и не знает <...> спиной человека он не изобличает его лица»³³. «Объектное слово» (прямая речь героя) — слово, как бы само не знающее, что стало объектом (внимания, изображения автором), — оно «подобно человеку, который делает свое дело и не знает, что на него смотрят»³⁴. Примеры таких «прозаических» метафор можно приводить и приводить из Бахтина, и его «прозаика» — это не только его теория прозы, это существенный слой его мысли. Но прозаические, обыденные состояния, служащие материалом его простых метафор, — это ведь прозаически-экзистенциальные состояния. Бахтин и исследовал их (в труде об авторе и герое) отнюдь не метафорически, как таковые, как переживаемые любым из нас телесные ситуации, заключающие в себе, оказывается, немалую тайну: вспомним просто глядящих друг на друга двоих. В виде ли этого простейшего события или сложного события романа Достоевского — это то же событие нашего бытия. Мир Бахтина экзистенциален насковзь — «от тела до слова»³⁵.

Бахтин во многом себя от нас утаил — в особенности в позиции по «последним вопросам». В автокомментарии к своей книге он типологизировал героев Достоевского по этому именно признаку: тип живущих «последней ценностью» и «тип людей, строящих свою жизнь без всякого отношения к высшей ценности: хищники, аморалисты... Среднего типа людей Достоевский почти не знает»³⁶. «Среднего типа» мыслителем, уж конечно, он не был. Но мировоззренческое ядро свое оставил непроговоренным. Очевидно, не по советским лишь цензурным условиям (хотя и они, конечно, имели место и свои деформации в его мысль внесли), а по мотивам внутренне принципиальным (не позволяя и нам поэтому судить об этом слишком решительно). Уже в двух своих ранних интимных трудах, написанных на сокровенном и чистом языке его философии и, по-видимому, свободных от цензурных приспособлений (они и ждали своего, увы, посмертного для автора часа в том самом саранском подвале, претерпев при этом утрату начал и концов и безнадежно стершихся частей текста), он свернул с магистрального пути русской религиозной философии, и вся оригинальность Бахтина-мыслителя с этим основным фактом связана, им обусловлена. Унаследовав ее проблематику, Бахтин сменил язык философствования, и это была большая смена. Он прошел кангианскую школу самоограничения в последних вопросах и сделал своим философским жанром «феноменологическое описание» того, что он назвал событием бытия. Но язык описания насытил (в «Авторе и герое») теологическими понятиями и в них решал свою эстетику — как ситуацию «эстетического спасения» одного человека другим, героя автором. Эстетика «Автора и героя» — это плотина: заимствую по аналогии эту метафору из статьи Бориса Грифцова о Константине Леонтьеве, поры серебряного века. Так Грифцов описывал леонтьевский эстетический трактат «Анализ, стиль и веяние»: «Леонтьев ограничивается только формальным анализом, все детали которого отчеканены. Но впечатление остается такое, что этот формальный и в своей точности достоверный вывод — только плотина, сдерживающая временно поток дальнейших метафизичнейших вопросов и следствий <...> И как прекрас-

³² Morson Gary Saul, Emerson Caryl. Mikhail Bakhtin. Creation of a Prosaics. Stanford, 1990.

³³ Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Л. 1929, стр. 101 — 102.

³⁴ Там же, стр. 253.

³⁵ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества, стр. 320.

³⁶ Там же.

но это зрелище сдерживаемых следствий, ограничиваемого, но в каждый момент могущего возникнуть метафизического полета»³⁷.

Зрелище сдерживаемых следствий — это особое напряжение мысли и ее особая красота. Автор «Автора и героя» специально оговорил о своей работе, что она «совершенно светская». Но тем самым он дал понять, что она могла бы быть и иной; дал почувствовать нескрытую глубину за текстом. Это не религиозная философия — такой Бахтин не писал; это эстетика, но решаемая в теологических терминах; эстетика на границе с религиозной философией — без перехода границы.

Бахтин экзистенциален и прост — вспоминая любимые из него места, хотелось в этом именно убедиться (но нынче надо уже его таким суметь рассмотреть сквозь туман современной «бахтинологии»). И он же «темен», как Гераклит (как кто-то недавно о нем пошутил — но только ли пошутил?), протечен, неуловим. «Ядро» его неуловимо в наши интерпретационные сети. Бахтин — проблема в том самом собственном его, бахтинском, смысле — он так себя поставил (оставил) по отношению к нам — в большей степени, нежели нам оставил «концепцию». Он нас озадачил: Михаил Михайлович задал нам задачу и не дал алиби от нее уклониться; здесь самое время вспомнить еще одну из сильных его метафор, экзистенциальную тоже, завещанную им не только как философский тезис, но как заповедь: не - али би в быти и.

³⁷ «Русская мысль», 1913, № 2, стр. 62.



ПО ХОДУ ДЕЛА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ

*

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ШИШКИН?

Пкупают Шишкина. Не Олега и не Михаила. Ивана. В газете «Сегодня» на полосе «смеси» читаю любопытную информацию, в которой сообщается, что выставленный на каком-то архипрестижном аукционе этюд русского пейзажиста Ив. Ив. Шишкина при стартовой цене в десять тысяч долларов «пошел» за двести тысяч. На лотке вместе с Шишкиным лежали ни много ни мало Левитан, Айвазовский и, скажем, Казимир Малевич. Они покупались вяло, хотя, конечно же, покупались, но, повторяю, вяло и для аукциона как-то «невкусно», без лихорадки. На Левитана накинули сверху что-то такое тысяч десять, на Айвазовского (редкого, «темного») и того меньше. Возле Малевича тоже схватки не было — так, взяли по хорошей цене — и все.

Дрались из-за Шишкина!

Сам по себе этот факт, конечно, может ничего не значить. Аукционные дела — дела тайные; нам, простым смертным, известно о них не больше, чем о том, что же в самом деле происходило в Буденновске или в момент встречи станции «Мир» с ихним «Шаттлом» (недавно я вот прослышал, что обшивка «Шаттла»-то, оказывается, пенопластовая и на одной из стоянок ее изрядно подолбали дятлы — кто бы мог вообразить!). Однако тем и замечательна короткая газетная информация, что в ней часто заложен такой мощный стимул для фантазии, какой не во всяком порядочном романе отыщешь.

Итак, кто и зачем отвалил такие деньжищи за Шишкина? Музей? Вряд ли. Так вот прямо взяли и внесли в статью расходов несколько сот тысяч зеленых, а наш министр нишей культуры не глядя подписал: «Не возражаю». «Что, на Шишкина? Да ради бога!» Это фантазия за пределом разумного. На яблоне могут расти золотые яблоки, но не золотые груши.

Частный любитель-коллекционер? Седовласый поклонник русской старины в сереньком пиджачке и с пылающими от патриотического блеска очами? Продал дачку, машину, квартиру, явился на аукцион гол как сокол и с надменным видом приобрел Шишкина, «чтоб врагам не достался!». Плохая сказка.

Остается третье, о чем и вы сразу подумали. Некто из нуворишей или, говоря по-русски, скоробогачей. Так, скорее всего, и было. А дальше — простор для фантазии и всяческих сарказмов. Последний стук молотка. «Продана». Ленивый росчерк в чековой книжке. Два амбала с непроницаемыми лицами тащат несчастного Шишкина в «мерседес», как в «черный воронок» для допросов...

С одной стороны, приятно. Шишкин в цене! С другой стороны, опять загадка: зачем нуворишам именно Шишкин потребовался? Почему не взял Малевича, можно догадаться: или не дурак, понимает, что именно сейчас надо брать; или в самом деле человек не вполне стандартный, со вкусом, отличающимся от вкусов провинциальных эстетов и отставных генералов КГБ.

Но отчего не взял Левитана? Все-таки бла-а-родней звучит. Опять же — при случае можно намекнуть гостям, что достался в наследство от бабушки, старой дворянки. Вот с Шишкиным такой номер не пройдет, не тот коленкор-с! Или: чем Айвазовский не потрафил? Повесил бы на яхте и небрежно так под плеск волны: «Взгляни, дорогая, Айвазовский. Конечно... оригинал. Не слишком мрачноват?»

А вот Шишкин... Его восприятия в разных социокультурных слоях так различны и в то же время так показательны, что человек, рискнувший повесить Шишкина в своем доме, или настоящий ценитель и лакомка, глубокий психолог и провокатор, или настолько не понимающий ни в людях, ни в искусстве простофиля с толстым кошельком, что за него даже как-то страшно становится. Вот по крайней мере четыре восприятия Шишкина.

Первое, «народное». Репродукции «Ржи» и «Утра в сосновом лесу» были и есть почти в каждом деревенском доме и в летних кухнях. Рядом с «патретами» генералов и простенькими Богородицами в линиях цветочках. Мухи сидят на них так же просто, как и на всем остальном, что не выходит за границы органической жизни. Дети их не замечают, как не замечают они закатов и восходов; однако именно на этих янтарно-золотых и зеленовато-коричневых настенных пятнах тренировался эстетический взгляд громадной части России; и Шишкин навсегда растворен в ее крови, как закаты и восходы и Богородицы с печальными ликами. Кто это понимает, чувствует, с тем и разговор.

Второе, «общесоветское». Картины Шишкина — экспонаты музея позначительнее Третьяковки. Они оказались частью странной и сомнительной поэзии советской цивилизации, притом не в фасадном, а в самом подлинном ее виде. Они висели едва ли не в каждом станционном ресторане, каждой сберегательной кассе; одна из них, наконец, была изображена на конфетных фантиках, и вот я даже полагаю лишним называть этот сорт конфет, который решительно всем из бывшей страны известен и который дал новое название и самой картине, что называлась вообще-то несколько иначе. Таким образом Шишкин оказался самым советским из дореволюционных живописцев, не потеряв при этом, заметим, ни грана своей «русскости». «Красное колесо» катилось как бы мимо него, а вернее сказать — он катился вместе с ним. Можно написать об этом целый трактат во вкусе новейшей культурологии, а можно объяснить скромно: Шишкин, как и лирический герой своих пейзажей, всегда появлялся там и в таком виде, где и в каком виде проявлялся неброский характер России, которой он был органической частью. И здесь лежит пропасть меж пониманиями искусства вообще. Для одних любителей изящного такая посмертная судьба — позор и кошмар; для вторых — высшее благо и награда.

Третье, «ценительское». Настоящие ценители русского пейзажа, которых мне приходилось встречать, никогда не кривят в насмешке рот при имени Ивана Ивановича Шишкина. Он — великий живописец, занимающий одно из самых почетных мест в сложнейшей иерархии русских пейзажистов. На мой взгляд, он находится в ней в такой же позиции, в какой граф Ал. Конст. Толстой находится в русской поэзии. Он стоит «надежно и прочно», как его знаменитые сосны. К ним хочется «прислониться». В картинах Шишкина нет великолепного надлома, предчувствия катастрофы, который так восхищает в поздних работах А. К. Саврасова. В них есть нечто большее — воля и покой. Практический советский взгляд оттого и выбрал их для «народного использования», что они воспитывали в людях прочное чувство бессмысленности перемен. Победа «перестройки» была победой и над Шишкиным. Бедных «мишек» — как ветром снесло, остались поваленные сосны. Но это была недолгая победа; шишкинская незатейливая мысль опять возвращается к людям: теперь каждый понимает, что там, где нет покоя, там нет и воли, а там, где нет воли, там нет смысла говорить и о свободе.

Четвертое, «образованское». Наши законодатели эстетической моды как раньше не любили Шишкина, считая его чем-то типа русско-советского китча, стоящего на дороге истинно прогрессивного искусства, так и никогда не полюбят, даже если он сегодня окажется в моде, что, очевидно, и происходит. Как бы это объяснить? Можно наслаждаться Шишкиным в Третьяковке — в оригиналах, а можно в деревенской избе — в чудовищной цветопередаче копий и репродукций. По крайности — можно и конфетный фантик прилепать в сортире, и так пойдет. Но нельзя вешать Шишкина в модном салоне и шикарной квартире.

Это прежде всего дурной вкус, господа богатые! Право же, купите лучше Айвазовского, он стоит денег! А Шишкин... Предложение покажется диким (что делать, фантазия расшалилась!), однако, немного поразмыслив, вы и сами поймете, какой бы это был роскошный, истинно аристократический жест! Подарите этот пейзажик в сиротский дом имени Саши Матросова, который находится, если мне не изменила память, где-то на окраине Ульяновска, бывшего Симбирска (или наоборот).

Ей-богу, подарите! Только не говорите детям и нянечкам — что вещь, мол, стоящая, аукционная, не доводите до греха... Ну а газеты «Сегодня» они отродясь не читали.

БЕЛЛЕТРИСТ ПРОТИВ ПИСАТЕЛЯ

Юрий Нагибин. Дневник. М. Издательство «Книжный сад». 1995, 576 стр.

Деликатнейший предмет для критики — писательский дневник. Что разбирается и оценивается — текст или человек? Неудачный оборот речи или органический изъян личности писавшего? Границу установить трудно. А «Дневник» Юрия Нагибина — действительно дневник. Писался с 1942 по 1986 год исключительно для себя, на публикацию его писатель решился в 1994 году незадолго до смерти. Отсюда свобода и откровенность описаний — и себя, и родных, близких, коллег по литературе и кино. Откровенность порой шокирующая, способная вызвать у кого-то злорадство (подставился!) и желание задним числом свести счеты с уже безгласным оппонентом. Но нужно осознать, что решение Нагибина опубликовать дневники свидетельствует прежде всего о мере доверия к нашему уму и душевному такту. Попытаемся же соответствовать.

Для дневников, ведущихся десятилетиями, естественна хаотичность; здесь нет и не может быть единого авторского замысла, направленного отбора материала; здесь разом — десятки сюжетов и разнозаряженных, разномасштабных мыслей. Потребность в дневнике возникала у Нагибина по разным поводам. И когда было плохо, когда нужно разобраться в своей «душевной помойке». И когда — хорошо, чтобы дать выход полноценной пейзажной, любовной, философской лирике. И как реакция на давление извне: «Я хватался за свою тетрадь, когда чувствовал, что мне не хватает воздуха, и, чтобы не задохнуться, выплескивал переживание на страницы».

И тем не менее, при всей хаотичности «повествования», есть в «Дневнике» единый и вполне осознанный сюжет: *внешняя и внутренняя судьба писателя Нагибина*. Вот только развитие этого сюжета было не во власти автора — им распоряжалась жизнь: и личная жизнь Нагибина, и наша общая в прошедшие десятилетия.

До прочтения «Дневника» для меня, например, ситуация выглядела примерно так: существует очень известное литературное ИМЯ — Юрий Нагибин. И есть подписанное этим именем энное количество текстов, по большей части небезвкусных, но проходящих по категории «беллетристики», то есть изначально ориентированных на вкусы и восприимчивость широкого читателя и, еще на уровне замысла, учитывавших пропускные возможности политической и эстетической цензуры. Меньшая же часть текстов шла по категории «счастливых», когда вдруг «само написалось», — почти безупречных, почти хрестоматийных для русской прозы рассказов. Но ПИСАТЕЛЯ Нагибина не было. Не ощущалось в современной русской литературе некоего особого, закрепленного именно за Нагибиным художественного и философского пространства. И потому широчайшая известность его имени казалась обеспеченной только контекстом — настолько усредненным и невыразительным был основной литературный поток в те годы, что даже небольшой дар в сочетании с искренностью и культурой автоматически обеспечивал внимание читателя, а иногда, как в случае с Паустовским, и прижизненный титул классика.

«Дневник» оказался для меня первой книгой Нагибина, которая заставила читать себя с полной включенностью в текст. Заставила предположить, что ПИСАТЕЛЬ Нагибин все-таки был. Хотя бы в этой, писавшейся сорок лет, книге. Не так уж мало для настоящей литературы.

Ну а где все остальное, вся предыдущая писательская жизнь?

Если перечитать дневники, задавшись этим вопросом, то выяснится удивительная вещь: перед нами, возможно, редкий случай, когда у человека было, казалось бы, все, для того чтобы состояться как писателю:

Писательский менталитет (прошу прощения за модное слово). Самоощущение личностное у Нагибина органично слито с писательским. «Я понял, как страшно быть не писателем. Каким непереносимым должно быть страдание нетворческих людей. Их страдание окончательно...», «Действительность обрета

смысл и существование лишь в соприкосновении с художником. Когда я говорю о том, что мною не было записано, мне кажется, что я вру», — записи эти сделаны еще сравнительно молодым человеком.

Культура. По возрасту Нагибин должен был бы принадлежать к поколению, условно говоря, «ифлийскому». Но уже дневники 1942 года демонстрируют практически полное отсутствие специфически временной идеологической и культурной зашоренности. Для молодого Нагибина, например, естественны ссылки на уже освоенных им Селина, Пруста, Бодлера; достаточно рано установил он свои взаимоотношения с христианством, далекие от агрессивной воинственности или восторженного неопитства, он ценил прежде всего этическую и культурно-эстетическую сторону христианства.

Понимание задач литературы было у него изначально продуктивным: «...надо держаться за слово... Это серьезно, все остальное — подёнки, лакейство перед временем и его «проблемами», назавтра уже не стоящими ни копейки... литература всерьез — это радостный плач о прекрасном и горестном мире, который так скоро придется покинуть».

Работоспособность, отсутствие самоупоения достигнутым. «Я начинаю овладевать своим ремеслом», — запись сделана в пятьдесят два года «маститым» знаменитым писателем, чьи рассказы уже вошли в школьные хрестоматии.

Литературная одаренность, проявившаяся рано. В записях сорок второго года удивляет ранняя зрелость, жесткость именно писательского видения. Приведу хотя бы вот эту выдержку из военного дневника: «Лошади на дорогах войны — не кавалерийские кони, а тягловые грустные лошадки, самое печальное, что можно вообразить. Шкура висит, словно непомерно большой чехол на кукольной мебели, черные мутные глаза на длинных мордах с детской слезой, шаткий шаг, — у людей я пока что этого не видел».

Трезвость взгляда на окружающую его действительность, почти полное отсутствие человеческой и гражданской инфантильности. Вот характерные для «Дневника» записи: «Подозрительность, доносы, шпиономания, страх перед иностранцами, насилия всех видов — для этого Сталин необязателен. То исконные черты русского народа, русской государственности, русской истории», «Почти все советские люди — психические больные. Их неспособность слушать, темная убежденность в крошечных истинах, душевная стиснутость и неприветливаемость носят патологический характер... Проанализировать причины довольно сложно: тут и самозащита, и вечный страх, надорванность — физическая и душевная, изнеможение душ под гнетом лжи, цинизма, необходимость существовать в двух лицах: одно для дома, другое для общества». Хотя здесь, видимо, необходима оговорка: запальчивость таких вот по форме как бы констатирующих и потому предполагающих спокойный, взвешенный тон записей говорит об определенном разладе между умом и сердцем: сердце отказывается принять то, что видит ум.

Интенсивность внутренней жизни: никакого крохоборства, заморозченности, излишней бережливости к душевным мускулам. Никаких признаков ослабления жизненной потенции. Ему была свойственна способность испытывать внезапную радость и полноту жизни, «приступы счастья беспричинного»; и все это легко, органично ложилось на бумагу: «После мучительно жаркого дня, проведенного в Москве, в поту и мыле, с почти замершим от жары сердцем, вдруг почувствовал сейчас, как из распахнутого окна, из неприметно наставшей темноты резко и прекрасно повеяло, а затем ударило блаженной прохладой, вмиг остудившей тело, оживившей сердце, омывшей мозг. Вдалеке чуть слышно пророкотал гром. Ночью будет гроза, и я жду ее, как счастья».

И наконец (если продолжать эти простодушные попытки вывести универсальную формулу «настоящего писателя»), еще об одной особенности личности. Сошлюсь на Розанова, утверждавшего, в частности, что литература создается из пороков. Человек, живущий нормальной, «пресной» жизнью, творчески бесплоден. (Честное слово, не знаю, какие уж такие пороки питали творчество Мандельштама, или Платонова, или Зощенко и т. д., и т. д.?) Увы, и в этом отношении у Нагибина «все в порядке». Всю жизнь он мучительно пытался избавиться от некоторых «особенностей» своей натуры, скажем, от запоев и того, что с ними связано, — страдал, ужасался, казнил себя. «Писать о себе всерьез я все еще не могу. Страшен и мучителен я самому себе».

Казалось бы, все было. А писателя не получилось.

Решусь на наивный вопрос: почему?

Первое, что приходит в голову: в Нагибине конъюнктурщик взял верх над художником. Слишком часто талант использовался не для «радостного плача о прекрасном и горестном мире», а как средство добывания славы и достатка. Что ж, дневники дают богатый материал для подобных толкований: «Ужас халтуры... Это не фраза — страшно по-настоящему, пусто, щемяще страшно», но: «...стоит подумать, что бездарно, холодно, дрянно исписанные листки могут превратиться в чудесный кусок кожи на каучуке, так красиво облегающий ногу, или в кусок отличнейшей шерсти, в котором невольно начинаешь себя уважать... тогда... хочется марать много, много». Смущает, правда, отрефлектированность этой ситуации. Трудно представить такое в дневнике Г. Маркова или В. Кожевникова.

Или другой, постоянный мотив дневника: искреннее недоумение, искренняя обида на то, что его не ценят писательские и кинематографические начальники. «Я делаю в кино вещи, которые работают на наш строй, а их портят, терзают, лишают смысла и положительной силы воздействия. И никто не хочет заступиться», «...меня вычеркнули в последний момент из едущих на летнюю Олимпиаду... меня, не совершившего даже малой подлости и сделавшего не так уж мало хорошего окружающим, преследуют как волка... А ведь я объездил двадцать пять стран... и вел себя безукоризненно во всех поездках», «Сейчас, когда я «заслужил у властей», на меня стали срать особенно энергично». И даже: «Прости меня, Боже, но милости Твои изливаются тодько на негодяев...» Поразительно — так презирать отведенное совком пространство для существования писателя и при этом не мыслить себя вне этого пространства!

И наконец, едва ли не самая жуткая запись: «Писать о нем я уже не буду, ибо тот последний и самый важный рассказ, который нужно было бы написать, никто не напечатает».

После подобных «саморазоблачений» Нагибина версия о гибели в нем художника от руки конъюнктурщика должна бы казаться вполне убедительной. Но почему-то не кажется. Настораживает ее элементарность. Вопрос остается: почему умный мужественный человек, всю жизнь соблюдавший своеобразную нравственную гигиену — не вступал в партию, не становился секретарем СП, не выносил даже заседаний в редколлегиях, — почему он не плюнул на всю эту суету, на заграничные поездки, тиражи, передачи на радио и прочее? Почему не ушел в свой мир — книги, природа, музыка, охота, узкий круг близких по духу людей? Ведь вполне можно было бы и так жить, и так писать. Нагибин думал про это. «Спокойствие, выдержка, работа — таков наказ себе. И помни: твоя судьба не на дорогах международного туризма, а в литературе. Значит, смирись, сядься, признать свое поражение? Я на это не способен. *И никакой литературы не родится в униженной душе*» (курсив мой). Это очень важные строки. В них — нагибинское понимание норм человеческого и писательского достоинства. Можно, разумеется, спорить, насколько оно верно. Но когда человек воспринимает ситуацию ухода в частную жизнь — в данном случае вынужденного — как «униженность», спорить с этим нелепо. Это во-первых.

А во-вторых — и в данном случае это здесь главное, — нагибинское понимание нормы в большей степени приближено к общечеловеческой норме, нежели множество привычных нам моделей писательского поведения, выработавшихся в условиях нашей достаточно специфической отечественной реальности.

Начнем с простого. С желания «жить красиво». Хорошо одеваться, иметь комфортабельную дачу, ездить на охоту, путешествовать за границу — перечень этот прозвучит ужасно для нашего уха. Буржуазно как-то. По-мешански. Для стереотипов нашего представления о писателе естественнейшее убеждение, что писательскую душу лучше всего воспитывают лишения и ограничения. Не спорю, — воспитывают. Закаляют. Умудряют. Но может, так же закаляет душу и опыт радости? Может, в свободной счастливой жизни человек быстрее, а главное, естественней и гармоничнее созревает? Может, этот опыт не менее, а как раз более плодотворен для формирования и развития таланта? Полноценное творчество, требующее огромных затрат жизненной энергии, предполагает как бы определенный ее избыток в творце; игру жизненных сил, а не натужное выдавливание их на бумагу. «Писатель должен быть баснословно богат, — с полемическим запалом утверждал Чехов, всю жизнь споривший с устоявшимися в России «народническими» представлениями о фигуре писателя, — так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, Южному полюсу, в Тибет или Аравию... Толстой говорит,

что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор — три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно — писателю...»¹.

Для Нагибина как раз нужен был «весь земной шар» — поездки в Европу, Америку, Японию были средством «проветрить душу», подышать воздухом свободы, увидеть и пережить другой пейзаж, сблизиться с крупнейшими художниками своего времени, увидеть недоступные нашему зрителю шедевры кино и живописи. И все для того, чтобы оставаться писателем. Потому так яростно защищал он свое право на пусть относительную, но все же избыточность жизни и ощущений, а значит — волю.

И даже та, казалось бы, циничная саморазоблачающая запись Нагибина про ужас и привлекательность халтуры содержит странные слова о куске шерсти, ценном не самом по себе, а как средство, чтобы почувствовать вдруг уважение к себе. Вот главный дефицит эпохи — возможность уважать себя. Возможность жить не униженно. Увы, время поставило Нагибина перед мудреным выбором: скажем, чтобы почувствовать к себе «невольное уважение», надев достойную человека одежду, нужно было добровольно отказаться от уважения к себе как мастеру. «Ты поставил себе непосильную цель: прожить жизнь, оставаясь порядочным человеком. Именно *прожить*, а не протлеть...» Цель оказалась действительно непосильной (в отношении — «прожить»). Но саму попытку осуждать я не беру.

Норма для писателя — публичное осуществление им своего предназначения. Бесперебойное функционирование в самой природе литературы находящейся взаимосвязи: Писатель — Читатель — Писатель. «Писать в стол» — это, конечно, звучит гордо. Но для меня, например, не очень убедительно. Знаменитую фразу Мандельштама: вся разрешенная литература — «это мразь», я воспринимаю как болезненную реакцию на изуродованные всеми предыдущими режимами взаимоотношения писателя и читателя, на постоянное присутствие между ними тех, кто разрешает или не разрешает. Не более того. Так же, как и не убеждает пример того же Мандельштама, яростно отчитывающего пожаловавшегося на непечатаемость поэта: а Христа печатали?! В конце концов и Мандельштам, и Платонов, и многие другие, вынужденные годами обходиться без печатного станка, все-таки держали в руках изданными свои все же полноценные книги, а о своем месте в литературе знали не только изнутри, но и извне.

Да. Приноравливание к разрешенному литературному пространству опасно. Опасно не только искусственными компромиссами, но и излишней сосредоточенностью в отстаивании места в этом пространстве, самим ожесточением борьбы. В ее пылу неизбежно искажается чувство реальности. Следы этого легко заметить в дневниках Нагибина. Скажем, он явно преувеличивал достоинства своего рассказа «Терпение», который считал гражданским поступком и отношением к которому мерил степень внутренней свободы и человеческой зрелости своих сограждан. Или, например, его твердая уверенность, что излишняя медленность продвижения его рукописей в редакциях, плюс не слишком почтительное отношение к нему даже далеко не официозных критиков — все это приметы организованной травли.

Но были потери и посущественней, чем мнительность и сбой в самооценке своего творчества. Прежде всего это следы внутренней несвободы, душевной зажатости в прозе, писавшейся десятилетиями. Это особенно заметно на фоне таких работавших рядом мастеров, как Домбровский, Можаяв, Трифионов, Казаков, Искандер и т. д. Те «позволяли себе» гораздо больше. Возможно, кроме установки писать исключительно для печати (Можаяв, например, или Искандер в отличие от Нагибина имели характер ожидать публикации некоторых своих текстов лет по десять), Нагибину мешал еще и сам характер его дарования — на мой взгляд, дар по преимуществу лирический. Душевный инструмент такой прозы очень деликатен, он требует некой внутренней безмятежности, чувства защищенности. Состояние

¹ Двумя абзацами выше Бунин, по запискам которого я цитирую чеховское высказывание, приводит другое, как бы прямо противоположное: «Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден!» Противоречия здесь нет. В данном случае Чехов говорит о проблеме рабочей дисциплины писателя. В процитированном же выше — о природе художественного творчества.

борьбы для него часто губительно, в отличие, скажем, от азартного, сатирического таланта Можаяева, для которого атмосфера борьбы может быть живительна. Да и потом, Можаяев, Казаков, Искандер — люди все-таки другого поколения, другого общественного климата. Во времена, когда Нагибин входил в литературу, перепад между тем, что человек мог себе позволить в своем кругу и что — в публичной жизни, был слишком резким. На сегодняшний взгляд записки военных лет Нагибина вполне невинны, но тогда они тянули лет на десять лагерей. И в тех условиях обрести навык безоглядно жить, чувствовать, думать на бумаге невероятно трудно, если вообще возможно. «Из всего могут родиться слова — из грязи, пороков, ошибок, поздних раскаяний, но только не из страха», — запись 1949 года.

«Мы все как глубинные рыбы, извлеченные на поверхность. Из страха давлением в миллион атмосфер нас перевели в разреженную атмосферу жиденького полустраха. Наши души не выдерживают... распадаются». В последние годы Нагибин получил наконец возможность писать абсолютно свободно. Так, как он писал свой дневник. Но избавиться от ввевшихся намертво, ставших натурой, навыков беллетриста Нагибин уже не смог. В его поздних повестях «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща» отталкивает именно попытка дать современникам (таким, какими Нагибин их себе представлял) понятную, адаптированную к «общественным запросам» картину жизни. Разница между литературными достоинствами этой прозы и уровнем мысли и художественного письма в «Дневнике» разительнейшая (о поздней прозе Нагибина писал в журнале Никита Елисеев — «Тень „Амаркорда”» — «Новый мир», 1995, № 4).

У «Дневника» есть одна бросающаяся в глаза странность. Он литературен. Не фальшив, не ходулен, не претенциозен, а именно литературен. Дневники так не пишут. В дневники записывают. Нагибин же как раз писал. Изображал. Очевидно, это была действительно единственная его книга, в которой писатель дал полную волю своему таланту, в которой беллетрист Нагибин не мешал писателю Нагибину. Грустная и радостная ситуация. Грустная оттого, что ПИСАТЕЛЯ Нагибина мы обретаем только после его смерти. Радостная, что — обретаем.

Сергей КОСТЫРКО.



ОСУЖДЕННЫЙ НА СМЫСЛЫ

В. В. Налимов. Канатоходец. М. Издательская группа «Прогресс». 1994, 456 стр. Библиотека журнала «Путь».

И смыслы — смыслы нового, ожесточаясь, начали жаждать крови <...> Ветер судьбы заставил меня с детства соприкоснуться с трагичностью, порожденной осатанелыми смыслами.

В. В. Налимов.

«Смысла нет», — заявляет в недавнем интервью почтенный мэтр структурализма К. Леви-Стросс. «Мы все время ищем смыслы. У одного из французских мыслителей — экзистенциалиста и феноменолога Мерло-Понти прозвучало высказывание о том, что человек осужден на смыслы. И главной здесь остается проблема смысла жизни, смысла мироздания <...> Ведь и само христианство — новозаветное и особенно гностическое — разве не возникло как отклик на ожидание новых смыслов? И история христианства, особенно западного: появление множества ересей, возникновение протестантских Церквей — разве все это не поиск новых смысловых раскрытий одних и тех же исходных текстов?» — говорит В. В. Налимов.

Между кажущейся бессмысленностью и искомым и обретаемым Смыслом разворачивается драма человеческой мысли, трагедия человеческого существования. В. В. Налимов упорно настаивает на смыслах: «Я обратил внимание на смыслы, организующие наше сознание. Смыслы можно обсуждать. Смыслы нужно обсуждать. Смыслы динамичны. Если смыслы не осмысливать, то они начинают меркнуть».

«Смысловик», знающий, что смыслы могут не только меркнуть, но и сатанеть, он смело идет навстречу смыслам: «Думается, что мы все время реинтерпретируем некую глубинную Мысль, невыразимую до конца. <...>

В чем смысл жизни?

Ответ на этот вопрос для меня звучит просто: смысл существования Вселенной — в раскрытии заложенной в ней потенциальности. Смысл нашей жизни — в активном участии в этом процессе, в расширении горизонта нашего существования».

Всякий, кто хотя бы немного соприкасался с В. В. Налимовым-лектором, подтвердит, что он переполнен смыслами и заражает ими: непрерывность против дискретности, вероятность против детерминизма... За неисчерпаемость и неисчерпаемость мироздания, за будущее, чреватое непредсказуемыми смыслами, за спонтанную свободу сознания...

Этими и иными заветными авторскими смыслами и держится книга. Только теперь В. В. Налимов дает обратный перевод: с языка математики и кибернетики, который он прежде разрабатывал для обеспечения соответствующих областей научного знания, на язык философии и культуры, отчасти — богословия. Последнее — особая статья. Богословский Смысл у него корреспондирует, но не всегда совпадает с тем, что есть Слово-Логос в вероучительных дефинициях основных христианских конфессий. Фиксируя расхождения, автор ищет встречи с христианским Смыслом, минуя догматические определения на причудливых путях таинственного гнозиса. Гностики и наследующие им тамплиеры-храмовники, так и не сумевшие выстроить своего храма, казалось бы, навсегда обречены пребывать в исторической тени, на темной периферии христианства. Так судим мы, но не Налимов, стремящийся соединить экзотическое гностическое богословствование с запросами современного сознания, создав таким образом свой вариант целостного Знания.

В. В. Налимов знал крутые повороты судьбы: забвение и успех, остракизм и признание. Он не раз предлагает в книге ярко характерные жизненные впечатления. Возвращается во времена дореволюционного детства, тревожной молодости, совпавшей с новой волной революционного террора, рассказывает о своих научных поисках, чьи взлеты силится и не сумел сдержать идеологический пресс. Очень содержательны, по-моему, страницы воспоминаний, связанные с замечательным математиком XX века А. Н. Колмогоровым.

Автор итожит свои непростые отношения с эпохой, в которой ему выпало жить. Повествование обдувает обнажающий смыслы ветер времени, «ветер судьбы». Автора вновь обжигает этим временем. Взаимодействие с трагическим опытом эпохи продолжается. И когда повествователь приподнимает над собой ее тяжкий груз — мы слышим стон. То страждет, печалуетя и скорбит глубоко уязвленная временем гордая и одинокая душа.

В воспоминательной части книги перед нами не только блистательный ученый с мировым именем (В. В. Налимов — философ, математик-программист, лингвист, инженер-экспериментатор, в сфере его научного поиска также семиотика, информатика, антропология, экология, другие смежные дисциплины, он автор четырнадцати книг и бесконечного множества статей), но и бывший сталинский зек. Уникальность авторской личности (не только в полном смысле слова культурной, но и мистически одаренной) делает уникальной и его Колыму: «Я входил в медитационное состояние перед восходом солнца. Вот оно засветилось первым лучом там за сопками, еще невидимое. Я жду напряженно, механически выполняя свою работу. Еще мгновение — и блеснул его край над темной скалой, и во мне что-то засветилось — я не чувствую себя больше рабом. А ночные смены осенью: медитация под звездным небом. Никогда раньше я не ощущал себя так близко к Вселенной, как в эти длинные ночи».

И я уже потом понял, что выжить в лагере может только тот, кто не смирился с мыслью о том, что он стал, как это ему внушали, сталинским рабом».

«Это ночное стояние под Небом и пред Небом превозмогало биографический катаклизм, возвращало Смысл и наделяло Силой»...

В. В. Налимов проходил и был осужден первоначально на пять лет исправительно-трудовых лагерей («репрессия в разных своих проявлениях растянулась на 18 лет») по делу мистических анархистов. «Со мною вместе были арестованы и многие другие — два моих, еще школьных, товарища: Юра Проферансов погиб в лагере, Ион Шаревский был расстрелян. А о «Деле» в целом я практически долго

ничего не знал. В плане духовном, видимо, все погибло. Иногда мне кажется, что я только один и продолжаю в своих работах ту, начавшуюся тогда, новую для России нить философского осмысления мира с синтетических позиций, готовых впитать в себя все богатство мысли как Запада, так и Востока, не чуждаясь ни многообразия религиозных представлений, ни научных построений, ни философских изысканий».

Что же это за «нить», что было «тогда» — в 20-х — первой половине 30-х годов? Были лекции в небольшой подвальной аудитории музея П. А. Кропоткина, учеба в Московском университете, интенсивное чтение, в том числе религиозно-философских, теософских, антропософских сочинений и работ учителя — А. А. Солоновича, одного из руководителей анархо-мистического движения в России, математика, философа, педагога, репрессированного и умершего в тюрьме в 1937 году. Было интенсивное общение с его женой и соратницей А. О. Солонович, расстрелянной в 1937 году (ей посвящена книга). Под влиянием учения о гностическом христианстве главного из предтеч анархо-мистического движения А. А. Карелина, под воздействием четы Солоновичей Налимов и его друзья становятся членами Ордена тамплиеров. Возникший (или возрожденный?) в целях больше конспиративных — дабы снять политический налет с движения мистических анархистов, — Орден все же имел со своим средневековым прообразом отнюдь не условно-символическую связь (судить об этой связи с большей степенью основательности и точности на материале книги В. В. Налимова затруднительно). Тот, первоначальный Орден тамплиеров был упразднен в 1312 году папой Климентом V, а магистр Ордена Жак де Моле и Командор Нормандии Жеффруа де Шарню были сожжены. Через шестьсот с лишним лет Орден вновь обезглавлен (были арестованы и те его члены, которых Налимов лично не знал и роль которых в деятельности Ордена до сих пор не вполне ясна), но уже в советской России...

Как можно понять, репрессированный двадцати шести лет от роду В. В. Налимов не имел в Ордене высоких степеней посвящения, отчасти поэтому и для него самого в орденских делах не все ясно. Теперь он извлекает дополнительную информацию из протоколов допросов некоторых российских тамплиеров, помещенных в книге. Но и протоколы «мало что сообщают об Ордене — его духовном настрое, его эзотеризме, его ритуальных традициях. Следователи на допросах преимущественно интересовались политической стороной дела — а этим как раз не занимался Орден. У него не было ни политической программы, ни устава, ни каких-либо прочих политических проявлений. Это все-таки было только религиозно-философское Братство, именовавшее себя Орденом в силу духовной, а частично и ритуальной преемственности».

Орден от политики устранился, но это не значит, что составившие его основную, видимую через книгу В. В. Налимова, часть мистические анархисты были совсем уж аполитичными. Ну, они, конечно, в 30-е годы открытую политическую агитацию не вели, но идею отвергали политическую платформу и практику коммунистов-большевиков, хотя по-прежнему осознавали себя в русле русского освободительного движения (идеалы свободной от государственных пут личности внутри свободной общины, акратии-безвластия они сохраняли; позднее к этому добавился христиански окрашенный коммунизм). В революционные и первые постреволюционные годы организационно еще не оформившийся мистический анархизм политически, по-видимому, мало чем отличался от обычного анархизма, пытавшегося воплотить в жизнь теоретические наработки М. А. Бакунина, П. А. Кропоткина и других своих лидеров (несколько лет существовала группа наблюдателей-анархистов во ВЦИКе, ее возглавлял А. А. Карелин). С течением лет практика насильственного построения коммунизма уже повергает в ужас исповедующих принципиальное ненасилие мистических анархистов. Абсолютно неприемлем для них также примат материализма, пролетарская диктатура и проч.

В терминологии В. В. Налимова анархизм — это «радикальное инакомыслие», сравнимое, скажем, с бунтарскими молодежными движениями Запада в недавние десятилетия. Ведь анархизм — это бунт против освященного традицией миропорядка, в основу которого положен противоположный принцип иерархизма, обосновывающий необходимость и неизбежность «верха» и «низа», высшего авторитета, власти и т. д.

Итак, революционных испытаний традиционный философский анархизм в духе Кропоткина не выдержал, участвовать в революционном насилии не захотел. Ближе стало христианство, но, конечно, не в институционализированных цер-

ковных формах — это для прирожденных инакомыслящих не годилось. Не поколебленный в своих воззрениях В. В. Налимов развертывает в книге апологику гностицизма, вернее, того, во что он трансформировался после первых веков христианства. «Одна из привлекательных особенностей гностицизма именно в том и состоит, что в нем нашло наиболее полное воплощение архетипическое наследие без каких-либо догматических ограничений. Гностицизм в многообразии своего видения мира, по-видимому, является наиболее свободной мировоззренческой системой».

По свидетельству Налимова, «часть российской интеллигенции была готова признать мистический анархизм, заквашенный на гностическом христианстве», но как сколько-нибудь широкое религиозно-общественное движение он был разгромлен в конце 30-х годов. В. В. Налимов уцелел и сохранил закваску. Мы продолжаем иметь дело с «радикальным инакомыслием», чьи основные несогласия лежат и в русле реформаторских по отношению к Церкви усилий. О православии В. В. Налимов неоднократно высказывается в критическом смысле, суть которого, в общем-то, ясна из вышеизложенного. Отметим интерес к апокрифическим евангелиям, отрицание «прообразовательного» смысла Ветхого Завета, симпатии к эзотерике (А. А. Карелин подобно своим древним предшественникам, знаменитым гностикам Валентину и Василиду, был носителем эзотерического изустного предания. — гностических легенд, сам Налимов этим знанием уже не владеет) — и получим внешний контур «пневматика», «посвященного», гностика, сложившаяся система взглядов которого носит как типологические, так и индивидуально-свободные черты.

В мировоззренческой части книги есть еще одна любопытная тема — народная магия как незаслуженно охаянная и обиженная форма языческой религиозности, до сей поры сохраняющая положительные потенции. Здесь больше задора, выпада, скорее культурного, нежели религиозного пафоса. «Культуры остаются способными к гармонизации общества до тех пор, пока они сохраняют в себе магическую силу воздействия. Пирамиды, храмы и мифологические скульптуры Египта имели магическую силу, утраченную теперь. Величественные готические соборы западного средневековья, в своей архитектуре как-то еще связанные с древним Египтом, были магическими катализаторами народного духа. Так было и с русскими православными храмами — я еще помню умиротворяющую храмовую магию старой Москвы с ее колокольным перезвоном, особенно пасхальным». Окультистскую магию профессор Налимов все-таки не пропагандирует. Его интерес к теме магии носит наследственный характер. Отец автора — этнограф, географ, фольклорист, профессор В. П. Налимов — происходил из зырян (коми), много и с симпатией писал о народных языческих верованиях зырян и пермяков. Он, по воспоминаниям Налимова, обладал некоей магической силой и имел большое влияние на мировосприятие сына.

Апологет свободы и творческого динамизма, Налимов с лета отвергает все, содержащее в себе хотя бы малую толику принуждения, отвердения и законничества — и это он относит к традиционному православию. О свободе мистической, невидимой Церкви он ничего не говорит. Но ведь ереси ветшают и костенеют с куда большей быстротой, чем апостольская Церковь в ее каких-то преходящих внешних формах, а о «культурной бескрылости» русской Церкви в дореволюционные времена с большим знанием дела писал о. Сергей Булгаков (о софиологии, кстати, В. В. Налимов отзывается с симпатией: «мифологическая модель космогонического звучания»). И уж априорно не хотят видеть критики исторического христианства, что «ветхая» Церковь продолжает духовно плодоносить (в ней не признается и не прививается разве что близкое мистическому анархизму бунтарское начало...).

Одно из первоначально предполагаемых названий книги «L'erave» — обломок судна после кораблекрушения. Потом от этого названия автор отказался: «слишком громоздко»... «А я, уцелевший в этой буре, вышел на берег... на канат». Жизнь — балансирование над бездной на узкой ленте протянутого над ней каната. Над бездной истории, над бездонностью Смысла.

«Долг плясуна — не дрогнуть вдоль каната» (М. Цветаева). «Канатоходец» — это все-таки очень выразительно...

«Я написал эти воспоминания для того, чтобы сохранить память о том, кто умел жить не покоряясь, сохраняя свое достоинство, свою самобытность». Он относит эти слова к тем, кто не дождался перемен, стал жертвой чудовищной реп-

рессивной машины всепожирающего государства. Читатель, однако, вправе отнести эти слова и к самому автору. Да, этот человек «умел жить не покоряясь», бунтуя — на свой, академически корректный, «тихий» манер — против умственной рутины, застылости, спячки, против клишированных мертвенных формул. Свободой дышит и последняя книга В. В. Налимова, увидевшая свет, когда ученый приблизился к восьмидесятипятилетнему рубежу.

Вот на что, по-моему, здесь стоит обратить внимание: если общественная и политическая история (а история России, быть может, больше всего) никак не может избежать провалов, зияний, срывов, дробится, расчленяется, говоря языком Налимова, стремится к дискретности, то частное человеческое существование содержит в себе преимущество потенциальной цельности, непрерывности. Увы, эта потенциальность реализуется в немногих случаях: например, в случае с В. В. Налимовым.

Долгую жизнь мемуариста, открыто выступающего сейчас в качестве адепта древних учений о предсуществовании души и «многократности повторных рождений», мы по-читательски ощущаем единственной и непрерывной. Он называет себя обломком того, что некогда было насильственно разбито и уничтожено, но сама по себе его жизнь — отнюдь не осколки, а цельность, которую уже невозможно разять.

Олег МРАМОРНОВ.

*

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИАЛОГУ С К. Г. ЮНГОМ

К. Г. Юнг. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика. Киев. СИНТО. 1995. 228 стр.

Э. Сэмьюэлз, Б. Шортер, Ф. Плот. Критический словарь аналитической психологии К. Юнга. М. МНПП «ЭСИ». 1994. 183 стр.

За последние несколько лет на нашем книжном рынке произошел взрыв: бурным потоком обрушились на знатоков, любителей и непосвященных тяжелые фолианты, основательные тома, наспех составленные сборники и тоненькие, переведенные профанами брошюры почти не издававшегося у нас дотоле крупнейшего мыслителя XX века, основателя аналитической психологии Карла Густава Юнга (1875 — 1961). Две книги в этом потоке выделяются в первую очередь тем, что они могут быть рекомендованы как специалистам в области гуманитарного знания, так и неподготовленному читателю, желающему расширить свой кругозор и узнать нечто новое о себе и людях.

Известная как «Тэвистокские лекции» (или как «Лондонские семинары»), первая из этих книг представляет собой публикацию стенограммы пяти лекций и пяти дискуссий, состоявшихся в 1935 году, и занимает достойное место в научном наследии Юнга. Она примечательна тем, что мысль автора рождается здесь не в кабинетной глуши и не в диалоге с единомышленниками, а в весьма разношерстной по составу аудитории, где завязываются дискуссии, проверяется жизнеспособность идей, оттачивается аргументация, материал проверяется на прочность. Здесь аналитическая психология проходит через горнило критики — только в такой форме и может развиваться наука, и только такой себе представлял аналитическую психологию Карл Густав Юнг. Открытость к диалогу, соотнесенность со всей культурной традицией им не просто декларировались, но были присущи ему как мыслителю. Приводимые в книге дискуссии — прекрасное тому подтверждение. Эти дискуссии были опущены в первом издании «Тэвистокских лекций» на русском языке (СПб. 1994).

Книга диалогична не только по форме, но и по содержанию. Юнг часто повторял, что высказываемые им положения никоим образом не претендуют на роль теоретических обобщений, а описывают исключительно эмпирические факты. И все же в книге представлена основная проблематика аналитической психологии: учение о психологических функциях и типах, концепция индивидуального и коллективного бессознательного, методы анализа сновидений, активного воображения, свободных ассоциаций (и основанных на них вербальных ассоциативных

тестях). Приводятся яркие примеры толкования мифологических символов, анализируются архетип и символ, эмоция и аффект, вводятся такие важные для аналитической психологии понятия, как тотальность (психическая целостность), комплекс, синхронность, проекция, трансфер и ряд других.

Составитель и переводчик лекций В. Менжулин пишет в предисловии, что аналитическая психология «все еще не стала реальным фактом жизнедеятельности наук о человеке», и дело обстоит подобным образом не только в России. Об этом свидетельствует и публикуемая в качестве приложения к «Тэвистокским лекциям» статья одного из крупнейших последователей Юнга, Джозефа Кэмпбелла, — «Жизнеописание Карла Густава Юнга». Это эссе ограничивается изложением общих мест, так называемых «сильных сторон» учения Юнга.

Действительно, согласно мировой тенденции, интерес в юнгианстве смещается от глубинных, эзотерических изысканий Юнга к тому, что подводит общий фундамент под психотерапию. Заметно укрепляются клинические позиции аналитической психологии. Например, в Великобритании некоторые аналитические психологи назначают психиатрами-консультантами или психотерапевтами Национальной службы здоровья. Подобное происходит и в других странах Запада.

Каковы же трудности в понимании того, что связано с учением Юнга? Его интеллектуальные достижения часто основывались на эксперименте, его толкования — на интуитивных прозрениях, которые в различных контекстах звучали по-разному. Это многообразие толкований стало, в частности, предметом дискуссии, приводимой в книге, когда слушатели выражали сомнение в адекватности интерпретаций аномальных реакций в ассоциативных экспериментах.

Действительно, Юнг был мыслителем-эмпириком, и порой его вполне сознательный отказ от логической завершенности изложения, строгости терминов может вызвать замешательство у читателей. Иногда текст Юнга лучше воспринимается как поток образов, постижение которых требует широкого привлечения аналогий. Общеизвестен его интерес к мифологии, восточному и западному мистицизму, алхимии. По существу, Юнг принадлежал к той категории мыслителей, которые никогда ничего не отвергают. «Мир, в который мы попадаем с рождения, — писал он незадолго до смерти (в возрасте восьмидесяти шести лет), — жесток и груб, и в то же время полон священной красоты. Какая чаша весов перевесит другую — смысл или бессмыслица, — зависит от меры, которая, в конечном счете, есть сам человек. Если бы бессмыслица правила всем безраздельно, жизненный смысл оставил бы нас на нашем пути. Но этого в действительности — или мне это только кажется? — не происходит. Скорее всего, как и во всяких метафизических вопросах, истинны обе стороны: жизнь полна смысла и бессмысленна одновременно. Я же лелею беспоконную надежду, что смысл возобладает и выиграет сражение».

После смерти К. Г. Юнга интерес к аналитической психологии и работам тех, кто практиковал и развивал ее, значительно возрос во всем мире. Работы Юнга на русском языке, различающиеся качеством переводов, справочным аппаратом, не всегда должным образом снабженные перечнем авторских терминов, подчас незнакомых даже специалистам, — все они счастливо дополнены теперь русским переводом прекрасного терминологического словаря — «глоссария» аналитической психологии К. Юнга. Авторы словаря пишут во введении о том, что аналитическая психология от последних десятилетий не стояла на месте и в любом словаре было важно «показать применение, корректировку или даже оспаривание ряда положений Юнга постюнгианцами... Отсюда эпитет «критический» в названии словаря».

Русский язык — уже одиннадцатый язык, на котором появляется в свет словарь. Психианалитикам, психологам, социологам, антропологам, религиоведам, как работающим, так и обучающимся, необходима базовая информация. Многие ученые и специалисты, занимающиеся Юнгом, воспользуются книгой как справочником, в котором собраны и объяснены многие сложные термины, иногда весьма многозначные, что таит в себе опасность неправильной или односторонней интерпретации.

«Словарь» включает в словник более двухсот терминов и терминологических словосочетаний. Основные аспекты их толкования следующие: значение; происхождение; место термина в системе представлений Юнга; различие в использовании термина между аналитической психологией и психоанализом (фрейдизм); изменение в употреблении термина в аналитической психологии; критический ком-

ментарий; цитаты и ссылки. Библиографические сведения собраны в конце книги и включают более ста сорока источников цитирования. Каждый термин снабжен соответствующим английским и немецким эквивалентом (иногда, при необходимости, — французским или латинским).

В словарь входят термины, впервые включенные в научный обиход К. Г. Юнгом; общепринятые, но использованные автором в особом значении; общие термины аналитической психологии.

Приведем здесь небольшой фрагмент из словарной статьи «Зло»: «В разное время Юнга серьезно критиковали теологи за его утверждения о реальности Зла и парадоксальной природе образа Бога. Мы не можем знать, что являют собой Добро и Зло, утверждал он, но мы воспринимаем их как мнения и в отношении к опыту. Он рассматривал их не как факты, но как ответы на факты, и поэтому, по его мнению, нельзя ни уменьшить, ни уничтожить одно за счет другого. Психологически он считал и Добро и Зло «равно реальными». Зло занимает свое место как угрожающе действующая в противоположность Добру реальность, психологическая реальность, выражающая себя символически в религиозной традиции (дьявол) и в личном опыте (см. «Противоположности»). Данное представление о Зле широко обсуждалось в переписке Юнга с отцом Виктором Уайтом, английским священником, но в конечном счете оба сочли свои взгляды несовместимыми (см. «Вина», «Религия»)».

Интересно здесь отметить одну из последних работ Юнга «Ответ Иову» (1952), в которой он изображает библейского Иова как взывающего к Богу против Бога. Вывод Юнга: любой раскол в моральной природе человека неизбежно приводит последнего к вопросу о возможном расколе в самом Божестве.

В предисловии к русскому изданию словаря один из его авторов, действительный член Общества аналитической психологии в Лондоне, автор монографии «Юнг и постюнгианцы» (1985) Эндрю Сэмьюэлз пишет: «Я предполагаю, что грядет нечто похожее на взрыв интеллектуального интереса к юнговской психологии в России и других странах, прошедших через опыт тоталитаризма... Юнговская психология обладает способностью (возможно, уникальной) понимать степень влияния на индивида этнических, религиозных, национальных и других коллективистских элементов в их глубинных истоках. Теоретизирование об отношениях индивидуального и коллективного есть на сегодня ключевая точка приложения усилий глубинной психологии внести творческий вклад в восстановление нормальной жизни в теперешней России». Э. Сэмьюэлз высказывает ряд весьма примечательных соображений о специфике русской духовности: «В России, как мне показалось (автор читал лекции в Петербурге и Москве в 1990 и 1991 годах. — В. Д.), в противовес Британии или Америке, аффект и эмоция рассматриваются как первоначала творения, созидания, тогда как разум больше представляется источником разрушения. Русские писатели в течение последних двух столетий не переставали яростно ругать западный рационализм, причем в любой его форме, будь то британский индустриализм, немецкий порядок и аккуратность, французская логика или американский культ денег. Может быть, русское отречение в XIX веке от Разума Просвещения зашло слишком далеко, создав условия (время и место) для разрушительного переворота, обвальной реверсии (термин из «Словаря». — В. Д.) в безумную рациональность коммунизма XX века. Как бы то ни было, мысль, которую я хочу провести здесь, заключается в том, что сама нравственная почва в России, ее духовная нива готова для внедрения идей глубинной психологии вообще и аналитической психологии в частности».

Признавая изрядную долю смысла в вышеприведенных оценках русской специфики, укажем лишь, что западное прочтение идей глубинной психологии сводится часто к прагматической интерпретации и психотерапевтической практике (особенно в США), утрате философской и религиозной основ учения К. Г. Юнга. Но «русская духовная нива» действительно готова к его восприятию и, независимо от того, интерес каких читательских кругов окажется преобладающим — клиницистов, антропологов, социопсихологов, философов или просто всех тех, кто стремится к духовному росту, — эта книга окажется полезной. Наконец, она просто интересна и увлекательна, как и труды самого Юнга.

Прозвучит ли русское слово в диалоге с Юнгом?

В. ДОЛИНСКИЙ,
кандидат филологических наук.



НЕОСУЩЕСТВИВШАЯСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Александр Казанцев. Третья сила. М. «Посев». 1994, 343 стр.

Десять лет назад, приглашенный редакторствовать в издательство «Посев» во Франкфурт-на-Майне, я в один из приездов случайно достал там с полки «Третью силу» Казанцева и — два дня не отрываясь читал. Книга, написанная в 1952 году по свежим следам военных событий, поразила меня, экс-советского человека, новизной материала, проникновенной простотой изложения... И ныне переизданная в Москве, она, думается, будет интересна многим и многим: ведь о попытке русской эмиграции активно формировать во время войны «третью силу», способную опрокинуть не только Гитлера, но и коммунистическую деспотию, и по сегодня известно мало; антикоммунистическая организация Народно-Трудовой Союз, активно работавшая на это, обвинялась в коллаборанстве с фашизмом не только советской пропагандой, но и многими демократами-диссидентами. Нам и теперь малоизвестна эта правда о второй мировой; генерал Власов и до сих пор отрицательно нарицательная фигура во всех политических лагерях (хотя коммунисты и не забывают при каждом удобном случае лягнуть демократов за то, что они якобы используют «власовскую символику»/?!/), — тут крайности сходятся — на общей закваске предубеждения, идущего от исторической глухоты и невежества.

Да и дожили-то до наших дней в основном те ветераны, кто был распропагандирован сталинизмом. По ним и судят о идеологической монолитности советской армии, иных свидетельств уцелело немного. Но вот «Пир победителей» Солженицына, идущий в Малом театре, дает другую картину: офицеры-патриоты знают цену режиму, это свободолюбцы, а не фанатичные советские куклы, воздух свободы наполнял горнило отечественной войны.

Об этом же и книга Александра Степановича Казанцева (1908 — 1963). В отрочестве покинув Россию, войну Казанцев встретил в Белграде. Но не рассеянным одиночкой, а членом организации «русских солидаристов», вся жизнь которых была подчинена задаче освобождения родины. Коммунизм однозначно воспринимался ими как оккупация России Интернационалом, как режим стопроцентно антагонистичный всем традиционным функциям российского организма. «Где бы мы ни были, что бы ни делали, мы всегда вели как бы двойную жизнь. Одна — вот эта, настоящая, со службой, работой, с ежедневными обязанностями и заботами, а другая, от всех скрытая, — для души. Это была Россия, которой отдавались все лучшие чувства и помыслы. <...> Каждый вечер, после трудового дня, в Париже и Софии, в Варшаве, Праге, Белграде и в десятках других мест мы собирались вместе, слушали и читали лекции и доклады, изучали философию и экономику, историю и социологию <...>. Мы скоро увидели, что коммунизм, поработивший наш народ, это не политика, а идейная уголовщина <...>. Мы знали практический коммунизм так, как мало кто знает его из его противников за рубежом <...> Мы накапливали свои знания и опыт к тому дню, когда «там что-то произойдет». Тысячи молодых врачей, инженеров, строителей, как правило, с блестящим европейским образованием и опытом, привели бы мы в тот день Родине и сказали бы ей — вот то, что мы для тебя приготовили. <...> В таком состоянии и в таких настроениях застало нас 22 июня 1941 года, когда тремя гигантскими бронированными клинциями Гитлер пробил брешь в китайской стене, окружавшей нашу родину в течение 19 лет».

Именно как брешь в стене коммунизма расценили немецкое вторжение многие и в России. Об этом и сейчас как-то не принято говорить, все беды начала войны списываются на конкретные просчеты советского руководства, а не на жажду, глубокую народную жажду освобождения. И тут на уровне подкорки в нас вживлены псевдопатриотические табу.

Но вот глубокий патриот и историк Н. Н. Рутченко рассказывает мне в Париже о 22 июня (война застала его аспирантом Ленинградского университета за работой о берестяных новгородских грамотах): «Иду с утра по Каменноостровскому мосту, навстречу другой аспирант, приятель. «Колька, свобода!» — бросается цело-

ваться». Помнится, несмотря на весь свой «антисоветизм», я был тогда этим рассказом шокирован, во всяком случае, подумал, что ежи у кого и была такая реакция на начало войны — то носила она достаточно маргинальный характер.

Лишь позже, с головой, что называется, погрузившись в материалы антикоммунистического движения военного времени, я убедился, сколь широко было распространено ожидание освобождения в результате войны. Ведь никакими военными поражениями не объяснишь этих цифр: «...к концу 1941 года в немецком плену оказалось не менее 3,8 миллиона красноармейцев, офицеров, политработников и генералов — а всего за годы войны эта цифра достигла 5,24 миллиона. <...> к 5 мая 1943 года добровольческие объединения в рамках германского вермахта насчитывали 90 русских батальонов, 140 боевых единиц, по численности равных полку, 90 полевых батальонов восточных легионов и не поддающееся исчислению количество более мелких военных подразделений, а в немецких частях находилось от 400 до 600 тысяч добровольцев» (Хоффманн Й. История власовской армии. (Серия «Исследования новейшей русской истории»). Вып. 8. Под общей редакцией А. И. Солженицына). Париж. «УМСА-PRESS». 1990).

...Перебравшись из Белграда в Берлин, Казанцев с единомышленниками работает над созданием «третьей силы», преодолевая бешеное сопротивление нацистских самоупоенных фанатиков, чья цель была — не освобождение России от коммунизма, как лицемерно твердила их пропаганда, а ее тупое порабощение. Вот почему так боялись нацисты объединения русских сил под знаменем патриотической идеологии, солидаризировавшей хаос неорганизованных воль. «Хорошо зная по собственному опыту силу национального самосознания народных масс, немцы прежде всего загарантировали себя от возможности появления русского национализма. <...> Строго запрещено было самое слово Россия и все от него производные». Само слово «русский» искореняла нацистская пропаганда. «Если в самой Германии в первые же дни войны была запрещена русская музыка и русская литература, строже всего Достоевский и Гумилев, то в занятых областях, например, в Орле, дошло до запрещения «Войны и мира» Толстого». Гитлеровцы считали, «что русский национализм для Германии сейчас более опасен и нежелателен, чем коммунизм <...>. Перед немецкой пропагандой стояла задача убедить русский народ в том, что в его прошлом не только при большевиках, но и при царях, и при боярах, и при удельных князьях только и было что беспросветная тень».

Понадобилось несколько месяцев немецкой агрессии, чтобы народ понял, что внешний враг столь же омерзительен, сколь и внутренний. Сталин же — в отличие от Гитлера — хитроумно задействовал именно патриотические, освободительные силы народа. Но буквально до последних дней войны в советских войсках вновь и вновь обнаруживались смельчаки, готовые на войну с коммунизмом. Русская Освободительная армия могла бы сфокусировать, саккумулировать их... Казалось, «что создание двухмиллионной антикоммунистической армии в кратчайший срок было обеспечено».

«Части Освободительного движения, само собой разумеется, создавались не для того, чтобы драться с Красной Армией. Предполагалось создать достаточно крепкий кулак, чтобы после сильной пропагандной подготовки проткнуть линию фронта» и — увлечь за собой советское войско обратно к Москве, очищая Россию от коммунизма.

И тут у Казанцева — как и во всех книгах и исследованиях о Русском Освободительном движении на германской стороне линии фронта — становится туманно и топко: не было (возможно, по совокупности обстоятельств и не могло быть) четкого плана освобождения, надеялись на авось, недоучитывали энкаведешного, смершевского, идеологического намордника на советской армии, да, в конце концов, и просто силы инерции, динамики наступательного наката. Трудно предположить, чтобы войско какого-либо сталинского военачальника, того же Жукова, лицом к лицу столкнувшись, например, с армией Власова, тут же стало браться. Да это было попросту нереально! Да это были челюсти, готовые молоты и молоты! Но годами сотни тысяч людей жили с надеждой на чудо, что как-нибудь да это произойдет.

И, читая Казанцева, лишний раз видишь с горечью, как огромная, многоядная сила в одночасье расплылась в ничто. Так мощные облака, кажется готовые сплотиться в тучу, от которой ждешь спасительного дождя, порой так в нее и не собираются, развихряясь и истончаясь.

Казанцев называет три причины быстрой деморализации и конечной неэффективности освободительных русских формирований.

«Первое и, вероятно, самое решающее это то, что возможность консолидации сил была получена слишком поздно». Гитлеровцы противились до последнего, так как — и справедливо — не видели в ней для себя спасения.

«Второе — это неоправдавшиеся надежды на помощь или нейтралитет западных союзников». Союзников... чья и чья? Сталина. Но Казанцев умалчивает, что и Смоленское обращение Власова (1942), и Пражский манифест Комитета Освобождения Народов России (1944) содержат выпады против американских и английских «капиталистов» и «плутократов». Пусть выпады эти сделаны под нацистским нажимом. Формально Запад имел право рассматривать антисталинские русские силы как не дружественные. (Что, разумеется, не снимает с него преступной вины за секретные ялтинские параграфы — предательские по отношению в принципе к «правам человека». Кстати, ни один из власовских документов не был огрублен антисемитизмом — несмотря на особое давление нацистов в этом вопросе.)

И наконец, третье, быть может, самое драматичное обстоятельство. Вне сталинского режима люди раскрепостились, но вот коммунистическая знакомая сила стала приближаться вплотную. И тогда «в душу каждого гипнотизирующими глазами удава заглянул многолетний страх. Страх не наказания, не физической смерти, а страх за дерзость выступления, за вызов на единоборство многолетнего и, опять казалось, несокрушимого врага. Советская власть, НКВД, двадцать лет культивируемого ужаса и бессилия вступили в свои права. Этот страх больше, чем страх перед физической смертью <...>».

Болезнь размагничивающейся воли, апатии — можно было видеть в те дни за немногими исключениями и на членах руководства, и, пожалуй, чем выше, тем больше».

Власов был талантливый военный и, судя по всем свидетельствам, бесстрашный и обаятельный человек, но чем ближе подходили советские, тем заметней в нем была обреченность. Генерал и его сподвижники отдали себя на мученическую смерть на Лубянке (их подвешивали на мясных крючьях под ребра, пока не истекнут кровью); и откровенной жертвенности тут было больше, чем боевого честного поражения.

Выдачи наших пленных и солдат РОА — среди трагических страниц истории XX века, не уступающих холокосту.

Вот 19 января 1946 года в Дахау: помещение барака, куда ворвались американцы и поляки, несшие охрану лагеря, было залито кровью кончавших самоубийством узников. «На полу и на койках валялись люди с перерезанным горлом или венами. На перекладинах потолка висели повесившиеся. <...> Американские солдаты стали быстро перерезать веревки <...> Кровь лилась из людей ручьями. Обессиленные, они кричали по-русски: „Американская демократия!“»

«Приблизительно через месяц, 24 февраля 1946 года, такая же кровавая бойня, только в десять раз большем масштабе, была проведена в лагере Платтлинг, где находилось около 3000 человек — остатки второй власовской дивизии, как указывалось выше, еще не получившей даже оружия к моменту капитуляции Германии, и дети, мальчики из офицерской школы. <...> Люди вскрывали себе вены, перерезали себе горло, вешались уже в вагонах. <...> В вагоны на станции Платтлинг <...> грузили не живых людей, а куски рваного мяса». Там советскому командованию было сдано 400 трупов самоубийц, вывезено было две с половиной тысячи человек. Всего же на растерзание Сталину выдали миллионы потенциальных борцов с коммунистической деспотией.

Все это известно, обнародовано: сравнительно давно на Западе, недавно — у нас. И тем не менее в толщу сознания народного так и не сумело проникнуть. Недавнее пятидесятилетие победы вновь увязало русский патриотизм — с советским. Как это ни позорно, ни глупо, у наших националистов Сталин в большой чести. Русские же мученики, пытавшиеся отстроить «третью силу», — в забвении, у «патриотов» — в презрении. Сталинский режим со всеми преемниками его — вплоть до 1985 года — воспринимается ими как «свой», «имперский», национальный. Чудовищное кощунство и предательство по отношению к миллионам погибших! Привкус подмены невольно примешивается к гордости за победу. Привкус неправды — к правде героизма. Победив, мы только утвердили над собой деспотию. Самый коварный враг России сидел в Кремле. В конце концов, он-то и победил.

«И хотя историю Русской Освободительной армии заплевали как большевицкие идеологи (да и робкая советская образованщина), так и с Запада (где представить не умели, чтоб у русских могла быть своя цель освобождения), — однако она войдет примечательной и мужественной страницей в русскую историю» (А. Солженицын).

Особый разговор о моральности власовского движения вообще: морально ли переговариваться с врагами России даже и в целях освобождения ее от интернационалистической деспотии? Думается, что тут никакие однозначные «вердикты» попросту невозможны. В конкретных условиях Власов сделал все от него зависящее, чтобы попытаться сконцентрировать русских в максимально независимую «третью силу», свести коллаборантство до минимума, необходимого для существования его армии вообще, и, наконец, спасти из концлагерей тысячи наших пленных, уже обреченных на голодное вымирание.

От трагедии генерала Власова и его движения веет шекспировской глубиной. В проникновенных «записках военного священника» протоиерея Александра Киселева «Облик генерала А. А. Власова» приводятся слова Андрея Андреевича: «Я — проиграл, и меня будут звать предателем, пока в России свобода не восторжествует».

Если так, то свободы в России нету и посегодняя, нет — главным образом в сердцах, в душах. Мы продолжаем жить с клишированными мозгами, не способные ощутить бездонную проблематику власовской эпопеи.

Сам Власов — глубоко национальный, народный тип христианского социал-демократа и в силу этого не только биографически, но и «родово», мировоззренчески связанный с революцией. Так что «революция пожирает своих детей» еще и таким вот образом: в лубянский застенок она привела Власова кружным путем, на девять лет позже, чем многих его коллег-командармов, хорошенько попытав освободительными иллюзиями (см.: Бушueva Т. Между двух зол. — «Новый мир», 1994, № 6).

...30 апреля 1987 года мы всем нашим мюнхенским приходом, со священниками, хором, гостями, на двух автобусах приехали в Плагтлинг открывать, освящать маленький «мемориал» (крест и камень), жертвам той чудовишной выдачи. Отслужили панихиду под птичий щебет, среди обильной сирени. А потом старик К. Г. Кромиади, офицер еще первой мировой, доверенное лицо Власова, разом и дряхлый, и не теряющий выправки, опираясь на палку, вышел вперед. Пожевал губами, подбирая слова:

— Это была не война, — бойня!
И не смог продолжить, заплакал.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

*

ВРЕМЯ ЭПОЛЕТОВ

Военная одежда русской армии. Коллектив авторов. М. «Военное издательство». 1994, 382 стр. («Редкая книга»).

Сергей Охлябинин. Честь мундира. Чины. Традиции. Лица. Русская армия от Петра I до Николая II. 50 исторических миниатюр, иллюстрированных автором. М. «Республика». 1994, 303 стр.

Эполеты официально просуществовали в русской армии сто семь лет, с 1807 по 1914 год. Правда, отдельные полки получили право носить некое их подобие еще с 1730-х годов, но в знакомом и привычном нам виде они появляются лишь после общей реформы обмундирования, проведенной в начале XIX века: «У офицеров в 1807 г. были отменены эпантоны и трости, а вместо погон офицерам и генералам введены эполеты: обер-офицерам — без бахромы, штаб-офицерам — с бахромой из тонких жгутов, а генералам — с толстой витой бахромой» («Военная одежда русской армии»). «Золотые и серебряные — носили офицеры гвардии и генералитет. Армейские же офицеры имели поле эполет из приборного сукна» («Честь мундира»). Однако в представлении потомков именно эполеты определяют облик русской армии и во многом облик прошлой русской жизни — достаточно

вспомнить портретную галерею 1812 года. Или автопортреты Михаила Лермонтова, которые он подписывал, как правило, так: «Русский офицер и поэт». Прежде — офицер и лишь потом — поэт. Мы же, воспитанные на традициях литературных, всегда почти отдавали предпочтение «поэту». Эполеты существовали в нашем сознании как-то отдельно — символом блистательной, но канувшей в небытие эпохи — наряду с гусарами, ментиками, чепчиками, бросаемыми в воздух, балами, флигель-адъютантами и генералами свиты Его Величества. Собственно, эполеты — лишь самая заметная и запоминающаяся деталь военного костюма, знакомая каждому хотя бы со слов популярной песенки. Литература же, она — вот, всегда на книжной полке. И до последнего времени, следует признаться, даже и среди нынешних литераторов (не исторического толка) особого пристрастия к познанию прежней российской жизни и литературы через историю русской армии и военного костюма (что ж за армия без мундира?), видимо, не наблюдалось.

Времена, однако же, изменились. Но об этом — чуть позже.

Две книги, посвященные русской армии, появились в продаже почти одновременно. Изданы они одинаковым тиражом — по двадцать тысяч. Объединяет их и то, что обе подробно описывают армейскую форму во всех ее значительных и «незначительных» деталях, страницы буквально пестрят от темляков, чакчир, плюмажей, колет, кутасов, доломанов, поблескивают от галунов, кокард, золотого шитья и аксельбантов. Но если в «Военной одежде русской армии», коллективном ученом труде, дополнением к рассказу о калейдоскопических переменах цветов и типов обмундирования (связанных с восшествием на престол нового монарха или появлением очередного равнодушного к армии фаворита) служит показ истории создания, организации и работы военно-хозяйственных органов, и, в частности, вещевого служб, то в книге Сергея Охлябинина «дополнением» сим оказывается чистая поэзия. Ибо иначе как поэтическим и страстным его отношение к изображаемому предмету и предметам не назовешь. Изысканно-лапидарный стиль художественно цельных очерков напоминает стиль тех классических военных реляций, которые воспринимаются ныне не иначе как произведениями изящной словесности, пусть и особого жанра. Современному же автору выбор подобной манеры изложения исторических фактов дал возможность и право выступать в роли едва ли не участника описываемых событий и происшествий: слог его прост, точен, холоден (что вовсе не есть противоречие с чуть выше сказанным — в воинском донесении поэзия и страсть несколько иного рода, чем в любовном послании).

Обе книги на сравнение напрашиваются. Но по меньшей мере неучтиво (в первую очередь по отношению к коллективу авторов «Военной одежды...») было бы оценивать их по одним и тем же критериям. «Военная одежда...» — научная или, если хотите, научно-популярная монография, излагающая историю «развития русской военной одежды со времен правления Ивана Грозного до начала XX века» (так сказано в издательской аннотации — и это чистая правда). Даже более того: в первой главе есть попытка проследить и предысторию русской (тогда еще — славянской) военной одежды «с VI в. н. э., т. е. с того периода, когда племена восточных славян, образовав наступательный военный союз, пошли против Восточной Римской империи». Далее подробно, по историческим периодам, прослежены все этапы становления и развития военной одежды и военно-хозяйственных органов России, вплоть до того момента, когда «изменения в форме одежды русской царской армии закончились», — при Временном правительстве армия воевала в том же, что и при императоре. Лишь со знаков различия, нагрудных знаков и наград были убраны символы монархии. А, например, на знаменах, «где была раньше надпись «За веру, царя и отечество», оставляли только слова «За веру и отечество», а слово «царя» и царский вензель закрывали тканевой заплаткой». Иллюстрирована книга вполне адекватно содержанию: здесь и акварельные листы из папок военного ведомства с «Высочайшим утверждением», и портреты царственных особ, гравюры, музейные фотографии, современные рисунки, выполненные с должным уважением к исторической точности и к читателю, буде он пожелает ознакомиться именно что с самыми «незначительными» деталями воинской экипировки. Справедливости ради следует сказать, что и «Военная одежда...» не лишена своеобразной поэзии, близкой нашему сердцу, в подтверждение чего позволим себе привести еще лишь одну цитату: «Генералам для парада и ношения в установленные правилами дни как в мирное, так и в военное время в 1808 г. вводится общегенеральский мундир общеофицерского того времени покроя: двубортный из

темно-зеленого сукна, с красным воротником, обшлагами и фалдными обкладками, с темно-зелеными рукавными клапанами, с красными на них кантами и золотым шитьем на воротнике, обшлагах, рукавных и карманных клапанах в виде дубовых листьев, а на плечах золотые эполеты». Единственным, но серьезным недостатком представляется нам отсутствие терминологического словаря, который, кстати, в книге С. Охлябинина наличествует, — он и там лишним не кажется, а в «Военной одежде...» отсутствие его создает некоторые неудобства.

«Честь мундира» построена по хронологически-тематическому принципу. Но, насколько нам известно, в данном варианте представлена лишь часть давно готовых к публикации «материалов» по истории русской армии, собранных и «обработанных» автором. Тем не менее заинтересованный читатель, лишь мельком пролистав книгу и заглянув в оглавление, поспешит приобрести ее в нераздельное личное пользование, ибо относится она к тому роду изданий, что ставятся на одну из самых почитаемых книжных полок. Будучи своеобразной иллюстрированной (автором) энциклопедией, она в то же время являет собой и достойное для спокойного и умиротворенного времяпровождения чтение — интересное, поучительное, познавательное и приятное. Первые четыре главы («Потешные», «Гвардия», «Регулярные и иррегулярные», «„Иноземные дружины“ россиян»), как то и следует из их названий, живописуют собственно образ русской армии — штрихами в ином обрамлении незаметных деталей, легкими и живыми силуэтами исторических лиц, событий. И сам автор ненавязчиво сопровождает читателя в путешествии по временам и пространствам. Кроме России — это и Франция Людовиков, Карла IX, Наполеона Бонапарта, и древняя Персия, и Греция, Швеция, Швейцария, Рим, Германия, революции, войны, победы, поражения, путь к острову Эльба или по прекрасной Италии, от города к городу: «В лицах видит он характер. В прическах — моду. В одеждах — цвет, линию, ценз. В виллах и дворцах — эпоху. В пиниях и кедрах — пластику. В скалах — философию. В дорогах — историю». Слова сии — о молодом Алексее Константиновиче Толстом из очерка «Не дай мне, Феб, быть генералом...», едва и впрямь в генералы чуть не угодившем. Очерк, впрочем, помещен в главе пятой, названной «Взирая на лица». Глава эта уже непосредственно связана с темой русской литературы.

«Ноябрь 1855 года. Поездка подпоручика в Петербург. Торжественно встречают известного по тому времени писателя прежде всего как артиллерийского офицера». Торжественно встречаемый подпоручик — Лев Николаевич Толстой («Фейерверкер четвертого класса»), начавший службу солдатом и вышедший в отставку в чине поручика, на всю жизнь сохранив «внешние манеры военного» (И. Е. Репин). После Крымской кампании на его мундире орден св. Анны с надписью «За храбрость» и медали «За защиту Севастополя» и в «Память войны 1855 — 56 годов». Походы и сражения в «Войне и мире» описаны рукой профессионального военного.

Надежда Андреевна Дурова, прозаик, первая в русской армии женщина-офицер («Гусар-девица Александров»). Аудиенция. Император в зеленом мундире лейб-гвардии — назначение в Мариупольский гусарский полк. Портрет кисти Карла Брюллова. «Пушкин при встрече стремительно целует маленькую смуглую руку. Дурова в замешательстве отступает. Отдергивает руку. «Ах, боже мой, я так давно отвык от этого», — говорит она, покраснев и сердясь на себя за неловкий оборот».

«Невозможно было сделать выбора удачнее, — доносит генерал Галафеев вышшему начальству. — Всюду поручик Лермонтов первый подвергался выстрелам хищников и во главе отряда оказывал самоотвержение выше похвалы» («Ангел ли, демон ли?..»).

И другие — если не авторы, то герои русской литературы: Голенищев-Кутузов Смоленский, Г. И. Глазенап (знакомый по виршам Козьмы Пруткова), Толстой-Американец, Федор Глинка, в 1872 году удостоенный (после многих орденов за военные заслуги) ордена св. Анны 1-й степени за вновь изданные собственные сочинения, дук Ришелье — генерал-губернатор Новороссии. Иные, не менее примечательные лица: наполеоновский маршал Бернадот, ставший королем Швеции, граф Шувалов, тот самый, что сопровождал Наполеона в ссылку, генерал Милорадович, великий князь Михаил Павлович, «нижегородский кадет Шервашидзе» — художник, участник «Русских сезонов» Дягилева, проживший сто один год, из коих пятьдесят с небольшим в России и почти пятьдесят в Европе.

От одного перечисления имен едва ли не оторопь берет. Но на этой ноте книга С. Охлябинина не завершается — она плавно возвращается к жанру энциклопедическому: в главе шестой «Форменные притчи» рассказано (и показано), что такое есть и откуда пошли кокарда, шпоры, галифе, аксельбант, фуражка и... они, так любимые нами эполеты. Иллюстрированный «Краткий словарь военной формы и снаряжения русской армии» в комментариях не нуждается.

А что же следует сказать о господах литераторах нынешних и об изменившихся временах? У русской армии есть достойные писатели; обе книги, о которых шел разговор, тому пример. Однако. Не столь впрямую ориентированная на эти темы изящная словесность не без тихого восторга принялась на белых бумажных полях разыгрывать виртуозные комбинации со смешением эпох и костюмов. Поручики, есаулы, генерал-адъютанты с немалым удовольствием объявляются на страницах современных повестей и романов, отнюдь не посвященных историческому прошлому. Только порой они, явившись, с удивлением и досадой отмечают явные несоответствия с принятой (не господами литераторами) формой одежды, путаницу званий, орденов. В литературе, конечно, разрешено уже все. Но представляется, что свитский генерал не может себе позволить носить форму неустановленного образца. «Честь мундира», понимаете ли. А ведь все так просто (по крайней мере ныне): открыть доступное издание и посоветоваться с ним. И дальше уже — давать полную волю воображению. Самому буйному. Поручики и генералы служить рады. Тем более что время эполетов, сдается нам, начинается вновь. По крайней мере в литературе. Примеры? Нет им числа.

Игорь КУЗНЕЦОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

И. ЛЕОНИД ГАККЕЛЬ. Величие исполнительства: М. В. Юдина и В. В. Софроницкий. СПб. «Северный олень». 1995. 96 стр.;

ЛЕОНИД ГАККЕЛЬ. Я не боюсь, я музыкант. СПб. «Северный олень». 1993. 176 стр.

Профессор Петербургской консерватории Л. Е. Гаккель, автор исследований о фортепианной музыке XX века, нередко выступает как рецензент, откликаясь на события текущей музыкальной и театральной жизни в периодике Петербурга и Москвы. Теперь его статьи и рецензии объединены вместе... Привлекает широта взгляда на музыкальный процесс современности, глубокие экскурсы в историю музыки и исполнительства (последнее — основной предмет исследований автора). Контекст статей Л. Гаккеля на редкость широк, здесь не только факты и сведения из музыкальной сферы, но и обращение к произведениям художественной литературы, к разного рода публицистике, к трудам философов (впрочем, в этом обилии цитат порой смущают апелляции к именам и текстам второстепенным, неавторитетным, явно «не работающим» на авторскую мысль). В целом же эрудиция автора одухотворена и одушевлена, что дает его статьям ту живость и привлекательность, которая всегда обеспечивает ему и благодарную аудиторию на устных выступлениях — припоминая реакцию публики на известных «Декабрьских вечерах» ГМИИ, куда приглашался Л. Гаккель. Ученый открыто и недвусмысленно прокламирует нравственное начало в музыке, следуя здесь традиционной дорогой отечественного музыковедения, с его этическим пафосом и гуманизмом, утверждавшимися начиная с музыкальных критик кн. В. Одоевского и вплоть до работ В. Г. Каратыгина, Б. В. Асафьева и И. И. Соллертинского (ближе к нашим дням назвать кого-либо трудно,

быть может, только Г. М. Когана — ведь десятилетия «борьбы с идеализмом» выхолостили из эстетики саму ее сущность, заставляя превратно толковать и сам предмет изучения). Л. Гаккель принадлежит к поколению шестидесятников, поэтому, как многие из них, он был призван начать все заново; он и начал — и успешно продолжает. В истории музыки ему ближе всего романтики, романтические черты он старается найти и у тех композиторов, которых романтиками прямо не назовешь, — скажем, у Мусоргского, Шостаковича, Шнитке (отсюда, правда, и некоторая однобокость оценки творчества А. Шнитке, подверженного непрерывным метаморфозам). То же интересует его в первую очередь и в сфере исполнительства: в какой степени несет музыкант высокую миссию Художника, может ли своим искусством направить слушателя к трансцендентному, «бесконечному», к «тайне мира», раскрыть которую, по мысли романтиков, может только музыка?.. Потому и взял автор главными героями двух наиболее емких своих очерков пианистов В. В. Софроницкого и М. В. Юдину, гениальных музыкантов, традиционно относимых к художникам-романтикам. Софроницкий действительно был романтиком чистой воды: характерными были его репертуар и его пианизм, сама манера его игры — предельно эмоциональная, экстатически приподнятая. «Русский романтизм», — говорит о Софроницком Л. Гаккель. Художественная натура Софроницкого была проще, «обыденней», чем натура Юдиной. Ясность его облика и сделала задачу автора легче, потому очерк о Софроницком получился, на мой взгляд, удачней, чем очерк о Юдиной. Основные линии его творческой биографии Л. Гаккель прочерчивает убедительно, можно сказать, изящно. Эти линии: близость польской культуры (и западнославянской в целом), преемственность эстетике символизма («в Пе-

тербурге он олицетворил собою Петербург серебряного века»), «утешительная» природа его музицирования (в противоположность Юдиной, чья игра была духовно-возвышающей...). Писать о Юдиной очень трудно, если отталкиваться от романтического начала: романтическое — лишь одна грань ее мироощущения, ее творчества; цельности в ее портрете достичь не удалось. Той цельности, какая выявлена в очерках о Софроничком, о С. Рихтере, М. Гринберг, Н. Перельмане, В. Горовице (в книге «Я не боюсь, я музыкант»). Портрет оказался мозаичным, пестрым, не выручили здесь ни цитаты, ни риторика... Больше того, автор вдруг пошел на поводу банальностей, которые никак не помогают понять «величие исполнительства» Юдиной. Имею в виду прежде всего пассажа о «бесовских» свойствах Юдиной («Величие исполнительства...», стр. 27). Возможно ли, многое зная о жизни Юдиной и, как кажется, восхищаясь ее гением и личностью, пользоваться отголосками старых сплетен?! Биографическая и творческая стороны в очерке о пианистке отражены полно, как и психологические мотивы иных ее интерпретаций, но философия искусства Марии Вениаминовны Юдиной глубоко не затронута. Думаю, произошло это потому, что автор не нашел его дом и н а н т у². Отсюда неточное определе-

¹ Это «бесовское», а то и «дьявольское», якобы присущее М. В. Юдиной, мерещилось ее недругам — тем, кто стал «жертвой» ее резкой прямоты, когда речь шла об отстаивании справедливости, а это Юдиной приходилось делать очень часто; этими выпадами обычно хотели или уколоть ее лично, или набросить тень на ее православие, которое она без страха и с достоинством пронесла по своей незапятнанной жизни, начиная с крещения в девятнадцатилетнем возрасте. К сожалению, все это есть в романе А. Ф. Лосева «Женщина-мыслитель», о котором мне уже приходилось высказываться («Новый мир», 1994, № 6).

² Синтетический портрет М. В. Юдиной, человека и музыканта, с определением ее доминанты, лучше всего на сегодняшний день удалось создать С. З. Трубачеву в его статье «М. В. Юдина в общении с П. А. Флоренским», весьма сокращенный вариант которой опубликован (Трубачев С. «Только в Моцарте... защита от бурь». — «Музыкальная жизнь», 1989, № 13 — 14). Объективно и обстоятельно личность М. В. Юдиной раскрыта — в том числе в философском плане — в книге ее ученицы, М. А. Дроздовой («Педагогика М. В. Юдиной»), рукопись которой ждет своего издателя.

ние одного из основных творческих импульсов Юдиной как «протест» и вовсе произвольные параллели с Лютером и Толстым (первого она изредка упоминала, второго не могла терпеть за его антицерковность)... Жаль, ведь в других эссе доминанту художника Л. Гаккель подмечает зорко: у «бетховенианца» Рихтера — его «эпичность» (в сущности, это можно назвать открытием), у Наталии Гутман — «прозрачность и устойчивость» (не только звучания ее инструмента, но именно ее внутреннего мира), а в превосходном очерке «Мусоргский и Петербург» — «безвыездность» и «бездомность» создателя и великих музыкальных драм, и шемящих сердце песен о скорбях и бедствиях маленького человека. Впрочем, противоречивость некоторых суждений автора никак не снижает высокого эстетического качества его книги.

П. И. В. НЕСТЬЕВ. Дягилев и музыкальный театр XX века. М. «Музыка». 1994. 224 стр.

Легендарная личность Сергея Павловича Дягилева и по сей день привлекает к себе внимание во всем мире. Более того: судя по тому, какое количество новых монографий и воспоминаний о нем появляется на Западе, какие попытки предпринимаются хореографами всего мира, чтобы возродить балеты «Русских сезонов С. Дягилева», с какой тщательностью изучается опыт и наследие его соратников, творцов уникальных спектаклей 10 — 20-х годов, популярность этого имени идет по восходящей... Наконец и мы имеем первую отечественную монографию о нашем великом соотечественнике, вписавшем своей деятельностью золотую страницу в историю мировой культуры. О том, что она пишется и готовится к изданию, было известно давно, и можно только пожалеть, что И. Нестьев, известный музыковед, автор многих книг о С. С. Прокофьеве, о современной западной музыке, не дожидаясь ее выхода... Конечно, эту книгу опередили «дягилевские» издания, которых на сегодняшний день у нас вышло немало и которые дают широкое представление и о жизни Дягилева, и о размахе его деятельности. В первую очередь это двухтомник «Сергей Дягилев и русское искусство» (М. 1982), подготовленный

ныне уже покойными И. Зильберштейном и В. Самковым, уникальное издание, после многих лет замалчивания впервые представившее нам фигуру Сергея Дягилева «в полный рост». Затем многочисленные воспоминания о Дягилеве, рассыпанные в самых разных мемуарных изданиях: И. Стравинского (первая ласточка здесь — изданная в 1963 году по случаю приезда композитора на родину «Хроника моей жизни», в которой, естественно, много говорится о С. Дягилеве), М. Фокина, Т. Карсавиной, Э. Купера, Э. Ансерме и т. д. Немало появлялось исследований, в которых деятельность Дягилева рассматривалась в отраженном свете тех его великих современников, коим были посвящены эти труды (И. Вершининой, В. Красовской, М. Друскина, Б. Ярустовского, В. Варунца, Г. Бернандта и других). Альбом М. Пожарской «Русские сезоны в Париже. Эскизы декораций и костюмов. 1908 — 1929» (М. 1988) позволил своими глазами увидеть, что же на самом деле создали художники, окружавшие Дягилева, — роскошное, достойное памяти Дягилева издание. (Такой же «роскошью» стал показанный примерно в те же годы в Москве спектакль парижской «Гранд-Опера» «Весна священная» Стравинского — реставрация знаменитой скандальной постановки В. Нижинского 1913 года в «Русских сезонах»...) А появившиеся не так давно на прилавках воспоминания сподвижников Дягилева С. Лифаря и С. Григорьева приоткрыли завесу над личностью их наставника и друга. И все же монография И. Нестьева, несмотря на обилие публикаций последних лет, не опоздала, хотя бы по той причине, что любой читатель извлечет из нее такое количество сведений о Дягилеве и его эпохе, какое он не почерпнет ни в каком другом издании. Просветительское и даже учебное ее назначение очевидно. При богатейшей фактической оснащенности (включая список спектаклей, поставленных антрепризой Дягилева, и занятых в них артистов) и очень подробном жизнеописании Дягилева она обладает еще одним, не всегда обязательным для серьезного ученого достоинством — неподдельно искренним отношением автора к своему кумиру. И дело тут не в пафосе первооткрывателя, каким и был много лет назад И. Нестьев, возвращав-

ший имя Дягилева, а именно во влюбленности в тот пласт мировой культуры, который осеняет это имя. Устаревшее в книге (оно бросается в глаза) — штампы советской науки: недоверие к оценкам эмигрантской критики, не анализ, а дискредитация их, пренебрежение частью документальных источников, без коих сегодня просто невозможно обойтись (некоторые были названы выше). Идеологических клише, как и вульгарно-социологических оценок, автор, к счастью, избежал. Влияние свежей крови «в дряхлеющий организм искусства зарубежного, в частности французского», «возвеличивание» русской культуры в глазах Запада, чем, по словам И. Нестьева, был всегда озабочен Дягилев, раскрыты им весьма полно и объективно. Энергичный стиль увлеченного автора поможет читателю преодолеть наукообразие, свойственное искусствоведческим изданиям недавнего прошлого.

III. Я. ГИРШМАН. В-А-С-Н. Очерк музыкальных посвящений И. С. Баху с его символической звуковой монограммой. Казань. Казанская государственная консерватория. 1993. 108 стр.

Как медленно доходят до столицы книги, изданные на периферии (а сколько их и не доходит)! Вот и эта столь необходимая любому музыкально образованному человеку книга ползла до Москвы, как улитка. За два года — доползла... Пускай никого не отпугнет ее замысловатое название: за ним скрываются чрезвычайно важные вещи. Профессор Казанской консерватории скончался несколько лет назад, с его смертью ушел не только прекрасный педагог, но и блестящий знаток мировой музыки, в частности творчества великого Баха, одной из загадок которого он посвятил это необычное исследование (увидеть изданное его автору не довелось). Известно, что фамилия Bach — это еще и музыкальная монограмма композитора: си-бемоль — ля — до — си-бекар. Длительное время считалось, что сам Бах увековечил себя, используя монограмму в собственном сочинении, лишь однажды — в тройной фуге ре минор, последнем, незавершенном своем сочинении. Я. Гиршман излагает нам суть исследований поколения немецких ученых (А. Швейцера,

А. Шеринга, К. Гейрингера), сделавших вывод, что монограмма сознательно использовалась Бахом в процессе композиции не один раз, а гораздо больше, и делалось это не в прямом сочетании букв-нот, а в зашифрованном виде, математически исчисленном, подчиненном законам композиции. Монограмма, растворенная в том или ином произведении Баха, приобрела, таким образом, значение музыкально-изобразительного символа. Короткое слово *Bach* стало вместилищем сокровенных мыслей композитора. К примеру, *Credo* (Верую) из Мессы си минор, структурно основываясь на той же монограмме, как бы утверждает непоколебимость глубокой веры композитора. В ряде сочинений, приходит к выводу автор, Бах «начертал свое великое семейное имя, выразив этим преклонение перед особой музыкальной миссией всех Бахов». Нотная запись фамилии Бах (*Bach*) имеет форму креста — за этим видится не только особая музыкальная, но и религиозная миссия всех Бахов. Я. Гиршман проанализировал известные ему случаи использования этой монограммы в твор-

честве других композиторов — от Бетховена и Шуберта до Шнитке и Шедрина — как дань уважения величайшему музыкальному гению. Одни посвящения стали генеральным мотивом этих творений, иллюстрацией, другие же — тематическим компонентом, понижающим все произведение, когда звуковая символика монограммы преобразуется в глубоко личную тему: так, в финале Третьей симфонии Шнитке *BACH* расширяется до нового, в современном прочтении, символа Веры, Надежды, Любви.

В известном стихотворении Мандельштама о Бахе есть строки:

А ты ликуешь, как Исая,
О рассудительнейший Бах!

Автор этой небольшой, но очень емкой книги убежден, что «ликование» человека искренней веры таинственными путями передается каждому, кто прислушивается к нему. Это и происходит, когда мы душой отзываемся на «звук-символ» («дух-символ»), именуемый музыкой Баха.

Анатолий Кузнецов.



РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



ОЛЕГ ЦИНГЕР. Где в гостях, а где дома. Воспоминания. (Рисунки автора). Париж. «Альбатрос». 1994. 160 стр.

Когда в нашем веке русская литература раздвоилась на отечественную и зарубежную, большая часть мемуарных книг писателей-эмигрантов издавалась в Париже с 20-х по 70-е годы. К 80-м стал понемногу иссякать родник воспоминаний, легли в гроб многие представители «серебряной» эпохи, которые помнили Старую Россию. Многие, но не все. В частности, благодаря парижскому книгоиздательству «Альбатрос» и его фактическому вдохновителю и главе Рене Герра и в наши дни во Франции продолжают выходить литературные труды русской эмиграции. С 1980 по 1994 год издан целый массив русской прозы и стихов. Издателя, деятельность которого не приносит никакой коммерческой прибыли, одушевляет любовь к русской культуре. В 1994 году на встрече со студентами и преподавателями философского факультета МГУ Рене Герра говорил, что ему приходится сотрудничать с тремя министерствами, чтобы поднять столь обширную программу.

Среди уже изданного «Альбатросом» — двадцати наименований — и «Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924 — 1974)» — очерки Ю. Терапиано (1987), и «Нерукотворный свет» — стихи А. Величковского (1981), и «Мой дом. Воспоминания и эссе» С. Голлербаха (1994)... Несколько ранее Р. Герра издал две прижизненные книги стихов Ирины Одоевцевой — «Златая цепь» (1975), «Портрет в рифмованной раме» (1976) и прозу С. Шаршуна — «Без тебя» (1972).

Из столь богатого соцветия хотелось бы выделить воспоминания Олега Цингера, «известного русского художника, живущего во Франции», как характеризует его в предисловии Р. Герра. «Ценители живописи, — читаем далее, — хорошо знают его картины, посвященные балагану с прыгающим и танцующим Петрушкой; его гротескные портреты, часто эти портреты — вольная интерпретация гоголевских типов; его пейзажи французского Юга, Испании, Германии». Издатель также обращает внимание на то, что отец О. Цингера, Александр Васильевич Цингер, был автором знаменитой в свое время книги «Занимательная ботаника», а мать — актрисой первого состава МХАТа. Небезынтересно, что под пером Цингера ожил и образ Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, ставшего героем книги Даниила Гранина «Зубр».

О. Цингер описывает свои юношеские встречи и дружбу с Василием Алексеевичем Ватагиным, виднейшим художником-анималистом, оказавшим на него определенное влияние. Они вместе проводили время в Берлине, где рисовали с натуры в Зоологическом саду животных, вечерами же молодой Цингер приобщал Ватагина к светским удовольствиям, к шикарным кафе и джазу, до которых Ватагин не был большой охотник, а ходил туда за компанию со своим тогда всего только семнадцатилетним другом...

По страницам книги рассыпаны имена представителей семейств Чеховых, Шаяпиных, Добужинских, однако читателю весьма скоро становится ясно, что это не книга литературных портретов, как, например, тома И. Одоевцевой «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Скорее это книга особой атмосферы, особой душевной легкости и уюта. Касаясь всего слегка, не углубляясь в «историософемы», в истолкование событий и персонажей, Цингер тем не менее достигает совершенно зримой панорамности, и, что самое главное, в его воспоминаниях слышна неповторимо-русская возвышенно-идеалистическая тональность, свойственная дореволюционной интеллигенции.

О. Цингер, художник до мозга костей, чувственно и наглядно обращается к былому. Вот одна из живых зарисовок: «Лед двинулся! Событие на всю Москву.

Крымский мост очень большой и состоит из нескольких арок на каменных овалных цоколях. Можно было подойти к перилам моста, взрослые всегда пропускали детей вперед. Сверху можно было наблюдать, как огромные глыбы льда наплывали на каменную преграду и ломались. Иногда куски льда громоздились друг на друга. Все это сопровождалось сильным грохотом, особенно когда огромный кусок льдины, еще посыпанный белым, пухлым снегом, налетал на каменный цоколь и разламывался на несколько частей. Стоя на мосту, можно было себе легко представить, что течет не вода со льдом, а ты сам стоишь на носу корабля и двигаешься вперед, ломая лед. Этим ощущением я мог наслаждаться без конца...»

В ровно-непринужденном, совершенно естественном рассказе живописца все же часть книги, посвященная России, детству, наиболее выпукла, пристальна и детальна. Ловля бронзовок, стрекоз, кузнечиков в Быкове, чтение Жюль Верна, первые стыдные откровения человеческой телесности обретают почти сакральную значительность, столь объемен мир, «вглотанный» (как говорила М. Цветаева) ребенком.

В этом смысле особенно шемяще-реальны картины старого Крыма. Там, в Темис-Су, отец художника устроил для беспризорных детей, в революцию оставшихся без родителей, школу. Он с жаром энтузиаста стал преподавать в этой импровизированной школе-интернате естественные науки, мать учила детей французскому и немецкому. Какой дивный детский мир создан был этой четой! В аду гражданской войны, несмотря на полунищенское существование, а потом и голод, появился уголок, где дети разных сословий, от самых простых до титулованных, приобщались к семейному уюту, к предупредительным, мягким отношениям, порядочности, чести. Одна из мелочей: маленький Олег пытался под влиянием «простых» мальчишек попрошайничать, но был пристыжен дамой, знавшей имя его отца. То было время, когда представители науки, ученые, естествоиспытатели были известны и почитались не менее, чем видные актеры или литераторы, чего сейчас почти уже нет в России, — наука, как и искусство, стала более кастовой, замкнутой.

Выразителен эпизод, где рассказывается, как мать О. Цингера была однажды ограблена в оливковой роще и, пойдя заявить о случившемся в комиссариат, увидела там за столом ограбившего ее человека. Описано и дремучее невежество новых хозяев жизни, припомнены большевистские «шуточки» в отношении прилично одетых, классово «чуждых» людей: «Гуляя с папой по «верхнему шоссе», мы увидели грузовик, наполненный солдатами, который ехал нам навстречу. Когда грузовик поравнялся с нами, мы услышали винтовочный выстрел, и пуля блеснула между мной и Булькой (собакой. — *Ст. А.*), ударившись в камень. Мы обернулись и увидели молодого солдата, который улыбался и закрывал затвор винтовки...» Впрочем, вполне возможно, что солдат вовсе и не шутил...

Камертон ко всей книге можно обнаружить на первой же странице, в начале главы «Москва», где Олег Цингер рассказывает... о своем рождении. Оказывается, он помнит, как это ни невероятно, самый момент своего появления на свет: «Это было как будто я сам спокойно себе говорю: «Вот ты теперь в этой комнате, ты тут родился, тебя положат, и ты сперва будешь младенец, так все начинается», — и потом все пропало и я стал младенцем»...

Акт самопознания, который у людей особо одаренных наступает крайне рано, явлен здесь как обращенное в будущую жизнь первопророчество... Внутреннее разделение на «я» и мир есть первый акт и краеугольный камень личности.

Личность эта — творческая. И в книге представлены образцы ее творчества — изяшно-эротичная, характерно-пластичная графика. Не могу сказать, что рисунки эти по духу своему вполне соответствуют тексту, однако они дают представление о живописно-художественных возможностях автора. И потому они столь же уместны, как авторские рисунки другого художника-мемуариста, Сергея Голлербаха, чью книгу также издал в Париже Рене Герра. Здесь на память приходит еще один прецедент — заставки, концовки и иллюстрации Кузьмы Петрова-Водкина к его автобиографической трилогии «Хлыновск».

В конце книги, вопреки ее спокойно-безвыводной повествовательности, звучит настоящая декларация, своего рода жизненный итог: «Я не понимаю, как можно жить будущим, — пишет напоследок Олег Александрович. — Будущим, которого никто не знает. Для меня прошлое, пережитое и увиденное, — един-

ственно существующая правда. Единственное, что я могу любить искренно. Пушкин сказал, что нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви. По-моему, проще и мудрей трудно сказать. Но много ли любви мы видим, например, в политике? Одно сплошное поношение кого-нибудь и чего-нибудь. Но я не хочу разводить философию, особенно теперь, когда жизнь моя подходит к концу. Человеческую жизнь, искания и поступки человека, на мой взгляд, лучше всего изобразил гениальный Иеронимус Босх. Посмотрите хотя бы на репродукции его картин, например, «Сад наслаждений» или «Воз сена», которые висят в Прадо в Мадриде. Посмотрите на другие его картины. Посмотрите на всех его чертей, ангелов, на эту фантастическую тупость, глупость, сумасшествие, на это стремление к наслаждениям всякого рода, на изысканные пытки и прекрасные сады, на поэзию, которая все это пронизывает. А главное, на живопись, это тонкое искусство, способное из хаоса сделать прекрасное...» На этих словах заканчивается «Где в гостях, а где дома» Олега Цингера, последнее многоточие поставлено в Гарше в 1989 году.

В заключение не могу не выразить сожаления по поводу хорошо известной книголюбом по изданиям 20-х годов надписи: «Настоящая книга отпечатана в количестве пятисот (всего! — *Ст. А.*) экземпляров, из которых десять экземпляров, нумерованных и подписанных автором, в продажу не поступают». А хотелось бы, чтобы книга эта обрела достаточно широкого российского читателя.

Станислав АЙДИНЯН.

АНТИПОДЫ. Литературно-публицистический журнал. Мельбурн (Австралия), 1995, № 1.

Это первый в Австралии литературно-публицистический журнал на русском языке. Скорее «тонкий». Выходит с 1993 года. Нерегулярно. Редакция считает, что цель журнала — удовлетворять культурные потребности русскоязычных читателей в Австралии. Журнал предоставляет свои страницы не только местным, но и зарубежным авторам (то есть из Израиля, США, Канады, Европы, стран СНГ). Как можно понять из некоторых публикаций, читатели «Антиподов» принадлежат к той последней волне эмигрантов из России, которые по разным причинам с трудом интегрируются в жизнь местной еврейской общины и предпочитают создавать свои «русские» клубы и объединения. Проблемы такой интеграции тоже освещаются в журнале. В последнем по времени выхода номере «Антиподов» (1995, № 1) продолжается полемика о так называемом Балаклавском «гетто» (Балаклава в данном случае есть мельбурнский аналог нью-йоркского района Брайтон-Бич), печатаются отрывок из книги Ханны Арендт «Происхождение тоталитаризма», хрестоматийные «Гарики на каждый день» И. Губермана, рассказ С. Костырко (Москва) «Конец сезона», стихи Риммы Марковой из Санкт-Петербурга и Германа Дробиза из Екатеринбурга. В рубрике «Новые имена» — глава из книги Галины Диндас-Кордин «Тройной капкан» (перевод — неизвестно, с какого языка — Э. Поляковой). Тут же — стихи жителей Мельбурна Ю. Обоева и А. Грозубинского, обзор израильской прессы А. Клугмана. В рубрике «Страницы истории» — статья М. Шифмана о царе Ироде I. Фрагменты известной книги С. Довлатова «Ремесло». В нынешнем — еще не устоявшемся — виде журнал «Антиподы» имеет чисто региональное значение. Но, судя по письмам читателей, потребность в таком издании есть, и немалая.

А. В.

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Евгений Блажеевский. Лицом к погоне. Книга стихотворений. М. «Книжный сад». 1995. 124 стр. 3000 экз.

Франц Кафка. Дневники и письма. Перевод с немецкого. Предисловие Ю. И. Архипова. М. «ДИ-ДИК», «Танаис», «Прогресс», «Прогресс-Литера». 1995. 606 стр. 15 000 экз.

Александр Мелихов. Горбатые атланты, или Новый Дон Кишот. Роман. СПб. «Новый Геликон». 1995. 432 стр. 1000 экз.

Первое книжное издание романа, публиковавшегося ранее отрывками в журналах («Звезда», «Нева»).

Людмила Петрушевская. Тайна дома. Повести, рассказы. М. СП «Квадрат». 512 стр. 25 000 экз.

Алексей Пурин. Евразия и другие стихотворения. СПб. «Пушкинский фонд». 1994. 87 стр. 500 экз.

Юрий Шарков. До новых птиц. Стихи разных лет. Боровичи. 1994. 162 стр. 1000 экз.



Макс Вебер. Образ общества. Перевод с немецкого М. И. Левиной, А. В. Михайлова, С. В. Карпушина. М. «Юрист». 1994. 704 стр. 21 000 экз.

Кроме уже известных отечественным специалистам по малотиражным изданиям работ ведущего западного социолога начала века Макса Вебера (1864 — 1920) — «Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира», «Хозяйственная этика мировых религий», «Социология религий», «Социальные причины падения античной культуры» — в сборник в новом переводе вошла работа «Город», и впервые на русском языке публикуется исследование «Рациональные и социологические основания музыки». В приложении — работы Карла Ясперса, Р. Бендикса и А. И. Неусыхина о М. Вебере.

Сергей Волков. Последние у Троицы. Вспоминаания о Московской духовной академии (1917 — 1920). Литературная записка, вступительная статья, именной указатель и сноски А. Л. Никитина. М. — СПб. 1995. 316 стр. 1000 экз.

Голоса из мира, которого уже нет. Выпускники исторического факультета МГУ 1941 года в письмах и воспоминаниях. Составление, вводные тексты М. Я. Гефтера. М. Издательство МГУ. 1995. 160 стр. 500 экз.

А. М. Гордин, М. А. Гордин. Пушкинский век. СПб. «Пушкинский фонд». 1995. 414 стр. 10 000 экз.

Н. И. Костомаров. Русские нравы. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. Автобиография. М. «Чарли». 1995. 654 стр. 15 000 экз.

А. Ф. Лосев. Форма — Стиль — Выражение. Составление А. А. Тахо-Годи. М. «Мысль». 1995. 944 стр. 12 000 экз.

Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Научная редакция В. Я. Петрухина и других. М. «Эллис Лак». 1995. 414 стр. 30 000 экз.

Карл Манхейм. Диагноз нашего времени. Перевод с немецкого М. И. Левиной, С. В. Карпушина, А. И. Миллер, Т. И. Студеникиной. М. «Юрист». 1994. 700 стр. 21 000 экз.

Основные работы немецкого философа и социолога, ученика М. Вебера Карла Манхейма (Мангейма); (1893 — 1947) — «Идеология и утопия», «Человек и общество в

эпоху преобразования», «Диагноз нашего времени...» и впервые на русском языке «Консервативная мысль».

И. А. Панкеев. Николай Гумилев. Биография. М. «Просвещение». 1995. 160 стр. 35 000 экз.

Театр ГУЛАГа. Воспоминания, очерки. Составление, вступительная статья М. М. Кораллова. М. «Мемориал». 1995. 168 стр.

Сборник воспоминаний бывших заключенных — режиссеров и актеров — о театральной жизни ГУЛАГа 20 — 50-х годов.

Уездный город Богородск на старых фотографиях. Авторы-составители М. С. Дроздов, М. В. Золотарев. Ногинск. 1994.

Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней. В 3-х книгах. М. «МИК». 1995. 1000 экз.

Книга 1. М. Геллер, А. Некрич. Социализм в одной стране. 500 стр.

Книга 2. М. Геллер, А. Некрич. Мировая империя. 432 стр.

Книга 3. М. Геллер. Седьмой секретарь. Блеск и нищета Михаила Горбачева. 476 стр.

Христианство. Энциклопедический словарь в 3-х томах. Редколлегия: С. С. Аверинцев и другие. М. «Большая Российская энциклопедия». 1995. 90 000 экз.

Том 2. Л — С. 672 стр.

Том 3. Т — Я. 784 стр.

В третьем томе энциклопедии кроме статей из двух изданий Брокгауза и Ефрона, составивших основу этого трехтомника, вошло послесловие главного редактора издания С. С. Аверинцева, характеризующее состояние христианства в XX веке, а также обширный справочный материал, в частности, хронологические таблицы истории русской православной церкви в XX веке, обширная библиография, календарь православных и римско-католических церквей и другие материалы.

Марина Цветаева. Письма к дочери. Дневниковые записи. Составление, подготовка текстов, примечания и послесловие Е. Б. Коркиной. Предисловие С. Н. Клепининой. Калининград (Московская область). Музей М. И. Цветаевой в Болшеве, Издательство «Луч — 1». 1995. 78 стр. 3000 экз.

Дневниковые записи Цветаевой 1912 — 1913 годов, посвященные дочери, и впервые публикуемые четырнадцать писем, написанных в 1941 году дочери в лагерь.

П. И. Чайковский. Забытое и новое. Воспоминания современников. Новые материалы и документы. Альманах. Выпуск 1. Составители П. Е. Вайдман, Г. И. Белонович. М. ИИФ «Мир и культура». 1995. 206 стр. 10 000 экз.

Составитель С. Костырко.



ПЕРИОДИКА



«Арион», «Волга», «Вопросы литературы», «Другие берега», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Известия», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Континент», «Литературная газета», «Наш современник», «Октябрь», «Посев», «Юность»

Анатолий Азольский. Кто убил Кирова. Опыт домашнего расследования. — «Континент», № 82 (1994).

К 60-летию смерти С. М. Кирова. «Он был обречен на уничтожение потому, что стал политическим двойником Сталина». Версия А. Азольского вполне оригинальна: провокационное покушение на Кирова НКВД планировалось, а вот гибель его — нет. Она стала неожиданностью для всех — от Сталина до питерских чекистов, — поэтому дальше пошла импровизация.

Антоний, митрополит Сурожский. Иерархические структуры Церкви. Перевод с английского А. Кырлежева. — «Континент», № 82 (1994).

Выступление на епархиальном собрании, Лондон, 12 июня 1993 года. Публикуется к 80-летию митрополита Сурожского Антония. Тут же — интервью с ним (Лондон, август 1994 года) и статья Александра Кырлежева «Митрополит Антоний Сурожский — «заезжий православный миссионер» в России».

А. Н. Артемов. Операция НТС по обмену Буковского на Луиса Корвалана. — «Посев», 1995, № 3 (май — июнь).

История эта такова. А. Н. Радзевич (1911 — 1982), член НТС и участник власовского движения, в 1948 году уехал в Чили, где служил в военном ведомстве и просвещал чилийских офицеров в антикоммунистическом духе. В 1961 году переехал в США. А в 1973 году его бывшие слушатели — капитаны, майоры, полковники — стали генералами и свергли левое правительство Альенде. Тогда Радзевич обратился с личным письмом к одному из таких старых знакомых с предложением обменять чилийского коммуниста Л. Корвалана на опального генерала Петра Григоренко. Позже эта идея реализовалась в виде знаменитого обмена Корвалана на В. Буковского. О подробностях этого дела вспоминает А. Н. Артемов — тогдашний председатель НТС (запись М. Горбаневского и А. Орлова). Кстати, в этом году общественно-политическому журналу НТС «Посев» исполняется 50 лет, он был создан 11 ноября 1945 года в беженском лагере в Германии, а ныне издается в России.

Александр Архангельский. Третья шапка. — «Знамя», 1995, № 6.

Пушкинские штудии. К 170-летию «Бориса Годунова».

Белла Ахмадулина. «...Отраден путь человека». — «Юность», 1995, № 6.

Фрагменты речи на церемонии вручения Б. Ахмадулиной Пушкинской премии (фонд А. Тёпфера) 26 мая 1994 года.

Григорий Бакланов. И тогда приходят мародеры. Роман. — «Знамя», 1995, № 5.

Новая книга известного писателя. О войне и наших днях.

Василий Баранов. Дневник остарбайтера. Вступительная заметка, публикация и примечания Павла Поляна. — «Знамя», 1995, № 5.

В. М. Баранов (р. 1925) был угнан на работу в Германию в августе 1943 года, освобожден американцами в апреле 1945-го. Ныне на пенсии, житель Брянска.

Генрих Бёлль. Годен, чтобы умереть. Рассказ. Перевел с немецкого Н. Бунин. — «Знамя», 1995, № 5.

Рассказ о войне написан в мае 1946 года, после освобождения автора из американского плена. Опубликован в 1991 году. В рукописи текст не озаглавлен. Название дано переводчиком.

Встреча двух эмиграций. Из переписки В. Н. Петрова с Б. Л. Двиновым. Публикация, вступительная заметка и комментарии В. О. Седельникова. — «Звезда», 1995, № 5.

Письма 1947 — 1948 годов из Нью-Хейвена (штат Коннектикут) в Нью-Йорк и обратно. Эмигрантская полемика: от первой «волны» представляет меньшевик Б. Двинов (Гуревич), от второй — участник власовского движения В. Петров.

Николай Глазков. Одиночество. Публикация Н. Н. Глазкова. — «Октябрь», 1995, № 6.

Ироническая поэма 1950 года с прозрачно зашифрованными именами (Наровчатов — С. Наровчатов и т. п.).

Михаил Грачев. От Ваньки Каина до мафии. — «Волга», 1995, № 1.

Большая статья о «лексике деклассированных слоев населения», написанная по материалам книги, выходящей в Нижнем Новгороде.

«Давайте постараемся еще пожить, подышать, поработать...». Письма Ариадны Эфрон к Э. Л. Миндлину. Публикация, вступление и примечания А. Э. Миндлина. — «Дружба народов», 1995, № 2.

Двенадцать писем 1962 — 1969 годов к Эмилию Львовичу Миндлину (1900 — 1981) в связи с его работой над воспоминаниями о М. Цветаевой. См. его известную книгу «Необыкновенные собеседники». М. 1968, 1992. Полный вариант его мемуаров о М. Цветаевой до сих пор не издан.

Ион Друцэ. Жертвоприношение. Повесть. — «Континент», № 82 (1994).

Повесть известного прозаика о детстве и юности Саула — будущего апостола Павла — представляет собой часть более обширного сочинения.

Евгений Евтушенко. Я люблю тебя больше любви... — «Литературная газета», 1995, № 24, 15 июня.

«На смерть грузинского друга», «На смерть абхазского друга», «Я люблю Украину», «Слеза России» и еще девять стихотворений 1995 года.

А. А. Золотарев. Вера и знание. Наука и откровение в их современном взаимодействии на человека. — «Континент», № 82 (1994).

Алексей Алексеевич Золотарев (1879 — 1950) — писатель, философ, краевед, большая часть наследия которого до сих пор не востребована. Работа, написанная в 1946 году, публикуется по рукописной тетради «Своей дорогой», хранящейся в РГАЛИ, и сопровождается вступительной статьей Валентина Хализева «Один из „китежан”».

Рюрик Ивнев. Воспоминания. Публикация и предисловие Н. Леонтьева. Комментарии А. Зименкова. — «Арион». Журнал поэзии. 1995, № 1.

Фрагменты воспоминаний поэта Рюрика Ивнева (1891 — 1981), написанных в разные годы, — о Маяковском, Мариенгофе, Шершеневиче, Крученых.

Иосифу Бродскому — 55. — «Звезда», 1995, № 5.

В подборку материалов, связанную с 55-летием поэта, входят два его юмористических (!) стихотворения, два эссе Б. Парамонова о поэте, стихотворение Элеоноры Иоффе-Кемпайнен (Хельсинки) «Письмо Иосифу Бродскому» и стихи Татьяны Вольтской (Санкт-Петербург) «на возможный приезд Бродского». Смысл последних прост: не приезжай.

Альбер Камю. Первый человек. Главы из романа. Перевод с французского и предисловие Ирины Кузнецовой. — «Иностранная литература», 1995, № 5.

4 января 1960 года в автомобильной катастрофе погиб нобелевский лауреат А. Камю. Среди обломков автомобиля была найдена рукопись романа, который с ошеломляющим успехом был издан в апреле 1994 года, через тридцать четыре года после смерти автора. Роман о французах в Алжире, где сам Камю родился и вырос.

Габриэла Лич-Анпах. Между жестокостью и добром. Перевод с немецкого (автора?). — «Знамя», 1995, № 5.

Глава из рукописи книги «Мои встречи с русскими» — сначала с «остарбайтерами», чуть позже с наступающими советскими войсками, потом с оккупационными советскими властями.

Ксения Мяло. Мертвых проклятья. — «Наш современник», 1995, № 6.

Темпераментная полемика с военным романом В. Астафьева «Прокляты и убиты» («Новый мир», 1992, № 10, 11, 12; 1994, № 10, 11, 12).

Андрей Немзер. Одолевая туман. — «Звезда», 1995, № 5.

Заметки о романе Г. Владимова «Генерал и его армия».

Сергей Параджанов. Выступление перед творческой и научной молодежью Белоруссии 1 декабря 1971 г. Вступление и примечания Д. Минченка. — «Континент», № 82 (1994).

Из архива ЦК КПСС. Уникальная запись сделана чекистами, следившими за режиссером.

Письмо Светланы Сталиной Илье Эренбургу. Предисловие и публикация Б. Фрезинского. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск III.

Взволнованный читательский отклик Светланы Сталиной (август 1957 года) на статью Ильи Эренбурга «Уроки Стендаля» («Иностранная литература», 1957, № 6). Из собрания И. И. Эренбург.

Валерий Попов. Осень, переходящая в лето. Хроника. — «Знамя», 1995, № 5.
Современные обстоятельства и нравы. Узнаваемая манера известного петербургского прозаика.

Михаил Пришвин. Воля вольная. Вступительная заметка и публикация Л. Рязановой. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск III.

Фрагменты незавершенной книги, создававшейся на основе статей М. Пришвина в петербургских газетах в 1917 — 1918 годов.

Пушкиннана 1994 года. Подготовил О. Трунов. — «Книжное обозрение», 1995, № 23, 6 июня.

Библиографический список изданий А. С. Пушкина и книг о нем, вышедших в России и в странах СНГ в 1994 году, а также дополнения к аналогичному списку 1993 года. В списке года прошедшего — сорок семь позиций.

Валентин Распутин. В больнице. Рассказ. — «Наш современник», 1995, № 4.
Урологическое отделение (сцены, диалоги, жизнь, смерть...).

Вячеслав Репин. Последняя охота Петра Андреевича. Повесть. — «Другие берега» (Санкт-Петербург), № 6 (1995).

Советский генерал застрелился на охоте. Охота описана в лучших традициях русской прозы. Автор живет в Париже.

Михаил Рошин. Блок 1993 — 1994. — «Октябрь», 1995, № 6.

«Однажды я уже представил читателю подборку («Октябрь», 1992, № 1), где собрал всякую всячину, заметки, страницы дневника, статьи и т. п. — все, что есть каждодневная работа писателя, помимо какой-то основной пишущейся вещи...» (М. Рошин). Публикуемый «блок» — продолжение отчета о каждодневной работе.

Бenedикт Сарнов — Борис Хазанов. Есть ли будущее у русской литературы? — «Вопросы литературы», 1995, выпуск III.

Беседа, состоявшаяся в редакции «Вопросов литературы», — продолжение диалога, начатого его участниками — московским критиком Б. Сарновым и мюнхенским прозаиком Б. Хазановым — еще четырнадцать лет назад в личной переписке.

Борис Слуцкий. Зарубки памяти. Из книги «Записки о войне». Вступительная заметка, составление и подготовка текста П. Горелика. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск III.

Записки, которые Б. Слуцкий привез с войны осенью 1945 года. В частности — о вступлении наших войск в Болгарию, Румынию, Австрию.

Дж. Д. Сэлинджер. Раз в неделю — тебя не убудет. Рассказ. Перевела с английского И. Бернштейн. — «Иностранная литература», 1995, № 5.

Короткий рассказ 1944 года. См. также в переводе И. Бернштейн рассказ Дж. Д. Сэлинджера «16-й день Хэпворта 1924 года» («Новый мир», 1995, № 4).

Твардовский в докладных КГБ. По материалам архива ЦК КПСС. Публикация И. Брайнина. Комментарии Ю. Буртина. — «Известия», 1995, № 111, 20 июня.

Три докладные: 1956, 1969 и 1970 годов. Последняя — «о настроениях поэта А. Твардовского» после его отставки с поста главного редактора «Нового мира».

Александр Терехов. Крысобой. Роман. — «Знамя», 1995, № 6.

Теория и практика истребления крыс в современной России. Журнальный вариант. Полностью книга вышла в издательстве «Совершенно секретно».

Татьяна Чередниченко. Песни Тимура Кибирова. — «Арион». Журнал поэзии. 1995, № 1.

Профессор Московской консерватории, постоянный автор «Нового мира» Т. Чередниченко считает Т. Кибирова «последним поэтом нашей массовой песни» и объясняет почему.

Варлам Шаламов. Из записных книжек. Публикация, вступительная заметка и примечания И. П. Сиротинской. — «Знамя», 1995, № 6.

Фрагменты рабочих тетрадей и черновых набросков. Рабочие тетради писатель вел начиная с 1953 (возвращение с Колымы) по 1979 год — до переезда в дом инвалидов и престарелых. Оригиналы хранятся в РГАЛИ. Через все записи проходит ярко выраженная неприязнь к Солженищину.

Составитель А. Василевский.

Уважаемые читатели!

Старейший и первый независимый литературно-художественный журнал России

«ОКТЯБРЬ»

в 1996 году опубликует на своих страницах:

ПРОЗА

- Анатолий АНАНЬЕВ. *Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.* Книга вторая.
- Юрий БУЙДА. *Охота на Мерзавра.* Сумасшедшие записки.
- Ролан БЫКОВ. *Дочь болотного царя.* Современная сказка.
- Борис ВАСИЛЬЕВ. *Два банана в одной кожуре.* Роман.
- Игорь ВОЛГИН. «В виду безмолвного потомства...». *Достоевский и гибель русского императорского дома.* Книга вторая.
- Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. *Летит себе аэроплан.* Свободная фантазия по мотивам жизни и творчества Марка Шагала.
- Бахыт КЕНЖЕЕВ. *Письма к Господу Богу.* Роман.
- Руслан КИРЕЕВ. *Витгинские легенды.* Рассказы.
- Михаил ЛЕВИТИН. *Плутодрама.* Повесть.
- Юнна МОРИЦ. Рассказы.
- Нонна МОРДЮКОВА. *Записки актрисы.* Часть вторая.
- Анатолий НАЙМАН. *Славный конец бесславного поколения.* Рассказ.
- Юрий НАГИБИН. *Дневники.*
- Григорий ПЕТРОВ. *Мать Кирсана-плотника.* Роман.
- Михаил РОЩИН. Рассказы.
- Генрих САПГИР. Роман.
- Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ. *Быть!* Документальное повествование.
- Алексей ЦВЕТКОВ. *Просто голос.* Поэма. Продолжение.

ПОЭЗИЯ

Стихи Беллы АХМАДУЛИНОЙ, Ольги БЕШЕНКОВСКОЙ, Сергея ГАНДЛЕВСКОГО, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Виктора КРИВУЛИНА, Михаила КРЕПСА, Льва ЛОСЕВА, Юнны МОРИЦ, Анатолия НАЙМАНА, Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Виктора СОСНОРЫ, а также подборки стихов молодых поэтов.

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Серебряный век: эпистолярное наследие. Письма Ивана БУНИНА, Владимира НАБОКОВА, Марка АЛДАНОВА, Бориса ЗАЙЦЕВА, Константина БАЛЬМОНТА, ТЭФФИ.

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Серия статей под рубрикой «РОССИЯ: ПУТЬ РЕФОРМ». Болевые точки нынешнего этапа общественного развития рассматривают известные политологи, экономисты, историки: Ю. БУРТИН, Г. ВОДОЛАЗОВ, С. ИВАНЕНКО, Г. МАРЧЕНКО, А. МАКУШКИН, С. НИКОЛЬСКИЙ, В. ПИСИГИН, Л. ЧЕРНАЯ, Г. ЯВЛИНСКИЙ, Т. ЯРЫГИНА.

Рубрика «ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ» продолжит знакомство с выдающимися философами Запада.

Подписка принимается всеми отделениями связи.

«Октябрь» как одно из наиболее авторитетных изданий получил право проведения годовой подписки. В связи с этим у редакции появилась возможность предложить подписчикам некоторые льготы.

Стоимость подписки: на 1 месяц — 8000 руб.; на 3 месяца — 24 000 руб.; на первое полугодие — 48 000 руб.; на год — 96 000 руб. (Плюс надбавка местных отделений связи.)

На второе полугодие цена в связи с инфляцией, к сожалению, неизбежно возрастет, так что те, кто оформит подписку на год, окажутся в выигрыше.

Обратите внимание! В связи с годовой подпиской у «Октября» два индекса: 72375 — индекс годовой подписки, 73293 — индекс для подписки на часть года.

Будем рады видеть вас среди наших читателей.

РЕДКОЛЛЕГИЯ «ОКТЯБРЯ».

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



*Издание, которое не нуждается
в рекомендациях*

**ПОДПИСКА НА 1996 ГОД:
ЛЬГОТЫ И СКИДКИ**

Новости начавшейся подписной кампании в первую очередь касаются постоянных читателей "ЛГ": тот, кто предъявит подписной абонемент на 2-е полугодие 1995 года, получит скидку при оформлении очередной подписки — на 1-е полугодие 1996 года.

И еще одно новое (или, скорее, возвращение старого) в подписке на "ЛГ". В последнее время подписка, как известно, оформляется лишь на полгода. А вот на "ЛГ" теперь можно подписаться на весь 1996 год. Цена при этом рассчитана исходя из стоимости подписки на 1-е полугодие, и неизбежное повышение цен во 2-м полугодии обладателей годового абонемента уже не коснется. А это значит, что тот, кто подписался на "ЛГ" сегодня, окажется в выигрыше завтра.

Подписка оформляется по каталогу Федерального управления почтовой связи, московским городскому и областному каталогам. Индексы: 31483 (при оформлении подписки до 15 октября), 50067 (при оформлении после 15 октября), 31484 (для постоянных подписчиков при оформлении до 15 октября), 34189 (для постоянных подписчиков при оформлении после 15 октября), 10067 (на весь год).

*Сколько бы "ЛГ" ни стоила,
она этого стоит!*

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Nikolai Kononov, Ludmila Abaeva, Olga Grechko, a posthumous publication of poems by Moisei Tsetlin (publication by T. Sokolova, preface by Mikhail Sinelnikov), as well as a selection of poems by modern Tajik poets Gulrukhsor, Shir-Ali and Bozor Sabir (preface by Tatiana Bek).

We are publishing a narrative by Galina Shcherbakova, «The Love Story», a short story by Roman Solntsev, «The Second People», as well as the short story «Alleluia» by Estonian prosaist Jaan Kross (translation by Vera Ruber).

The section «Literary Heritage» presents short stories by Dmitry Golubkov (publication by Marina Golubkova, afterword by Alla Marchenko).

In the section «New Translations» we are beginning to publish the novel «Kabbala» by well-known American writer Thornton Wilder, translation by A. Gobuzov, prefaced by Aleksei Zverev (to be ended in No. 12).

The section «Times and Customs» is presented travel notes written by Archimandrite Augustin (Nikitin) about today's Burma (Myanmār), as well as an essay by Mark Kostrov, «The Remote Place. (A Business Trip Report)».

In the section «Diaries. Memoirs» we are publishing the essay «God and Prison» by Valery Senderov.

In the section «Philosophy. History. Culture» there are an essay by Aleksandr Arkhangelsky, «The First and the Last», about Russian Emperor Aleksandr I, and an article by Sergei Bocharov, «An Event of Reality», about Mikhail Bakhtin.

Polemical notes by Pavel Basinsky, «How Much is Shishkin Now?» are to be found in the section «By the Way».

In the section «Book Review» Sergei Kostyrko reviews Yuri Nagibin's diaries; Oleg Mramornov reviews memoirs by scientist V. Nalimov; Yuri Kublanovsky reviews the ones by A. Kazantsev, member of the People's Labour Union; V. Dolinsky reviews «Tavistock Lectures» by C. Jung; Igor Kuznetsov reviews an essay on history of the Russian military costume.

In the section «Briefly About Books» Anatoly Kuznetsov reviews books by Leonid Gakkel, I. Nestyev and Ya. Girshman.

The issue also includes our traditional sections «Russian Books Abroad», «Bookshelf» and «Periodics».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Коммерческий директор В. Д. Васковский

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.07.95 г. Подписано к печати 11.09.95 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отт. 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 31.820 экз. Зак. 3143. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

ДО КОНЦА 1995 ГОДА И В 1996 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 МИХАИЛ БУТОВ. Повесть;
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Дорога Бог знает куда;
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Роман;
 ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники (из наследия);
 БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;
 СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Свобода выбора (повесть);
 ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ. Путешествие к Набокову;
 ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Отчего затянулась «гибель богов»? (фашизм как феномен европейской культуры);
 Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания, часть вторая);
 ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. Мертвым не больно? (полемические заметки);
 ОЛЕГ ЛАРИН. С Егорычем в магазин. Туда и обратно (повесть);
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. Роман;
 ТОМАС МАНН. Из дневников;
 ТАТЬЯНА НАБАТНИКОВА. Роман;
 ВАЛЕНТИН НЕПОМНЯЩИЙ. Феномен Пушкина и исторический жребий России;
 МАРИНА НОВИКОВА. Ужасы (продолжение статей «Маргиналы» и «Символы»);
 ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Рассказы;
 ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. Маканин нового времени;
 ЕВГЕНИЙ СТАРИКОВ. Новые профсоюзы перед соблазном фашизма;
 ТОРНТОН УАЙЛДЕР. К небу мой путь (роман, перевод с английского);
 МАРК ФЕЙГИН. Вторая чеченская война;
 АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ. Чехов между верой и неверием;
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. У ног лежачих женщин (повесть);
 АСАР ЭППЕЛЬ. Рассказы;

а также новые произведения АНДРЕЯ БИТОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, АНАТОЛИЯ КИМА, ИГОРЯ КЛЕХА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА, ОЛЕГА ПАВЛОВА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, НИКОЛАЯ ПЕТРАКОВА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА, ДОРЫ ШТУРМАН и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**